НОВЫЙ ЖУРНАЛ

IV

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

RUSSIAN QUARTERLY

IV

НЬЮ-ЙОРК

1943

Copyright 1943 by the New Review
(«Новый Журнал»)
All Rights reserved.

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.
166



ОГЛАВЛЕНІЕ

М. А. Осоргин. — Времена 5

И. А. Бунин. — Таня 22

Г. Д. Гребенщиков. — В просторах Америки 42

М. О. Цетлин. — Конец Мусоргскаго 60

М. А. Алданов. — Истоки 90

СТИХИ:

Феодора Сологуба, А. Биска, Леонида Опалова, Софіи Прегель, Юрія Терапіано, Маріи Толстой, Ксеніи Успенской 174

ВОПРОСЫ ДНЯ:

Г. П. Федотов. — Новое отечество 182

Ст. Иванович. — За что кровь проливаем 201

Я. Д. Робинзон. — Судьба европейских евреев 219

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. М. Чернов. — Стихія скитальчества у корифеев русской литературы 227

С. Л. Поляков-Литовцев. — З. Шнеур 246

РОССІЯ И ВОЙНА:

В. А. Александрова. — Первая военная зима в Россіи 253

Д. Ю. Далин. — Красная армія 273

Г. Я. Аронсон. — Отраженія войны 294

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА:

Б. И. Николаевскій. — Внѣшняя политика Москвы 302

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

И. Н. Альтшуллер. — Еще о Чеховѣ..... 332

Проф. **Г. Д. Гурвич.** — М. А. Осоргин. 357

В. М. Зензинов. — В. Л. Бурцев 359

Проф. **А. Васильев.** — Г. Л. Лозинскій 364

Артур Лурье. — О Шостаковичѣ 367

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ:

Проф. **М. М. Карпович.** — Книга С. и Б. Уэббов 373

Д. Н. Шуб. — Германскій вопрос и нѣмецкіе соціалисты 375

Ю. П. Денике. — Книги Д. Далина и Джона Скотта 383

Z. — Юбилей В. Н. Ипатьева 390

А. — Три мѣсяца..... 391

Ц. — За желѣзным занавѣсом 395

В. И. Коварская. — Выставки в Нью-Іоркѣ 397

Обложка работы худ. **А. Н. Прегель.**

А. Л. Толстая не успѣла доставить для настоящей книги очередной отрывок из «Предразсвѣтнаго тумана». По недостатку мѣста не могли, к сожалѣнію, быть помѣщены в этом номерѣ доставленные позже других разсказы Н. В. Кодрянской и Е. Ф. Рубисовой, глава из «Воспоминаній» А. Т. Гречанинова; статья М. А. Алданова «Памяти М. А. Осоргина», окончаніе третьей статьи Б. И. Николаевскаго «Внѣшняя политика Москвы»; рецензіи Е. А. Извольской о книгѣ Н. С. Тимашева, Z. о книгѣ М. Берхина и Е. Бен Горина. Всѣ они будут напечатаны в слѣдующем номерѣ.

[ВРЕМЕНА *)]

Первое пятилѣтіе революціи, свидѣтелем котораго я был, полагается дѣлить на періоды — на эпоху временнаго правительства, октябрьскій переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику, что-то еще. Историки об'яснят, как все это происходило, чьим радѣніем, чьей мудростью; но не вѣрьте на слово историкам, не вѣрьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосѣ откроют гармонію причин и слѣдствій, они преподнесут облизанную конфетку — и проглядят человѣка. Мы, родившіеся на больших рѣках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит их теченія палочкой, как мальчик струю воды в уличной канавѣ. Свершается то, что свершается, и кто-то приписывает это себѣ и придумывает событьям названія. Нас влекла стихія, а люди на сторонѣ дѣлили должности, кричали слова команды, стрѣляли в упор или мимо, тормозили спинами раскатившійся вагон. Дореволюціонная Россія была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доѣдали ея запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустыя коробки от папирос «Ира». Стали странствовать на колесах и пѣшком на юг с мѣшками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все-же шла в дѣло. Чаще люди перочинными ножами вспарывали шкуру павшей на улицѣ от

*) Это, к несчастью, послѣднее произведеніе, написанное М. А. Осоргиным. Окончаніе «Времен» читатели найдут в пятой книгѣ «Новаго Журнала». Р е д .

безкормицы ломовой и извощичьей лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улицѣ в ряд, подбирали из навозной колеи просыпанную клюкву и несли домой в горсткѣ, как четверговую свѣчку: все с'ѣстное стало священным. Нельзя было в нижнем этажѣ вывѣшивать между оконными рамами недоѣденный кусок, не из боязни порчи, (в домах было холодно), а чтобы спасти от крыс; нельзя, потому что прохожій человѣк бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бѣжал за угол, уплетая на ходу. В каком-то переулкѣ с меня сняли шубу и пиджак — не возразишь против револьвера, приставленнаго к затылку, и вот — незамѣнимая потеря. С магазинов содраны вывѣски, из них понадѣланы печурки, гордость всякаго хозяйства; растопка — номер «Извѣстій рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названія достаточно для разжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковыренныя дубовыя плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом, бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобрѣтательны, и мы не скучали. Многіе умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, дѣлались стройными и дѣятельными. Хоронить погибших от тифа или от разстрѣла посылали по наряду буржуев, а трупы назывались жмуриками. К веснѣ торопились скалывать на дворах лед, вывозить снѣг и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болѣзнями; дружная работа всѣх жильцов, прекрасное житейское поравненіе, — нѣт больше барства, как нѣт и слуг. И всюду находились люди побойчѣе, бывшій ли дворник или бывшій адвокат, которые выдвигались и нами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властнаго оказывалась и одежда получше, и за столом сливочное масло, а то и долетѣвшій из Кіева копченый гусь, отнятый у мѣшечника заградительными отрядом. Потом у властных появились на рукавѣ нашивки, дальше

— форма, послѣ появятся ордена и званія. У пояса кобура, подъ мышкой портфель, эмблема власти, — государственный строй крѣпчает, идеи стеклянѣют и становятся декретами и законами. Широко, во все интеллигентное лицо, улыбается чортъ, придумавшій государство. Труденъ только первый выстрѣлъ по приставленному къ стѣнѣ товарищу, дальше пуля сама знаетъ, куда летѣть. Рядомъ съ нашей книжной писательской лавкой, въ Леонтьевскомъ переулкѣ, былъ барскій особнякъ съ залой, удобной для большихъ собраній; туда пріѣзжали правители совѣщаться, какъ имъ мудрить надъ нами дальше; всѣ люди вѣрующіе, крѣпколобые, безъ лишней чувствительности. Вечеромъ къ окнамъ дома пробрался черезъ садъ невѣдомый отчаянный человѣкъ, тоже безъ жалости, и швырнулъ бомбу. Въ ночь разстрѣляли въ подвалахъ Чека сидѣвшихъ въ Кораблѣ смерти и другихъ узилищахъ, для отместки и въ острастку. Кажется это и называлось военнымъ коммунизмомъ.

Течетъ рѣка жизни, то затопляя половодьемъ, то мелѣя, въ ея водѣ мелкія рыбешки, шарахающіяся отъ щукъ и окуней, имъ тоже нужно жить, жрать и метать икру, и бѣжитъ рѣка своимъ вѣковымъ руслом, а многодумные люди скажутъ: это мы приказали ей течь въ берегахъ, лѣвомъ — крутомъ и правомъ — пологомъ, изъ горъ въ долины, мы, властители и направители ея свѣтлыхъ струй. И въ исторіи опишется все иначе, прилежнѣе, аккуратнѣе, съ догадками, выводами, именами и датами — въ руководство будущимъ поколѣніямъ. А солдата, продававшаго изъ за пазухи «игранный» сахаръ, бывшую даму, помнявшую будильникъ на щепотку муки, насъ, читавшихъ ночью старинныя итальянскія новеллы, ожидая стука въ дверь, васъ, разметавшихъ по чужимъ странамъ душевныя богатства, исторія не припомнитъ за малостью и ненужностью на страницахъ ея соломенной бумаги.

Изъ великихъ революціонныхъ принциповъ, посѣянныхъ по русской землѣ заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство — въ благосостояніи и въ рабствѣ. Единицы процвѣли особо, обезпечивъ будущему новое дворянство, но въ общемъ жизнь создала желанное поравненіе.

МИХ. ОСОРГИН

Если класс неимущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились тѣ, кто раньше жили на его счет. Кто не успѣл бѣжать, прихвативъ свое добро в легконосных цѣнностях, тот попал под великій закон поравненія. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мѣрами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили цѣнность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя дѣтищем прохожаго солдата и покрытки, потомком крѣпостных дѣдов. Всѣх равно одолѣли голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотѣвшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одеждѣ, с одинаковым за плечами мѣшком, слабосильные с санками или дѣтской колясочкой, — на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мѣшки срослись с тѣлом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одѣться лучше других — воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поѣсть — скрывал, ревниво пряча с'ѣстное, жуя его в одиночествѣ и в темнотѣ, чтобы не подсмотрѣл сосѣд в щелку. Уравнялись и в возможности попасть под карающую руку, за дѣло, без причины, в общей облавѣ, по дружескому доносу, или просто зря, по шуткѣ неудачливой своей судьбы, по силѣ принципа «лучше казнить десять невинных, чѣм оправдать одного виновнаго», — так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, спеціалистки по показной гуманности. Кто похитрѣе, поспѣшил опроститься и стать незамѣтным, кто половчѣе — пристраивался в новых учрежденіях, росших, как грибы в дождливое лѣто. В новом строѣ, уничтожившем былое чиновничество, всякій, кто мог, становился чиновником, совѣтским служащим, отвѣтственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, павидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок и получалась едва-ли не гаванская сигара. Старые ученые с міровым именем, философы, врачи, нестроптивые писатели стояли в очереди у лабазов за полученіем академическаго

пайка, усиленнаго лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вродѣ чая с запахом кофея, мука, горстка сахару — и непремѣнно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасеніе от голодухи и гибели, — ей-бы, благородной рыбѣ, поставить бы памятник! В обмѣн на селедку можно было получить все, что еще не совсѣм исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себѣ новый заем. Селедки поѣдались в видѣ натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы имѣть запас, не подверженный порчѣ. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супѣ, на второе вынутой из супа разваренной трухой. Под селедку и воблу страстно хотѣлось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революціей, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слѣпли, если не догадывались процѣживать его через уголь противогазовых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты дѣлали богатыя дѣла, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной элексир, эфирно-валеріановыя капли и все, что приготовляется на спирту для наружнаго употребленія, — теперь для внутренняго. Смѣльчаки пили одеколон, и в людских скопленіях, в очередях и на базарах, пахло тонкими духами и разило эфиром.

Два явленія развивались параллельно; небывалый раньше эгоизм — в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими с'ѣстными сбереженіями, косились на материнскую и сестрину тарелку, укрывали в карманѣ луковицу, ссорились из за неравной порціи. И в то же время сторонній человѣк, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя послѣдняго. Рискуя жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярій с кулечками для своих и чужих узником. Одни спасали свою шкуру любыми мѣрами, от виляньея хвостом до прямой подлости, другіе шли на пропятіе для ближняго. Всякая жизнь была подвижниче-

ством, и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистной, для других звучала священно.

И было еще одно, что трудно об'яснить человѣку, не пережившему в Россіи тѣх дней. И торжествующих и от их торжества пострадавших об'единяла вѣра в то, что всѣ эти страданія, лишенія, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлаго к будущему. От революціи пострадав, революціи не проклинали и о ней не жалѣли; мало было людей, которые мечтали бы о возвратѣ прежняго. Вызывали ненависть новые властители, но не дѣло, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу, — дѣло обновленія Россіи. В них видѣли перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, вѣрили или хотѣли вѣрить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращеніи гражданской бойни, мѣшавшей успокоенію и питавшей террор. Может быть ошибались, но думали так. И по мѣрѣ сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсѣм новых началах, раньше недоступных. Наладили ли — не знаю. Отсюда, из Европы, Россію не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лѣт. Сыновнее сознаніе не мирится с тѣм, что тамошніе люди жили и живут в политической духотѣ, в ставшем привычным подданствѣ и робком послушаніи. Старшіе приспособились (или лгут? или притворяются? или перемѣнились?), младшіе ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены, от иного міра отдѣлены непроницаемой и непролазной стѣной запретов. То, что нам казалось и было важнѣе и дороже жизни, и посейчас кажется — вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, гдѣ-то напечатать — им то чуждо, незнаемо, незнакомо, не потребно. У курицы какіе-то предки, вѣроятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плаваньи. Животныя в подземных пещерах, никогда свѣта не видавшія, лишены зрѣнія. Рабочій муравей, раб коллектива,

безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он, по своему, может быть счастлив. Жаль людей с'уженнаго кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цѣль жизни — счастье, то возможно, что новыя поколѣнія счастливѣе нашего; мы цѣлью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремленій, возможность их развивать и им слѣдовать. Мы могли ошибаться, но тогда — какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не измѣняя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видѣли в неспокойных снах, будто горстями ѣдим сахар и ломтями малороссійское сало; проснувшись, заѣдали горячій настой брусничнаго листа черным хлѣбом с привкусом пыли и плѣсени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обѣдом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питаніе. Иной дѣлал чудеса: выкармливал в чуланѣ поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана-ли дверь кѣм-нибудь из добрых сосѣдей; у других на кухнѣ, под столом, сидѣла на яйцах курица. На улицѣ солдат-дезертир, побывавшій на югѣ, показывал знаками проходящей хозяйкѣ, что у него есть за пазухой нѣчто рѣдкостное, и хозяйка шмыгала с ним в чужія ворота или темный под'ѣзд, гдѣ солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякшій шоколад, из шаровар мѣшочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмѣн на бѣлье, на штатскую пару, на золотое колечко, — торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот же сложный обмѣн буржуазнаго барахла на масло, картошку, пшено; высшей цѣнностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск котораго нравился наѣзжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стаи кружевную кофточку раззорившейся барыни, бывшій чиновник не

соглашался дешево отдать грамофон. Вдруг появлялся отряд милиціи, и всѣ бѣжали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод; от него худали, хворали, но умирали не так часто. Настоящій голод был в приволжских губерніях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многіе. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними заростали травой. Там были с'ѣдены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, бѣлки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлѣбом считался зеленый, цѣликом из лебеды, хуже — с примѣсью навоза, еще хуже — навозный цѣликом. Еще ѣли глину, и именно тогда было сдѣлано великое открытіе «питательной глины», сѣрой и жирной, которая водилась только в счастливых мѣстностях и была указана в пищу каким то святым угодником. Эта глина насыщала не надолго, но зато могла проходить через кишки, и так человѣк мог прожить цѣлую недѣлю, лишь постепенно слабѣя. Обычная глина, даже если выбрать из нея камешки и песок, насыщала навсегда, от нея человѣк уже не освобождался и уносил ее, вмѣстѣ с горькой жалобой, на тот свѣт для пред'явленія великому Судіи. Но великій Судія только досадливо отмахивался: он был завален серьезными дѣлами о людоѣдствѣ, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россію и русских за военную измѣну и за революцію. С ужасом и презрѣніем писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явленіе, и что выработалось даже право сначала ѣсть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнѣе подвергавшееся порчѣ. Ѣли преимущественно родных, в порядкѣ умиранія, кормя дѣтей постарше, но не жалѣя грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ѣли по отдѣльности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видал голода, хотя к зимѣ страшнаго года был сослан в Казанскую губернію, гдѣ вымирали татарскія селенья.

Вѣрнѣе видѣл я только забредших в город Казань, чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улицѣ человѣческая тѣнь в отрепьях, становилась у стѣны с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячныя, стотысячныя, милліонныя бумажки. Постояв на морозѣ столько то времени, тѣнь опускалась на снѣжную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожіе бросали, не жалѣя, мелкія бумажки. . Это я видѣл. И еще видѣл дѣтей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью американскаго Комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких и твердых». Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в полѣнницѣ, чтобы послѣ предать землѣ. И еще раньше, до Казанской ссылки, я видѣл в Москвѣ коллекцію сортов «голоднаго хлѣба», собранную на мѣстах одним из членов общественнаго Комитета помощи голодающим, — замѣчательную коллекцію суррогатов, которыми пытались питаться милліоны умиравших от голода крестьян; ни в одном музеѣ міра не найти такой коллекціи разноцвѣтных камней и невѣдомых пород, и то, московское собраніе, погибло при арестѣ членов Комитета.

Я мало видѣл, но много слышал в Казани от очевидцев. Из всѣх разсказчиков самым остроумным был слѣдователь, которому вначалѣ были поручены дѣла о людоѣдствѣ; послѣ, когда эти дѣла умножились, их предали забвенію, тѣм болѣе, что большинство «преступников» явиться на человѣческій суд уже не могли. Слѣдователь, человѣк новой формаціи, без всякаго образованія, но уже успѣвшій усвоить казенный «юридическій» язык, возмущенно повѣствовал, как в большой крестьянской семьѣ ѣли умершаго собственной смертью дѣда, котораго перестали кормить. В протокол по этому дѣлу слѣдователь записал: «Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями». Я запомнил эту фразу — она геніальна!

О, я мог бы привести здѣсь много разсказов о голодном

годѣ, — не для русскаго читателя, котораго ничѣм не удивишь, а для иностранца, для того самаго, который строго судил Россію за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаянное сопротивленіе. Мог бы, напримѣр, нарисовать жанровую картину, как кучка полуживых плетется по слѣдам умирающаго, который из послѣдних сил пытается углубиться в лѣс, найти покой своим костям; так точно стая волков преслѣдует раненнаго собрата, подлизывая его кровь на снѣгу. Да, мы люди дикіе, лѣсные. Лѣса наши огромны, селенья рѣдки; по казанской губерніи можно ѣхать на лошади двѣ недѣли, не встрѣтив по дорогѣ ни дома, ни человѣка. Как же вы полагаете, понятно ли было жителям тѣх мѣст, какими дипломатическими обязательствами была связана Россія, во имя чьих интересов должен был оставаться на фронтѣ русскій солдат черемис, мордвин, татарин, вотяк, остяк, самоѣд? Уж и правда — не покривил ли он душой, бросив фронт и ненавистное ружье, истолковав по своему «свободу»? И если сегодня он на тѣх же фронтах борется звѣрем — не случилось ли что-то особенное в Россіи за истекшіе годы?

В Москвѣ на Собачьей Площадкѣ был скромный особняк, в котором приютился общественный Комитет Помощи Голодающим. Неурожай и голод — явленія в Россіи обычныя, но ни одно правительство не могло справляться с ними. Настоящую помощь оказывала только сплоченность общественных сил; при Екатеринѣ Второй с голодом боролись московскіе масоны, при Николаѣ Втором — люди, созванные Львом Толстым. Правительство, вышедшее из октябрьской революціи, сильное в террорѣ, было безсильно спасти от смерти милліоны приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москвѣ образованье общественнаго Комитета с участіем представителей правительства. Если кто-нибудь успѣл записать краткую исторію этого Комитета, то он разсказал, как нѣсколькихъ дней оказалось достаточно, чтобы в голодныя губерніи отправились поѣзда картофеля, тонны ржи, возы овощей — из центра и Сибири, как в кассу общественнаго Комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотѣли да-

вать Комитету оффиціальному. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполнѣ уничтоженными кооперативами, и общественный Комитет, никакой властью не облеченный, опиравшійся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряженія, которыя исполнялись с готовностью и радостно всѣми живыми силами страны. Он мог спасти — и спас — милліоны обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей Россіи, подорвав их престиж; о нем уже заговорили, как о новой власти, которая спасет Россію. Екатерина Вторая разбила московское масонство, Николай Второй преслѣдовал работавших на голодѣ интеллигентов; октябрьская власть должна была убить Комитет прежде, чѣм он разовьет работу. В Приволжьѣ погибло пять милліонов человѣк, но политическое положеніе было спасено.

В домѣ на Собачьей Площадкѣ очередное засѣданіе Комитета, но не пріѣхал предсѣдатель, народный комиссар Каменев, раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер, знаменитой революціонной старушкой, выдержавшей двадцатилѣтнее одиночное заключеніе в Шлиссельбургской крѣпости, строгой, серьезной, не утратившей вѣры в революцію. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, и мнѣ придется провожать вас под-ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в тѣ дни, и я втайнѣ жалѣл, что не уѣхал, по зову пріятеля, в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты Комитета, единственной независимой газеты, которая была разрѣшена; ея третій номер был набран, и гранки лежали в моем портфелѣ, — газета без тѣни политики, цѣликом посвященная информаціи о голодѣ и принимаемых нами мѣрах. Гудят у под'ѣзда моторы, и впереди других черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадили, нас повезли в прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это разстрѣл?» — Я кивнул головой увѣренно. Иначе — какой же смысл в арестѣ? Чѣм его оправдать? Нас нужно об'явить врагами революціи и уничтожить! Тюрьма

на Лубянкѣ не приготовлена к пріему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнатѣ, служившей раньше торговой конторой, вмѣстѣ, мужчины и женщины, все — люди на возрастѣ или уже старые, общественные работники, кооператоры, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшіе члены Государственной Думы, бывшіе министры при Временном Правительствѣ, вообще -- бывшіе люди. Большинство впервые в тюрьмѣ и не знает, что дѣлать. Я знаю хорошо по прежнему опыту: нахожу уголочек почище, ложусь на пол и засыпаю под возбужденные разговоры. Утро вечера мудренѣе, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камерѣ лубянской тюрьмы, гдѣ, до ссылки, я просидѣл два с половиной мѣсяца за посильное участіе в борьбѣ с посѣтившим Россію голодом. Камера была одиночная, но сидѣло в ней то шесть, то семь человѣк разных званій и по разным дѣлам: два члена Комитета, бывшій морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец, старый крестьянин, продавшій на базарѣ пуд муки, коммунист-комендант, не угодившій начальству, еще неопредѣленныя лица, может быть подсаженныя слушать наши бесѣды. Сидѣли недѣли по двѣ-три, потом исчезали, замѣняясь новыми. Я пересидѣл других. Надзиратели были латыши, низколобые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в уборную, на что полагалось десять минут, вмѣстѣ с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общенія между камерами и с внѣшним міром; в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа; вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный разстрѣлян, но прямо об этом не сообщалось. Не разстрѣлянный в первую недѣлю, я считал, что опасность прошла, и сидѣл спокойно. Иногда водили на допрос,

но допрашивать было в сущности не о чем, отвѣчать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как Комитет старательно избѣгал всякой политики и вся дѣятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР — контрреволюціонеры; у половины арестованных членов Комитета было не малое революціонное прошлое, но это дѣла не мѣняло. До ссылки я не знал, что был, в числѣ шестерых, намѣчен к «ликвидаціи», от которой нас спасло заступничество Фритіофа Нансена. Я никогда не видѣл этого замѣчательнаго человѣка, память котораго чту независимо от того, что обязан ему жизнью. Вмѣсто разстрѣла, всѣ шестеро были сосланы в глухіе провинціальные мѣстечки; мнѣ на долю выпал Царевококшайск, гиблое лѣсное поселеніе казанской губерніи, жители котораго гнали смолу и, по веснѣ, когда вскрывались рѣки, сплавляли до Волги лѣс; доѣхать туда мнѣ не привелось по болѣзни, задержавшей меня в городѣ Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камерѣ было холодно и сыро; отопленіе не дѣйствовало. Чтобы поправить его прислали в камеру рабочих, которые, по неопытности, вмѣсто починки, затопили нашу комнату горячей водой. Пришлось просидѣть сутки, подобрав ноги; затѣм вода просочилась под пол, и этим дѣло кончилось. Отопленія так и не поправили, и у нас зацвѣли зеленой плѣсенью деревянные доски, служившіе постелью, соломенные тюфяки, стѣны, одежда, обувь, легкія. Ноябрь был морозный и я разсчитал, что в такой обстановкѣ, если даже не приключится острой болѣзни, до весны не дожить; вѣсть о ссылкѣ была настоящим освобожденіем и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили на грузовик и доставили на вокзал. В вагонѣ отвели отдѣльное купе троим ссыльным (со мной ѣхали два извѣстных кооператора, члены Комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправкѣ, потерять мѣшок с нашими и своими документами и всѣм продовольствіем. Это тоже было удачей, так как теперь было неизвѣстно, кто кого везет. В вагонѣ отопленія

не было, стекла были разбиты, и меня, очень больного, товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряженіи; путь до Казани — трое суток и путь страшный: вагоны кишѣли вшами, по Россіи гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ѣхали весело, подсмѣиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Пріѣхав в Казань, мы отказались итти с вокзала в мѣстную Чека и направились в дом кооперативов, гдѣ были встрѣчены ласково и предупредительно. И нас и конвойных накормили так, как мы давно не ѣли, — горячими щами, в которых плавали куски жирнаго мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одѣялами. На утро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, гдѣ не знали, что с нами дѣлать — никаких препроводительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поѣзд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Не даром, по новой россійской модѣ, мы всѣ называли друг друга товарищами; слово «гражданин» еще не вошло в обычай. Я был слаб, но чистый воздух и нѣкоторое подобіе свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолѣвая припадки ишіаса, я не без удовольствія бродил по улицам Казани, знакомой по прежним наѣздам. Недѣли через двѣ мои спутники, сами раздобыв лошадь и сани, в сопровожденіи новых конвойных, поѣхали дальше в Царевококшайск; мнѣ было разрѣшено остаться в городѣ до поправки. С провинціальными властями вообще можно было ладить, тѣм болѣе, что они нас нѣсколько побаивались: сегодня — ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положенія; о работѣ нашего Комитета здѣсь, в голодной губерніи, говорили с почтеніем. Слабо понимали, что произошло в Москвѣ и почему мы высланы. Я был нѣсколько поражен неожиданными визитами ко мнѣ казанцев, в том числѣ молодого человѣка, преподнесшаго мнѣ свой «ученый труд» —

тонкую брошюрку по экономическому вопросу — с очень почтительной надписью; он оказался коммунистом, профессором казанскаго университета. Навѣстнли меня и мѣстные поэты и художники, — в Москвѣ на это никто не рѣшился бы. Немного поправившись, я снял комнату в полуразрушенном большом домѣ, гдѣ оказалась превосходная печь, купил на базарѣ воз березовых дров, соорудил из досок отличный письменный стол, устлал пол и завѣсил окна новой рогожей н зажил барином. Кооператив, снабжавшій меня всѣм необходимым, нашел мнѣ и службу по книжной части, синекуру, за которую я послѣ отблагодарил его устройством в Казани книжнаго магазина, — всѣ прежніе были разграблены и уничтожены.

Россія того времени была полна противорѣчій; провинціальный ссыльный город — тѣм болѣе. Читатель будет удивлен, если я ему скажу, что мнѣ удалось в Казани, вмѣстѣ с мѣстнымн молодыми силами, издавать литературную газету — лишь с видимостью цензуры, при этом частную, хотя бумагу она получала нз каких-то реквизированных складов. Все хозяйство газеты наладил, пользуясь знакомствами, двадцатнлѣтній юноша, снмпатичный н нелѣпый мѣстный поэт с забавным прошлым. В первые дни коммуннстическаго переворота он оказался пламенным дѣятелем — слѣдователем Чека, облеченным огромной властью. Но он по своему понимал революцію, н когда ему прислали список арестованных, подлежащих допросу и, независимо от его исхода, разстрѣлу, он возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человѣк, освободить; они успѣлн скрыться, а его лишили должности. Он разсказывал об этом с возмущеніем: «развѣ коммунизм не есть царство свободы и независимости?». Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских пнсателей, мною приглашенных. Редактируя газеты, я не подписывался и свое участіе скрывал; но какой-то номер попал на глаза московских властей, н газету, конечно, прихлопнули — без личных для нас послѣдствій. Ссыльный, я предсѣдательствовал на литературных бесѣдах-

митингах в казанском университетѣ, об'явленном «свободной ареной», получил безплатно постоянное кресло перваго ряда в мѣстном театрѣ, гдѣ режиссером был мой московскій пріятель, и медицинскій «институт имени Ленина», маленькое аховое учрежденіе, по моей просьбѣ выдал мнѣ удостовѣреніе о «болѣзни, требующей для поправки перемѣны климата, желательно на климат московскій, как наиболѣе умѣренный». Все это не мѣшало мнѣ оставаться в званіи «врага народа» и даже подвергнуться однажды ночному обыску. «Да что вы у меня ищете?» — «Предписано обыскать, а что, мы и сами не знаем». — «Кѣм предписано?» — «Из Москвы телеграмма. Вы нам дайте, что есть». — «У меня ничего нѣт вам нужнаго». — «Ну, дѣлать нечего, мы так и отвѣтим». Получили по папиросѣ и ушли. Вы скажете: странное добродушіе. Не добродушіе, а нелѣпость; со мной случилось так, но та же самая казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В началѣ революціи то же случалось и в самой Москвѣ. Мнѣ пришлось однажды, как представителю Союза Писателей, хлопотать за товарища, сидѣвшаго в тюрьмѣ одесской Чека, которому грозил разстрѣл (хотя он был рѣшительно ни в чем не повинен). Нужно было непремѣнно добиться перевода его в Москву, гдѣ было легче его спасти. Для этого требовались какія-то подписи троих отвѣтственных коммунистов. Двѣ были найдены, для третьей мнѣ указали на «комиссара» (всѣх тогда называли комиссарами), довольно свирѣпой репутаціи, из простых рабочих, который, будто бы, уважал литераторов. Я нашел к нему ход и он пригласил меня прійти к нему на квартиру в очень поздній час, почти ночью Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорѣе бѣдная; «комиссар» в русской рубашкѣ навыпуск, в кухнѣ возится жена. Стол накрыт, (хотя и без скатерти) для закуски; в центрѣ бутылка водки. Комиссар явно доволен, что принимает писателя. Прежде всего — выпить. Если бы он жил с тѣм шиком, как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться; но дѣло шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; при том скромность об-

становки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; комиссар не интересовался, о ком идет рѣчь; он разсказывал о себѣ, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образованіе, и как теперь послѣ революціи, все пойдет по иному. Всякій будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознанья не утратившій, рѣзко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы не гордый человѣк; а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоцѣнный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя, впослѣдствіи застрѣлившагося. Но, по крайней мѣрѣ, он сам рѣшил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал разсказ о своей ссылкѣ в стилѣ хроники. Но в сущности для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в Россіи, рвался в нее из эмиграціи, вѣрил в революцію, оправдывал в ней слишком многое. И вот я — врагъ народа, контрреволюціонер; опять тюрьмы, опять ссылки, все, уже испытанное при царском режимѣ, в той же послѣдовательности, с тѣми же знакомыми подробностями. Снова бѣжать заграницу? Но она менѣе всего меня привлекала, и это уже не прежняя Европа, война неизбѣжно измѣнила ея лицо. В чем то мы ошиблись. Хроника жизни дѣлается невыносимой. Если бы можно было уйти в мір образов, совсѣм не видѣть того, что дѣлается вокруг, совсѣм не участвовать в суетѣ жизни! Невыносимо, когда исторія начинает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом — воздух становился смолистым, и я видѣл себя лѣтом в лѣсу, в деревнѣ Ягарьѣ, куда меня возили в дѣтствѣ. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечѣм и вѣрить, кажется, не во что.

(Окончаніе слѣдует)

Мих. Осоргин.

ТАНЯ

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помѣщицы Казаковой, ей шел восемнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было замѣтно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькія груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ея простое лицо было только миловидно, а сѣрые крестьянскіе глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безразсудно, отдыхал только в деревнѣ, заѣзжая раза два-три в году в свои мѣста, в усадьбу Казаковой, имѣл особенно много случайных любовных встрѣч и связей — и как к случайной отнесся и к связи с ней...

Она скоро примирилась с тѣм роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в ту осеннюю ночь, нѣсколько дней плакала, но с каждым днем все больше убѣждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милѣе и дороже; в минуты близости, которыя вскорѣ стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи как об их общем завѣтном прошлом.

Он сперва и вѣрил и не вѣрил:

— Неужто, правда, ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

— Да развѣ вы не чувствовали, что я сплю, развѣ не знаете, как ребята и дѣвки спят?

— Если бы я знал, что ты, правда, спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

— Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой послѣдней минуточки! Только как это вам вздумалось придти ко мнѣ? Пріѣхали и даже не взглянули на меня, только уж

вечером спросили: ты, вѣрно, недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут? и потом сколько времени смотрѣли будто без всякаго вниманія. Значит, притворялись?

Он отвѣчал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду: все вышло и для него совсѣм неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заѣхал к Казаковой, прожил недѣли двѣ в успокоительной простотѣ ея усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уѣзжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ѣздил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и по голым перелѣскам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, с'ѣл за ужином сковороду битков в сметанѣ, выпил графинчик водки и нѣсколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном мужѣ и о своих двух сыновьях, служивших в Орлѣ. Часов в десять дом, как всегда, был уже темен, только горѣла свѣча в кабинетѣ за гостиной, гдѣ он жил, пріѣзжая. Когда он вошел в кабинет, она со свѣчей в рукѣ стояла на его постели на тахтѣ на колѣнях, водя горящей свѣчей по бревенчатой стѣнѣ. Увидав его, она сунула свѣчу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

— Что такое? — сказал он, оторопѣв. — Постой, что ты тут дѣлала?

— Клопа жгла, — отвѣтила она быстрым шепотом. Стала оправлять вам постель, гляжу, а на стѣнѣ клоп...

И со смѣхом убѣжала.

Он посмотрѣл ей вслѣд и, не раздѣваясь, сняв только длинные сапоги, прилег на стеганное одѣяло на тахтѣ, надѣясь еще покурить и что-то подумать, — засыпать в десять часов было непривычно, — и тотчас заснул. На минуту очнулся, безпокоясь сквозь сон от дрожащаго огня свѣчи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным свѣта, стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумракѣ возлѣ тахты туфли и пошел в сосѣднюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее

крыльцо. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освѣщенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большія бревенчатыя сѣнцы. В этой прихожей, против высокаго окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, гдѣ всегда жили горничныя. Дверь в перегородкѣ была пріотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидал ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашкѣ и в бумазейной юбченкѣ, — под рубашкой круглились ея груди, босыя ноги были заголены выше колѣн, правая рука, откинутая к стѣнѣ, и лицо на подушкѣ казались мертвыми... Спичка погасла. Он постоял и осторожно подошел к кровати...

То волненіе, которое он испытал послѣ того, было очень живо и сильно.

Выходя через темныя сѣнцы на крыльцо, он думал:

— Как странно, как неожиданно! И неужто она, правда, спала?

Воображеніе его было полно безпорядочными, быстрыми мыслями.

— Ах, нехорошо, жестоко! Но до чего она прелестна!

Он постоял на крыльцѣ, пошел по двору... И ночь какая-то странная. Широкій, пустой, свѣтло освѣщенный высокой луной двор. Напротив сараи, крытые старой окаменѣвшей соломой, — скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на сѣверном небосклонѣ медленно расходятся таинственныя ночныя облака — снѣговыя мертвыя горы. Над головой только легкія бѣлыя, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дѣло выходит на темно-синія прогалины, на звѣздныя глубины неба, и еще ярче и страннѣе озаряет крыши и двор. И все как-то странно в своем ночном существованіи, отрѣшенном от всего человѣческаго, безцѣльно сіяющее. И странно еще потому, что он будто в первый раз видит весь этот ночной осенній мір...

Он сѣл возлѣ каретнаго сарая на подножку тарантаса, закиданнаго засохшей грязью. Собственно, ничего особеннаго не произошло и таких неожиданностей было в его жизни не мало... Но нѣт, все-таки не таких.

Было по осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, безстрастна и благостна и как-то удивительно соединялась с тѣми чувствами, что унес он от этого неожиданнаго соединенія с полудѣтским женским существом.

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто-бы только в эту минуту почувствовав и поняв то, что случилось. Но, может быть, не будто-бы, а дѣйствительно? Все тѣло ея поддавалось ему как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: «Послушай, не бойся...» Она не слыхала, или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцѣловал ее в горячую щеку — она никак не отозвалась на поцѣлуй, и он подумал, что она молча дала ему согласіе на все, что за этим может послѣдовать.

— А если притворства не было? — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь.

Когда она тихо зарыдала, — сладко и горестно, — он с чувством не только животной благодарности за неожиданное счастье, которое она ему дала, сама не зная, не понимая того, но и восторга, любви стал цѣловать ее в лицо, в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чѣм-то простым, деревенским, дѣвичьим. И она, рыдая, вдруг отвѣтила ему женским безсознательным порывом — крѣпко обняла его за шею и прижала к себѣ, как ребенка. Кто он, — она не знала, но все равно — это был тот, с кѣм она в нѣкій срок должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость — обоюдная — совершилась и уже ничѣм в мірѣ расторгнута быть не может, и он навѣки унес ее в себѣ, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое свѣтлое царство вмѣстѣ с нею, с этой близостью...

Как он мог, уѣзжая, вспоминать ее только случайно, забывать ея милый простосердечный голосок, ея то радостные, то грустные, но всегда любящіе, преданные глаза, как он

мог любить других и нѣкоторым из них придавать больше значеніе, чѣм ей!

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

— Что это ты такая, Таня?

Она покорно отвѣтила:

— Мало-ли у меня горя, барыня...

Казакова сказала ему, когда она вышла:

— Да, конечно, сирота, без матери, отец нищій, безпутный мужик.

Перед вечером, когда она ставила на крыльцѣ самовар, он, проходя, сказал ей:

— Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ни чему не поможешь...

Она отвѣтила, суя в трубу самовара пылающія щепки:

— Как бы, правда, полюбили, все бы легче было...

— Правда, правда! — сказал он уже искренно.

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмѣло спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснѣв, прошептала:

Отойдите за ради Господа. Того гляди, старуха зайдет...

Какая старуха?

— Да старая горничная, будто не знаете!

— Я к тебѣ нынче ночью приду..

Ее точно обожгло, — первое время старуха приводила ее в ужас:

— Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

— Ну, не надо, не бойся, не приду, — сказал он поспѣшно.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком

бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чѣм свѣт, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обѣдом Казакова сказала:

— Что дѣлать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцію. Может, ты бы с'ѣздил?

Он, сдержав радость, отвѣтил с притворной небрежностью:

— Что ж, охотно проѣдусь.

Старая горничная, подававшая на стол, нахмурилась:

— За что ж вы, сударыня, хотите дѣвку на вѣк осрамить? Что ж послѣ этого начнут говорить про нее по всему селу?

— Ну поѣзжай сама, — сказала Казакова. — Что-ж ей, пѣшком что ли восемь верст со станціи идти.

Около четырех он выѣхал, в шарабанѣ, на старой высокой черной кобылѣ, и, боясь опоздать к поѣзду, погнал ее за селом шибко, подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей и отсырѣвшей дорогѣ, — послѣдніе дни были влажные, туманные, а в тот день туман был особенно густ: еще когда он ѣхал по селу, казалось, что наступает ночь и в избах уже видны были дымно-красные огни, какіе-то дикіе за сизостью тумана. Дальше, в полѣ, стало совсѣм почти темно и уже непроглядно. Навстрѣчу тянуло холодным вѣтром и мокрой мгой. Но вѣтер не разгонял тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нѣт ничего — конец міра и всего живого. Картуз, чуйка, рѣсницы, усы, все было в мельчайшем мокром бисерѣ. Черная кобыла косо, размашисто неслась вперед, точно наудачу, безнадежно, шарабан подскакивал по скользким колчам, бил ему в грудь. Он приловчился и закурил — сладкій, душистый, теплый человѣческій дым папиросы смѣшался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокраго, голаго поля. И все темнѣло, все мрачнѣло вокруг, вверху и внизу, — почти не видно стало смутно темнѣющей длинной шеи

лошади, ея настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади — единственному живому существу в этой пустынѣ, в мертвой враждебности всего, что справа и слѣва, впереди и сзади, всего того невѣдомаго, что так зловѣще скрыто в этой все гуще и чернѣе бѣгущей на него дымной тьмѣ...

Когда он в'ѣхал в деревню при станціи, его охватила отрада от жалких огней в убогих окошечках, от их ласковаго уюта, а на станціи все вокзальное показалось совсѣм иным міром, живым, бодрым, городским. И не успѣл он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу свѣтлыми окнами поѣзд обдав сѣрным запахом каменнаго угля. Он побѣжал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидал, как вошла она, по городскому одѣтая, из противоположных дверей, вслѣд за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок: вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освѣщавших его, а она вся сіяла возбужденными глазами, юностью взволнованнаго необычным путешествіем лица, и сторож что-то говорил ей на вы. И она вдруг встрѣтилась с ним глазами и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

— Таня, — поспѣшно сказал он, здравствуй, я за тобой, некого было послать...

Был ли когда-нибудь у нея в жизни столь счастливый вечер! Он сам пріѣхал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себѣ не мог, видя меня всегда только в старой юбченкѣ, в ситцевой бѣлной кофточкѣ, — у меня лицо как у модистки под этим шелковым бѣлым платочком, я в новом гарусном коричневом платьѣ под модной суконной жакеткой, на мнѣ бѣлые бумажные чулки и новые полсапожки с мѣдными подковками! Вся внутренно дрожа, она постаралась заговорить с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: «Ох, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики!» Вся замирая от радостнаго страха, высоко подняла она платье над бѣлой коленко-

ровой юбкой, чтобы сѣсть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и сѣла рядом с ним будто равная ему и неловко подобралась от кульков в ногах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-гдѣ низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги, и она не смѣла слова проронить, ужасаясь его молчанію: уж не разсердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выѣхав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в лѣвую руку и сжал правой ея плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакеткѣ, бормоча и смѣясь:

— Таня, Танечка.

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щекѣ шелковым платком, нѣжным, пылающим лицом, полными горячих слез рѣсницами. Он нашел ея мокрыя от радостных слез губы и, остановив лошадь, с минуту не мог оторваться от них. Потом как слѣпой, не видя ни зги в туманѣ и мракѣ, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себѣ за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и ощупью легла на чуйку, уже как бы на вѣки отдавая ему не только все свое тѣло, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.

Он опять отложил свой от'ѣзд.

Она знала, что это ради нея, она видѣла, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, как со своим тайным другом в домѣ, она радостно чувствовала все это и перестала бояться его, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнѣе и проще в любовныя минуты — она быстро приладилась к нему и не из подражательности только. Она вся измѣнилась с той быстротой, на какую способна молодость, сдѣлалась ровна, обыденна, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцѣлуями: «Ах, Господи, проходу мнѣ от вас нѣту!

Чуть завидит меня одну — сейчас ко мнѣ!» и это доставляло ей особенно радостное счастье: значит, он любит меня, значит, он совсѣм мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

— Слава Богу, нѣту никаких работ на гумнѣ у нас, а то были бы дѣвки, я бы вам показала, как ходить к ним! — говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

— Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. Послѣ туманов завернул морозный сѣверный вѣтер, сковал маслянистыя колчи дорог, окаменил землю, сжег послѣднюю траву в саду и на дворѣ. Пошли бѣлесо-свинцовыя тучи, совсѣм обнажившійся сад шумѣл безпокойно, торопливо, точно убѣгал куда-то, ночью бѣлая половинка луны так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бѣдны и грубы. Потом стал порошить снѣг, убѣляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видныя из нея окрестныя поля стали сизо-бѣлы и просторны. На деревнѣ кончали послѣднюю работу — ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирали их, отбрасывая гнилыя. Как-то он пошел пройтись по деревнѣ, надѣв поддевку на лисьем мѣху и надвинул мѣховую шапку. Сѣверный вѣтер трепал ему усы, жег щеки. Надо всѣм висѣло угрюмое небо, сизо-бѣлое покатое поле за рѣчкой казалось очень близким. В деревнѣ лежали на землѣ возлѣ порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидѣли, работая, бабы и дѣвки, закутанныя в пеньковыя шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посинѣвшими лицами и руками.

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящій самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

— Это вы, вѣрно, на деревню ходили, там дѣвки картошки перебирают... Что-ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себѣ какую получше.

И, сдерживая слезы, выскочила в сѣнцы.

К вечеру густо, густо повалил снѣг, и, пробѣгая мимо него по залу, гдѣ обѣдали и ужинали, на бѣгу накрывая на стол, она взглянула на него с неудержимым дѣтским весельем и, дразня, шепнула:

— Что, много теперь нагуляетесь! Да то-ли еще будет — собаки по всему двору катаются — понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

«Господи, подумал он, как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уѣду!»

И ему страстно захотѣлось быть как можно скорѣе в Москвѣ. Мороз, мятель, на площади перед Большим Московским, против Иверской, парные голубцы с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокій электрическій свѣт фонарей в снѣжных вихрях... В ресторанах блещут люстры, разливается струнная музыка, и вот он, кинув мѣховое оснѣженное пальто на руки швейцарам, вытирая бѣлоснѣжным платком мокрые от снѣга усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагрѣтую людную залу, в говор, в запах кушаній и папирос, в суету лакеев и все покрывающія, то распутно-темныя, то залихватски-бурныя струнныя волны...

Весь ужин он не мог поднять глаз на ея беззаботную бѣготню, на ея успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надѣл валенки, старую енотовую шубу покойнаго Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу — дохнуть воздухом, посмотрѣть на нее. Но под навѣс крыльца уже нанесло цѣлый сугроб, в котором он споткнулся и набрал цѣлые рукава снѣга, дальше был сущій ад, бѣлое несущееся бѣшенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца, и, топая, отряхиваясь, вбѣжал в темныя и ледяныя сѣнцы, гудѣвшія от бури, потом в теплую прихожую, гдѣ на рундукѣ горѣла свѣча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазейной юбченкѣ, всплеснула руками:

— Господи! Да откуда-же это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом,

и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком-же восторге вырвалась, схватила вѣник и стала обивать его бѣлые от снѣга валенки и тащить их с ног:

— Господи, и там полно снѣгу! Вы на-смерть простудитесь!

Он поймал ея руки и, к пущему ужасу и восторгу ея, стал цѣловать их, потом в одних носках убѣжал в кабинет.

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снѣгом на ставни, потрясая их, — и падает, отдаляется, шумит ослѣпительно... Ночь кажется безконечной и сладкой — тепло постели, тепло стараго дома, одинокаго в бѣлой тьмѣ несущагося снѣжнаго моря...

Утром показалось, что это ночной вѣтер со стуком распахивает ставни, бьет ими в стѣны — открыл глаза — нѣт, уже свѣтло и отовсюду глядит в залѣпленныя снѣгом окна бѣлая, бѣлая бѣлизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолкѣ лежит ея бѣлый отсвѣт. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны два старых окна с двойными почернѣвшими от времени рамами в мелкую клѣтку. Третье, лѣвое от изголовья, окно бѣлѣе и свѣтлѣе всего. На потолкѣ этот бѣлый отсвѣт, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая разгорающимся огнем мѣдная дверка печки — как хорошо — он спал, ничего не слыхал, а Таня, нѣт Танечка, вѣрная, любимая, тихо вошла в валенках, вся холодная, в снѣгу на плечах и на головѣ, закутанной пеньковым платком, и, став на колѣни, затопила. И тотчас отворилась одна половинка высоких дверей в гостиную и вошла она, неся поднос с чаем — голова уже раскрыта, дѣвичье простое лицо ровнаго яблочнаго цвѣта, глаза открыто-милые, под подолом валенки. С чуть замѣтной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его по утреннему ясные, со сна точно удивленные глаза:

— Что-ж вы так заспались?

— А который час?

Посмотрѣла на часы на столикѣ и не сразу отвѣтила — до сих пор не сразу понимает, который час:

— Девять... без десяти минут девять...

Взглянув на дверь, он потянул ее к себѣ за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

— Никак нельзя, всѣ проснулись...

— Ну, на одну минутку! Притвори дверь...

— Старуха из прихожей увидит...

— Никто не увидит — на одну минуту!

— Ах, наказанье мнѣ с вами!

Быстро вынув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь, рядом... Ах, этот постоянный запах ея головы, шеи, лица, дыханія! Прижав к себѣ, он стал цѣловать ее, сердито шепча:

— Опять ты цѣлуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

— Я не барышня...

И они уставились друг другу в глаза — пристально и безсмысленно, выжидательно.

— Петруша...

— Молчи. Зачѣм ты говоришь всегда в это время?

— Да когда ж мнѣ и поговорить с вами, как не в это время! Я не буду больше губы сжимать... Поклянитесь, что у вас никого нѣту в Москвѣ...

— Не тискай меня так за шею...

— Никто в жизни не будет вас так любить... Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не нарадуюсь на себя... А если вы меня бросите...

Выскочив с горячим лицом под навѣс заднего крыльца на сугробы и вьюгу, она, стоя, присѣла на минуту и кинулась навстрѣчу бѣлым вихрям на парадное крыльцо, утопая выше голых колѣн.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундукѣ под высоких окном в снѣгу до верху, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

Куда это тебя носило? Вся в снѣгу вывалялась.

Петру Николаевичу чай носила.
Что ж ты ему в людскую что ль носила?
Я через заднее крыльцо побѣжала.
Знаем мы твой чай.

— Ну знаете, и на здоровье. Барыня встали?

— Хватилась! Пораньше тебя.

— И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку за своей чашкой и чуть слышно запѣла там:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свова милаго встрѣчать...

Днем, сидя в кабинетѣ за книгой, слушая все тот-же то слабѣющій, то угрожающе растущій шум вокруг дома, все больше тонущаго в снѣгах среди со всѣх сторон несущейся молочной бѣлизны, он думал: как стихнет, так уѣду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попознѣе, когда дом крѣпче всего спит, — на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тѣм слаще. И не надо будет спѣшить убѣгать... То-же чувствовал и он. И волновала еще жалость к ней: и не знает, что это их послѣдняя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревогѣ просыпался: рѣшится ли придти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трясутся ставни, в печкѣ то и дѣло гудит... Вдруг он в страхѣ очнулся: не услыхал, — услыхать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темнотѣ по дому, нельзя было, — а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул к ней руки. Она молча нырнула под одѣяло к нему. Он слышал, как стучит ея сердце, чувствовал ея озябшія босыя ноги и крѣпко обнял ее всю, шепча самыя горячія слова, какія только мог найти и выговорить.

Они долго лежали так. Она помнила, что он не велѣл ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его, как галченок.

— Ты, небось, совсѣм не спала?

Она отвѣтила радостным шепотом:

— Ни минуточки. Все ждала...

Нашарив на столикѣ спички, он зажег свѣчу, перебѣжал к дверям в гостиную, запер их на ключ и опять прыгнул в постель. Она в недоумѣніи смотрѣла на него во всѣ глаза:

— Петруша, что ж это вы сдѣлали? А ну-ка старуха придет, попробует дверь, хватится меня, — вѣдь она знает, что вы никогда не запираетесь?

— Чорт с ней, — сказал он, глядя на ея юбченку, маленькія голыя ступни и раскраснѣвшееся личико. — Чорт с ней, я хочу видѣть тебя...

Взяв ее, он не спускал с нея глаз. Она прошептала:

— Я боюсь, — что это вы на меня так смотрите?

— Да то, что лучше тебя на свѣтѣ нѣт. Эта головка, с этой маленькой косой вокруг нея, как у молоденькой Венеры...

Глаза ея засіяли смѣхом, счастьем:

— Какая это Винера?

— Да уж такая... И эта рубашенка...

— А вы купите мнѣ миткалевую... Вѣрно, вы правда меня очень любите!

— Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей...

— Отчего-ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время... а теперь... сами говорите...

Она начала все крѣпче прижимать его к себѣ, хотѣла еще что-то сказать и уже не могла...

Потом он потушил свѣчу и долго лежал молча, курил и думал: и все таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

Танечка...

— Что? — так же таинственно спросила она.

— Вѣдь мнѣ надо уѣзжать...

Она даже поднялась:

— Когда?

— Все таки скоро... очень скоро... У меня есть неотложныя дѣла...

Она упала на подушку:

— Господи!

Его какія-то дѣла гдѣ-то там, в какой-то Москвѣ, внушали ей нѣчто вродѣ благоговѣнія. Но как-же все таки разстаться с ним ради этих дѣл? И она замолчала, быстро и безпомощно ища в умѣ выхода из этого неразрѣшимаго ужаса. Выхода не было. Хотѣлось крикнуть: «Возьмите меня с собой!» Но она не смѣла — развѣ это возможно?

— Не могу же я вѣк тут жить...

Она слушала и соглашалась: да, да...

— Не могу же я взять тебя с собой...

Она вдруг отчаянно выговорила:

Почему?

Он быстро подумал: «Да, почему, почему?» И поспѣшно отвѣтил:

— У меня нѣт дома, Таня, я всю жизнь ѣзжу с мѣста на мѣсто. В Москвѣ живу в номерах...

Зачѣм?

— Затѣм, что я такой родился. И никогда не женюсь...

— Ни на ком, никогда?

Он почувствовал, что она хватается хоть за это единственное утѣшеніе, и повторил:

— Ни на ком, никогда!

И стал горячо говорить:

— Даю тебѣ честное слово, мнѣ, ей Богу, необходимо, очень важныя и неотложныя дѣла. К Рождеству непремѣнно пріѣду, клянусь тебѣ чѣм хочешь...

Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

Ну, я пойду... Скоро свѣтать начнет...

И, поднявшись, стала в темнотѣ крестить его:

— Сохрани вас Царица Небесная, сохрани Матерь Божія!

Прибѣжав к себѣ за перегородку, она сѣла на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул мятели в сѣнцах:

— Господи Батюшка! Царица Небесная! Дай, Господи, чтобы не утихало хоть еще дня два!

Это вот тут, на этой постели, совершилось первое счастье их близости, самое дорогое и невозвратимое...

Через два дня он уѣхал, — еще проносились по двору утихающіе вихри, но он не мог больше длить тайное мученіе ея и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустѣли, умерли. И представить себѣ Москву и его в ней, его жизнь там, его какія-то дѣла не было никакой возможности.

На Рождество он не пріѣхал. Что это были за дни! В какой тупой мукѣ неразрѣшаюшагося ожиданія, в каком жалком притворствѣ перед самой собой, будто и нѣт никакого ожиданія, шло время с утра до вечера! И всѣ святки она ходила в самом лучшем своем нарядѣ — в том платьѣ, в той бѣлой коленкоровой юбкѣ и в тѣх полсапожках, в которых он встрѣтил ее тогда осенью на вокзалѣ, в тот незабвенный вечер...

На Крещенье она почему-то твердо вѣрила, что вот-вот покажутся из под горы мужицкія санки, которыя он наймет на станціи, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, — Казакова уѣхала в гости к сосѣдям, старуха обѣдала в людской, сидѣла там и послѣ обѣда, наслаждаясь злословіем перед кухаркой. А она даже и обѣдать не ходила, сказала, что живот болит...

Но вот стало вечерѣть. Она взглянула еще раз на пустой

двор в блестящем настѣ и поднялась, твердо сказав себѣ: конец, никого мнѣ больше не нужно, ничего больше не желаю я ждать! - - и пошла, наряженная, гуляющим шагом, по залу, по гостиной, в свѣтѣ зимней желтой зари из окон, громко и беззаботно запѣла — с облегченіем конченной жизни:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свова милаго встрѣчать...

И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидала его пустую тахту, пустое кресло возлѣ письменнаго стола, гдѣ когда-то сидѣл он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича на весь дом: «Царица Небесная, пошли мнѣ смерть!»

Он пріѣхал в февралѣ — когда она уже совсѣм похоронила в себѣ всякую надежду увидать его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидав ее, — так похудѣла и поблекла она вся, так несмѣлы и грустны были ея глаза. Поразилась и она в первую минуту: и он показался ей как будто другим, постарѣвшим, чужим и даже непріятным — усы у него стали как будто больше, голос грубѣй, его смѣх и разговор, пока он раздѣвался в прихожей, были не в мѣру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза... Но оба постарались скрыть все это друг от друга и вскорѣ все пошло по прежнему. Она чувствовала себя как будто совсѣм прежней и опять обыденно успокоилась, опять стала прибѣгать к нему тайком — оглядываясь, шепча: «Ах, наказанье мнѣ с вами!» От всей души повторяла она себя прежнюю и все прежнее.

Потом стало подходить страшное время — время его отъѣзда. Он поклялся ей на образ, что пріѣдет к Святой и

уже на цѣлое лѣто. Она повѣрила; но подумала: «А лѣтом что будет? Опять то же, что теперь?» Этого ей было уже мало — нужно было или совсѣм, совсѣм прежнее, а не повтореніе, или нераздѣльная жизнь с ним, без разлук, без новых мученій, без стыда напрасных ожиданій. Но она постаралась прогнать от себя эту мысль, постаралась представить себѣ все то лѣтнее счастье, когда столько будет им свободы вездѣ —ночью и днем, в саду, в полѣ, на гумнѣ, и он будет долго, долго возлѣ нея...

Наканунѣ его новаго от'ѣзда ночь была уже предвесенняя, свѣтлая и вѣтреная. За домом волновался сад и все долетал оттуда разносимый вѣтром злой и безпомощный, отрывистый лай собак над ямой в елках. Там сидѣла лисица, которую поймал в капкан и принес на барскій двор лѣсник Казаковой.

Он лежал на тахтѣ на спинѣ, с закрытыми глазами, в косовороткѣ, в шароварах и носках. Она рядом с ним, на боку, подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

— Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрѣл в легкій сумрак комнаты, слѣва озаренной золотистым свѣтом из бокового окна:

— Нѣт. А что?

— А вѣдь вы меня больше не любите, даром погубили, — спокойно сказала она.

Он слегка усмѣхнулся, думая о другом:

— Почему же даром? Не говори глупостей, Танечка.

Грѣх вам будет. Куда я теперь дѣнусь?

А зачѣм тебѣ куда-нибудь дѣваться?

Вот вы опять, опять уѣдете в эту свою Москву, а что-же я одна тут буду дѣлать!

Да все то же, что и прежде дѣлала. А потом — вѣдь я тебѣ твердо сказал: на Святой на цѣлое лѣто пріѣду.

— Да, может и пріѣдете... Только прежде вы мнѣ не

говорили таких слов: «а зачѣм тебѣ куда-нибудь дѣваться?» Вы меня правда любили, говорили, что милѣй меня не видали. Да и такая я развѣ была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно измѣнилась. Вся как-то поблекла, даже тѣло стало как-то слабѣй, жиже, всѣ косточки слышны.

— Прошло мое времечко, — сказала она. — Вскочу, бывало, к вам, — и боюсь до смерти и радуюсь — «ну, слава Богу, старуха заснула». А теперь и ея не боюсь...

Он пожал плечами:

— Я тебя не понимаю. Дай-ка мнѣ папиросы со столика...

Она подала. Он закурил:

— Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова...

— Вот оттого-то, вѣрно, и не мила я вам стала. А чѣм же я больна?

— Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что, подумай, пожалуйста: что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ты хочешь от меня? Ты сама не понимаешь, что ты хочешь. И что ж все одно и то же твердить: «бывало, бывало...»

Она не отвѣтила. Свѣтило окно, шумѣл сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущій... Она тихо слѣзла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

— Таня.

Она обернулась, отвѣтила чуть слышно:

— Чего вам?

Поди ко мнѣ.

— Зачѣм?

— Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нея в слезах.

— Ну что вам?

— Сядь и не плачь. Поцѣлуй меня, — ну?

Он сѣл, она сѣла рядом и обняла его, тихо рыдая. «Боже мой, что же мнѣ дѣлать! — с отчаяніем подумал он. — Опять эти теплыя дѣтскія слезы на дѣтском горячем лицѣ... Она даже и не подозрѣвает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя на вѣки?» И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы:

— Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я пріѣду на все лѣто, весной, и вот пойдем мы с тобой «во зеленый сад» — я слышал эту твою пѣсенку и во вѣки не забуду ее, — поѣдем на шарабанѣ в лѣс — помнишь, как мы ѣхали на шарабанѣ со станціи?

— Никто меня с тобой не пустит! — горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему ты. — И никуда ты со мной не поѣдешь...

Но он уже слышал в ея голосѣ робкую радость, надежду, утѣшеніе.

— Поѣду, поѣду, Танечка. И не смѣй мнѣ больше говорить вы. И плакать не смѣй...

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себѣ на колѣни:

— Ну скажи: «Петруша, я тебя очень люблю!»

Она тупо повторила, икнув от слез:

— Я тебя очень люблю...

Это было в февралѣ семнадцатаго года. Он был тогда в деревнѣ в послѣдній раз в жизни.

Ив. Бунин.

22.X.40.

В ПРОСТОРАХ АМЕРИКИ

(Из путевых записок)

1. ПЕРЕД ЗАКАТОМ

...Закат, как всѣ закаты в облаках, был очень красив, тѣм болѣе, что одно из облачных скопленій опускало из себя завѣсу вкось и узкой полосой, видимо дождевую. Часть этой завѣсы была полупрозрачной, а нижній ея край только что вспыхнул и поджигал сосѣднюю, совсѣм темную тучу.

На закат, к западу направлен был бѣг нашей машины, как будто мы гнались за солнцем, в полукруг воспламенившей запад радуги.

Закат... Не за далекими горами гдѣ то и закат жизни. Подумать бы об этом хорошенько, уложиться толком, не так поспѣшно, как я укладывался в этот путь. Все остальное, впрочем, не так уж привлекательно, чтобы цѣпляться и бороться за остатки лѣт. Ни особеннаго сожалѣнія, ни тѣм болѣе страха перед неизбѣжным нѣт. Впрочем, вот насчет укладки. Многое затѣяно, а сдѣлано так мало. То, что считал главным, то что начал почти четверть вѣка назад, лежит законченным наполовину. Не удалось, не нашлось времени. А все же хорошо, что затѣяно. Быть может для этой то затѣи и смог выдержать то, чего не выдержал и не захотѣл бы выносить для других дѣл суетных. Ни для какого иного спортивнаго занятія не хватило бы такого напряженья сил, не напрягались бы всѣ мускулы, не изощрялось бы усердіе. Стоила ли игра свѣч, судить не мнѣ, но то, что свѣчи горѣли с обоих концов — ничуть не сожалѣю.

Глаза невольно падают на отдыхающія руки. На них еще кровоточат сегодняшнія ссадины с остатками цементной пы-

ли, в'ѣвшейся в живую плоть. Еще сегодня спѣшил что-то достраивать. Не спрашивал, нужно ли то самодѣльное сооруженье, которое спѣшил закончить, и сейчас не упрекаю себя за то, что это лѣто почти цѣликом потратил на тяже. лыйтруд, а самый легкій, самый любимый так почти и не подвинул. Об'яснить это, пожалуй, даже и близким людям будет не легко. Очевидно, в интеллектуальном трудѣ не смог бы найти убѣжища от самого себя, как искал и находил его в изнеможеньи от физической работы. И вот, не пером и чернилами, а камнем и цементом, и не слова, а іероглифы, ступени, стѣны, цѣлыя площадки вывел на землѣ; в трудѣ на ней есть смысл забвенія от себя, от своих дум о страшной правдѣ. Убѣгая от себя, мы удаляемся от міра, ибо нѣт болѣе искажающаго мір зеркала, как наша собственная личность. Воспріятіе внѣшняго міра зависит даже от того, кто и каким взглядом посмотрит на нас. Весь мір становится милым или постылым от состоянія погоды, иногда весь жизненный путь может измѣнить случайная встрѣча. Так случалось много раз со мною. Почти всѣ жизненные крутые повороты происходили неожиданно от встрѣч, ни чѣм не предначертанных и, казалось, незначительных. И если внимательно взглянуть на все протяженіе прошлаго пути — какой смѣлый и размашистый зигзаг очеркивает он от точки дѣтства до этого предзакатнаго размышленія! И почему, с такою остротой и точностью, встают подробности убогаго дѣтства, как знобкое раннее утро перед пасхальным восходом?

Вы, может быть, не знаете, как мелодично-жалобно позванивают тоненькія льдинки в ямках от лошадиных копыт, опустошенных морозцем, когда мы, дѣти, в тощеньких праздничных рубашках, спѣшили на звон к Христовой заутрени. Еще темно, но непонятный нам свѣт радости нас согрѣвает. Похрустывает на похолодѣвшем тѣлѣ дешевенькій ситец, от котораго и пахнет праздником, грядущим радостным восходом, всѣм тѣм, что остается на всю жизнь, как аромат весенняго цвѣтенія черемухи или еще каких-нибудь первых кустиков, акацій, жимолости, богульника в крутых обрывах гор.

Теперь не подобрать таких слов, не написать таких стихов, не сложить такой пѣсни, какая только раз, но навсегда, прозвучала в первых дѣтских впечатлѣніях от Весны Священной, от весны пасхально-русской, не раз расцвѣтавшей на мирной, мирной, мирной Русской Землѣ, в просторах неоглядных, в затерянности, в неизвѣстности путей, в великой сибирской безпредѣльности. Что тогда могло напоить душу мою вот этой нѣжностью к давно покинутым родным полям, горам и лѣсам? Развѣ здѣсь, в Америкѣ не раздольны, не прекрасны, не свободны, не просторны поля? Развѣ здѣсь не тѣ же густые и чудесные лѣса, не тѣ же высокія горы с вѣчными снѣгами? Не я ли любовался всѣми красотами великих просторов Америки, не я ли исколесил Америку из края в край? И полюбил я землю Колумба не менѣе, нежели землю Ермака Тимофѣевича, но вот именно эта сдвоенная любовь к двум великим странам, близость к двум великим народам, к двум далеким одна от другой природам, дѣлает весь мой жизненный путь наисладчайшею симфоніей, дѣлает меня богатым человѣком, богатства котораго никто не отнимет, не разрушит; богатства, которыя я хотѣл бы щедро раздавать всѣм бѣдным, всѣм лишенным зрѣнія и слуха, всѣм, кому не посчастливилось испытать невѣроятную, неописуемую нищету в дѣтствѣ, воспоминаніе о котором всюду и всегда потом было оружіем моего безстрашія перед всяким испытаніем.

Встают подробности, до четкости ясныя, только теперь пріобрѣвшія всю значимость, всю неслучайность, если хотите, всю символичность предназначенія. И вот, смотрите: только теперь, только в эти вот случайныя минуты путевого отдыха я увидѣл себя идущим в общем маршѣ вмѣстѣ с милліонами моих современников, не только русских, о, нѣт, но именно в неисчислимой арміи современнаго мнѣ человѣчества, проходящаго этот полувѣковой період нашего столѣтія. Поймите: сейчас я чувствую нѣжнѣйшую любовь именно ко всему своему поколѣнію, без различія націй, религій, рас. Представьте своих одногодков во всѣх широтах и долготах земли и морей, они же вам близки, как братья, только потому, что

родились в одно с вами время. Невообразимы различія путей всѣх этих милліонов, но они частью еще живы, идут своими путями, вычерчивают узоры своих судеб, так же падают, так же с усиліями поднимаются и идут, идут, милліоны ваших современников. Но как много надо пройти и испытать, чтобы наконец то натолкнуться на эту простую истину о возможности общечеловѣческаго братства и взаимнаго пониманія!

Вот этим ключем взаимоблизости можно отомкнуть сокровеннѣйшія тайны не только бывших и навсегда ушедших, часто без слѣда исчезнувших рас, народов и племен, но и почуять плоть и кровь народов, ждущих еще гдѣ-то на ступенях космоса. Вы видите их, ждущих своей очереди прихода в жизнь? Вы видите эти ступени, нисходящія ближайших поколѣній и восходящія отдаленныя до безконечности? Вѣдь это же так просто: цѣпь жизни безконечна, она непрерывно движется из тьмы прошлых тысячелѣтій. Поймите: из ничего придут безчисленныя поколѣнія, из ничего!...

Такія мысли навѣвали мнѣ эти просторы. В этом году исполнилось десять лѣт с тѣх пор, как я по настоящему стал путешествовать по Америкѣ. На днях, укладываясь и разбираясь в безпорядкѣ своих бумаг и рукописей, я натолкнулся на цѣлую коллекцію своих дневников. ●, как небрежно и нерегулярно велись мои записки! Меня охватывает ужас при одной мысли, что в этом видѣ онѣ могли попасть в чужія руки. Все писалось или на походѣ, или задними числами, в надеждѣ, что когда-то мнѣ удастся воспроизвести картины видѣннаго и слышаннаго в моей главной работѣ. Нѣт, надо все это сжечь и не давать, даже друзьям, такого образца поспѣшности, отрывочности, небреженья. И я с удовольствіем сжигал бумажные клочья, копіи писем, цѣлыя тетради. Когда же, перед тѣм, как бросить что либо в огонь, случайно пробѣгал глазами цѣлыя страницы, мнѣ становилось грустно, что сгорает может быть невозстановимое, такое, чего никто не видѣл и не описал и что я сам никогда не вспомню. И вот кое что осталось, так, для пересмотра на досугѣ, котораго, конечно, никогда не будет. Да и не в досугѣ только дѣло. Тра-

гедія гораздо глубже. И если бы не мечта о будущем, если бы не было поставленной большой задачи — написать нѣчто большое, написать не для современников, не для эмиграціи, а для кого-то близкаго по духу или для самаго далекаго по времени, если бы не было моей «главной» работы, обманывающей меня в теченіи десятилѣтій, давным давно я перестал бы даже думать по русски. В Америкѣ для личной жизни и для матеріальных достиженій есть столько возможностей. Но именно через мечту я хотѣл сохранить нѣчто гораздо болѣе цѣнное.

Вот это «кое что», оставшееся от огня, я и хочу здѣсь передать. Простыя записки, продиктованныя жизнью.

2. ОТКУДА И КУДА МЫ ѢДЕМ...

Откуда и куда мы ѣдем? Я думаю, об этом стоит упомянуть, так как это важно еще и потому, что я лично ѣду из настоящаго в двух противоположных направленіях: в будущее и в прошедшее.

По заведенному обычаю, перед от'ѣздом в дальній путь, я должен подняться от дома на гору, гдѣ над родником стоит наша каменная часовня и поблагословиться у Преподобнаго Сергія Радонежскаго, во имя котораго эта часовня сооружена. От этого все наше небольшое русское поселеніе Чураевка пріобрѣтает нѣкоторый смысл.

Теперь трудно повѣрить, что, пятнадцать лѣт тому назад, вот эти камни, обомшѣлые от времени, из которых выложены стѣны часовни, представляли собою хаос разрушенія, груды безпорядка, поросшія колючим терніем и бывшія убѣжищем змѣй и ядовитой травы-айви. Теперь, пожалуй, не хватило бы ни сил, ни энтузіазма бороться с этой стихіей запущенности и забвенія. Слава Богу за все! Сдѣлано много. Семнадцать лѣт піонерства на дѣвственной почвѣ штата Коннектикут оставляется быть может навсегда и потому надо попрощаться с этими мѣстами, по крайней мѣрѣ, в сосредоточенном уединеніи на минутку.

Я предвижу удивленную улыбку нѣкоторых почтенных читателей: что такое, он пошел молиться. Да, он пошел в часовню помолиться. Да, в этой часовнѣ закрѣплена путем труда, духовная связь с самым печальным и в то же время славным періодом русской исторіи. Четырнадцатый вѣк, Татарское Иго, Куликово Поле, Дмитрій Донской и его духовный водитель и соратник Сергій Радонежскій, со дня смерти котораго на днях исполнилось ровно 550 лѣт.

Теперь, когда слово Русскій стало высоким титулом, будем надѣяться, на долгій срок, когда даже атеисты прибѣгают к помощи просіявших на всю Русь ея подвижников, когда Александр Невскій и Дмитрій Донской стали любимыми героями самоотверженной молодежи на Руси Совѣтской — теперь мнѣ не страшно упомянуть о нашей часовнѣ, а вот двѣнадцать лѣт тому назад, когда я выкладывал эту часовню и когда слово Русскій было почти ругательным за рубежами и совсѣм не признавалось на Руси — вот тогда было опасною отвагой для литератора строить ее, да еще своими руками.

Теперь, может быть умѣстно напомнить, что Троице-Сергіева Лавра не раз была національною твердыней, спасавшей Русскую Землю от иноплеменных нашествій. Умѣстно будет и признаться, что построеніе мной часовни совпало с періодом разрушенія и осквернения этой святыни. Кромѣ того: это одна из глав моей литературной «эпопеи». Авторским «подстрочным примѣчаніем», живой иллюстраціей к неизданным еще томам «эпопеи», является и часовня и вся своеобразная наша Чураевка на Помперагѣ в Америкѣ. Это реплика Чураевки Алтайской, пусть даже отраженье в кривом зеркалѣ. Здѣсь утверждался мой твердый шаг по Америкѣ, отсюда и происходили мои отправленія в путь от океана до океана.

По Воскресным дням часовня открывается с утра. К вечеру в ней прибавилось нѣсколько новых букетов цвѣтов. Тишина. Косые лучи предзакатнаго солнца освѣщают лики на иконах и играют с позолотой рамы вокруг изображенія Преподобнаго Сергія, стоящаго в центрѣ скромнаго иконнаго ряда. Я люблю приходить сюда, чтобы остаться в одиночествѣ

со своими думами. Здѣсь лучше контролируются мысли, отчетливѣе выступают собственные недостатки.

Я всматриваюсь в лик Преподобнаго Сергія, одухотворенно выписанный моим другом, сибиряком и нынѣ американским жителем. К нему в обитель, тогда еще убогую, пришел великій князь Московскій, Дмитрій Донской и просил благословить его на битву с непобѣдимой арміей Мамая. Не желал отшельник новаго кровопролитія, совѣтовал Дмитрію примириться с грубой силой и вооружиться Христіанским миролюбіем и терпѣніем. Но, очевидно, горячи были слова и мотивы великаго князя, если Преподобный внял им, удалился на молитву в свою келію и долго пребывал в ней наединѣ с Богом. Из келіи своей он вышел воином и Воеводой Русской Земли. И его отмѣнные монахи, Пересвѣт и Ослябя, опытные ратные бойцы, первыми начали битву на Куликовом Полѣ и первые пали в неравном бою. А Битва на Куликовом Полѣ в 1380 году была началом освобожденія Руси от Татарскаго Ига. Но это вѣдь не все. Главное еще в огнѣ свершеній, в процессѣ подвигов, в горнилѣ небывалых жертв. Не пяти и десяти копеечныя цѣнности должны быть результатами нынѣ свершающихся подвигов и жертв. Нѣчто грандіозное и озаряющее идет на смѣну тьмы вѣка сего. Не нам предвидѣть, что именно, ибо пути Грядущаго неисповѣдимы.

Ровным, тихим свѣтом мерцает центральная лампада. Символ этого горѣнья сейчас даже не надо пояснять, но самый факт, что в этом лѣсу, над кристальным родником, крѣпко утвердилась каменная часовня и что в ней мерцает лампада, поддерживает во мнѣ вѣру и надежду, и любовь к грядущему. Самое же сокровенное в этом чувствѣ — не для словесных об'ясненій.

Лампада будет сегодня горѣть быть может до полуночи, потом угаснет. Кто ее и когда зажжет опять перед старинными иконами? Кто слѣдующій принесет сюда свѣжіе цвѣты? Когда раскроются тяжелыя крышки Евангелія, чтобы слова его прозвучали в тишинѣ этого лѣса, как звучали онѣ много вѣков в лѣсах и на горах Русскаго скитничества?

Направо, на аналоѣ, в кожаном переплетѣ, лежит старинный Псалтирь. Как раз в этом году этой книгѣ исполнилось сто лѣт со дня ея напечатанія в Синодальной типографіи в Петроградѣ. Если я обычно задерживался в часовнѣ дольше обыкновеннаго, то только потому, что зачитывался этой книгой, как изумительным образцом церковно-славянской рѣчи. Что за выразительность и что за сила в краткости и образности этого языка! Подчас думается, что ни на каком другом языкѣ невозможно столь глубоко и столь экономно выразить устремленіе духа человѣческаго и что сам Царь Давид именно на этом языкѣ и воспѣвал Бога Израиля. Все это переводилось, со времени Ярослава Мудраго, скромными монахами, великими мастерами слова.

На меня, как бы с укором смотрят лики Архангелов Михаила и Гавріила, написанные болѣе двух сот лѣт тому назад для одной древне-галиційской церкви и неисповѣдимыми путями пришедшіе в эту убогую лѣсную часовенку. Среди прочих икон, Іоанн Креститель , семнадцатаго вѣка, мѣстами поврежденный в длинном пути, безгласно, одним дуновеніем старины, упрекает:

«Как закоптили вы всю святость и подлинность Руси в теченіи вѣков!»

Вспомнились однажды выставленныя в Метрополитэнском Музеѣ в Нью Іоркѣ величайшія созданія Андрея Рублева, просвѣтленныя, странно сказать, именно современными реставраторами Россіи: Троица и Три Святителя. Через столѣтія на вас смотрят всѣм своим неземным свѣтом эти никѣм не превзойденныя творенія. О таком ли будущем молитвенно мечтал геніальный монах Рублев, какое в лицѣ современнаго міра пришло на смѣну нынѣ попираемому прошлому? Я впослѣдніе виновато кланяюсь Всемилостивому Христу и Воеводѣ Земли Русской Сергію Радонежскому и выхожу из часовни. Закрываю тяжелую дверь, схожу со ступеней, оглядываюсь на копію Троицы над выходом в часовню, поднимаю глаза выше, на обновленный, самодѣльныый купол, на старинный крест с полумѣсяцем, как это было под Татарами, и еще на ми-

нутку останавливаюсь в своем лѣсном одиночествѣ. Со всѣх сторон я окружен тишиной и яркой зеленью берез, дубов, кипарисов — такое сочетаніе сѣвера, запада и юга в одном этом лѣсном уголкѣ, умиляет меня. Я спускаюсь по тропинкѣ на дорогу, порыв вѣтра, как вздох прощанья, срывает с берез первые желтые листочки и посыпает ими мой путь, как золотыми слезами предосенней грусти. Солнце клонится к закату. У дома уже стоит автомобиль. Чемоданы погружены, двери дома наглухо закрыты. Только возня с вырвавшимися из корзины и убѣжавшим в сад бѣленьким котенком задержала нас на нѣсколько лишних минут. Усаживаемся в машину. Послѣдній взгляд на выхоленную за лѣто зеленую лужайку, на стройную, при вѣздѣ, самую красивую, любимицу, голубую елочку, которая, как зачарованная удивленіем, осталась неподвижно на своем зеленом коврикѣ. Крутым поворотом вправо мы выѣзжаем на шоссе, и направляемся на запад, на закат.

Проѣзжая мимо своей усадьбы, невольно любуюсь ею, бѣлым домом, в рамѣ елей, сосен, цвѣтущих клумб, огромных кленов и дубов. Дом смотрит на меня, уютный, ставшій родным, потому что создан собственными руками в теченіи ряда лѣт. В нем остаются не только свѣтлыя, большія комнаты, в нем накопленіе семнадцати лѣт труда, тревог, борьбы, здѣсь же написанных и напечатанных книг... В нем остаются несбывшіяся мечты и планы, в нем остается, наконец, личное счастье наиболѣе зрѣлаго и существеннаго періода нашей жизни. Вѣдь нам нигдѣ, даже в Россіи, не пришлось так долго трудиться и создавать на одном мѣстѣ. Семнадцать лѣт жизни как бы зачеркивается одним поворотом автомобиля за первую же излучину дороги. И вмѣстѣ с тѣм, впервые за три мѣсяца, я наконец-то отдыхаю. Одѣт по городскому, по барски откидываюсь на мягкое сидѣнье, даже сам не правлю автомобилем. Я только пассажир. И вдруг, с улыбкою освобожденія вспоминаю: всѣ эти годы я стремился к созданію своей школы в Чураевкѣ, мечтал о группѣ чутких слушателей, о Школѣ Жизни и столько потрачено на это усилій, почти без всяких результатов. Теперь же, через нѣсколько дней, я буду среди

студенческой молодежи, на кампусѣ одного из лучших колледжей Америки, в странѣ, гдѣ апельсины зрѣют. Нѣт, в сердцѣ нѣт ни сожалѣнія обо всем остающемся, ни страха перед завтрашним днем, как бы ни был он суров и труден. Слава Богу за все!

3. ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНѢ...

Странно притягательны эти два міра: прошлое и настоящее, вѣрнѣе — Россія и Америка. Когда, на смѣну заката за лѣсными холмами, выступили из пригородов Нью Іорка сумерки, а потом и вечер, в убаюкивающем шорохѣ резиновых колес автомобиля послышались как бы знакомые мотивы давно забытых пѣсен. И замелькали, на фильмѣ памяти, самыя разнообразныя картинки, то из этой, то из той жизни.

Однажды лунной ночью мы неслись через пустыню. По счету это была уже третья из пустынь. Первая из них была в штатѣ Колорадо, гдѣ на широком ровном шоссе непріятно было видѣть десятки и сотни раздавленных зайцев. Автомобильные огни, видимо, привлекали вниманіе глуповатых и довѣрчивых звѣрьков пустыни и они, сидя, без движенья ждали своей мгновенной гибели. Зайцы так были растиснуты, что путь казался устланным ковром из заячьих шкурок.

В полудремотном равнодушіи, мы пронеслись через каменистыя взгорья пустынной части штата, а затѣм вступили в красочные песчаные просторы штата Юта. И вот мы наблюдаем, под монотонный шум мотора, однообразіе бѣгущаго через дорогу перекатиполя. Это очень забавное зрѣлище, особенно в лунную ночь, когда мохнатые, нѣмые, полупрозрачные валуны этого растенія, подпрыгивая, бѣгут, бѣгут по вашему пути, по діагонали через дорогу, потом вкось по полю и, насколько видит глаз, — бѣгут, бѣгут вприпрыжку, точно безчисленныя, перепуганныя овцы или стада безформенных звѣрей пустыни. Равнины штата Юта переходят постепенно в зыбкую, каменистую холмистость. Но пустыня исчезает, когда ваш путь упирается в типичный, похожій один на другой,

городок. В дѣйствительности это обрывки все того же Бродвея больших городов, ярко освѣщенные ночью, перегруженные автомобилями днем. Пріятно быть обезпеченным удобствами в любое время дня и ночи, попить, поѣсть в чистеньком ресторанѣ, быть обслуженным на большой газолиновой станціи, а главное, забыть о разстояніи в тысячи миль от знакомых больших центров, потому что эти кусочки Бродвея почти вездѣ — кусочки Нью Іорка, Чикаго, Филадельфіи. Когда, имѣя досужій час, вечером вы входите в кинотеатр, ваш слухи зрѣніе увлечены точно также, как в Чикаго и Нью Іоркѣ и вы окружены все тою же толпой, пестрой и однообразной толпою безконечнаго Бродвея Соединенных Штатов. По всей широтѣ и долготѣ Американской Земли вы чувствуете себя окруженным великой, единомыслящей, цѣльной в своем единеніи, націей. Но если вы иностранец и особенно, если вы русскій, унесшій с собою видѣнія безкрайных просторов родной земли, вы быстро устаете в толпѣ и, когда снова вырываетесь на простор рѣдко населенных равнин или горных изломов земли, вы невольно сравниваете, на какую часть Россіи похожи окружающія вас мѣста. Трудно передать эти чувства смѣшанной тоски об утраченном и невозвратном, и радости о вновь пріобрѣтенном и необ'ятном. Тут вы хотите соединить разбросанные по вашему пути кусочки вашей жизни с той минутой настоящаго, которая в слѣдующую же минуту станет прошлым и потому особенно трогательным и незабвенным, потому, что настоящаго никогда нѣт — оно бѣжит, струится, как поток воды, уносит с собою ваше дыханіе, вашу кровь, ваше ощущеніе бытія. Если у вас есть близкій спутник, вы начнете вспоминать вслух, как бы играя нитью вашего сознанья, цѣпляя обрывки воспоминаній, как петельки вязальным крючком на основу настоящаго:

— Смотри, как кланяются нам эти придорожныя былинки. Сознательно, привѣтливо и грустно и все одним, таким единодушным, таким всеобщим поклоном. Это вѣтер управляет их покорными головками, это он, блуждающій и вольный, быть может пронесшійся откуда-то из дальних стран... О, очень изда-

лека. Пролетѣвшій через океаны, побывавшій в своих скитаніях в недосягаемых пространствах и во времени, никогда не старѣющій, друг всѣх народов и времен, вѣтер, крылья движенія и мечты, вѣтер, милый вѣтерок.

И здѣсь рука ваша невольно тянется к рычажку вашего радіо и вы включаете себя в орбиту иной волны, волны звуков, чудесно живущих тут же рядом с вѣтром, и невѣдомо какими путями долетающих до вашего слуха. Вначалѣ какіе то не совсѣм соотвѣтствующіе вашему настроенію звуки нарушают ваши думы, ибо возвращают вас в толпу, оскорбляют ваш слух крикливою куплей-продажей, но вот еще движеніе руки и музыка, чарующая и родная, как раз та, о которой можно было только мечтать в эти минуту — Грустная Пѣсенка Чайковскаго. И нѣт ни времени, ни пространства. Упали стѣны ограниченій и вы дитя, вы юноша, вы у себя на родинѣ, грустной и вѣчно взыскующей Града... Почему же вы не хотите разстаться с этим образом, тогда такой бѣдной, такой одинокой обреченности? Вѣдь все же оправдалось, вѣдь вся тоска и мечтательность русских пѣсен оказались пророческими, точно вызвала русская пѣсня всѣ призраки тысячелѣтних бѣд, только в страшных сказках предсказанных; вѣдь все, все опрокинулось по слову древних пророков, и День Страшнаго Суда свершился, и тысячи милых вашему сердцу близких и далеких принесли себя в жертву, вольную и невольную, и чаша скорбей далеко еще не выпита родным народом. Чего же ты, не смѣвшій мечтать о том, что выпало на твою долю — воля и свободный труд и равноправіе в чужой землѣ и даже вот все это чудо, что сейчас к твоим услугам, и автомобиль, и радіо, и вольный путь среди зовущих горизонтов сказочной страны — почему же по спинѣ твоей бѣгут холодные мурашки, бѣгут не вниз, но вверх, к волосам и стискивают твой череп, как костлявая рука внезапной тоски? В чем дѣло, что таким змѣиным укусом вцѣпилось в твое сердце?...

Не надо подробностей. Онѣ тонкой паутиной увивают весь прошлый путь и записали хронику цѣлой четверти вѣка

скитаніи и событій, с ними связанных. Не надо трогать этих паутин, онѣ потянут за собою слишком сложную сѣть мало кому понятнаго узора переживаній. Оборви и Грустную Пѣсенку, не давай себя во власть отжившаго, не роняй мечты своей в пропасть отчаянія. Очнись и посмотри на окружающую тебя дѣйствительность — это не мечта, а осуществленіе сна, который не всякому снится.

Нога невольно нажимает на педаль газолина, машина срывается с резиновых шин на крылья и летит мечтой по раздолью новой родины, к изломанному горизонту гор, гдѣ ждет нас особое, сказочное царство: да, это показались горы Національнаго Парка «Желтый Камень», населеннаго медвѣдями. Да, да, там медвѣди живут в полном мирѣ межь собою и между человѣками, и человѣки служат этому своеобразному населенію, и медвѣди там счастливѣе многих людей. Гдѣ мы? Значит, мы уже в штатѣ Вайоминг. В одной из замѣчательных пустынь Америки...

Часы бѣгут со скоростью миль и мили превращаются в шаги времени и в музыку глухо-звучнаго мотора. Мотор поет свою задумчивую пѣсню побѣды пространства и времени в унисон с моими думами и сердце мое, безостановочный мотор, чудесно смастеренный непревзойденным Инженером, не может справиться с наплывом и перемѣнчивостью дум, обрывков моего пути, оставленнаго позади, в пространствѣ и во времени.

Если будет усовершенствован мыслефон — над ним уже давно работают, — он вѣроятно будет только частью радіо и вы поставите рычажок на соотвѣтствующую цифру и ваши мысли станут сами собой записываться, и вы придете в ужас от прыжков и хаоса вашего внутренняго поведенія. Потому что окружающій вас мір врывается внутрь вашего сознанія при посредствѣ зрѣнія, слуха, ощущенія, и чѣм гуще будет вокруг вас толпа ваших ближних, тѣм сильнѣе будет ваше желаніе бѣжать от них в уединеніе, в пустыню, гдѣ ваши мысли не будут столь противорѣчивы и убійственны.

Но вот мы на ночлегѣ. Минула ночь, мы отдохнули и опять в пути, в пустынѣ.

Почти наединѣ с собою, в условіях рѣдкой слагаемости, я чувствую себя по настоящему счастливым. Прекрасный, солнечный, весенній день. Чудесная дорога, хорошій у меня автомобиль и, что всего важнѣе, — внутренній мой мір одухотворен нас вызвышающим обманом, особой, только русскому человѣку свойственной вѣрой во все лучшее. И даже — наша это вѣра: и худшее к лучшему!... Но вот хотѣл бы я видѣть на этом самом мѣстѣ, в этом счастливом положеніи одного из настоящих, воистину великих соотечественников. Напримѣр, хотѣл бы я видѣть, как сам Федор Михайлович Достоевскій прошелся бы в моих сапогах по всѣм Азіям, Европам и Америкам. Как был бы использован и примѣнен его геній на полях американской литературы?

Я живо представляю себѣ эту встрѣчу на одном из перепутій.

— Как рад, как счастлив видѣть вас, великійсердцевѣд! — пробормотал бы я нѣчто в этом родѣ, потрясая обѣ руки, создавшія пророческія творенія. Потом я осмѣлѣл бы и перешел на тон... собрата по несчастью...

— А как Федор Михайлович, на счет англійскаго произношенія? Понимают вас ваши аудиторіи?

— То-то, что не очень! Потому должно быть и лекцій мало, да и платят гроши. Часто приходится выступать почетным гостем, так сказать, за честь и почитанье. Да и борода моя у молодежи вызывает смѣх.

— А как насчет вопросов?

— Выворачиваюсь... Но об Инквизиторѣ, конечно, приходится помалкивать. А уж о Бѣсах — ни гу-гу. Искренность и правда, не всегда друзья человѣчества.

— Но за то и матеріал же здѣсь для вас неисчерпаемый!

— Какое! Не пишу! — Федор Михайлович чуть прищуривается в сторону, на горизонт пустыни. — Вот если бы в теперешнюю Русь вернуться, да если-б там писать позволили, как хочется, можно было закончить и даже пересоздать цѣ-

лый ряд моих романов. А здѣсь даже издателя для своих книг найти не могу.

— Ну, вот это уже совершенно невѣроятно!

— Не интересуется. Не в духѣ времени. Вот Антон Чехов, думаю, им больше подошел бы.

— Не думаю, Федор Михайлович; Антон Павлович такой хрупкій интеллигент, он тут совсѣм бы потерялся, уж очень дѣловая среда. А у вас, как вижу, и Бюик новый и дачу, слышал, купили.

— Все отберут. Вот в том то и бѣда: кредит здѣсь прямо не ограниченный, и обстановку и всякія «стрим-лайн» кухонныя удобства — все любезно доставлено почти что без задатка, а вот попробуйте ка все это выплатить. Хоть я и в Россіи был всегда в долгах, но там все-таки меня печатали, не дожидаясь даже конца рукописей. А тут сам Лев Толстой и тот теперь не получил бы здѣсь признанья.

Возможно, что я слишком свободно фантазирую, но в пустынѣ могут быть и не такія раздумья.

Не трудно представить и положеніе Льва Толстого в любой из зарубежных стран в положеньи эмигранта. Развѣ в Америкѣ не пришлось бы Толстому сбрить свою бороду и претерпѣть от тѣх сородичей, многіе из которых ушли из Россіи анархистами, а здѣсь, по мановенію событій, превратились либо в нетерпимых православных, либо в воинствующих патріотов. Особенно бѣжавшіе от воинской повинности здѣсь стали необычайно мужественными вояками. Развѣ Софіи Андреевнѣ не пришлось бы подрабатывать вышивками за грошевую плату для любителей русскаго стиля, а может быть и поплакать вдоволь от неизбѣжных обид, если бы Лев Николаевич здѣсь продолжал писать и проповѣдывать непротивленіе злу? Потому что я никак не представляю, чтобы Лев Толстой капитулировал здѣсь перед силой капитала и поступился бы своими идеалами. Если Ганди за подобныя идеи почти безпрерывно находится в заключеніи (политику здѣсь трудно отдѣлить от примѣненія духовных идей), то Толстой, навѣрное, и в теперешней Россіи за рубежами подвергался бы

безпрерывным гоненіям и при том не только с какой либо одной стороны. Но, слава Богу, мертвые непобѣдимы...

Но если бы Толстой и Достоевскій были живы, считался ли бы мір с их авторитетом? Только сложность и запутанность всѣх противорѣчій и «милліон терзаній» поставили бы в тупик Достоевскаго и Толстого и всѣх им подобных могикан русскаго духа и величія. Попасть в Америку еще не значит раздѣлять свободу и всѣ ея блага. Это вам не Франція Тургеневскаго времени, не Италія времён Гоголя, не Швейцарія времен Герцена, потому что в тѣ времена Россія была все-таки настоящим для всѣх домом. Ее можно было ругать, подрывать ея основы, но все же имѣть с нею кровную и прямую связь. Народ ея был тароват и простодушен, аристократія и интеллигенція всему заграничному поклонялась; все или почти все свое настоящее, русское, ненавидѣла и потому подполье для недовольных своей родиной было вырыто просторное.

Нѣт, мыслефон изобрѣтать опасно!

4. В СТРАНѢ, ГДѢ АПЕЛЬСИНЫ ЗРѢЮТ

Ну, это сказка длинная и мы ее прибережем на слѣдующій раз. Но все-таки мы уже среди пальм и апельсиновых рощ, гдѣ все цвѣтет по весеннему. Даже не вѣрится, что через 24 часа мы перебросились за полторы тысячи миль на Юг от Нью-Іорка.

Здѣсь все ласкает и умиляет глаз и даже сердце стало мягче и в мыслях... «легкость необыкновенная»... Когда я сѣл за руль своего автомобиля, за которым не сидѣл три мѣсяца, я почуял мелко-буржуазное счастье. Вы помните, конечно, что еще не так давно, ваша личность и достоинство опредѣлялись качеством и маркою вашего автомобиля. А у меня Паккард, как раз такая вещь, которой пользоваться в эти мѣсяцы довольно совѣстно и... не патріотично. И хорошо, что с четырьмя галонами газолина в недѣлю очень не раз'ѣздишься.

Студенты наши встрѣтили нас об'ятьями и поцѣлуями, совсѣм не по американски, но оба мы с женой почувствовали себя здѣсь дома и включились в общую семью профессоров и студентов с тѣм чувством радости, которое обязывает.

На слѣдующій день под вечер в большом залѣ для концертов и выставок, собираются профессора и члены учительской коллегіи для перваго дѣлового собранія. Не смотря на происшедшую убыль в их составѣ, их все-таки около семидесяти. Среди них есть настоящія свѣтила науки, убѣленные сѣдинами, обогащенные житейским опытом. Зал, в большія окна котораго падает золото предзакатнаго солнца и засматривает узорчатая зелень семидесяти-акроваго парка, затихает, когда на возвышенье поднимается небольшого роста, сухощавый и изысканно одѣтый, президент колледжа.

— Старѣйшій из нас, профессор Джордж Франклин Скатт благоволит прочесть молитву, — негромко предлагает президент.

По всему моему тѣлу пробѣгает теплая волна чувства благодарности за то, что мы находимся в средѣ этих людей, отобранных для большого культурнаго дѣянія.

Профессор исторіи Скатт, небольшого роста старичок с сѣдыми усиками, поднимается и просто, но проникновенно произносит молитву, тут же им творимую. Я позволю себѣ привести эту молитву цѣликом, в ея подлинных словах, на языкѣ, на котором она была прочитана, так как не хотѣл бы, чтобы хоть одно ея слово было измѣнено переводом:

Our Heavenly Father, as we assemble in our faculty meeting tonight and plan for the new year of our college work, we seek Thy guidance. Deeply impress upon us not only the opportunity but the responsibility that rests upon us as builders of character. In thought, purpose and daily living may we seek and find the best. Each day, each week enrich our program for the higher values of life.

Bless every home represented here tonight. May Thy blessings be upon our college President. May he be assurred of our continu-

ous interest and cooperation as he plans for a year of great service. These blessings we ask in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ, Amen.

Вот теперь мы в той самой Америкѣ, которая для многих русских должна быть заново открыта. И мы счастливы, что будучи призваны учить молодежь в одном из колледжей, мы имѣем возможность многому здѣсь сами поучиться.

Георгій Гребенщиков.

Октябрь, 1942 г.

КОНЕЦ МУСОРГСКАГО

Глава из готовящейся к печати книги «Пятеро и другіе»

I.

Жизнь сдѣлала злое дѣло – превратила геніальнаго музыканта в запойнаго пьяницу.

Этого не об'яснишь только слабостью. Мусоргскій не был сильным человѣком; но воля его была крѣпка в вѣрности своим идеям, в непрерывной работѣ. И потому ищешь в этой болѣзни русских талантов доли непримиренности с жизнью, того, что иногда называют «непріятіем» ея. Ставя к ней невыполнимыя требованья и ища забвенья и обманчивой радости, они губили себя.

За нѣсколько лѣт Мусоргскій измѣнился даже физически. Его фигура слѣлалась плотнѣе и неповоротливѣе; голос — сиплым, нос окончательно покраснѣл. Манера выражаться стала еще болѣе туманной и вычурной. В трезвом состояніи он еще сохранял обычное свое изящество манер. Но когда на него «находило», он дѣлался вспыльчив, арогантен и обидчив, и общеніе с ним становилось не удовольствіем. Он устраивал скандалы в публичных мѣстах, ссорился с буфетчиками и офиціантами, требовал к себѣ какого-то особеннаго почтенія. Он не любил оставаться один, нуждался в обществѣ и пристрастился к загородным открытым садам, к ночным кабакам и трактирам, особенно же к «Малому Ярославцу», на Б. Морской, гдѣ всѣ его знали, гдѣ всегда можно было найти собутыльника и слушателя для монологов об искусствѣ с возгласами «вперед!», «дерзай» и «к новым берегам!» Здѣсь и хозяин, и половые относились к нему с почтительной фа-

мильярностью, сообщали новым посѣтителям: «знаменитѣйшій композитор-с, их опера на императорском Маріинском ставится». Здѣсь можно было «наконьячиться» до любого градуса в теплой компаніи мелких актеров, цирковых «артистов», букмекеров, жокеев. Бывали тут люди и болѣе высокаго ранга, как знаменитый разсказчик Горбунов, Максимов, автор «Сибири и Каторги», или братья Жемчужниковы. Но в «избранной» компаніи пили не меньше, чѣм в других, и часто Мусоргскаго видѣли среди них совершенно «в градусѣ». Раз как то, он сидѣл на стулѣ с раскрытой газетой на колѣнях, так что можно было подумать, что он читает. Он твердо держался на стулѣ, прислонив голову к его спинкѣ и каким то чудом сохраняя равновѣсіе. Кто-то хотѣл подсадить его поудобнѣе. «Не ворошь его! не ворошь!», говорил Максимов, «не ворошь, а то упадет!».

Если бы так было часто — никакая совмѣстная жизнь с ним бы.лабы, разумѣется, ни для кого невозможна. А между тѣм он не любил и даже боялся жить один. Но так как періоды запоя случались рѣдко, то с ним мог ужиться даже нѣсколько склонный к снобизму поэт граф Голенищев-Кутузов. Они прожили сначала совмѣстно в меблированных комнатах, а потом на квартирѣ графа, в общем около трех лѣт. Мусоргскій любил его, как рѣдко кого любил в жизни, он говорил о нем: «если бы его пузо знало, как он люб мнѣ!» Когда граф задумал жениться, он устроил ему форменную и грубую сцену ревности. Мусоргскій так же, как Стасов, был принципіальным противником брака для художников и говорил, что если когда-нибудь услышат, что он женится — то это будет означать, что он сошел с ума. У Стасова надѣялся он найти себѣ сочувствіе в этом афронтѣ. «Заплутался мальчик, — жаловался он — а мальчик никто другой, как Арсеній, Кутузов с Голенищем граф! Жениться вздумал! Да не спроста, говорит, а в всамдѣлишнем манерѣ. Еще один «на побывку на родину» — чтобы не вернуться! Я Арсенію жестоко надерзил». Однако он скоро примирился и с ним, и с его женой и даже подружился с молодой графиней. И не благодаря этой

женитьбѣ кончилась их совмѣстная жизнь, а каким-то нелѣпым образом. Однажды, в августѣ 1876 года, Мусоргскій, вернувшись поздно домой, нашел их квартиру запертой. На его звонки никто не отвѣтил. Голенищев уѣхал, захватив с собой по разсѣянности ключ. Когда Модест Петрович очутился ночью без крова на петербургской улицѣ, он сначала долго бродил по набережной Невы в районѣ Галерной, близ Академіи Художеств, потом уставши, усѣлся отдохнуть, как Пушкинскій Евгеній на каменном львѣ какого-то барскаго особняка, и тут его осѣнила мысль: чего же я ищу, когда по другую сторону рѣки, на Васильевском Островѣ живет «друг сердечный, таракан запечный», Павел Наумов.

Не ко всякому и не во всякую квартиру можно ввалиться в серединѣ ночи. Но к Наумову можно было забрести «на огонек» в любое время, с шансами застать его еще бодрствующим с каким либо пріятелем, за стаканом вина; а если он спал — то без стѣсненія его разбудить. Мусоргскій не ошибся: несмотря на поздній час, его встрѣтили ласково, постелили ему постель на красном диванчикѣ в маленькой гостиной, в которой он думал проспать одну ночь, но которая стала его комнатой на годы. Наумов, веселый и остроумный человѣк, считался художником, но рисовал мало, и с живописцами его роднила, кажется, только склонность к богемному образу жизни. Он сам называл себя «лоботрясом», любил и умѣл хорошо пожить и растратил в теченіе своей жизни свое и женино состоянія, а также и большое имущество своей свояченицы, с которой он, разойдясь с женой, жил маритально. При них жил и его уже взрослый сын «Сергушок». К Мусоргскому вся семья относилась с любовным почтеніем, заботилась о нем и ему несомнѣнно было душевно уютно на новом мѣстѣ. К тому же ему нравился Васильевскій Остров, масса зелени, сад при домѣ, широкія улицы, близость Невы — почти как на дачѣ. На лѣто Наумовы уѣзжали на настоящую дачу, в Царское Село, куда поѣхал с ними и их гость. «Дача превосходна — писал он оттуда — до того, что деревья крадутся в окна и нашептывают, что именно, — не знаю, но, кажется,

хорошее что-то нашептывают... При здоровом тѣлѣ и, даст Бог, нравственном спокойствіи, пожалуй, «Хованщина» мною не побрезгует. Теперешнюю ночь почти не спал «на новых мѣстах». Тишина, то труба стрѣлочника на чугункѣ звучит, то собачки сторожевыя свою должность облаивают; а тут, как арфное glissando, пробѣжит дремотный шелест листвы... Вдобавок «незримая луна» сквозь эту листву прямо к изголовью крадется, нѣжно, тихо крадется... Дай Бог, с этими добрыми и мирными друзьями, хотя подчас и шумливыми, сдѣлать то, что сильно желается»... Так поэтично, обычно столь скупой на пейзажи в своей музыкѣ, описывал он свои дачныя впечатлѣнія. Что касается «добрых и мирных» друзей, то видно, они не могли дать ему самаго важнаго для композитора — тишины. Кругом шла веселая, шумная жизнь. «Посѣтители, добрая бесѣда, подчас музыка, всякія новости, толки и перетолки, живется, дышется и работается» — описывал он нѣсколько идиллически свою жизнь у Наумовых. Прежніе друзья относились с подозрительностью к новым и боялись их дурного вліянія на Мусоргянина. Боязнь не была обоснованной, во всяком случаѣ на них не лежал грѣх спаиванья Мусоргскаго, сами они и у них вообще пили очень умѣренно. Модест Петрович старался разсѣять это недружелюбіе. С этою цѣлью и отлично зная, чѣм можно взять людей, он спѣшил сообщить Людмилѣ Ивановнѣ, как восторгается ею Наумов, как слушая чтеніе ея письма к нему, все повторяет, шагая в волненіи по комнатѣ: «да какая же она хорошая, какая славная!» А Стасова старался он подкупить другим, а именно интересом, проявляемым Наумовыми к его любимой Публичной Библіотекѣ. Он просил друга показать «семьѣ, лелѣющей меня, грѣшнаго, зданіе с Минервою» т. е. Библіотеку. Но подозрѣніе и недружелюбіе не разсѣивались.

В сущности только мнѣніем Стасова да доброй сестры Глинки он и интересовался по настоящему из всѣх своих прежних друзей. С ними ему еще было хорошо, в них чувствовал он горячую любовь к себѣ. Но и Людмилѣ Ивановнѣ, со всей ея добротой общеніе с ним, порою, бывало тягостно.

Сначала он был в том періодѣ запойных пьяниц, когда они тщательно скрывают свой порок. Так, обѣдая с друзьями, он упорно отказывался от вина, а куда-то внезапно пропадая, ссылался на мифическія «40.000 департаментских дѣл» — вѣрный признак его запоя. Но этот період прошел и смѣнился другим, противуположным: он являлся к Стасову и к Людмилѣ Ивановнѣ с наивной увѣренностью, свойственной пьяным, что чуть-чуть протрезвившись и пожуя мяты, он тѣм самым сдѣлал незамѣтным свое состояніе. К Людмилѣ Ивановнѣ он являлся нѣсколько дней подряд в столь «ужасном видѣ», что бѣдная старушка, совершенно растерявшаяся, не знала что ей и дѣлать. В концѣ концов, собрав все свое мужество, она попросила Мусеньку в таком, как он сам деликатно выражался, «нервно раздраженном» состояніи к ней не приходить. Мусоргскій обѣщал торжественно и, дѣйствительно, на другой день, явился к ней тихій и скромный. В общем надо сказать, что даже будучи «нехорош», и несмотря на неизбѣжные взрывы пьяной обиды и гнѣва, он сохранял прирожденную ему мягкость. Людмила Ивановна считала его одним из лучших людей на свѣтѣ, он всегда оставался для нея ея «дорогим Мусинькой» (так ей одной подписывал он свои письма). Сохранил он добрыя отношенія и с ея друзьями Петровыми. Он много и трогательно хлопотал по поводу юбилея «дѣдушки» Петрова. Почитатели рѣшили устроить старику сюрприз: Зажечь в вечер его юбилея перед его домом иллюминацію — газовый щит с его вензелем. Но для этого требовалось разрѣшеніе полиціи. По счастью Наумов хорошо знал градоначальника Трепова и разрѣшеніе было дано. «Дѣдушкѣ» поднесли чудный беккеровскій рояль с соотвѣтствующей надписью, о чем тоже хлопотал Мусоргскій. А когда Петров скончался, он рыдал над ним захлебываясь слезами и не мог успокоиться. Для него это была незамѣнимая потеря.

Но с друзьями юных лѣт, с товарищами композиторами отношенія у него очень охладились. При рѣдких, случайных встрѣчах, обѣ стороны старались показать, что ничего не измѣнилось, твердили: «нам надо видѣться, нам непремѣнно

надо видѣться», но не дѣлали для этого ни шагу. Раз как то, послѣ того как они долго не видѣлись, они встрѣтились с Корсинькой на улицѣ. Оба ѣхали на извозчиках в противуположных направленіях, но оба, словно их толкнуло друг к другу, соскочили с своих пролеток и сердечно обнялись. Римскій-Корсаков успѣл тут же, стоя на троттуарѣ, разсказать Модесту, что почти ничего не сочинил за послѣднее время, кромѣ 16 фуг, одна другой сложнѣе. Модест ничего не сказал тут же другу, да и что он мог сказать ему? Но Стасову он жаловался: «когда же эти люди вмѣсто фуг в путныя книги посмотрят, с путными людьми побесѣдуют? Не это нужно современному человѣку от искусства. Жизнь, гдѣ бы ни сказалась, правда, как бы она ни была солона, смѣлая искренняя рѣчь к людям à bout portant, вот моя закваска!» В увлеченіи Корсакова музыкальной формалистикой, в измѣнѣ Кружку склонен он был обвинять Надежду Николаевну, «сухой шелест» ея нашептываній мужу. При встрѣчах с Кюи и с Корсаковым, глубоко запавшая в его душу обида заставляла его вести себя странно, принимать в разговорѣ тон таинственный и многозначительный, а больше всего помалкивать. Это было и благоразумнѣе: разговор так легко переходил в спор, а споры быстро обострялись. Послѣ одной из встрѣч у Людмилы Ивановны он формулировал ей позицію бывших соратников как «наглую измѣну лучшим, живым, всесильным замыслам искусства. И гдѣ же совершалась она?! В том же гостепріимном домѣ, гдѣ когда-то кипѣла жизнь, обсуждались и цѣнились новыя задачи искусства!» За глаза Мусоргскій отзывался о Кюи и Римском-Корсаковѣ с невѣроятной рѣзкостью. Он называл их талмудистами, цадиками от искусства, гробокопателями. Традиція, к которой они взывали, это мертвая схоластика, а «мертвечиной только шакалы, да трусливыя гіены лакомятся, а людям пріятна свѣжая пища». Римскій-Корсаков, разумѣется, не знал о таких отзывах, но чувствовал, что Мусорянин глядит на него «с нѣкоторым подозрѣніем». «Кажется, что он предполагал во мнѣ отсталаго профессора-схоластика, могущаго уличить его в параллель-

ных квинтах». Видно, Мусоргскій правильно чувствовал, что в теченіе всей своей жизни, Корсинька только и будет дѣлать, что исправлять «паралельныя квинты» и прочіе промахи в произведеніях своего геніальнаго друга.

Он об'яснял эту измѣну тѣм, что Балакирев перестал их опекать и пестовать... «Захвачснные в пути желѣзной рукавицей Балакирева они задышали его мощными легкими.. Разжалась желѣзная рукавица Балакирева и они почувствовали, что устали, отдых понадобился». То же самое относилось, в сущности, и к Бородину, но о «химическом господинѣ» говорил он много мягче. Его он упрекал не в измѣнѣ, а в равнодушіи и восточном квіетизмѣ. Правда, и к нему относился его грозный окрик: «да прорвись ты любезный, как живые люди прорываются, покажи, когти у тебя или ластовицы, звѣрь ты, или амфибія какая?» или болѣе мягкій: «о, если бы Бородин озлиться мог!» Но чаще он говорил с добродушной ироніей: «гдѣ то он теперь чай пьет?» Чаепитіе стало в устах Мусоргскаго как бы ироническим лейтмотивом для Бородина, символом его музыкальной лѣни и пассивности. «Ес.ли бы можно было с Вашим содѣйствіем — говорил он Стасову — вытащить его из чайной чашки, или самовара там, что ли!» Но музыкой его он восторгался.

Сам вождь разбредшейся Кучки стал — о, чудо — по немногу «оттаивать». Послѣ пяти лѣт «безсѣтнаго отсутствія» он снова изрѣдка появлялся у Людмилы Ивановны, у Стасова. Ко дню рожденья Стасова он возобновил их старую традицію: пользуясь своими добрыми отношеніями с Беккером, он посылал на квартиру Стасовых тщательно выбранный им самим рояль. Вечером, являясь с поздравленіем, он без всяких упрашиваній и уговоров, садился за рояль, громогласно об'являя: «я сегодня буду играть то-то и то-то». Обыкновенно это была одна из бетховенских сонат, соната Шумана, рѣже Шопена и затѣм что-либо свое и что-нибудь Листовское. Выполнив всю программу, он пил чай и рано уходил. Он даже по старому страстно спорил о музыкѣ, о своих любимых тональностях и тогда казался совсѣм прежним

Миліем. Большую роль в этом «оттаиваньи» сыграло то, что Людмила Ивановна предложила ему принять на себя вмѣстѣ с Римским-Корсаковым и молодым Лядовым редактированье изданія сочиненій ея геніальнаго брата, которое она предприняла. Он не мог отказаться, считая это своим нравственным долгом. В совмѣстной работѣ он был тяжел и капризен и Римскій-Корсаков сильно страдал от него. Да и балакиревскіе методы редактированья были не лишены крупных дефектов. Но работа эта и непрерывное восхищеніе геніем Глинки, его гармоніями, его прозрачной, легкой оркестровкой, всей его ясной глубиной залѣчивали душевныя раны Милія Алексѣевича, постепенно возвращали его к музыкѣ. Глинка оказывал своему ученику неоцѣнимую посмертную услугу. Балакирев даже разыскал и извлек на свѣт божій свои старые манускрипты и снова, по своему обыкновенію, медленно и с безконечными поправками работал над ними.

И все же это был уже не прежній Балакирев. Он как то застыл, остановился в своих вкусах, в пріемах композиціи, не шел вперед. Годы кризиса не прошли для него даром. Он теперь поражал друзей своей необычной в их средѣ «клерикальностью». Он не только сам крестился на каждую церковь, но и усердно убѣждал перекреститься и своих завѣдомо невѣрующих друзей. «Ну, что вам стоит? ну, хоть ради меня!» — умильно упрашивал он. Он не вкушал мясного и даже перестал носить шубу, чтобы не обидѣть звѣря. Он ходил в самые большіе холода в драповом пальто, тщательно укутывая шарфом шею и бороду. Дом его стал настоящим убѣжищем для всяких животных. К собакам он относился с истинно христіанской кротостью и когда одна из его питомиц сильно цапнула его за палец, не разсердился, хотя рука разболѣлась и ему угрожала потеря возможности играть на рояли. Прогуливая своего любимаго «Дружка», он тщательно охранял его от всяких флиртов и когда нужно было, брал громаднаго пса на руки. Он считал грѣхом убійство даже насѣкомаго и поймав какого нибудь клопа или таракана осторожно отпускал его на волю, приговаривая: «Иди, милый, Бог с

тобой!» Все это сильно раздражало. «Наша то Матрена Савишна, с кошками, собаками, лампадками!» — восклицал Лядов, сын капельмейстера Маріинки. К Модесту Балакирев всегда относился особенно строго. До него дошли слухи, что его бывшаго ученика обуяла будто бы странная самоувѣренность и гордыня. Но встрѣтившись как-то у Людмилы Ивановны, он дружелюбно разговорился с Модестом и был поражен его кротостью и скромностью. «Я был пріятно удивлен Модинькой, как человѣком, — сообщал он Стасову, — никакого самохвальства или чего-либо вродѣ самообожанія, напротив того, он был скромен, серьезно слушал, что ему было говорено и нисколько не протестовал против надобности знать гармонію и даже ничего не имѣл против того, чтобы заняться ею с Корсинькой. Все это меня пріятно и даже очень и очень пріятно удивило. Покуда (до осени) я его напустил на хорошую работу и он взял у меня свою партитуру «шабаша вѣдьм», чтобы ее передѣлать и пересочинить. Там есть такія сильныя мѣста, что было бы жаль оставить ее в том безпорядкѣ, в котором она находится сейчас». За «шабашем» же Мусоргскій зашел к Милію и остался в восторгѣ от него. Словом, они переживали что часто переживают бывшіе когда-то близкими и долго не видавшіеся люди: какой-то порыв влеченія друг к другу, почти влюбленности, а искреннее восхищеніе Модеста сильно продвинутой вперед «Тамарой», понятно, подкупало ея автора.

Хотя на словах Мусоргскій готов был идти на выучку к Римскому-Корсакову, но на самом дѣлѣ с раскольничьим фанатизмом, достойным «Досифея» из «Хованщины», стоял на своем. Он уже не мог сойти со своего пути, но шел он по нему уже не прежней богатырскою поступью. Он работал теперь медленно. Если вспомнить, что он задумал «Хованщину» в 1872 году, когда еще не был поставлен на сценѣ «Борис Годунов», то дѣлается очевидным упадок его творческих сил, хотя только количественный (все, что он сочинял в «Хованщинѣ» оставалось великолѣпным). Первый акт был закончен в 1875 году. С тѣх пор от времени до времени он сочи-

нял для нея, по слову Стасова, «немало чудеснаго». Но оркестровка не шла уже параллельно сочиненію, как в «Борисѣ». Она требовала упорнаго труда, на который он становился все менѣе способен. Он все откладывал ее на послѣ и был очень доволен, когда Римскій Корсаков, взяв для концерта Безплатной Школы его «Танец Персидок», сам наинструментовал его.

Не закончив еще и половины «Хованщины», Мусоргскій взялся за новую оперу, на этот раз комическую на малороссійскій гоголевскій сюжет — «Сорочинскую Ярмарку». Кажется, хотѣл он угодить тогда еще жившему «дѣдушкѣ» — Петрову, которому хотѣлось имѣть роль из родного ему малороссійскаго быта. Кромѣ того, это должен был быть отдых от серьезных трудов. Но он сильно сомнѣвался, сможет ли он, великорос, передать всѣ музыкальныя интонаціи малороссійской рѣчи, и он то начинал, то бросал свою «Сорочинскую». Но опасенія его были напрасны: в «Сорочинской» много подлиннаго и сильнаго юмора и комизма. Гдѣ больше всего сказалось и не количественное только оскудѣніе его творчества — это в пѣснях. Ни одна из его новых вещей не могла идти в ровень со старыми. Но и болѣе слабыя вещи его находили теперь легче издателей, чѣм прежде тѣ, которыя обезсмертили его имя. Бессель даже платил ему за романсы, правда, не много, не больше 20 рублей за штуку. Бессель вообще платил не аккуратно. Этот, почти единственный в его жизни издатель, уплатил ему всего, за всю жизнь, 701 р. 50 к., включая и право на клавираусцуг «Бориса». Кромѣ поспектакельных отчисленій за ту же оперу, это было все, что русскій геніальный композитор получил за свою работу!

Вещи его исполнялись теперь довольно часто с эстрады. И не только потому, что онѣ давали пѣвцам возможность блеснуть драматизмом и экспрессіей, но и по личным добрым отношеніям с пѣвцами и пѣвицами. Платонова и Леонова, Лаврова и Комиссаржевскій охотно пѣли вещи этого милаго Модеста Петровича, и особенно с ним самим в качествѣ аккомпаніатора. Пѣть с ним было сущее удовольствіе; он мог

играть с листа, в любом тонѣ и у поющаго была твердая увѣренность, что он «не выдаст». К тому же он никогда не брал денег и никогда не отказывался аккомпанировать на благотворительных вечерах, и всякія студенческія кассы и безплатныя столовыя прямо уже расчитывали на него. Он отлично справлялся со своим дѣлом даже будучи слегка «под шефе». Нѣкій юный студент, один из устроителей благотворительнаго концерта, явившійся к нему утром от итальянскаго пѣвца, которому Мусоргскій должен был аккомпанировать с просьбой пріѣхать к нему для репетиціи, пришел в ужас, когда композитор, заплетающимся языком, но очень твердо отказался это сдѣлать. «Pas possible, pas possible. Le soir je serai exact», — говорил он почему-то по французски, немного спотыкаясь на послѣднем словѣ. Студент сильно сомнѣвался в том, что он пріѣдет, но к его изумленію Мусоргскій дѣйствительно пріѣхал аккуратно. Итальянец оказался охрипшим и хотѣл пѣть свой номер на тон ниже и Мусоргскій симпровизировал для него болѣе низкій аккомпанимент. «Che artista!» — все повторял в восхищеніи пѣвец — «Che artisa!».

В связи с этими своими успѣхами, как аккомпаніатора, у Мусоргскаго даже стали появляться нѣкоторыя иллюзіи. Чувствуя, что он не удержится на службѣ и задумываясь над своим будущим, он надѣялся, что сможет зарабатывать как піанист и не без гордости заявлял Стасову: «Если придется снискивать хлѣб насущный бряцаніем — сумѣем». Увы, он не принимал в разсчет того, что есть разница между безплатным аккомпаниментом и «бряцаніем» как профессіей. Едва ли бы удалась она Мусоргскому.

Хотя Модест Потрович, в каком бы он ни находился состояніи, каким-то чудом подсознательной воли протрезвлялся и являлся на службу, когда это было необходимо, но на какую-либо систематическую работу он становился все менѣе способен. Его долго терпѣли и ему даже выходили в свой срок полагавшіеся за выслугой лѣт чины, но послѣднее производство его из надворных в коллежскіе совѣтники было

уже только утѣшительным: его отставка была предрѣшена и он это знал. Ему грозило быть выброшенным на голодное существованіе. Он мог сколько угодно произносить гордыя рѣчи о «бряцаніи», в глубинѣ души он в них не вѣрил. Однажды в полном отчаяньи, он жаловался Дарьѣ Михайловнѣ Леоновой, что скоро останется на улицѣ, что не знает, что ему дѣлать. Леонова постаралась успокоить его, разсказала ему, что собирается открыть курсы пѣнія, и что это будут их «общіе» курсы. Она вообще никогда не оставит его в нуждѣ. Зачѣм существуют друзья, как не затѣм, чтобы помочь другу в крайности? И от этих слов, от милаго и мужественнаго тона, от самих звуков ея бархатнаго контральто Модест Петрович успокоился и выраженіе затравленнаго звѣря смѣнилось обычным кротким и спокойным выраженіем. Он ушел утѣшенный.

Стасов, как ни был он поглощен вихрем всяческих дѣл и забот, безпокоился о судьбѣ друга. Он взывал к «отеческим и покровительственным чувствам» Балакирева, умоляя его спасти бѣднаго Мусорянина, которому грозит потеря мѣста и который может тогда запить еще горше. У Милія Алексѣевича были теперь вліятельныя знакомства — Побѣдоносцев, Филиппов... Он плохо вѣрил в возможность спасти Модеста. «Он слишком физически разложен, чтобы стать не тѣм трупом, каким он теперь», — говорил он. Но он познакомил Мусоргскаго с крупным чиновником Государственаго Контроля Тертіем Филипповым. Филиппов был славянофилом и страстным любителем и собирателем русских народных пѣсен, Мусоргскій, как композитор, был ему близок и дорог. К тому же оба они понравились друг другу: Мусорянин, вытрезвившійся, в лучшем своем костюмѣ имѣл вид «почти порядочнаго» человѣка. Благолѣпный и чуть чуть елейный Тертій Иванович тоже ему понравился, как и вся обстановка его барской квартиры, гдѣ повсюду висѣли образа, стоял неопредѣленный запах смѣси ладана, лампаднаго масла и евкалипта, гдѣ царило то истовое благолѣпіе, которое бывает в покоях степенных архимандритов в богатых монастырях.

Тертій Иванович ввел его в какія-то еще болѣе высокія, вѣроятно, великокняжескія сферы (об этом Мусорянин говорил с обычной для него таинственной важностью). Но, главное, Филиппов взял его на службу к себѣ, в Контроль. Тут уже служба была в чистом видѣ синекурой, от Модеста Петровича ничего не требовалось, кромѣ присутствія от времени до времени да сохраненія «почти порядочной» внѣшности. Но и это становилось для него трудным.

В концѣ 1878 года Мусоргскій в послѣдній раз слушал на сценѣ своего «Бориса». Он был также на репетиціи и вел себя странно: то многозначительно прислушивался к играемому, то опускал голову на грудь, то горделиво поднимал ее, встряхивал волосами и даже театрально подымал вверх руку. Направник, как обычно, подмѣчал малѣйшую ошибку, малѣйшую «грезь» (грязь) у отдѣльных инструментов. У него был необыкновенный слух и музыкальная память. «Вторая волторна, на полтона ниже» и т. п. распоряжался он, как капитан на кораблѣ. Застегнутый на всѣ пуговицы и корректнѣйшій чех относился с симпатіей (поскольку был способен к чувствам) к личности русскаго собрата, но морщился и ежился от многаго в его музыкѣ. Он и слышать не хотѣл о постановкѣ «Хованщины», «довольно нам и одной революціонной оперы», — говаривал он. Мусоргскій тоже обращал почему-то вниманіе на отдѣльные инструменты, но как-то нелѣпо, восхищаясь ими в самых безразличных мѣстах. Барабанщику он даже отвѣсил, скрестив руки, глубокій поклон. Все это было и смѣшно, и грустно. А на представленіи (это был двадцатый, немного юбилейный спектакль) публика, узнав, что автор в театрѣ, нѣсколько раз его вызвала. Пѣвцы и пѣвицы пѣли с под'емом. Но это был урѣзанный «Борис», без сцены «Под Кромами» и с другими направниковскими «купюрами». И это сильно отравляло ему радость от успѣха.

II.

Этой осенью случился сним не то первый припадок падучей, не то удар, но во всяком случаѣ нѣчто очень серьезное. Это произошло когда он был в гостях у Леоновой. Пѣвица окружила его всяческими заботами, ухаживала за ним. Доктор, хорошо знавшій организм пацієнта, сначала было дал Мусоргскому два часа жизни, но к счастью ошибся. Он оправился и болѣзнь прошла как будто безслѣдно. Перед Мусоргским было еще нѣсколько лѣт жизни и жизнь даже подарила еще ему напослѣдок что-то вродѣ улыбки, хотя и кривой, и похожей на гримасу.. В послѣдній раз ему удалось вырваться из Петербурга, из порочнаго и безвыходнаго круга своей жизни. Дарья Михайловна Леонова предложила ему принять участіе в ея концертном турнэ по Россіи.

Леонова давно уже покинула императорскую сцену, не сойдясь с дирекціей в условіях при подписаніи іоваго контракта (она требовала оклада в 5.000 рублей, которых ей не дали). Но уйдя со сцены, она не сложила оружія. Голос ея, то прекрасное, бархатное контральто, которое когда-то плѣиило Глинку и Мейербера, был уже не прежним. Но умѣье пѣть, артистичность, темперамент остались. К тому же она была смѣла и предпріимчива. Через всю Сибирь (тогдашнюю Сибирь!), давая повсюду по дорогѣ концерты и пожиная восторги гостепріимных сибиряков, она проѣхала в Китай, в Японію (гдѣ была едва ли не первой европейской концертанткой) и в Соединенные Штаты. Из поѣздки она вернулась увѣнчанная новыми лаврами, с безконечными разсказами (искренними, хоть и преувеличенными) о встрѣчах и тріумфах, с японской комнатой, переполненной произведеніями искусства, не всегда настоящими, и прозвищем Леоновой-Японской, или даже короче «японки». Вернувшись, она использовала газетный шум, поднятый вокру ея путешествія, и много пѣла в столицах и в провинціи. Теперь она задумала новое большое турнэ. Это было не легким предпріятіем — в русской

провинціи не было еще публики для серьезной музыки. Кромѣ того, надо было брать с собой аккомпаніатора т. к. расчитывать на мѣстных піанистов не приходилось. Программу слѣдовало давать разнообразную и такую, которая бы стоила дешево. У Леоновой и у ея гражданскаго мужа, нѣкоего Гриднина, игравшаго при ней роль импрессаріо, явилась одна и та же мысль: почему не пригласить Мусоргскаго? Он мог выступать как самостоятельный піанист и аккомпанировать, и его имя очень украсило бы их программу.

Мотивы у Леоновой и Гриднина были различные. Леонова, по добротѣ сердечной хотѣла, чтобы поѣздка развлекла, освѣжила Мусоргскаго. Понятно, и она не без тщеславнаго чувства думала о том, что ея аккомпаніатором будет извѣстный композитор. Гриднин же, человѣк крутой и жадный, думал о том, что аккомпаніатор будет стоить дешево и тѣм уменьшит риск всего предпріятія. Мусоргскій был в восторгѣ от предложенія Леоновой и чуть чуть опасался его. Было и формальное препятствіе: надо было получить отпуск из Контроля. Но славянофильствующій Филиппов сочувствовал поѣздкѣ: зачѣм сидѣть русскому художнику в нѣмецком и холодном Петербургѣ? Пусть поѣздит по Руси матушкѣ! С его помощью получить отпуск было не трудно, тѣм болѣе, что Филипов все равно видѣл, что его protégé на службѣ не удержится. Стасов был рѣшительно против поѣздки. Ему казалось ,что Модест роняет себя, компрометирует всю «новую школу» русской музыки, становясь аккомпаніатором безголосой оперной дивы. Преувеличенныя же ожиданія Мусорянина от поѣздки, которая должна была якобы, принести ему тысячу рублей, он считал иллюзіей. Еще рѣзче высказался Балакирев. «Как ужасно то, что происходит с Модестом — жаловался он Людмилѣ Ивановнѣ. — Если бы вы могли разрушить эту поѣздку с Леоновой, то сдѣлали бы доброе дѣло. С одной стороны Вы избавите его от постыдной роли, которую он хочет взять на себя, а с другой Модест и Леонова очень рискуют. Ну да как у него польется кровь откуда нибудь, как раз случилось у Вас? Пріятно ли ей будет с ним возиться; а погибель его

вѣроятна, т. к. Леонова, конечно, не преминет ему подносить — оно же и дешевле!»

Но поѣздка была рѣшена и в іюлѣ Леонова, Гриднин и Мусоргскій выѣхали прямо на юг.. Он был в необыкновенной ажитаціи, вѣдь он так давно уже не покидал Петербурга, так мало знал Россію. И вот послѣ всяческих волненій и сборов, он в поѣздѣ с Дарьей Михайловной, ея мужем и «камернсткой». Потертый чемодан с не менѣе потертым гардеробом, но с фраком для выступленій качается в сѣткѣ над головою. Прошлаго, Петербурга, как будто не существует. Путешествіе — всегда немного освобожденіе от привычных пут жизни. Ребенок, живущій в нас, просыпается с необыкновенною силой. Все радовало Модеста Петровича, все занимало его: и большіе вагоны с коридором посрединѣ, и медленное покачиванье поѣзда, под которое так хорошо грезится и думается, и долгія остановки на станціях с буфетами, гдѣ так вкусно дымится борщ и красуются отбивныя котлеты с ножками в кружевных панталончиках и прельщает в бутылках какая то особенно вкусная водка. Днем то сіяет яркое іюльское солнце, то набѣгают быстрые дожди и капли как живыя змѣйки перегоняют друг друга, иша себѣ извилистый путь на вагонном стеклѣ. А вечером, когда зажигаются фонари и кондуктор любезно ставит нагорающую свѣчу на стол, хорошо ловить мерцающія тѣни по стѣнам, говорить, мечтать, слушать разсказы Дарьи Михайловны о ея тріумфах, о Глинкѣ, о слѣпкѣ с ея горла, будто бы вытребованном парижским Музеем. Казалось, что нѣт больше всѣх пут и тягот жизни, нѣт Контроля, Мало Ярославца, а есть поля, лѣса и перелѣски, безконечная Русь и безконечное будущее.

Первый концерт состоялся в Полтавѣ. Мусорянин сейчас же послѣ него подѣлился своими впечатлѣніями в письмѣ к семейству Наумовых:

«Дорогіе тетя, милѣйшій Папхен и Сергушок прекрасный, здравствуйте — писал он им — из афиши увидите какими любопытными музыками мы занимались в Полтавѣ. Сбор добрый, но менѣе ожидавшагося, зато тріумф художественный

учинен безповоротно. Благая судьба познакомила нас с превосходными домами Милорадович, Мосоловых и Шредер. К прискорбію мы лишены были домов Тамары и Христіановича — представители этих двух домов находились с дѣтками в деревнях, вдали от Полтавы. Дарья Михайловна была, есть и пребудет безподобна. Что за необыкновенный человѣк! Энергія, мощь, коренная глубина чувства... Мы покрыты цвѣтами и какими цвѣтами!» Все его письмо написано в том же восторженном тонѣ. Имѣніе Милорадович кажется ему истинно художественным. Хозяйка — «крупно образованной европейкой до кончиков ногтей». ...«В довершеніе дарованнаго нам привѣтливою Е. И. Милорадович наслажденія Дарья Михайловна спѣла тузово «Сиротку», «Забытаго» и «Марфу перед самосожженіем». Дарью Михайловну чуть не задушили поцѣлуями, цѣловали руки ея даже дамы, и на другой день заявили, что не спали всю ночь и не забудут божій дар». Словом, была обычная картина недорого стоющих и скоропреходящих, хотя, может быть, и искренних восторгов. Очаровала Мусоргскаго природа Малороссіи, которую он видѣл через гоголевскія очки, от пирамидальных тополей полтавских до «вкуснаго» животворнаго воздуха, от «роскошных» полей до благоуханных ночей и т. д. и т. п.

Из Полтавы в началѣ августа отправились в Елизаветград ,в Николаев и Херсон. Повсюду это была приблизительно та же картина... Из Елизаветграда он снова послал реляцію друзьям Наумовым. Опять, не жалѣя восторгов, пишет он про «тріумф Дарьи Михайловны среди отборнаго общества». Концерт состоялся в «прелестном» залѣ Благороднаго Собранья, и хотя всѣ крупные владѣльцы были по деревням с семействами, но к счастью в Елизаветградѣ стояло много войск и «привѣтливые господа командиры полков и дивизій с любезными супругами поддержали нас сколько могли и мы очень признательны любезным полковым дамам». Особая депутація дам даже просила их дать еще один концерт, гарантируя его успѣшность, но они уже не могли перемѣнить свой маршрут и уѣхали по «чугункѣ» в Николаев. И там так же, как в дру-

гих городах, собрать публику обычными путями было невозможно. Приходилось прибѣгать к эстраординарным. Тут, в Николаевѣ, стоянкѣ флота, помогли уже не «крупно образованныя европейки» и не полковыя дамы, а морское начальство. Николаев тогда только начинал строиться и шириться, улицы его были еще не мощенными, но в нем было свое «Морское Собраніе», гдѣ они и выступили, и зала была, по его словам «очень изящна, в смѣшанном мавританском стилѣ, подобно замку Наины в «Русланѣ и Людмилѣ», только без колеров». В этом-то ужасном залѣ публики опять набралось немного, но зато «самая представительная». На этот раз Мусоргскаго «очаровал своею любезностью, вниманіем и доброю помощью» капитан Голенищев, «барин сдержанный, но страстно любящій искусство». В семьѣ другого капитана, Юрковскаго, «Дарья Михайловна потребовала от меня посвятить дѣток Юрковскаго в мои картинки из дѣтской жизни, и я, грѣшный, окруженный милыми дѣтками, исполнил требованіе, а сама Дарья Михайловна, сидя у большого стола (я был у инструмента), спѣла капитально, как туз из тузов, «Лѣсного Царя». Посѣтили они и Главнаго Командира: «Прелестный, задушевный пріем, много свѣдѣній, много ума, и горячаго, прямого чувства, а какая хорошая, стойкая любовь к искусству! Посѣтили почтенных господ адмиралов: настоящіе господа и человѣки, и пресимпатичные — вот уже воистину без всяких берибомбошек, и слава им, милым». Посѣтили Обсерваторію, гдѣ любовались в «телескопическій прибор» Юпитером и Сатурном, так что Мусорянин чуть не «рехнулся от восторга». Начальник Обсерваторіи «поздравил Дарью Михайловну добрым шампанским» и т. д. и т. п. Осмотрѣли еще николаевскій плавучій док и нашумѣвшую в то время, недавно изобрѣтенную «поповку». Словом, впечатлѣній было множество и самых разнообразных. Были еще у третьяго адмирала Баженова, который встрѣтил их роскошной иллюминаціей. Словом, адмиралы себя оправдали. В Николаевѣ дано было три концерта, что было немало для провинціальнаго города.

Потом отправились в Херсон, оттуда в Одессу. Херсон и особенно Одесса оказались менѣе музыкальными. Большой и быстро растущий, живой и оживленный город, «южная красавица» была вполнѣ равнодушной к искусству. «Весь ея интерес был в пшеничкѣ и карбованцах. Сухо, холодно, непривѣтливо при жарѣ чуть не в 40 градусов!» Зато побывал он в двух одесских синагогах на богослуженіи и пришел в восторг. «Запомнил крѣпко двѣ израильскія темы: одну кантора, другую хорового клира — послѣдняя унисон; не забуду их николи!» А на пароходѣ, везшем их из Одессы в Севастополь во время качки у Тарханхутскаго маяка, «когда у иных началась морская болѣзнь я записал от пѣвуній греческую и еврейскую пѣсни и в послѣдней сам подпѣвал пѣвуньям, чѣм онѣ были очень довольны и «промеж себя» назвали меня мейстером». Какой-то обостренный и постоянный интерес влек Мусоргскаго к «израильскому» в музыкѣ.

Севастополь кажется еще превзошел Одессу по нелюбви к искусству. «Кромѣ милѣйшей семьи Макухиных, в Севастополѣ об искусствѣ даже заикнуться нельзя». Но одним семействомъ Макухиных не наполнишь зал, так что в Севастополѣ (бывшем кстати, еще в развалинах послѣ осады!) не они дали другим, а сами набрались художественных впечатлѣній. В Ялтѣ они очутились в сентябрѣ и сначала попали там в настоящій клоповник. Но здѣсь их нашла и извлекла «волшебная рука чудесной Софьи Владиміровны», незаконной дочери Стасова, бывшей замужем за нѣкіим Фортунато, культурным человѣком и пѣвцом любителем. Найдя «почти обожаемаго», как она выражалась, Мусоргскаго в таком положеніи, она моментально перевезла всю компанію в Гранд Отель де Рюси, которым управляла, «над самым Черным Морем, с чудным цвѣтом аквамарин и роскошным прибоем волн». Мусоргянин спѣшил разсказать Стасову, как мила его дочь и как симпатичен («до восторга!») его зять, имя котораго он впрочем все время путал, называя его то Михаил Антоновичем, то Михаил Анатольевичем. Осмотрѣв Крым, они через Ростов,

Новочеркаск, Воронеж и Тамбов, всюду останавливаясь для концертов, вернулись в концѣ октября в Питер.

Успѣх художественный поѣздки был, повидимому, много больше успѣха матеріальнаго. Возможно, что программа их была слишком серьезна. Людмилѣ Ивановнѣ Шестаковой он сообщал, что, благодаря им, русскіе города «оглашены настоящим образом» звуками ея брата, Глинки. Сообщал, что «в репертуар наш входят с исключительным преимуществом Глинка, Даргомыжскій, Сѣров, Балакирев, Кюи, Бородин, Римскій Корсаков, Шуберт, Шопен, Лист, Шуман. На таких рычагах «ходить по бѣлу свѣту можно». Он не сообщал ей, что были и другіе «рычаги», — Гуно и Мейербер — если ему, как старообрядцу и приходилось порой осквернить себя общеніем с нечестивыми, то писать об этом было не к чему. Кромѣ этих композиторов, Дарья Михайловна исполняла еще, по большей части на бис, вызывая нескончаемые восторги еще и якобы «свой» «вальс-каприччіо», под названіем «Послѣ Бала». Вѣроятно и музыку и слова вальса написал для нея Мусоргскій, но, может быть, на напѣтый ею мотив. То и другое было не без цыганщины. Когда-то уже сам Глинка точно так же сочинил для нея «ея» вещь. Что касается выступленій Модеста Петровича, то он не был и не мог быть піанистом-витуозом, каким мог стать в юности: піанистическая техника требует постоянных упражненій. Игра его все же была высоко художественной, но, видно, что он приспособлялся к провинціальной аудиторіи и ея вкусам: в программах концертов его фортепіанныя транскрипціи своих произведеній гласили широковѣщательно, напримѣр так: «Вѣнчанье царя Бориса под великим колокольным звоном при народном славленіи» или «Вечерняя прогулка гостей в садах Сандомірскаго воеводы Мнишек» и т. п. Но вообще-то его участіе было только подсобным. Газеты были полны Леоновой и почти ею одной.

Хотя письма Мусоргскаго полны восторгов и умиленія, но часто они свидѣтельствуют больше о далеко зашедшем духовном разложеніи, результатѣ алкоголя, чѣм об истинных

настроеніях. В связи с концертами ему, вѣроятно, пришлось пережить немало и тяжелаго. Послѣ неудачнаго концерта при пустом залѣ в Ялтѣ, дочь Стасова видѣла его в артистической, разстроеннаго, блѣднаго, с закрытыми ладонью глазами. Едва ли так уж пріятны были ему и ухаживанія за всѣми этими «крупно образованными европейками», полковыми дамами и милыми адмиралами, которые якобы обожали музыку. Он, вѣроятно, отлично понимал, что это им только на мгновенье кажется по легкой славянской отзывчивости. Мусорянин ясно видѣл, что Россіи до искусства нѣт дѣла, и вспоминал свои собственныя прежнія слова: «Россія производит злаки, о которых не знает, потому что они ей не нужны. В Россіи искусство водится, но художество — предмет роскоши, никому не нужный.»

Итог этой авантюры был противорѣчив: поѣздка Мусоргскаго развлекла, встряхнула, но и утомила. Она познакомила его с Россіей и вдохновила на нѣсколько фортепіанных пьес. Но она же оторвала его от самаго главнаго — от работы над его операми.

III.

Вернувшись очутился он в прежнем и даже худшем положеніи. Реальностью стало то, чего он давно опасался, как ужаса и гибели: окончилась его чиновничья карьера. Но гибели не послѣдовало. Друзья его давно уже готовились к этому моменту. Стасов бил тревогу, искал выхода. Милій высказывался за то, чтобы устроить концерт в пользу Мусорянина. Но концерт дал бы какую-то ограниченную сумму денег, которая скоро была бы истрачена, и Мусоргскій снова очутился бы в том же положеніи. Поэт Жемчужников (соавтор Козьмы Пруткова и пріятель Наумовых и Мусоргскаго) предложил другой выход, который осуществился благодаря Тертію Филиппову. Филиппов собрал группу людей, которая обязалась обезпечить композитору ежемѣсячную сумму в сто рублей. Чтобы придать всему необидный для Мусоргскаго

характер, ему представили это как аванс под будущую «Хованщину». Такая форма помощи должна была кромѣ того побудить его поскорѣе закончить свою оперу. Мало того, нашлась еще другая группа людей, сохранившая втайнѣ свои имена и всю «сдѣлку»: эта, вторая, группа обязалась давать Мусоргскому 80 рублей в мѣсяц за «Сорочинскую Ярмарку», причем Мусоргскій обязался по мѣрѣ написанія печатать отдѣльные номера у издателя Бернарда, а всю оперу кончить в ноябрѣ. Таким образом создавалась своеобразная конкурренція между двумя группами, поддерживавшими Мусоргскаго, и двумя операми, не к пользѣ «Хованщины», для окончанія которой никаких сроков поставлено не было (Мусоргскій надѣялся закончить ее в слѣдующем году). Узнав из обнадеживающаго его письма Стасова о планах его друзей, Мусорянин отвѣчал: «Малодушію я не предавался и не предаюсь. Если судьба даст возможность расширить проторенную дорожку к жизненным цѣлям искусства — возрадуюсь и ликовать буду; требованья искусства от современнаго дѣятеля так громадны, что способны поглотить всего человѣка». Эта комбинація была спасеніем для Мусоргскаго. Из «бряцанія» ничего выйти не могло. «Общіе» курсы с Леоновой пошли плохо, учеников и учениц было мало, Мусоргскій дѣлал что мог, изыскивал новые методы, писал дуэты, терцеты и квартеты длу учеников и учениц (доказательство, что их было все же не меньше четырех) и Леонова была им довольна, хотя Римскій Корсаков утверждает, что эти педагогическіе сольфеджи были написаны из рук вон плохо. Хотя таким образом вопрос о хлѣбѣ насущном отпал, но жизнь Мусоргскаго осталась прежним богемным существованіем все болѣе опускавшагося человѣка. В маѣ 1880 года Римскій Корсаков получил от Стасова из заграницы письмо с робким вопросом: «а Мусорянина бѣднаго не повидаете?» (видно, он знал, что на такія просьбы отклик был не охотный). Корсаков и сам хотѣл провѣдать его, да, как это бывает, все откладывал. Сговорившись с женой, что он постарается уговорить своего стараго друга погостить у них на дачѣ, он зашел к Мусорг-

скому в концѣ утра, около двѣнадцати. Модест Петрович еще лежал на большом персидском диванѣ, не до конца покрытом бѣльем сомнительной чистоты. Он только что проснулся, волосы его были всклокочены, глаза мутны, лицо опухшее.

Корсаков зашел к Мусоргскому под предлогом выбора отрывка из «Сорочинской» для концертов Безплатной Школы, которые шли теперь под его управленіем. Он просматривал кучку нот, на которую ему указал Мусорянин и в которой было мало новаго. Сначала Мусоргскій и слышать не хотѣл о поѣздкѣ на дачу, говорил, что занят, что уже приглашен к Леоновой; потом как будто стал сдаваться. И все время его рвало в посудину, стоявшую около дивана, и он как будто совсѣм не стѣснялся этого и только приговаривал: «это хорошо ,это желчь отходит». Корсаков с болью и грустью смотрѣл на друга и плохо вѣрил в его обѣщанія. Думал он невольно и о том, что хотя Надежда Николаевна человѣк долга и готова на жертвы, чтобы помочь другу юности, но что ей, столь любившей чистоту и порядок, страдавшей от чужого бѣлья даже в чистѣйших швейцарских отелях, было бы не легко выдержать пребываніе у них Мусоргскаго.

Мусоргскій, разумѣется, не поѣхал на лѣто в трудовое и благоустроенное гнѣздо Римских. Что ему было там дѣлать? Он бы пришелся не к мѣсту. Он лучше чувствовал себя в «японском домикѣ» в Ораніенбаумѣ у Леоновой. Та не снисходила, не прощала, но в самой безцеремонности ея обращенья чувствовал он смѣсь жалости и почтенія. От этого готов он был выносить и ея капризы, и присутствіе грубаго Гриднина, и свое нѣсколько двусмысленное положеніе в домѣ. Поэтому он готов был исполнять порученія дивы, ѣздить за покупками, хлопотать по кухнѣ. Больше всего он любил работать в саду и по саду. Наблюдательный мальчик, живший на той же дачѣ и ставшій впослѣдствіи извѣстным профессором, не раз видѣл его с ножницами и лейкой, подрѣзывающим кусты и поливающим цвѣты. Он на всю жизнь запомнил лицо композитора, поразительно похожее на извѣстный рѣпинскій портрет. Вечером собирались гости, Леонова жила открытым

домом. Мусоргскій выдѣлялся среди них своим видом и сильно потертым костюмом, он давно уже не носил других костюмов, кромѣ подаренных с чужого плеча или купленных у старьевщиков. За столом бывало весело и шумно. Модест Петрович бѣгал из столовой в кухню и обратно, о чем то хлопотал, безпрестанно откупоривал бутылки, т. ч. хлопанье пробок каждый раз пугало мальчика. Он угощал вином гостей и не забывал себя, становясь все блѣднѣе и возбужденнѣе. За столом Дарья Михайловна царствовала, вспоминала о прошлом, о своих успѣхах, о Глинкѣ. «Я Михаил Ивановича обожала, да и он — что грѣха таить — был ко мнѣ неравнодушен. Раз как то я ждала его на урок, а он возвратился навеселѣ с каким то пріятелем и вздумали они играть в карты, а ломбернаго стола как раз на грѣх не было. «Дашенька, можно нам у тебя на спинѣ поиграть?» — «Пожалуйста, Михаил Иванович». Так и сыграли они на моей, тогда еще не столь широкой как теперь спинѣ». С гостями, даже важными она обращалась дружески фамиліарно. Когда она переставала разсказывать, воцарялось иногда молчаніе. «Душа с Богом бесѣдует», — ехидно сказал какой-то молодой пшют. «С Богом, а не с тобой, дураком» — осадила его при общем хохотѣ Дарья Михайловна своим глубоким контральто, в разговорѣ похожем на бас.

Тут, несмотря на вечернія возліянія, в сравнительной тишинѣ и на воздухѣ, Модест Петрович снова принялся за «Хованщину». Ранней весной в маѣ закончил он третье дѣйствіе, а осснью в августѣ, и четвертое. Он очень спѣшил и потому выбрасывал из либретто все, что казалось ему излишним, часто далеко не к пользѣ сценарія. Софію и Петра сослал он за сцену, выбросил сцену в Нѣмецкой Слободѣ и т. п. Стасов протестовал, но безуспѣшно. Композитор видѣл, что сил у него мало и старался упростить свою задачу. В концѣ августа он писал Стасову: «о грѣшном Мусорянинѣ могу сказать только, что сію секундочку, ночью учинил ярмарочную сцену из «Сорочинской» — бо «Хованщина» в

предчасіи уже имѣется; но инструментовка — о, Боги, — время!»

Времени у него было уже совсѣм мало, а «Хованщина» была не оркестрована, «Сорочинская» же представляла настоящій хаос. Отдѣльные номера были уже напечатаны и исполнялись, но большинство отрывков перваго и второго дѣйствія не были связаны даже сценаріем, третье же дѣйствіе было совсѣм не написано.

28 января скончался Достоевскій. В первых числах февраля был устроен вечер его памяти. На нем, кромѣ аккомпанимента, Модест Петрович выступил послѣдній раз как піанист и произвел потрясающее впечатлѣніе своим подражаніем колокольному звону, которому он придал на этот раз не торжественный, как в «Вѣнчаніи на царство Бориса», а похоронный, поминальный характер. 3-го февраля на концертѣ Безплатной Школы под управленіем Римскаго Корсакова исполнено было «Пораженіе Сенхериба» в присутствіи автора. Вещь прошла с успѣхом, хотя дирижер не был доволен ни хором, ни оркестром. В концертѣ 14-го должна была быть исполнена «Думка Параси» из «Сорочинской». Но на этом концертѣ Мусоргскому уже не привелось быть.

Он чувствовал себя все хуже душевно и физически. 11 февраля от прибѣжал к Леоновой с лицом, искаженным волненіем и страхом, и снова жаловался, что его положеніе безвыходно, что ему предстоит очутиться на улицѣ. Леонова знала, что теперь эти страхи только продукт болѣзненнаго воображенія и успокоила его. Он теперь почти ежедневно бывал у нея, как аккомпаніатор на ея курсах, как ея личный аккомпаніатор, а часто и просто так, без дѣла. На другой день, 12-аго, он снова пришел к ней, вид у него был спокойный и ничто не предвѣщало того, что случилось. Леонова собиралась в гости к нѣкоему генералу Сахновскому, на именины его дочери, одной из ея учениц, и Мусоргскій поѣхал с нею. Именинное веселье было в полном разгарѣ когда они пріѣхали. Мадмуазель Сахновская старательно спѣла все, что ей полагалось под общіе аплодисменты гостей. Потом Лео-

нова спѣла «Пѣсню Марфы» перед самосожженіем, балладу «Забытый». Пѣла, как всегда с большим и трагическим выраженіем, гости были потрясены и очарованы. И вдруг, когда Мусоргскій стоял около обѣденнаго стола, он грохнулся на пол. К нему подбѣжал сын Сахновскаго, тут же оказался доктор. Мусоргскаго привели в чувство. О том, чтобы его отвезти домой, не могло быть и рѣчи, и Леонова со своей всегдашней готовностью помочь ему, повезла его к себѣ на квартиру. Здѣсь он как будто вполнѣ отошел. Но он боялся быть один и не мог и подумать о том, чтобы ѣхать к себѣ домой. Леонова успокоила его и оставила ночевать у себя. Горничная постелила ему в маленьком кабинетѣ на кожаном диванчикѣ, и Дарья Михайловна попросила ее ночью, от времени до времени, подходить к двери Модеста Петровича и в случаѣ чего разбудить ее. В комнатѣ, однако, все было тихо. Когда Леонова вышла утром в столовую к чаю, Мусоргскій явился туда, одѣтый и веселый, и на вопрос, как он проспал ночь, отвѣтил, что всю ночь не ложился и продремал в креслѣ, но что сейчас чувствует себя вполнѣ хорошо. С этими словами он повернулся направо и как стоял, упал навзничь на пол. Еслибы его не повернули, он бы задохнулся. Леонова послала за доктором, уложила его в постель. До вечера с ним было еще два припадка с потерей сознанія.

Пріѣхали извѣщенные Дарьей Михайловной Стасов и Филиппов. Пацієнта рѣшили помѣстить в больницу, однако, это оказалось не столь легкой задачей, — частныя лѣчебницы были дороги, городскія переполнены. Лейб-медик Бертенсон устроил больного в отдѣльную предоставленную Мусоргскому палату в Николаевском Военном Госпиталѣ. Чтобы обойти формальное запрещеніе помѣщать в Госпиталь штатских, композитора записали вольнонаемным денщиком ординатора Бертенсона! Палата была чистая, просторная, с ярко выбѣленными стѣнами, но это была обычная общая палата, и в ней стояли пустыя кровати. Когда Мусоргскій увидѣл эти голыя стѣны и особенно эти пустыя кровати, он в испугѣ отшатнулся. Его едва успокоили, а кровати закрыли ширмой.

Когда об этом инцидентѣ разсказали Балакиреву, он не нашел ничего лучшего, как замѣтить, что это, мол, даже полезно для спасенія души грѣшнаго Мусорянина, напоминая ему о тщетѣ всего земного и т. п. Несмотря на эти жестокія благочестивыя слова, он поспѣшил навѣстить друга. Вообще, как это часто бывает, когда приходит непоправимое, всполошились друзья и окружили больного запоздалым, почти уже ненужным ему, вниманіем. За Мусоряниным ухаживали, его посѣщали. Балакирев и оба Стасова, Рѣпин и Римскій-Корсаков, Голенищев и Гриднин приходили к постели больного почти ежедневно. Ему привезли из его комнаты немного бѣлья и нѣсколько книг, среди них был «Трактат Инструментовки» Берліоза, который лежал на столикѣ у его изголовья. (Он собирался проштудировать его, чтобы приступить к инструментовкѣ своих опер). Но бѣлья было мало, книги были истрепанныя. У него не оказалось даже халата, и чтобы не надѣвать больничнаго, Кюи привез ему красивый сѣрый халат с малиновым воротником и обшлагами. Дамы привезли ему немного бѣлья. Матильда Рафаиловна Кюи, Надежда Николаевна Римская-Корсакова, Прасковья Сергѣевна, жена Дмитрія Стасова постоянно посѣщали его. Ему скоро стало лучше на строгом госпитальном режимѣ, и когда пріѣзжали дамы, он просил посадить себя в кресло, надѣвал свой «роскошный» халат, становился любезен как в свое преображенское время и говорил по французски. Из дам одна только Людмила Иванова не навѣстила его. Она была стара, сама прихварывала и чуть-чуть боялась увидѣть своего Мусиньку в больницѣ в том состояніи, в котором он находился. А через нѣсколько дней она получила от него письмо по городской почтѣ с просьбой не пріѣзжать т. к. он скоро сам надѣется быть у нея. По старости или по эгоизму она приняла это за чистую монету. Но улучшеніе было иллюзорным, доктора расходились в діагнозѣ: было ли то, что произошло с ним ударом, или припадком падучей? Но в прогнозѣ они были всѣ согласны: он мог прожить год или только один день, но выздоровѣть он не мог. Он был в сознаніи, узнавал всѣх, всѣм радовался,

но нес несосвѣтную чепуху и околесицу, производя впечатлѣніе немного помѣшаннаго. Да, может быть, и был немного помѣшан. Но как ни тяжело было слушать его несообразности, еще тяжелѣе было, когда с ним бывали промежутки ясности сознанія и когда он весело и с надеждой говорил о своих проэктах, о том, как он поѣдет в Крым, в Константинополь, развивал планы новых произведеній. Он мечтал о новой оперѣ, для которой давно уже собирал матеріал. Опера должна была называться «Лейб Кампанцы» или «Пугачевцы». Его снова тянуло к эпохам народных кризисов и волненій. Он мечтал, что Голенищев-Кутузов напишет ему либретто, и все повторял графу свои любимыя мысли о том, как надо работать над исторической драмой: «вчитаться, пронюхать, по всей подноготной прошествовать и перекинуть мозгами, да не раз, не два, а и сотню раз, буде сподобится. Шапку долой, грудь нараспашку, поговорим» и он все повторял поэту: «я был бы рад на твоей творческой мысли поработать. Арсеній!» И когда он говорил все это, ясно и разумно, слушавшим его казалось, что нѣт болѣе жалостнаго зрѣлища, и они уходили за ширму, чтобы скрыть слезы.

В это время пріѣхал в Петербург на открытіе Передвижной Выставки Илья Рѣпин. Как обычно, именно Стасов подумал о том, что надо бы снять портрет обреченнаго друга, и обратился к Рѣпину. Тот охотно согласился.

Это были тревожные и возбужденные дни. Перваго марта убили Александра Второго и город был полон надежд и опасеній, слухов и ожиданій. Мусоргскій позировал для портрета три раза — 3-го, 4-го и 5-го марта. Он сидѣл в креслѣ в своем халатѣ. Комната была залита зимним мартовским солнцем, игравшим на выбѣленных стѣнах, на малиновых отворотах и воротникѣ халата. Мѣста было мало, у художника не было даже мольберта и он работал на деревянном некрашеном больничном столѣ. Мусорянина утомляло позированіе. В перерывах Рѣпин читал ему вслух газеты и он слушал как будто бы с интересом политическія новости.

Портрет не был закончен, Рѣпину пришлось уѣхать на

нѣсколько дней, а когда он вернулся в здоровьи Мусоргскаго наступило рѣзкое ухудшеніе. Этот портрет находится теперь в Третьяковской Галлереѣ. Снимки не дают понятія о его громадной правдѣ и силѣ. Чѣм то напоминает он автопортреты стараго Рембрандта, кстати сказать, родственнаго Мусоргскому по одухотворенному реализму, по человѣчности, по библейской жадности к жизни. Тут итог цѣлой жизни, тут с одинаковой силой передано и дѣло разрушенія, свершенное годами борьбы, и упрямый дух, не подлающійся разрушенію. И у Рембрандта, и у Мусоргскаго это сопротивленіе сосредоточено в глазах. Глаза Рембрандта полны все подмѣчающаго, проницательнаго ума; у Мусоргскаго — скорѣе мечты и созерцанія (он возмутился бы, услышав эти слова!). Казавшіеся порою мало выразительными, они полны на портретѣ самоуглубленія, терпѣнія и боли.

В Петербург пріѣхал и посѣтил больного его брат Филарет. Уходя из госпиталя, он совершил роковую ошибку — дал брату немного денег. Приближался как раз день рожденія Модеста (он всю жизнь ошибочно считал, что родился 9-го, а не 16-го марта). Один из больничных служителей, ухаживавших за ним, принял у больного деньги — сердце не камень — и купил ему бутылку коньяка, чтобы достойно отпраздновать этот день. Повидимому, алкоголя не выдержал полуразрушенный организм больного. Наступило рѣзкое ухудшеніе. Положенье осложнилось рожистым воспаленіем ноги.

Послѣдніе два дня он сильно мучился, хотя к счастью был почти все время без сознанья. Когда его положеніе стало совсѣм безнадежным, друзья рѣшили оградить его музыкальное наслѣдство от перехода в руки брата, с которым Модест был в плохих отношеніях и который нуждался, занимаясь мелкой театральной антрепризой. Филарет Мусоргскій мог бы внести безпорядок и ставить препятствія в дѣлѣ изданія сочиненій своего геніальнаго брата. Была произведена нотаріальная дарственная запись на всѣ сочиненія в пользу Филип-

пова. Но больной не смог уже подписать ее сам и за него подписался Голенищев-Кутузов.

Мусоргскій умер в ночь на 16-ое марта, в сорок вторую годовщину со дня своего рожденія. Послѣднюю ночь он провел спокойно, но под утро два дежурных служителя услышали, как он застонал и вскрикнул. Когда они вошли к нему, он был уже мертв. Было пять часов утра.

Его похоронили 18 марта на Литераторских Мостках в Александро-Невской Лаврѣ. Все, как это повелось, устраивал Стасов. Народа было немного, но всѐ таки народ был. Отпѣвали его в церкви и слова заупокойных молитв, как правда, как божественное обѣтованіе, трогали и волновали душу невѣрующаго Стасова. «Во блаженном успеніи вѣчный покой подаждь ему, Господи», что могло быть обманчивѣй этих слов у раскрытой могилы? Но как сладчайшая колыбельная они наполняли его сердце нѣжностью и жалостью. Полина Сергѣевна, жена Дмитрія Стасова сказала прочувствованную рѣчь. Владимір Васильевич не говорил — ему было слишком горько. «... Вѣчная память» — звучали в его ушах слова хора. «Это не пустыя слова. Пока будет существовать Россія и звучать ея рѣчь и пѣсня, будут помнить Модеста Мусоргскаго. Вѣчный покой! Как он нужен его безпокойной душѣ. Друг мой! несчастный и геніальный друг мой! ты один из тѣх, кому ставят монументы. Ты был и будешь славой твоей родины, а она отвернулась от тебя с холодным равнодушіем!» Все поверхностное, смѣшное, странное, что было в Мусоряннѣ, изчезало в памяти Стасова. Только прекрасныя черты воина, всю жизнь боровшагося за свою правду и вѣру, только образ музыканта, равнаго Глинкѣ, оставался в душѣ. Был ли он всегда справедлив, ровен, терпѣлнв к нему в жизни? Он шептал покаянныя, горькія слова и слезы катились по худым щекам, длинному носу и длинной сѣдой бородѣ Владиміра Стасова.

Мих. Цетлин.

ИСТОКИ

Часть первая

В этот день, 11 января 1874 года, Николай Сергѣевич Мамонтов, как многіе жители поздно вставшаго Петербурга, проснулся гораздо раньше обычнаго времени. Он растерянно поднялся на постели, щурясь от заливавшаго комнату свѣта, низко опустив голову, и прислушался: «Что за чорт? Что такое случилось?»

Гул выстрѣлов был очень силен: номер гостинницы выходил окнами на Исаакіевскую площадь. Мамонтов не сразу догадался, что это салют. Потом мысленно выругался, сладостно зѣвнул и опять опустил голову на подушки, лѣниво считая выстрѣлы. «Ну, хорошо, уже раз пять выпалили, не довольно ли? Я рѣшительно ничего не имѣю против их свадьбы, но зачѣм они мѣшают людям спать? Семь... восемь... Я думал, началась революція... Кажется, что-то о революціи и снилось. А может быть, нѣт: просто снился какой-то вздор... Довольно... Право, довольно!... Не хочу, чтобы больше стрѣляли»... Мускулы на его худом, пріятно-некрасивом лицѣ обозначились сильнѣе, точно от физическаго усилія. Но попытка подавить салют усиліем воли не удалась. Выстрѣлы гремѣли по прежнему. «Да, м о я воля не всемогуща. В будущем увидим... С собой я во всяком случаѣ могу дѣлать все что хочу. Только не знаю, чего именно хочу... Десять... На этом, Бог даст, кончат?... Нѣт, одиннадцать... Значит, завтра «новая жизнь»... Но и старая была очень, очень недурна... Стоит ли **уѣзжать?...**»

Яркій свѣт все еще рѣзал глаза: одно из окон было про-

тив кровати, Николай Сергѣевич никогда не опускал штор. «Что же сейчас дѣлать?» — зѣвая спросил себя он. Всѣ скучныя дѣла уже были кончены. «Можно встать, а можно лежать в кровати хоть до полудня, и то, и другое недурно, и в этой свободѣ есть для меня большая прелесть. Что, если она мнѣ нужнѣе политической?» — неожиданно подумал он и поморщился: «Мысль довольно мѣщанская, и настроеніе у меня «мѣщанскаго счастья». Бакунину и Марксу я об этом не скажу. И о Катѣ не скажу»... На него как будто безпричинно нашла радость, какой он не испытывал довольно давно: быть может, с недѣли. Выстрѣлы, наконец, прекратились с послѣдним глухим, долго замиравшим раскатом. «Не поработать ли? Жаль, все в ящикѣ. В солнечный день всегда совѣстно поздно вставать...» Он вскочил и надѣл туфли, как обычно забившіяся под кровать дальше, чѣм было нужно.

Вид у комнаты был вдвойнѣ неуютный: номер гостинницы, да еще перед отъѣздом. Почти все уже было уложено. В углу стоял мольберт, под ним лежали гири: и то, и другое Мамонтов оставлял в гостинницѣ. Вмѣсто этого мольберта был наканунѣ куплен складной и уложен в орѣховый ящик, с отдѣленіями для палитры, для кистей, для красок. Старыя краски, еще какія-то измазанныя баночки, скляночки, трубочки, тряпочки были свалены в углу. В гостинницѣ из за этих баночек и скляночек к Николаю Сергѣевичу относились без достаточнаго уваженія, а Черняков, входя, неизмѣнно морщился: «Почему твоя комната всегда имѣет такой неряшливый вид? Неужели тебѣ нравится богемный жанр? Посмотрѣл бы на мой кабинет: ни соринки», на что Николай Сергѣевич так же неизмѣнно отвѣчал: «Молчи. Мастерскія Тиціана и Леонардо имѣли вид точно такой же». Черняков обычно оставлял за собой послѣднее слово: «Так то Тиціан и Леонардо».

«Стенька Разин», не свернутый, на подрамникѣ, лежал в другом, большом, низеньком ящикѣ. Мамонтов не удержался, поднял крышку и чуть не ахнул: столь новой, при взглядѣ сверху вниз, показалась ему уложенная наканунѣ вечером картина. «Точно и не я писал!» — думал он, прищурив глаз.

«Кажется, хорошо... Посмотрим, что теперь скажут люди... А Стенька у меня все-таки сусальный богатырь. На самом дѣлѣ он был средняго роста. Картина, кажется, хорошая, но не искренняя или не вполнѣ искренняя. Неправда, будто я так люблю р у с с к у ю у д а л ь. Эту любовь я взял из чужих мастерских, да и туда она попала из газет. Чѣм мнѣ по настоящему может нравиться Стенька? Кое-что взято у Васильева». — Два художника, которые очень ему нравились в Академіи, Перов и Суриков, оба назывались Васильями. — «Вот это прямо из «Тройки», хоть никто не замѣтит... Но я не останусь в исторической живописи, буду писать портреты». — Он вздохнул, опять лег, взял со стола книгу «Отечественных Записок» и дернул шнурок колокольчика. Никто не откликнулся: из за наплыва иностранцев прислуга гостинницы была перегружена работой. Он дернул шнурок во второй, в третій раз — уже почти с остервенѣніем. Наконец, кто-то постучал в дверь. Мамонтов приказал подать самовар.

— Не забудьте, пожалуйста, принести льду, — добавил он. Всегда говорил прислугѣ вы, что приводило ее в растерянность. Николай Сергѣевич улегся поудобнѣе на трех подушках и открыл на закладкѣ книгу: наканунѣ начал читать роман какой-то дамы: «Попечитель Учебнаго Округа». «Ох, что-то уж очень скучно»... Он с вечера не вѣрил ни в религіозный экстаз одной героини, ни в то, что в другой героинѣ «все было бархат, начиная от кроткаго блеска ея глаз до ласкающаго шелеста ея платья». С утра в романѣ появился «молодой надменный князь, с нахально-лѣнивым выраженіем лица и с нѣсколько лошадиными зубами, через которые он пропускал отдѣльныя фразы, фразы, цѣнившіяся в Петербургѣ на вѣс золота». — «Как однако скверно пишет эта баба! И какое мнѣ дѣло до князя с лошадиными зубами?», -подумал Мамонтов и из под одѣяла наудачу подтолкнул правой рукой книгу, которую держал в лѣвой: вдруг откроется на интересном мѣстѣ?... Критик жаловался на полный упадок литературы: не только нѣт Шекспиров и Дантов, но

некого поставить рядом с Тургеневым и Гончаровым, даже с Львом Толстым и Крестовским-псевдонимом. «Критик еще глупѣе романистки», — сказал себѣ Николай Сергѣевич, обидѣвшійся за Льва Толстого: он недавно с тѣм же восторгом прочел во второй раз, в отдѣльном изданіи, «Войну и Мир» этого писателя, входившаго в большую моду.

Мамонтов встал окончательно — и занялся гимнастикой, на прощанье с оставляемыми в Петербургѣ гирями. «Заграницей можно будет купить гири фунта на три потяжелѣе. Сила пока растет и уменьшаться начнет не скоро». Тусклое зеркало отражало бицепсы, которые сдѣлали бы честь атлету, — «ну не профессіоналу, как Карло, а сильному любителю... Кажется, во мнѣ начинает развиваться самодовольство. Но люди часто называют самодовольством просто сознаніе человѣком своих сил. Что же мнѣ собственно дает увѣренность в своих силах? Комплименты профессоров и товарищей в университетѣ, в Академіи? Комплименты были большіе. Однако это скорѣе плохой признак, если человѣк чувствует себя способным ко всему. Я могу примкнуть к революціонерам, могу написать книгу... Роман? «Войны и Мира», пожалуй, не напишу, а такой, как «Попечитель учебнаго округа», — сколько угодно. И политическую книгу мог бы со временем написать... Катя восторгается мною искренне, но что же понимает в людях Катя? И влюблена она все-же не в меня, а скорѣе всего в Карло, и ничего у меня с ней не будет, и слава Богу: была бы грубая мѣщанская «интрижка», — неувѣренно сказал он себѣ. В дверь постучали. Мамонтов поспѣшно опустил гири, только теперь замѣтив, что уже нѣсколько минут стоит перед зеркалом, любуясь бицепсами. Ему всегда было неловко перед прислугой гостинницы и за гири, и за живопись, и за скляночки, и за то, что он вставал часа на четыре позже слуг. Вмѣсто лакея, самовар принесла молодая горничная. Николай Сергѣевич, бывшій в ночной рубашкѣ, поспѣшно сорвал с кресла халат и задрапировался им как тогой: рукава как нарочно были вывернуты наизнанку.

— Виноват, — сказал он, хотя никакой вины его не

было: чай всегда приносил лакей. Я думал, это Степан... Пожалуйста, поставьте сюда... Нѣт, я заварю сам... Что, кажется, очень холодно?

– Лютый мороз, барин, — отвѣтила, улыбаясь, горничная. — Лед в ванной комнатѣ. Неужто будете обтираться?

– Да... Я привык. – Он хотѣл было полушутливо пошутить и не пошутил. Горничная сообщила, что газета на подносѣ, и вышла с той же улыбкой, оглянувшись в дверях. Николай Сергѣевич с досадой швырнул на кресло халат, сердито посмотрѣл на свои голыя ноги, тоже очень мускулистыя, но с густой щетиной, и подумал, что ночная рубашка идіотская вещь, фабрикантам давно слѣдовало бы придумать что-нибудь получше.

Он заварил чай, срѣзал полукруг еще горячаго, с осыпавшейся мучной пылью, калача, густо намазал маслом обѣ половины рога и с наслажденіем выпил два стакана чаю. Масла больше не оставалось. Николай Сергѣевич налил себѣ третій стакан и с'ѣл весь калач, макая куски его в сладкій чай, – «просто неловко, надо было бы для приличія оставить хоть что-нибудь на подносѣ»... Он думал немного о миловидной горничной, немного о Катѣ, думал, что слѣдовало бы заглянуть в газету, хоть в ней навѣрное ничего нѣт, кромѣ этих придворных торжеств. Однако, не развернул газеты, подошел к окну, отворил первую форточку, за ней вторую. «Ах, как хорошо!... Особенно вон то: золото и снѣг. И это небо... И то второе пятно кареты с красным, на розоватом снѣгу!...»

Крест, фронтоны, купол Исаакіевскаго Собора были покрыты снѣгом. Дома были разукрашены русскими и англійскими флагами. По площади неслись сани, запряженныя парой выгнувших друг к другу головы вороных рысаков под сѣткой. За ними, сильно отставая, тяжело мѣся снѣг, проѣхала придворная карета с людьми в красных ливреях. В разрѣженном туманѣ лишь вдали утопали громады дворцов. «Уж не остаться ли?» — нерѣшительно спросил себя Николай Сергѣевич, с новой ясностью чувствуя, как он любит все это: «Этот великолѣпный, барскій, самый барскій в мірѣ, го-

род, этот чудесный собор, эти пышные дворцы, даже тот памятник деспоту в кавалергардском мундирѣ на невозможном конѣ, и гиганта-гренадера, стоящаго здѣсь на караулѣ, чтобы воры не утащили памятника! Да, красота!... Философствующій граф-помѣщик, который так изумительно пишет, сказал бы, что красота умрет и что я застыну перед смертью, как застыл перед ней князь Андрей... Но что же мнѣ дѣлать, если я о смерти не хочу думать! До нея еще далеко, впереди, быть может, тридцать-сорок лѣт жизни, и их я хочу использовать... Не остаться ли?.. Живописью можно заниматься здѣсь... Бакунин, Маркс не уйдут... Что-же собственно я скажу Бакунину и Марксу? Вѣдь это все-таки будет условный, книжный разговор, в котором я распущу перья: буду показывать свой ум, образованіе и подобающія передовыя чувства, а они будут стараться заполучить лишняго сторонника — если они вообще будут со мной разговаривать... Могу ли я говорить с Бакуниным или с Марксом о себѣ, о том, что я не знаю, что с собой дѣлать, что я хочу жить, и не знаю как и для чего, не знаю, зачѣм вообще живут люди. Для них это скучное «само собой», о котором они и говорить не станут. Могу ли я сказать им о Катѣ? Об этой горничной, которой я чуть только что не предложил за любовь денег?... Конечно, я сейчас несу вздор, но во мнѣ, быть может, то единственное и хорошо, что я себѣ врать не могу. Другим могу, хотя тоже не очень искусно. И сколько я ни убѣждал себя, что «Капитал» доставил мнѣ великое наслажденіе, — не убѣдил. «Капитал» доставил только такую же умѣренную радость, как в гимназіи «Пифагоровы штаны» — «слава Богу, главное все-таки прочел, понял и заучил: ловкая штука»... И я знаю, что буду читать и перечитывать, быть может всю жизнь, «Войну и Мир» этого помѣщика, о котором в Европѣ, вѣрно, никто никогда не слышал, а в «Капитал» больше в жизни не загляну, развѣ только нужно будет (хоть едва ли) написать ученую статью и кого-то посрамить какой-нибудь цитатой... Этого я тоже Марксу не скажу», — подумал он с улыбкой.

В жарко натопленную комнату врывался морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надѣл халат, приведя рукава в надлежащій вид. Густо-синій цвѣт халата вызвал в его памяти вагоны перваго класса. «Увижу теперь, что это такое... Во мнѣ сказываются и черты «parvenu». Это болѣе чѣм естественно: дѣд крѣпостной, отец вышел в люди из низов», — как всегда с мучительным чувством ненависти и почти стыда подумал он. В дѣтствѣ он еще ѣздил по первым желѣзным дорогам в вагонах зеленаго цвѣта, потом, с ростом состоянія отца, перешел на желтые и теперь впервые купил мѣсто в синем вагонѣ. «Завтра от'ѣзд, как хорошо!» — опять подумал он, представляя себѣ все волнующее в от'ѣздѣ: «П-п-пер-рвый звонок!, Л-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — втор-рой звонок!», ненужно-торопливую покупку газеты или папирос, ненужно-торопливый бѣг за носильщиком по перрону, затѣм радостное успокоеніе в уютной полутьмѣ жарко натопленнаго, удобнаго вагона, отчаянный третій звонок — «теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!» — жуткій, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый послѣ предыдущаго, ни для чего навѣрное ненужный звук рожка, нерѣшительно-тяжелый толчок, медленный уход вокзала, города, назад в пространствѣ и во времени, — «кончилась глава!» — мысли о дамѣ, сидящей в углу купэ, о том, что будет к обѣду, торжественное шествіе кондуктора с фонарем, с чѣм-то странным в рукѣ, радостное сообщеніе о близости большой станціи, новый перебѣг по перрону с поднятым воротником пиджака, послѣ морознаго обжога счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освѣщенном залѣ, первая большая рюмка водки, поспѣшный выбор первой закуски, идущій откуда-то в радостной суматохѣ напѣв: «ерши, окуни, сиги, лососина живая», — «нѣт, напѣва на вокзалѣ не может быть, это я что-то смѣшал»...

В знаменитой гостинницѣ были двѣ ванныя комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы: русскіе предпочитали баню, а нѣмцы находили роскошь дорогой и излишней. На порогѣ Николай Сергѣевич вспомнил, что во

внутреннем карманѣ пиджака остались деньги, вернулся (хоть тут ничего не крали) и сунул в карман халата туго набитый бумажник. В нем были двѣ тысячи рублей наличными, австрійскіе гульдены и швейцарскіе франки, купленные в небольшом количествѣ на дорогу по звѣрскому курсу, и перевод в восемь тысяч на Ротшильда. С ними лежало и рекомендательное письмо к Бакунину. Его фамилія, разумѣется, в письмѣ названа не была. Из предосторожности не было даже имени-отчества в обращеніи. Вмѣсто «Михаил Александрович» было написано «Mon vieux Michel», хотя выдавшій это письмо старик земец не так уж близко знал знаменитаго революціонера. Письма к Карлу Марксу достать не удалось: в Петербургѣ никто Маркса не знал, по крайней мѣрѣ из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. — «Да Михаил Александрович сам вас направит к этому — как его? — к Марксу: вѣдь вы сначала ѣдете в Швейцарію, а только потом в Англію», — сказал старый земец. — «Вот тебѣ раз! Они лютые враги», — возразил Николай Сергѣевич. — «Лютые враги?» — недовѣрчиво переспросил земец, — «я думал, это одна кампанія». — Мамонтову показалось, что его собесѣдник хотѣл сказать: «одна шайка». Он разсердился, но сдержал себя. Земец все-таки оказывал немалую услугу: рекомендательное письмо к Бакунину, еслибы о нем стало извѣстно, ничего хорошаго у III Отдѣленія не обѣщало. — «Ну-с, а что же вы, молодой человѣк, скажете о счастливом событіи?» — прощаясь с ним, полусерьезно спросил земец. — «О каком событіи?» — «Я придаю ему большую важность: в первый раз Романовы с о ч е т а ю т с я у з а м и б р а к а (он шутливо подчеркнул интонаціей казенное выраженье) с англійским королевским домом. Все-таки, не говорите, родственныя вліянія имѣют у них значеніе. Впредь британская конституціонная монархія будет оказывать вліяніе на наше самодержавіе. Возможно, что это начало новой эры в европейской исторіи». — «Отчего же только в европейской? В міровой, в міровой», сказал Николай Сергѣевич. «Не шутите, молодой человѣк, не шутите. Да, да, я знаю, ваше

поколѣніе не вѣрит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай!... Вот вы в это дѣло не вѣрите, а Гладстон вѣрит! Вѣдь этот брак состоялся не без него, он как его в Палатѣ привѣтствовал! К Гладстону вы лучше бы ѣздили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину»...

11 января великая княжна Марья Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургскаго, сына королевы Викторіи. Этому браку всей Европой приписывалось большое политическое значеніе. По случаю свадьбы, в Петербург пріѣхали высокія особы из разных стран, каждая в сопровожденіи большой свиты. Высокія особы и важнѣйшія из приближенных лиц жили в Зимнем Дворцѣ. Для людей менѣе значительных были сняты комнаты в лучших гостинницах, в их числѣ и в той, в которой жил Мамонтов. В корридорах, в hall'ѣ, в ресторанѣ ему безпрестанно попадались люди в непривычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась пышная иллюминація на главных площадях и улицах столицы. Газеты печатали подробныя сообщенія о начавшихся и предстоящих завтраках, обѣдах, пріемах, балах.

Николай Сергѣевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. «Безполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январѣ доставляет удовольствіе»... Он таким образом закалял волю. «Пожалуй, теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, ежели бы не было совѣстно. Это атавизм: покойный отец, вернувшись с завода, выпивал цѣлый самовар», — опять с непріятным чувством подумал он. Мамонтов любил отца, но предпочитал о нем не вспоминать. Отец скончался недавно, наслѣдство все еще не было приведено в ясность; состояніе осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имѣніе, пріобрѣтенное отцом на югѣ послѣ полученія Владиміра IV степени и с ним потомственнаго дворянства. Долгов осталось много: в послѣдніе годы дѣла пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившіеся в бумажникѣ Николая Сергѣевича, были им взяты на год

под вексель у купца процентщика. Заключить заем было нетрудно, но купец, хорошо освѣдомленный о состояніи наслѣдственнаго имущества, потребовал двадцать процентов годовых и уступил только два процента, которые, очевидно, собирался уступить с самаго начала. «Велѣно потчевать, а неволить грѣх. Меньше не возьму, нельзя, Николай Сергѣевич», — говорил он почтительно и твердо; он точно подражал изображающим купцов актерам Александринскаго театра, — только что не разглаживал бороды. Несмотря на унаслѣдованный от отца и дѣда практическій ясный ум, Мамонтов не умѣл торговаться. Подумал было, уж не взять ли в таком случаѣ меньше: тысяч шесть? Рѣшил все-же взять десять, так как совершенно не знал, насколько времени уѣзжает заграницу и скоро ли будут закончены сложныя дѣла, связанныя с продажей завода (имѣніе он любил и хотѣл оставить за собою).

В дверь опять постучали: на этот раз за самоваром, с растерянным видом, прибѣжал Степан, очевидно замученный работой. Николай Сергѣевич одѣлся, сѣл в кресло и развернул газету. В мірѣ ничего важнаго не произошло, — ему все хотѣлось новаго, он каждый день ждал, — вдруг прочтет сообщеніе о какой-нибудь грандіозной революціи или о каком-либо походѣ за дѣло свободы, вродѣ гарибальдійских походов, о походѣ, в котором можно было бы принять участіе. Унылая непонятная гражданская война шла в Испаніи: маршал Серрано кого-то разбил на голову, — хотя как будто не очень на голову — и требовал от французскаго правительства выдачи членов Хунты, так как они не политическіе, а уголовные преступники. «Нѣт, в этой войнѣ я участія не приму», — думал Николай Сергѣевич с насмѣшкой одновременно и над собой, и над маршалом Серрано, и над Хунтой (его смѣшило это слово), — «вот и в этой тоже нѣт». Столь же унылая непонятная революція происходила в Сан-Доминго: кто-то сверг президента Баэца, президент поспѣшно бѣжал ,а впрочем как будто не бѣжал: по крайней мѣрѣ его представитель в Лондонѣ называл сообщеніе о поспѣшном

бѣгствѣ президента гнусной клеветой врагов. «Скажем, бѣжал, но не поспѣшно. Я думаю, самому Бакунину такія революціи не интересны»... Дизраэли вел хитрый подкоп под Гладстона, и из Лондона шли слухи, будто положеніе либеральнаго премьера поколебалось. Во Франціи правительство получило, послѣ жарких преній, довольно приличное большинство голосов: 393 против 292. В Японіи возможен приход к власти либерально-консервативной партіи Ивакура. Либерально-консервативная партія окончательно нагнала скуку на Мамонтова. Он заглянул в некрологи, — умирали все свѣтлыя личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетанія, ожидавшемуся в этот день обѣду и балу в Зимнем Дворцѣ. «... При питіи за здравіе играют на трубах и литаврах и производится в С.-Петербургской крѣпости пальба: за здравіе Их Императорских Величеств и Ея Величества Королевы Великобританской и Ирландской — 51 выстрѣл; за здравіе Высокобракосочетавшихся — 31 выстрѣл; за здравіе Всего Императорскаго дома и Августѣйших гостей — 31 выстрѣл; за здравіе духовных лиц и всѣх вѣрноподданых — 31 выстрѣл...» По своим убѣжденіям Мамонтов почти примыкал к революціонерам. Но ему нравилась пышность петербургскаго двора, хотя он при случаѣ говорил, что это грабят русскій народ. «Все-таки с их стороны очень мило, что они пьют за мое здоровье»...

II

Черняков, приглашенный Николаем Сергѣевичем к завтраку «часов в одинадцать», явился в одинадцать часов: аккуратность шла к его представительной, степенной, довольно грузной фигурѣ. Мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем, но любил его или, по крайней мѣрѣ, любил проводить с ним время. От Чернякова вѣяло спокойным самоувѣренным благодушіем, основанным на прекрасном здоровьѣ, на прекрасном аппетитѣ, на прекрасно

начатой университетской карьерѣ, на совершенной порядочности и на непоколебимом сознаніи, что в мірѣ ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, которых считал порядочными, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Дѣйствительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В двадцать девять лѣт он был видным приват-доцентом петербургскаго университета, писал в журналах солидныя статьи, гдѣ что-то разбиралось «в общем и цѣлом» и что-то «проходило красной нитью»; он даже с нѣкоторыми правами мечтал о большой политической карьерѣ. Михаил Яковлевич был холост, состоянія не имѣл, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, «в трудную минуту всегда мог обратиться к сестрѣ». — «Обратиться к сестрѣ ты, конечно, можешь, но как отнесется к твоему обращенію очаровательный Юрій Павлович, еще неизвѣстно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя впрочем никогда не было и не будет, лучше, право, обратись ко мнѣ», — сказал Мамонтов. — «Ты глуп», — отвѣтил Михаил Яковлевич, — «Юрій Павлович, если хочешь, столп ретроградства, но прекраснѣйшій человѣк, и я тебѣ раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное».

— Так ты еще не уѣхал? — спросил он, опуская воротник шубы и стряхивая с него снѣжинки. — Хорошая вещь печь! Сегодня температура близка к абсолютному нулю, на котором теперь помѣшались мои коллеги-физики. Так ты еще не уѣхал?

— Нѣт, я еще не уѣхал, — отвѣтил Николай Сергѣевич покорно и даже с нѣкоторым сознаніем своей вины; знал, что ему весь день будут задавать этот вопрос; он уже простился в Петербургѣ с тѣми, с кѣм ему полагалось прощаться, и сам считал глупым положеніе человѣка, прощающагося во второй раз: «у людей всегда при этом непріятно-разочарованный вид: «как? вы еще не уѣхали?» — Задержался только на один день и завтра уѣзжаю навѣрное, твердо тебѣ обѣщаю,

не сердись... Постой, не снимай шубы: мы сейчас же пойдем завтракать. Куда ты хочешь?

Михаил Яковлевич так же неторопливо снял перчатку, вынул из кармана своего хорошо сшитаго двубортнаго сюртука модный фіолетовый платочек и протер им золотые очки, которые не только не портили его, но украшали, как его украшали и англійскій сюртук, и фіолетовый платочек, и холеная черная бородка; Мамонтов ему впрочем совѣтовал отпустить окладистую русскую бороду: «С ней ты будешь еще національ-прогрессивнѣе, и какой же лидер партіи без бороды?»

— Мой друг, от добра добра не ищут, — сказал Черняков. У него был пріятный, звучный баритон с внушительными увѣренными интонаціями, очень подходившій для лекцій по государственному праву, для ссылок на основные законы Россійской имперіи или на прецеденты в конституціонной исторіи Англіи. Говорил он прекрасно и так правильно и гладко, что точную запись его лекцій можно было бы печатать без всякой правки: онѣ в стилистическом отношеніи были ничѣм не хуже его статей. Первую свою лекцію он обычно отводил философским вопросам; бывшій на открытіи его курса Мамонтов послѣ лекціи сказал ему, что за трогательныя интонаціи в мыслях о Спинозѣ его мало повѣсить: «я тебѣ раз навсегда запрещаю говорить о Спинозѣ, говори об основных законах»... Они всю жизнь что-то раз навсегда запрещали друг другу, никогда друг на друга не обижаясь.

— Я готов, разумѣется, идти за тобой в огонь и в воду и в любой трактир. Но отчего бы нам не пообѣдать в сіей гостинницѣ? Сюда вѣдь люди пріѣзжают из заграницы, чтобы поѣсть как слѣдует. Особенно нѣмцы.

— Именно. Здѣсь сейчас слишком много нѣмцев. Вся гостинница заполнена германскими ад'ютантами, лейтенантами и чорт знает кѣм еще. Русская великая княжна выходит замуж за англійскаго герцога, — казалось бы, при чем тут нѣмцы?

— Я так и знал. Как вся наша радикальная интеллигенція, ты германофоб. Но я не хочу отвлекаться в сторону. Ты,

разумѣется, сейчас себѣ говоришь: «Какая свинья этот Черняков! Я его пригласил на завтрак, а он выбирает такой дорогой ресторан»... Постой, не смѣйся и не ори, а слушай. По случаю твоего таинственнаго, безсмысленнаго и рѣшительно ни для чего ненужнаго отъѣзда заграницу мы, конечно, должны выпить шампанскаго. Но ты хочешь угостить меня, потому что ты уѣзжаешь, а я желаю угостить тебя, потому что я остаюсь. Поэтому с самаго начала предлагаю не ломаться, а платить пополам. Идет?

— Не идет. Я буду ломаться: ты у меня в гостях. И, разумѣется, я ставлю бутылку шампанскаго.

— Если ты такой эрцгерцог, то уж ставь не одну бутылку, а двѣ. Мнѣ очень хочется с тобой выпить как слѣдует, потому что я тебя люблю, хотя ты меня ненавидишь и презираешь. За то, что я буржуа, профессор — по крайней мѣрѣ in spe — и мирный обыватель, тогда как ты высшая натура, духовное существо, геніальный дилеттант и Леонардо да Винчи — тоже in spe.

Смѣясь, они спустились вниз. Несмотря на ранній час, ресторан уже был почти полон; они заняли послѣдній маленькій стол у окна. В залѣ дѣйствительно было очень много нѣмцев, и военных, и штатских. Всюду слышалась нѣмецкая рѣчь, рѣже англійская и французская, еще рѣже русская. Николай Сергѣевич заказал закуску. И, как неизбѣжная увертюра в оперѣ, послѣдовало гастрономическое вступленіе к разговору.

— ... В Парижѣ, — сказал Черняков, закусывая икрой вторую рюмку водки, — я тебѣ совѣтую, благо ты богат как сорок тысяч Крезов, завтракать в Café Anglais, а обѣдать в La Tour d'Argent. Мнѣ, скромному приват-доценту и — в полное отличіе от тебя — буржуа больше по духу, чѣм по кошельку, оба сіи богоугодных заведенія были недоступны. Но к счастью, меня приглашали моя сестра и Юрій Павлович, с коими я вмѣстѣ путешествовал. Говорю «вмѣстѣ», но, под разными предлогами, я, со свойственным мнѣ тактом, деликатно отставал на один день, чтобы не смущать

их великолѣпія своим вторым классом. Они в Парижѣ, разумѣется жили в Гранд-Отелѣ, а я в маленькой гостинницѣ на rue des Saints-Pères. Однако к обѣду и к завтраку бывал их Высокопревосходительствами приглашаем неоднократно, вслѣдствіе чего с оными заведеньями имѣю знакомство основательное... Чтоб не забыть: сестра очень просила еще раз тебѣ кланяться.

— Я ее сегодня увижу. Должен быть там вечером, в семь часов.

У Юрія Павловича?

— Не у Юрія Павловича, конечно, а у Софьи Яковлевны. Хочешь на прощанье вручить ей билет на какой-нибудь благотворительный концерт? Она возьмет с наслажденіем, если ты завезешь .Меньше двадцати пяти цѣлковых не бери.

— Нѣт, у меня к ней серьезное дѣло. — Черняков смотрѣл на него вопросительно, с любопытством. — Впрочем, это не секрет, по крайней мѣрѣ от тебя. Я из за этого дѣла и остался на лишній день в Петербургѣ. Ты знаешь Перовскую?

— Какую Перовскую?

— Соня Перовская, молоденькая, очень милая дѣвушка. Ее недавно арестовали и посадили не то в Петропавловку, не то в Третье Отдѣленіе, толком никто не знает. К ней никого не пускают, но...

— Постой. За что арестовали и посадили?

— Развѣ у них разберешь? Вѣроятно, ни за что. Или за пропаганду, т. е. опять таки ни за что. — Черняков пожал плечами. — И меня просили похлопотать у твоей сестры. У нея, говорят, большія связи.

— Связи у нея дѣйствительно громадныя, особенно с той поры, как ее посѣтил государь, — сказал Михаил Яковлевич вполнѣ равнодушным тоном. Мамонтов знал, что его товарищ весьма дорожит и гордится свойством с фон-Дюммлером. «Это, разумѣется, самая выгодная позиція: оппозиціонные,

передовые взгляды при вліятельной консервативной роднѣ», — раздраженно подумал Николай Сергѣевич. — Связи у сестры громадныя. Но сдѣлает ли она, я не знаю. Юрій Павлович не очень это любит.

— Ах, Юрій Павлович не очень это любит?... Странная женщина твоя сестра! — сказал, не сдержавшись, Мамонтов. — Она построила свою жизнь вродѣ как Бисмарк построил германскую имперію: шаг за шагом, от войны к войнѣ, от побѣды к побѣдѣ. Побѣда первая: брак с твоим очаровательным Дюммлером. Побѣда вторая: первое письмо от Тургенева. Побѣда третья: знакомство с первым великим князем. И наконец, побѣда четвертая, полный тріумф: государь побывал у нея в домѣ! Теперь ей больше не к чему стремиться, как Бисмарку больше нечего дѣлать послѣ созданія германской имперіи... Не перебивай и не сердись, ты отлично знаешь, что я большой ея поклонник. Всегда держал аллебарду! Скажу больше, я, пожалуй, не встрѣчал женщины с болѣе ярким сочетаніем даров судьбы... Кажется, так говорят: «даров судьбы»? Она умница, красавица, добрая, внимательная. Просто даже непонятно, зачѣм одной женщинѣ дано так много. И как глупо, что при такой натурѣ она думает о вздорѣ и только о вздорѣ!

— Это совершенно невѣрно... Сестра, напротив, чрезвычайно тебя любит. Не знаю за что и почему, так как ты болван... И вообще, мы говорим не о моей сестрѣ, а о тебѣ. Сестра меня спрашивала, зачѣм ты ѣдешь в Швейцарію. Я отвѣтил, что этого не знаю не только я, но не знаешь и ты сам... Ну, если ты имѣешь смѣлость утверждать, что ты не болван, то об'ясни мнѣ, зачѣм ты ѣдешь в Локарно. На какого чорта тебѣ нужен Бакунин? — спросил Черняков, сильно понизив голос.

— Что-ж это не несут котлеты? Прислуга тут теперь перегружена...

— Я говорю не о котлетах, а о Бакунинѣ, и я утверждаю, что тебѣ совершенно не нужен Бакунин.

— Почему?

— Прежде всего потому, что никому ни для чего не нужен и не может быть нужен Бакунин, — ответил убѣжденно Михаил Яковлевич.

— Ах, да! Нужна національно-прогрессивная партія, которую ты хочешь создать.

— Не я хочу создать, а русское общество этого хочет. Эта партія, в отличіе от всяких Бакуниных, явленіе органическое. И, будь увѣрен, в ней будут работать всѣ порядочные люди. Здѣсь непочатое поле работы. И рано или поздно государь к ней обратится.

— К тебѣ, значит?

— Разумѣется, не ко мнѣ, а к партіи. И повѣрь, это не только мое мнѣніе. Могу тебя увѣрить, наши ретрограды очень боятся, что государь станет на этот путь Я это знаю из самаго достовѣрнаго источника... От Юрія Павловича, — добавил он весьма значительным тоном. — Что ты на это скажешь?

— Ничего не скажу. Это мнѣ просто неинтересно. Вы хотите создать при государѣ какой-то совѣщательный или полу-совѣщательный орган. Ты что-то такое нашел в исторіи, земскій собор или боярскую думу...

— Я нашел!... Земскій собор или... Какое невѣжество!

— Да все равно! Я знаю, что не ты это нашел и что земскій собор и боярская дума не одно и то же, но мы спорим не о словах. По существу, вы всѣ хотите, чтобы при царѣ были какіе-то представители, от дворянства ли или от купечества или от духовенства, — само собой, чтобы «лидерами» — вы вѣдь так выражаетесь: «лидеры» — были вы, профессора. А нас все это вообще не интересует. Мы принципіально никак не можем считать нормальным положеніем, чтобы какой-то генерал bon vivant, может быть даже хорошій человѣк, правил восьмидесятимилліонным народом.

— Извини меня, это не разговор, — сказал Черняков, морщась и оглядываясь по сторонам. — «Какой-то генерал»!... Это дешевая демагогія. За «каким-то генералом» тысячелѣтняя историческая традиція. Кому же править Россіей? Твоему

Стенькѣ, что ли? Или Бакунину с Нечаевым? В твоих словах я вижу полное неуваженіе к исторіи, столь характерное для всѣх наших радикалов. Вся задача в том, чтобы громадную историческую силу царской власти направить на вѣрный прогрессивный путь. И нашей будущей партіи в первую очередь нужно теоретическое и историческое обоснованіе. Не скрою, что этому я и собираюсь посвятить свои силы. Внимательно ли ты прочел мою работу о вѣчевых собраніях и земских соборах? Я тебѣ ее послал.

— Да, я прочел, — соврал Николай Сергѣевич.

— Кстати, по поводу этой моей работы. Ты, кажется, хорошо знаком с Клембинским?

— Не так уж хорошо, но знаком.

— Не могу понять, в чем дѣло. Я ему давно послал и эту свою работу, и замѣтку о нѣкоторых своих планах для помѣщенія в его хроникѣ «Книги и писатели», но прошло больше мѣсяца и ни слова не появилось. Ты не мог ли бы ему напомнить?

— Когда же? Вѣдь я завтра уѣзжаю.

— Конечно, тебѣ будет трудно лично ему передать, но ты можешь ему написать. Чтобы не утруждать ни тебя, ни его, я сам набросал два слова. Вот. Может, у него затерялось. — Он вынул из кармана листок. — Я только попрошу тебя переслать ему с маленьким препроводительным письмом. Можно?

— Постараюсь.

— Извини меня, «постараюсь» это не разговор. Если тебѣ трудно, я могу это устроить через кого-либо другого.

— Хорошо, я пошлю.

— Спасибо. Вот, возьми... Теперь вернемся к дѣлу. Итак, зачѣм ты ѣдешь к Бакунину и к Марксу?

— Я не ѣду к Бакунину и к Марксу. Я ѣду заграницу, гдѣ надѣюсь повидать Бакунина и Маркса, — раздраженно сказал Мамонтов. — Не в обиду будь сказано тебѣ и Юрію Павловичу, то, что дѣлается в Россіи, меня не удовлетворяет.

Готов, конечно, сдѣлать исключеніе для твоей работы о вѣчевых собраніях и земских соборах...

— Почему ты сердишься?

— И мнѣ хочется узнать, о чем думают умные люди заграницей.

— Однако ты умных людей хочешь искать только в революціонном лагерѣ.

— Кто же есть еще? Не прикажешь ли обратиться к Бисмарку? Я, пожалуй, и не прочь, да он меня мудрости учить не станет. И потом мудрость Бисмарков!... Нѣт, брат, нас Эльзас-Лотарингіями не прельстишь. — Он налил себѣ и выпил залпом третью рюмку водки. — Монтэнь говорил: «Tous les maux de ce monde viennent de l'âneries». Всѣ эти Эльзас-Лотарингіи от «âneries» и происходят, что бы там ни говорили о геніи Бисмарка и ему подобных! Нѣт, у них умуразуму не научишься! А у революціонеров — может быть... Видишь ли, я твердо рѣшил вложить в свою жизнь хоть какой-нибудь разумный, не говорю вѣчный, но долговременный смысл. Да, да, я знаю, мы умрем, лопух выростет, но пока существую я, а не лопух, я желал бы... Да вот, недавно умер мой отец. Ты его знал. Он был недурной человѣк, не злой и умный, хоть без образованія. Но умер — и никто слезы не проронил. Больше того, — зачѣм слезы? Я и сам не очень их ронял, хоть всѣм ему обязан, — но его навсегда всѣ забыли ровно через десять минут послѣ того, как опустили гроб в могилу. И я не хотѣл бы прожить жизнь так, как ее прожил отец. Если у человѣка нѣт ни генія, ни хотя бы большого таланта для личнаго творчества, то...

— Постой. А у тебя есть?

— Ты отлично знаешь, что нѣт! То остается вложить свои небольшія силы в какое-нибудь большое общее дѣло. Я такого дѣла и ищу. И тут я его пока не нашел. Когда создастся твоя прогрессивная партія и когда государь к тебѣ обратится, тогда поговорим. До того я здѣсь ничего не вижу. Вижу только, что народ голодает и погряз в невѣжествѣ, вижу, что ни за что ни про что сослали Чернышевскаго. Я не большой

поклонник его мыслей, но ссылать его было верхом безобразія! Так именно создают в странѣ революціонное движеніе.

— Так ты хочешь примкнуть к революціонному движенію? — с недоумѣньем спросил Черняков, опять понижая голос.

— Еслиб хотѣл, то не говорил бы об этом... в ресторанѣ гостинницы. — Он хотѣл было сказать: «то не говорил бы об этом тебѣ». — Нѣт, и к этому у меня не лежит душа. Помнишь: «Du weisst, o Gott, dass ich kein Talent — zum Martyrtume habe»... У меня тоже нѣт таланта к мученичеству. Впрочем, не знаю. Ничего не знаю! Я ѣду осмотрѣться.

— И отлично. Осмотрись, пріѣзжай назад и прими участіе в работѣ прогрессивно мыслящих людей. И не иронизируй, другого пути нѣт, все остальное бред и утопія... Какой у нас царь ни есть, он умнѣе и образованнѣе, скажем, королевы Викторіи. Между тѣм Англія процвѣтает.

— В Англіи, насколько мнѣ извѣстно, Викторія никакой власти не имѣет. А у нас... Да брось ты восхвалять царя! Он все-таки деспот, и в нем все-таки порода отца, а может быть и порода дѣда. Вспомни с какой жестокостью было подавлено польское возстаніе.

— Я так и знал! Возстаніе индусов было подавлено с меньшей жестокостью? Но англичанам можно, а? Пойми, я не одобряю жестокостей, едва ли мнѣ это нужно об'яснять тебѣ, — прибавил он, глядя на хмурое лицо Мамонтова, — Думаю также, что с поляками можно было и должно было договориться. Но нельзя все валить на нас одних. Дай срок...

— Даю, даю. Бери срок и жди пока за тобой пришлют из Зимняго Дворца. А я как-нибудь пойду своей дорогой. Вот я только что сказал тебѣ, что силы у меня небольшія. В концѣ концов, и это неизвѣстно.

— Я знаю, что ты горд как Люцифер.

— Какой там чорт Люцифер!.. Говорят, у меня талант художника. Я в этом далеко не увѣрен. Может быть, и вся наша руская живопись ничего не стоит? У меня на этот счет

есть сомнѣнія. Вот главная цѣль моей поѣздки заграницу. В Локарно к Бакунину я заѣду развѣ на один или два дня, а жить буду в Парижѣ. Если там знатоки признают, что у меня большой талант, я уйду в живопись. При малом талантѣ не стоит и незачѣм.

— А если большого таланта не окажется?

— Не знаю что тогда буду дѣлать... Планы у меня разные. Была и такая мысль... Я хорошо знаю иностранные языки. Отец ничего не жалѣл для моего образованія. Не стать ли мнѣ журналистом? Теперь в мірѣ появились международные журналисты. Вот, наконец, наши котлеты... Почему ты смѣешься как идіот?

— Так... Одним словом, у Леонардо да Винчи сто тысяч проектов. Что-ж, желаю тебѣ успѣха во всѣх, кромѣ одного: революціоннаго.

— Этот, быть может, самый лучшій. Я тебѣ тоже желаю больших успѣхов. Женись на миловидной націонал-прогрессивной дѣвицѣ с хорошим приданым, купи себѣ дом неподалеку от Юрія Павловича и устрой, на зло его ретроградному салону, другой салон, с хорошим либерально-консервативным направленіем и с явно выраженным національным духом. На больших обѣдах у тебя будут подаваться націонал-прогрессивныя суточныя щи с н я н е й и тосты будут произносить извѣстнѣйшіе профессора и писатели. Может быть, самого полоумнаго Достоевскаго заполучишь? И непремѣнно, чтоб было нѣсколько націонал-прогрессивных князей и графов.

— Международный журналист, ты глупѣешь не по днямъ, а по часам. Особенно когда без причины сердишься и стараешься это скрыть, — благодушно сказал Черняков кладя на тарелку телячью котлету.

Послѣ шампанскаго стало веселѣе, но не очень весело. Они отказались от второй бутылки. К концу завтрака все уже было сказано и об Александрѣ II, и о Бакунинѣ, и о

Марксѣ, и о положеніи Россіи, и о положеніи Европы, и о швейцарских гостинницах, и о парижских ресторанах.

— Почему твоя сестра назначила мнѣ свиданье в семь часов? Самое необычное время, — сказал Мамонтов.

— Развѣ ты не читал в газетах? Сегодня в пятом часу обѣд у государя. Они вернутся, вѣрно, только на полчаса: вечером в Зимнем Дворцѣ бал.

— Очевидно, Софья Яковлевна теперь не может прожить без государя болѣе получаса?

— Нельзя, брат. По их положенію они должны быть и на обѣдѣ, и на балѣ... А ты что дѣлаешь вечером?

— Я? Я не у государя.

— Ты, конечно, в циркѣ? У твоей Катилины или как ее? Шутовское имя.

— Почему «конечно» и почему она «моя»? Что за вздор!

— Ну, хорошо, не буду... Значит, ты ѣдешь завтра? Если только будет какая-нибудь возможность, я пріѣду на вокзал.

— Ну, вот! Зачѣм тебѣ безпокоиться, ты человѣк занятой. Меня никто никогда не провожает.

— Нѣт, нѣт, я пріѣду, если только будет малѣйшая возможность, — с силой повторил Михаил Яковлевич так, точно у него в этот день были дѣла величайшей важности.

Мамонтов смотрѣл на него и думал, что это очень милый, благожелательный, услужливый человѣк, начиненный честолюбіем до предѣлов возможнаго, не очень интересующійся женщинами, деньгами, наукой, интересующійся только своей карьерой. «Вѣроятно, его идеал: чтобы каждый день в каждой русской газетѣ были слова: «профессор М. Я. Черняков». А позднѣе, когда их «прогрессивная партія» создаст парламент, чтобы всюду было: «как нам сказал член Палаты М. Я. Черняков», «интервью с проф. М. Я. Черняковым», «по мнѣнію лидера прогрессивной партіи М. Я. Чернякова»... И вмѣстѣ с тѣм он человѣк весьма неглупый и хорошій, я не могу этого отрицать!»...

А то, может, разопьем еще бутылку? — спросил он.

Михаил Яковлевич взглянул на часы, и не успѣл отвѣтить. За сосѣдним столом произошло смятеніе. Нѣмцы повскакали с мѣст и бросились к окнам. Послышались голоса: «Der Kaiser!...» «Alexander der Zweite!...» Черняков и Мамонтов тоже поднялись. По площади проѣзжали верхом два человѣка. Один из них был царь. Слѣва ѣхал человѣк, гораздо болѣе молодой, в иностранном мундирѣ. «Эдуард! Принц Уэльскій!» — восторженно прошептал нѣмец, — «принц Уэльскій!». Сзади, на довольно большом разстояніи, слѣдовали два казака. Александр II, чуть наклонившись в сѣдлѣ, что-то с улыбкой разсказывал своему спутнику. «Навѣрное, они разговаривают о женщинах», — почему-то подумал Мамонтов, — «тот, говорят, еще перещеголяет нашего, хотя его перещеголять невозможно»... Об успѣхах молодого принца Уэлльскаго у дам уже ходили по Европѣ всевозможные разсказы. «И как смотрит на царя, с каким восторгом! Учится, должно быть. Вот только ему наружностью до нашего далеко. Правду говорят, что наш, как был и его отец, самый красивый человѣк в **Россіи», —** с завистью думал Николай Сергѣевич, вглядываясь в лицо Александра II. Нѣмец об'яснял, что этих лошадей подарил царю турецкій султан. «Кровные арабскіе жеребцы, таких нѣт нигдѣ в мірѣ!»

III

В Петербургѣ говорили, что дѣд госпожи фон Дюммлер, будто бы перс или турок, был не то лакеем Екатерины II, не то камердинером Павла I. По других свѣдѣньям, отец Софьи Яковлевны был армянским стряпчим в Баку. Говорили и то, что, несмотря на свою чисто-русскую фамилію, она внучка выкреста из евреев. Эти разсказы, каждый по своему, об'ясняли восточный характер ея красоты, впрочем выраженный не очень сильно. Софья Яковлевна вышла замуж за сановника. Такіе сановники, как тайный совѣтник фон Дюммлер, исчислялись в Петербургѣ многими десятками, если не сотнями.

По богатству он тоже никак не мог соперничать со старыми и новыми милліонерами. Тѣм не менѣе их дом считался одним из первых в столицѣ. Почти всѣ признавали, что этим Юрій фон Дюммлер обязан исключительно своей женѣ: «не она сдѣлала блестящую партію, а он». Знаменитый художник написал портрет Софьи Яковлевны и, назначая за него скромную плату, пояснил, что работа была для него «большой честью и еще большей радостью». Тургенев писал ей длинныя письма с черновиками и копіей. Шопотом из года в год передавали, что не сегодня, так завтра она будет выведена в очередном великосвѣтском романѣ Болеслава Маркевича или князя Мещерскаго, и выйдет скандал на всю Россію. Но этой зимой слух оборвался: к изумленію высокаго общества, в декабрѣ в домѣ фон Дюммлеров побывал сам царь, не баловавшій посѣщеньями рюриковичей и даже великих князей. И стало ясно, что дом не будет изображен ни князем Мещерским, ни Болеславом Маркевичем.

В этот вечер особняк на набережной был ярко освѣщен огромными огненными вензелями императора и императрицы. У под'ѣзда стояли парныя извозчичьи сани. «Если у нея гости, то как же говорить о таком дѣлѣ?» — подумал Николай Сергѣевич с досадой, поднимаясь по освѣщенной карсельными лампами, выстланной мягким ковром лѣстницѣ. Он был в дурном настроеніи духа.

Разставшись с Черняковым, Мамонтов от скуки поѣхал в клуб, а там, тоже от скуки сѣл за карточный стол. Клуб этот, не аристократическій и не замкнутый, был расположен в районѣ Литовскаго Замка, что имѣло свои основанія. В Литовском Замкѣ, по слухам, жил палач, тот самый, который повѣсил Каракозова. Согласно вѣковому международному повѣрью игроков, близость палача приносит счастье, и, хотя вольнодумцы указывали, что это счастье, очевидно, должно распредѣляться между всѣми игроками поровну, в клубѣ чуть ли не день и ночь напролет шла игра и не пустѣл ни один столик. Николай Сергѣевич недурно играл в коммерческія игры, не зарывался в азартных, но ему в послѣднее время

не шла карта. Так и на этот раз, он заплатил к вечеру сто семьдесят рублей, выслушав неизбѣжныя игривыя соображенія партнеров о счастьи в любви и болѣе дѣловитыя о «полосѣ невезенія». Существованіе «полосы невезенія» ни у кого из игроков сомнѣнія не вызывало; о ней говорили, как о безспорном явленіи природы; нѣкоторые игроки даже знали, сколько полоса длится и как можно ее сократить.

Мамонтов не обѣдал в клубѣ, заказал только чай, разсчитывая на ужин с Катей. Он ругал себя за поѣздку в клуб, за проигрыш и за то, что ему жалко проигранных денег. — «Уж не скупость ли? Уж тут и наслѣдственности быть не может: отец был скорѣе щедр и сыпал пожертвованьями, особенно до полученія Владиміра. Я не скуп, но и не расточителен»... Расплачиваясь с лакеем, он нашел в карманѣ листок бумаги, развернул и прочел написанную необыкновенно четким ровным почерком замѣтку: «Приват-доцент Санкт-Петербургскаго университета М. Я. Черняков закончил большой труд: «Этапы и вѣхи исторіи идеи самоуправленія. Вѣчевыя собранія и земскіе соборы на Руси». Изслѣдованіе русскаго ученаго вызвало оживленный интерес в западно-европейской научно-политической литературѣ. Возможно, что оно будет переведено, цѣликом или в извлеченіи, на нѣмецкій язык. В настоящее время М. Я. Черняков готовит новый курс государственнаго права и ряд спеціальных работ». — «Как все-таки ему не совѣстно?» — с недоумѣніем подумал Мамонтов. — «А может быть у них так принято? Иначе Клембинскій и не мог бы вести хронику «Книги и писатели». Николай Сергѣевич хотѣл было выбросить записку, но, вспомнив о данном им словѣ, вздохнул, тут же написал препроводительное письмо и покинул клуб. — «Лихача прикажете?» — почтительно спросил внизу швейцар. На это нельзя было отвѣтить иначе, как: «да, позовите лихача». — «Чѣм не времяпрепровожденіе для купчика?» — Чтобы наказать себя за инстинкт бережливости, он купил для Кати самую дорогую бонбоньерку в самой дорогой кондитерской. «У Дюммлеров оставлю у швейцара, который больше похож на аристократа, чѣм его

барин... Впрочем, их к аристократіи, кажется, никто и не причисляет», — подумал Николай Сергѣевич, очень недолюбливавшій и избѣгавшій аристократов. Он с нѣкоторым удовлетвореніем вспомнил разговор, слышанный им в итальянской оперѣ: рядом с ним какой-то ф р а н т, восхищаясь красотой сидѣвшей в своей ложѣ госпожи фон Дюммлер, сказал, что по рожденію она, «deux fois rien». — «Trois fois rien», — поправил другой франт.

Хозяйка дома прощалась с невысокой дамой и, держа в обѣих руках ея руку, что-то говорила ей по французски. На лицѣ Софьи Яковлевны сіяла улыбка. «Кажется, и мѣсто у нея разсчитано: вот тут под лампой. При этом освѣщеніи она дѣйствительно красавица», — подумал Николай Сергѣевич. — «Недурно было бы написать ея портрет»... Увидѣв его, она ласково улыбнулась. Невысокая дама повернула голову в мѣховом капорѣ. Мамонтов вспыхнул.

— Разрѣшите представить вам моего друга, — сказала улыбаясь, Софья Яковлевна, видимо довольная эффектом. — Мосье Мамонтов, один из лучших художников Россіи. Маркиза де Ко... Впрочем, вас не называют, — весело сказала она дамѣ. — Это должно быть странное ощущеніе: знать, что твое лицо извѣстно каждому человѣку на землѣ. Как вы думаете? — обратилась она к Николаю Сергѣевичу. Дѣйствительно называть даму не требовалось. Он впервые слышал имя маркизы де Ко, но эти темные глаза с густыми бровями, это блѣдное «неземное» и вмѣстѣ дѣтское лицо были извѣстны всему міру: перед ним была Аделина Патти.

На площадку лѣстницы выбѣжал мальчик лѣт десяти в матросском костюмѣ. Софья Яковлевна его подозвала.

— Это мой сын, Коля, — сказала она. — У меня к вам просьба: поцѣлуйте его. Пусть он всю жизнь говорит, что его цѣловала Патти!

Гостья засмѣялась и поцѣловала упиравшагося мальчика. Как она ни привыкла к таким и сходным просьбам, — как раз в этот день императрица, в точно тѣх же выраженіях, просила ее поцѣловать другого Колю, старшаго внука го-

сударя, — онѣ видимо доставляли ей удовольствіе. Николай Сергѣевич молча вглядывался в ея лицо, чтобы навсегда запомнить. «Да, глаза удивительные... «Les noires étincelles», «La Junon bébé», — вспомнил он то, что постоянно говорили о глазах и лицѣ Патти. «А смѣется Катя лучше»... Гостья видимо не знала что сказать. Софья Яковлевна тотчас пришла ей на помощь.

— Его зовут Коля, это уменьшительное от «Николай»... Мой ангел, — обратилась она по русски к сыну, — отведи твоего тезку в сѣрую гостиную. Ты знаешь, что такое тезка? Ну вот, будь хозяином дома, а я сейчас к вам приду, — смѣясь, сказала она. Мальчик проводил Мамонтова и скрылся. В гостиной было все то, что считалось обязательным: мебель Булля или поддѣлка под нее, камин сѣраго мрамора, безчисленные ящички из китайскаго лака и слоновой кости, картины Виллевальде и Айвазовскаго. Только не было фамильных портретов — «et pour cause, — подумал Мамонтов. Впрочем, на одной из стѣн висѣл фамильный генерал в александровском мундирѣ, дядя или дѣд фон-Дюммлера, но вид у этого портрета был довольно смиренный, точно он говорил: «а все-таки и я предок»...

— Очень рада, что познакомила вас с Патти, — сказала, входя, Софья Яковлевна. — И не удивляйтесь рекламѣ, которую я вам сдѣлала...

— Да, уж можно сказать!

— Мой милый, это необходимо. Когда вы отошли, я ей еще о вас наговорила. Вы уѣзжаете, но вы можете встрѣтиться с ней заграницей. Еслибы Патти заказала вам свой портрет, вы на слѣдующій день стали бы знаменитостью... Я не предлагаю вам чаю: поздно. Хотите портвейна? Нѣт? Нѣт так нѣт... Как же она вам понравилась? Она очень спѣшила: ей еще нынче пѣть в оперѣ... Ах, как она сегодня пѣла!

— Сегодня? Гдѣ же это?

— Во дворцѣ, разумѣется... Вы, может быть, не слышали? — смѣясь, спросила Софья Яковлевна, — сегодня великая княжна вышла замуж за герцога Эдинбургскаго.

— Un mariage très discret, — сказал Мамонтов. — Цѣлый день гремѣли колокола и палили орудія. Утром мнѣ спать не дали.

— Бѣдный!... Так вот по этому случаю государь дал обѣд. И за обѣдом пѣли Патти, Альбанн и Николини. Но тѣх просто никто не слушал. На Альбани мнѣ было жаль смотрѣть. Патти затмила всѣх и все. Она спѣла что-то из Россини с верхним ге, потом, в честь новобрачных, англійскую пѣсенку «Home, sweet home»... Я не могла себѣ представить подобную овацію в Зимнем Дворцѣ! Люди забыли о присутствіи государя и государыни! Впрочем, государь сам апплодировал, как студент на галеркѣ Большого Театра. Он осыпал ее подарками: подарил ей вѣер, кольцо, браслет, не знаю что еще. Вообще она вывезет из Россіи цѣлое состояніе.

— Ей, я думаю, не нужно.

— Боюсь, что нужно. Вы знаете, ея муж — она с ним не живет — наложил арест на ея имущество. По законам передовой французской республики это можно: там женщины совершенно безправны, не то что в отсталой Россіи. C'est un pauvre sire, Monsieur le marquis de Caux. Она поэтому больше не поет во Франціи, так как ея гонорары пошли бы ему. Зачѣм великія артистки выходят замуж? Всѣ онѣ неизмѣнно несчастны в бракѣ и скоро расходятся с мужьями: Тальони, Малибран, Бозіо, Гризи, Патти... Да, она несчастное существо. И какая это мука выступать каждый день! Я послѣ обѣда во дворцѣ захватила ее сюда, чтобы напоить ее чаем, — сказала Софья Яковлевна таким тоном, точно без нея Патти оказалась бы на улицѣ голодной. — Так вы не уѣхали? Когда вы уѣзжаете?

— Завтра.

— Ах, какое было великолѣпіе! — продолжала она, не слушая его отвѣта и видимо еще не в силах справиться с впечатлѣніями дня. — Мы были во дворцѣ чуть не с утра. Сначала вѣнчаніе по православному обряду, потом по англійскому обряду. Потом обѣд, в самое необычное время: в четыре тридцать. А вечером надо опять туда ѣхать на бал. Ка-

кой был обѣд! Лорд Лофтус, англійскій посол, сказал мнѣ, что по великолѣпію ничего не видѣл похожаго на наш двор. Особенно эти bals des palmiers.

— Это еще что такое?

— Не «еще что такое», а это сказка из Тысячи и Одной Ночи. Из царских оранжерей привозят пальмы, изумительныя пальмы, каких нѣт, кажется, в Африкѣ. Николаевскій зал превращается в Альгамбру. На крышѣ аршин снѣга, а под ней тропическій сад. Между пальмами маленькіе столы, каждый человѣк на десять. Перед обѣдом государь подходит к каждому столу, говорит нѣсколько слов и прикасается к чему-нибудь. У нас он с'ѣл ягоду винограда и оставался больше минуты. Обычно остается еще меньше, чтобы не заставлять гостей стоять... Ну, я вас слушаю, разсказывайте в чем дѣло.

Мамонтов изложил свою просьбу. Она теперь слушала внимательно.

— Какая это Перовская? Есть графы Перовскіе. Неужели из семьи министра?

— Кажется. Но они не графы. Это бѣдная вѣтвь семьи.

— Вѣдь Перовскіе были незаконныя дѣти Разумовскаго? Значит, она в родствѣ с царской фамиліей?

— Нѣт, они не от Алексѣя Разумовскаго, а от Кирилла. Но, повторяю, никаких связей у них нѣт. Если вы можете что-либо сдѣлать, ради Бога, сдѣлайте.

Софья Яковлевна задумалась.

— Конечно, я могу это сдѣлать, — сказала она. — Ея грѣхи, повидимому, пустяковые? Я могу попросить государя и не думаю, чтобы он мнѣ отказал. Но... Ручаетесь ли вы, что, если эту вашу Сонечку выпустят, то она не пойдет дальше? Вы сами понимаете, в каком положеніи я тогда окажусь!

— Поручиться я не могу, — сказал, немного подумав, Николай Сергѣевич. Он вспомнил Перовскую, ея круглое личико, крутой лоб под свѣтлыми волосами, ласковые голубые глаза, вдруг становившіеся очень нехорошими, когда кто-нибудь из товарищей оказывался «бабником», внезапное раз-

драженіе, пробѣгавшее по ея лицу, если в ея чистенькую комнату люди входили в мокрых, грязных калошах. Хотя она была общей любимицей, ее за ворчливость дружески прозвали «Захаром», по имени какого-то дворника или городового. — Нѣт, я не могу поручиться, — твердо повторил он. Софья Яковлевна только вздохнула.

— Тогда я не могу просить, — так же твердо сказала она. — Посудите сами. Что если она полѣзет к Каракозовым! Только этого мнѣ не хватало бы!, Да, правду сказать, и вам! Не могу. Пусть лучше они дѣйствуют через родных, можно возобновить родственныя связи. Борис Александрович Перовскій очень вліятельный человѣк. За родственницу хлопотать естественно... Вы сердитесь?

— Не сержусь, конечно, но огорчен. Пока во всяком случаѣ ея дѣло совершенно несерьезно.

— Тогда, быть может, ее скоро выпустят... Об'ясните мнѣ, что такое происходит с нашей молодежью. Какое дѣло этой Перовской до политики. Она хорошенькая?

— Нѣт. Довольно миловидное лицо, но не красивое.

— В этом, вѣрно, и причина. — Она смягчила улыбкой это свое замѣчаніе. — Сколько ей лѣт?

— Не знаю. Лѣт девятнадцать, должно быть.

— Бог знает что такое! — сказала с негодованіем Софья Яковлевна. — Дѣти занимаются государственными дѣлами! — «Чѣм же надо заниматься? Как ты, придворными сплетнями?» — подумал Мамонтов. — Но об этом я не хочу говорить. Тѣм болѣе, что вы начинаете на меня сердиться, между тѣм я вас очень люблю и не только потому, что вы друг моего брата. Скажу одно: вѣдь ни вы, ни ваша Перовская, вѣроятно, не предполагаете, что в Россіи будет республика, как во Франціи?... Очень, кстати сказать, она хороша, эта французская республика!... Ну, а если так, то лучше государя, чѣм Александр Николаевич, у нас никогда не было и не будет. Вы со мной не согласны?

— Извините меня, это дамскій подход к политическим вопросам, — сердито сказал Николай Сергѣевич, спрашивая

себя, брат ли вліяет на сестру или сестра на брата .«Конечно, она на него»...

— Не думаю. А если и дамскій, то я не виновата. Вы не знаете государя, а я его знаю. И я в жизни не встрѣчала болѣе очаровательнаго человѣка. Начать с того, что он такой красавец! По моему, он еще красивѣе отца. Я ребенком видѣла Николая Павловича. У него было страшное лицо, и он видимо это в себѣ культивировал. Тут ничего хорошаго нѣт. Конечно, люди приходят в ужас, если на них смотрит звѣрем человѣк, который может их казнить. Александр II величествен, добр и прост. Всѣ послы говорят, что не видѣли такого величественнаго монарха. Еще сегодня лорд Лофтус сказал мнѣ: «Every inch a king»... Это, кажется, из Шекспира, правда? И как он добр! Как умен!

— Вы говорите как влюбленная.

— Да я и в самом дѣлѣ влюблена в государя. Вы читали «Войну и Мир» графа Льва Толстого? Хорошій роман, хотя и очень растянутый. У него там офицер Ростов влюбляется в Александра I. Так и я влюблена в Александра II.

— Полагаю, что это не совсѣм то же самое... Я слышал, кстати, что император недавно удостоил вас посѣщеніем? Как же это было?

— И вы? спросила она и опять вздохнула. — Всѣ меня спрашивают: как же это было? Подразумѣвается: «как ты, интриганка, этого добилась?»... Не протестуйте, это так. А я вам говорю, что нисколько этого не добивалась. Просто государь к нам заѣхал, не могла же я его выгнать, правда? И даже не заѣхал, а зашел пѣшком. Нашего швейцара Василія чуть не разбил удар. Да и меня тоже... Вы совсѣм не любите государя?

Он засмѣялся.

— В день освобожденія крестьян — мнѣ тогда было пятнадцать лѣт, — я хотѣл отдать за него жизнь... Быть может, потому, что мой дѣд был крѣпостной, — добавил Николай Сергѣевич. Она с любопытством на него смотрѣла.

— Я сама не аристократка, — сказала она.

— В их положеніи чрезвычайно легко очаровывать людей. Если они не рычат, как звѣри, это уже очаровательно. А если у них вдобавок человѣческое лицо и человѣческая улыбка, то люди, особенно женщины, сходят по ним с ума.

— Не думаю, чтобы вы были правы... Что же касается влюбленности в настоящем смыслѣ слова, то для государя сейчас другія женщины не существуют: он влюблен как мальчик в свою Катю Долгорукую, — пояснила Софья Яковлевна. Лицо ея засвѣтилось. Она не сказала и не могла сказать Мамонтову, что государь, зайдя к ней и впервые в жизни оставшись с ней наединѣ, неожиданно п о п р о с и л ее пригласить к себѣ княжну Долгорукую, которую многіе в обществѣ бойкотировали. Эта п р о с ь б а вызвала сначала у нея, потом у ея мужа, совершенную растерянность и дикій восторг. Приглашеніе княжнѣ было послано на слѣдующее утро, только потому, что нельзя было послать ночью.

— Скажу вам одно: все, что в Россіи есть хорошаго, держится на одном государѣ. Если, не дай Бог, его не станет, вы будете имѣть дѣло с... Аничковым дворцом (она не сказала: с наслѣдником). Посмотрим, что тогда запоет ваша Перовская... Хотите маленькій примѣр. В Россіи, вы знаете, не любят евреев. Так вот недавно в Петербургѣ побывал сэр Мозес Монтефіоре... Вы слышали о нем?

— Понятія не имѣю. Что это за гусь?

— Не гусь, а очень почтенный человѣк. Ему девяносто с лишним лѣт. Он пріѣхал из Англіи просить государя о дарованіи евреям полнаго равноправія. Государь совершенно его очаровал, я слышала это и от самого Монтефіоре, и от лорда Лофтуса. Государь проводил его до лѣстницы и чуть ли не поддерживал под руку. Этого он не дѣлает даже для Вильгельма. Его тронуло, что такой глубокій старец совершил далекое путешествіе в интересах своих единовѣрцев.

— И что же? даровано ли евреям равноправіе? — спросил насмѣшливо Николай Сергѣевич.

Будет понемногу дано. Государь уже сдѣлал для них много. Это вы, молодежь, думаете, что все можно сдѣлать в

одни день. Да еще при существованіи Аничкова дворца и его людей... Да... А кромѣ всего прочаго, зачѣм лѣзть на рожон? Этих Перовских горсть, и ничего они сдѣлать не могут, и слава Богу! Только себя губят. А жизнь очень хорошая вещь... И если многое у нас плохо, то революція сдѣлает все в сто раз хуже. Вспомните ужасы Парижской Коммуны.

— Ужасы ужасами, но может быть, новая эпоха пойдет именно от этой Коммуны, которую вы так ненавидите.

Софья Яковлевна посмотрѣла на него, улыбнулась и перевела взгляд на часы. Мамонтов тотчас поднялся.

— Нѣт, еще есть время, — сказала она. — Вы говорите, новая эпоха. Я не знаю, от чего идет новая эпоха. По моему, скорѣе всего от той поры, как люди стали мыться как слѣдует. От Людовика XVI и от Дантона, должно быть, одинаково дурно пахло... Вы хотите уходить? Во всяком случаѣ, не сердитесь на меня из за этой вашей Сонечки. Еслиб вы за нее поручились, я попросила бы государя.

— А кто же тогда поручился бы за меня?

— За вас? — Она с недоумѣньем на него взглянула. Да, в самом дѣлѣ, кто же поручился бы за вас? Впрочем, я почти увѣрена, что вы ни к какому революціонному движенію не примкнете, если такое движеніе дѣйствительно существует. Вы слишком страстно любите жизнь. Как и я... У нас вообще немало общаго, — неожиданно прибавила она. — Я была бы очень огорчена, еслиб ошиблась. Потому что я искренне вас люблю. Мнѣ нравится, напримѣр, что вы «внук крѣпостного», и так прекрасно говорите по французски, по англійскн... Вы надолго уѣзжаете заграницу?

— Может-быть и надолго.

— Вдруг там встрѣтимся. Юрій Павлович хочет посовѣтоваться с врачами. Кстати, вы его извините: он так устал от сегодняшних торжеств, что прилег на полчаса отдохнуть... Когда вернетесь, тотчас дайте о себѣ знать. Я вас сведу с Патти, вы можете в нее влюбиться. Право, это лучше, чѣм цирковая артистка. — Она засмѣялась. — Извините меня, брат что-то мнѣ сказал, проговорился, а я обожаю сплетни...

Мнѣ нравится в вас и то, что вы легко краснѣете, да, да... Ну, счастливаго пути, и, ради Бога, держитесь подальше от революціонеров. Уж о вас-то я должна буду хлопотать... Что еще? — спросила она с досадой ливрейнаго лакея, принесшаго на подносѣ карточку. — Вот его только не хватало! Просите. И скажите Юрію Павловичу, что я прошу его выйти. — Вы не очень спѣшите? — обратилась она к Мамонтову. — Останьтесь еще на нѣсколько минут. Вам надо видѣть людей и заводить полезныя знакомства, иначе вы ничего в жизни не добьетесь... Да, да, я знаю, вы ничего и не добиваетесь, я знаю... Это восточный принц. Он шут гороховый, но у него несмѣтное богатство и огромныя связи... Вот он... Только не смѣйтесь.

Она встала. В комнату вошел невысокій, очень толстый человѣк в фантастическом костюмѣ, залитом драгоцѣнными камнями. Он остановился на порогѣ и прикрыл глаза рукой, точно ослѣпленный сильным свѣтом.

— Your beauty is more precious to my eyes than a casquet of rubies. Your voice is more delightful to my ears than the song of ten thousand nightingales, сказал он нараспѣв, с восхищеніем поднял к потолку обѣ руки и тотчас их опустил.

— Честь, выпавшая на долю моего дома, поражает меня, — тихо-проникновенно, тоже почти с напѣвом, отвѣтила Софья Яковлевна. — Могу ли я представить вашей свѣтлости моего лучшаго друга, мосье д е Мамонтова. Это один из величайших художников міра. Он уѣзжает заграницу по приглашенію австрійскаго императора и горит желаніем побывать в великолѣпных дворцах вашей свѣтлости.

Принц неторопливо повернулся к Николаю Сергѣевичу и благосклонно кивнул ему головой.

— Please leave your glorious palace of crystal and pass one unworthy evening in the pestilential shanty I inhabit, — сказал он. Мамонтов откланялся и вышел, стараясь удержаться от смѣха.

IV

Николай Сергѣевич в послѣднее время пріѣзжал в цирк чуть не каждый вечер, обычно только для одного номера программы, в котором выступала Каталина Діабелли. Это нелѣпое имя носила русская акробатка Екатерина Дьяконова. Сходство между ея фамилієй и псевдонимом было впрочем случайным. Она псевдонима и не выбирала, а по старой, почти обязательной, традиціи цирковых артистов, вошла в с е м ь ю акробатов-клоунов, которая, тоже по обычаю, приняла итальянскую фамилію. На самом дѣлѣ в семьѣ ни одного итальянца не было. Бѣлый клоун был русскій, а глава семьи, универсальный акробат Карло, — финн. Ни в каком родствѣ они между собой не состояли.

На аренѣ, под все ростущій гогот публики, с криками катался коверный клоун: рыжій. Мамонтов, только заглянув в зал, направился к уборным артистов. Его в циркѣ уже всѣ знали, цѣнили за щедрость и всюду пропускали безпрепятственно. Служитель поспѣшно раздвинул перед ним красную занавѣсь. Запах конюшни и звѣрей, заполнявшій весь цирк, еще усилился.

— Что сейчас? — спросил Мамонтов, протягивая служителю очередной полтинник.

— Покорнѣйше благодарю, барин. Минут через пять «Венгерская почта». Пожалуйте: прямо и налѣво, — весело сказал служитель, и в его тонѣ, в том, что он знал, куда барин идет, Николаю Сергѣевичу показалась игривость.

Уборная семьи Діабелли была довольно далеко, за пустой огромной клѣткой, на которой была надпись: «Кровожадные и травоядные звѣри. Бенгальскій королевскій тигр. Просят не раздражать», и за общей цирковой конюшней. Дальше, за невысоким барьером, служители держали под уздцы шесть великолѣпных, бѣлоснѣжных лошадей. На них были стеганыя замшевыя сѣдла площадкой и странно-длинныя собранныя у сѣдла красныя поводья. Карло, высокій, худой, стройный человѣк лѣт тридцати, в красной венгеркѣ, в

бѣлых лосинах, поставив на табурет длинную ногу, натирал мѣлом носки и каблуки лакированных ботфортов. Увидѣв Мамонтова, он не обнаружил ни удивленія, ни неудовольствія и даже не спросил: «Так вы не уѣхали?»

— Вы к Каталина? — почти без вопроса в интонаціи, непріятно-равнодушно сказал он. — Прошу вас оставаться у нея не болѣе ри минуты. Она не должна волновать себя, — пояснил акробат. Он говорил по русски довольно бѣгло, но с ошибками, с не очень раздражающим слух финским акцентом и, вмѣсто «три» неизмѣнно произносил «ри», что всегда приводило Катю в восторг.

— Я не пробуду и трех минут. А вы волнуетесь?

Карло пожал плечами. Мамонтов знал, что «Венгерская Почта» совершенно не интересует акробата: он сам говорил, что, еслиб напивался, то мог бы исполнить ее в пьяном видѣ. Теперь его интересовали только прыжки. В двойном сальтомортале, считавшемся очень опасным номером, он достиг совершенства. Мечтою всей жизни Карло было тройное сальтомортале, до сих пор удававшееся лишь нѣскольким акробатам на землѣ: всѣ остальные разбивались на смерть.

Николай Сергѣевич неопредѣленно помахал рукой и пошел дальше. «Нѣт, кажется он не ревнует. Да и нѣт причины»... Мамонтов до сих пор не знал, какія отношенія существуют между Карло и Катей. Иногда ему казалось, что Карло ея любовник, иногда — что они просто друзья по с е м ь ѣ. Знающіе люди говорили ему о чистотѣ цирковых нравов: артистам строго запрещалось даже ухаживать за артистками. Еще недавно рыжій должен был продѣлать пятьдесят флик-фляков и заплатить рубль штрафа за то, что сгоряча хлопнул пониже спины дрессировщицу, показывавшую свинью «Амурчика». — «Это вам не театр!» — говорили пренебрежительно цирковые артисты. Всѣ они театр презирали, были горячими патріотами цирка и говорили, что великіе клоуны, вродѣ Гримальди, рождаются раз в столѣтіе.

Бѣлый клоун Альфредо Діабелли, он же Алексѣй Иванович Рыжков, уже продѣлал свой номер и теперь, в своем от-

гороженном отдѣленіи большой уборной семьи, стоя вверх ногами, заканчивал тренировку: у него было правилом — послѣ выступленія, даже очень утомительнаго, еще пять минут упражняться у себя до вечерняго чаю; он был немолод и смертельно боялся потерять мускульную гибкость. Пот градом катился с его еще замазаннаго бѣлилами лица; он уже снял мушку с носа и нашлепку со лба. Под растегнутой странной шелковой с блестками блузой у него была теплая шерстяная фуфайка. Увидѣв сквозь разставленныя руки Мамонтова, клоун, в знак привѣтствія, помахал ногой в огромной шутовской туфлѣ, в бѣлом чулкѣ до колѣна, затѣм вскочил и сѣл на табурет, заложив правую ногу за шею. Хотя Николай Сергѣевич уже знал штуки Альфредо, это зрѣлище всегда повергало его в изумленіе.

— Господи, зачѣм вы это дѣлаете? Просто смотрѣть больно!... Что у вас сегодня было? Бутылки?

— Да, бутылочки. Публика любит, — скромно отвѣтил клоун, как бы прося не винить его за вкусы публики. Номер этот заключался в том, что клоун, проявляя, как всегда, крайнюю неуклюжесть, на бѣгу с хриплым криком н е ч а я н н о наступал на первую из разставленных длинным рядом бутылок. Бутылка падала, он с возгласом отчаянья, перескакивал на другую бутылку, тоже падавшую, и так проходил весь ряд; затѣм, с аханьем, с криками ужаса, с безпомощными жестами, ни разу не коснувшись земли ногами, шел по бутылкам назад, поднимая перед собой неуклюжими движеніями двухфутовой туфли и ставя на прежнее мѣсто одну за другой всѣ упавшія бутылки. Только знатоки могли оцѣнить, какой изумительной ловкости, какой точности в движеньях, какого гимиастическаго совершенства требовал этот номер программы, шедшій под бурный хохот зрителей. — Публика любит, — повторил он, привел правую ногу в нормальное положеніе, быстро продѣлал то же с лѣвой ногой и, наконец, сѣл по человѣчески, тяжело дыша. — Другіе послѣ номера отдыхают, а я сначала еще работаю, это очень полезно.

Он взял с другого табурета полотенце и, глядя внутрь колпака, гдѣ у него было пришито крошечное зеркальце, стал стирать с лица пот и бѣлила. Мамонтов положил на освободившійся табурет бонбоньерку и прикрыл ее своей высокой мѣховой шапкой. Ему всегда неловко было наединѣ с Рышковым. Алексѣй Иванович был очень почтенный, степенный и неглупый человѣк. Он и говорил всегда разсудительно, серьезно, порою даже интересно. Неловкость происходила от контраста между этими его свойствами и тѣм, что он дѣлал, бутылочками, его костюмом, его штучками и особенно его криками на сценѣ. В началѣ их знакомства Мамонтову послѣ представленія бывало просто совѣстно смотрѣть ему в глаза. Этой неловкости он не испытывал при разговорах с Карло или с Катей.

— А вы бы сѣли, Николай Сергѣевич. Катя сейчас выйдет. Вот ей будет сюрприз, она, бѣдненькая, вчера плакала, когда вы ушли, а мы отправились к директору.

— Неужели? — быстро спросил Мамонтов. Дверь в перегородкѣ распахнулась, из своей уборной вдруг вылетѣла Катя, в одном трико тѣлеснаго цвѣта и в сапожках. Она с визгом бросилась с разбѣга на шею Николаю Сергѣевичу. Он крѣпко ее поцѣловал, затѣм, вспыхнув, оглянулся на Алексѣя Ивановича. Клоун впрочем даже не повернул к ним головы: поцѣлуи у Кати не имѣли никакого значенія; они просто были условной формой привѣтствія, вродѣ рукопожатья.

У-у, какой холодный!... Так вы не уѣхали?! Ах, как я рада!

— Я должен был задержаться на один день. Завтра уѣзжаю... Я хотѣл... Я думал, что вы, быть может, нынче свободны? — начал Николай Сергѣевич, еще не совсѣм пришедшій в себя. Рыжков отнял полотенце от лица.

— Катя, поди, безстыдница, надѣнь мантію. Так не выходят к публикѣ.

— Какой же он публика? Он публика?! — Она вдруг залилась смѣхом. «Да, гдѣ Патти так смѣяться!» — с востор-

гом подумал Николай Сергѣевич. — Вы публика? Или вы нашъ другъ? Мой другъ?

— Я вашъ другъ, большой другъ! Больше чѣм могу выразить, — неожиданно сказал Мамонтов гораздо болѣе торжественными словами, чѣм слѣдовало по разговору. — Впрочем, вы это знаете... Я только на одну минуту. Знаю, что вам сейчас не до меня, да и Карло не велѣл вас безпокоить. Вот что: хотите поужинать сегодня со мной послѣ спектакля? Я и вас прошу, Алексѣй Иванович. И, разумѣется, Карло («почему «разумѣется»?).

— Господи, как я рада!... Так жаль, что вчера мы не могли, я плакала полчаса! Выходит, у нас все-таки будет о т ' ѣ з д н о й ужин!... Господи, как я рада!

«Значит, плакала она из за ужина, а не из за меня», — отмѣтил Николай Сергѣевич, только теперь ясно сознавшій, что, если он так охотно остался в Петербургѣ на лишній день, то отчасти из за надежды на о т ' ѣ з д н о й ужин. Наканунѣ семья Діабелли была к крайнему его огорченію неожиданно приглашена вечером на чай к директору.

— Тогда я зайду за вами тотчас послѣ выстрѣла. Идет, Алексѣй Иванович?

Клоун положил полотенце, вздохнул и покачал отрицательно головой.

— Нельзя, Катенька.

— Почему нельзя? Это еще что?! — Она вдруг ахнула и опустилась на табурет. Лицо у нея помертвѣло.

— Что такое? Что случилось?

Рыжков, немного поколебавшись, об'яснил, что на вечеринкѣ у директора Катя сильно запачкала вареньем платье, его утром пришлось отдать в чистку.

— Так в чем же дѣло? — начал было удивленно Николай Сергѣевич и осѣкся, вспомнив, что внѣ цирка он всегда видѣл Катю в одном и том же сѣром платьѣ. — «Это моя вина!» — с досадой подумал он. — «Не бонбоньерки ей надо было приносить. Экій я осел, не догадался...» — Так знаете что? Если у вас нѣт другого вечерняго платья, то мы устроим

ужин у вас в фургонѣ, а? Я с'ѣзжу и привезу все что нужно. Мнѣ и то рестораціи смертельно надоѣли. Что вы об этом скажете?

— Развѣ что так? Это другое дѣло, — сказал клоун. У Кати опять лицо залилось радостью. Она тотчас поднялась.

— Господи! Конечно, у нас! Какой вы умный! И Карло будет страшно рад... Впрочем, у него сегодня тренировочный вечер. Он каждый третій день послѣ представленья ходит пѣшком на острова! Гимнастическим шагом туда и назад, без шубы! Сумасшедшій! Но он к часу ночи возвращается... Так вы все привезете, милый? Я вас так люблю! Страшно!... Голубчик, привезите свѣжей икры! Немножечко! Я ее обожаю!

— Катя! — строго сказал Рыжков, видимо дѣйствительно недовольный. Николай Сергѣевич засмѣялся и обѣщал привезти и икры.

— А пока позвольте поднести вам это, — сказал он, вынимая из под шапки бонбоньерку и заранѣе наслаждаясь эффектом. Эффект превзошел его надежды: от визга минуты двѣ нельзя было сказать ни слова.

— ... Потом, когда мы с'ѣдим всѣ конфеты... Тут три фунта, да?... Когда мы с'ѣдим всѣ конфеты, я сдѣлаю из этого шкатулочку... Зеркальце приклею, — говорила она, глотая одну конфету за другой; она их, повидимому, и не разжевывала. — Алешенька, вы все умѣете, вы мнѣ устроите перегородочку: тут, гдѣ ананас. Это можно?

— Можно. Все можно. Только не жри столько конфет. Цирковой артисткѣ нельзя, потому что... — начал степенно Рыжков. Она тотчас его перебила.

— Вы сами же, Алешенька, говорите, что все можно! А я только сегодня. Ах, какая чудная бонбоньерка! — сказала она, видимо наслаждаясь не только вещью, но и ея названьем. — Просто прелесть! Я увѣрена, вы дали пятнадцать рублей, правда?... Вы не скажете, потому что вы такой свѣтскій. Но я страшно вас люблю, вы милый, милый! — Она поднялась на цыпочки и поцѣловала его в щеку. От нея пахло шоколадом, одеколоном. — Все еще холодный!...

— А теперь, Николай Сергѣевич, извините, вам надо уходить, — сказал Рышков. Издали уже дѣйствительно доносились трубные звуки.

— Ах, да. У Карло сегодня двойное сальтомортале? — спросил Мамонтов. Ему уходить очень не хотѣлось. В этом трико вблизи он еще никогда ея не видѣл.

Избави Бог! — испуганно сказала она, чуть не подавившись конфетой. — Позавчера было послѣднее. Нѣт, сегодня только «Венгерская Почта», потом мой выстрѣл, а потом пантомима «Сон Фараона».

— Вы волнуетесь?

Она опять залилась смѣхом. «Это плохіе писатели говорят: «серебристый смѣх», а вѣдь дѣйствительно точно серебро звенит»...

Какой вы глупый!

Катя! — еще строже сказал клоун.

Он не обидится. Он знает, что он умен, как поп Семен!

— Вы, видно, забыли конец поговорки о попѣ Семенѣ: «книги продал, да карты купил».

— Вы ни книг не продадите, ни карт не купите. Вы страшно умный, в сто раз умнѣе меня, но в циркѣ вы, милый, не смыслите ничего. Выстрѣл это пустяки, никакой опасности, падаешь на сѣтку, как на постель. Вот когда у Карло это проклятое двойное сальтомортале, я дрожу, как осиновый лист: нѣт ничего проще убиться. А тут он еще себѣ вбил в голову тройное сальтомортале! Он сумасшедшій, Карло!...

«Из за чужого она вѣрно не дрожала бы как осиновый лист... Еслиб Карло разбился, она навѣрное досталась бы мнѣ», — неожиданно подумал Николай Сергѣевич. «Отбиватъ» ее у другого было, по его понятіям, недостойно. «А может быть, я боюсь его?» — с еще болѣе непріятным чувством спросил он себя. — «Нѣт, не боюсь, хотя он страшный человѣк»... Мамонтов опять поцѣловал руку Катѣ и простился.

— Значит, через полчаса послѣ выстрѣла в фургонѣ, сказал он. Да, я найду, я помню, гдѣ ваш фургон.

Когда он занял свое мѣсто, Карло Діабелли уже стоял на аренѣ с длинным бичем в рукѣ. Музыканты на балконѣ играли старенькій, милый общеизвѣстностью галоп. Первая лошадь из бѣлой шестерки перескочила через низкій барьер и размѣренным галопом пошла кругом вдоль барьера. Медленно поворачиваясь на каблуках, Карло слѣдил за ней взглядом. Когда она поравнялась с ним, он без сколько нибудь замѣтнаго публикѣ разбѣга вскочил на сѣдло и нашел равновѣсіе, наклонивши к центру арены свое сжатое, точно ставшее болѣе коротким тѣло. Это была единственная трудная часть «Венгерской Почты». Вторая лошадь тяжело поскакала по кругу, поровнялась с первой и пошла рядом с ней. Карло перенес одну ногу на ея сѣдло. Третья лошадь прошла между двумя первыми, под его ногами; он на ходу подхватил и развернул ея поводья. Через нѣсколько минут Карло, стоя на двух сблизившихся лошадях, правил всей шестеркой, скакавшей цугом по краю арены и все ускорявшей ход. Продѣлав послѣдній тур, он спрыгнул на песок, побѣжал наперерѣз шестеркѣ и остановился, высоко подняв бич. Музыка оборвалась. Лошади остановились, выстроились в ряд и поднялись на дыбы, теперь изумляя, почти страша, точно невиданные звѣри, зрителей своей громадной величиной и мощью. Держась на задних ногах, перебирая в воздухѣ передними, онѣ медленно попятились к барьеру под оглушительные щелчки бича и повелительные непонятные окрики Карло.Музыка опять заиграла, сливаясь с восторженными рукоплесканіями публики. Этот номер программы всегда имѣл огромный успѣх, но Карло им не гордился. Двойное сальтомортале, связанное для него со смертельной опасностью, обычно овацій не вызывало.

Шесть служителей в красных ливреях с позументами, изображая величайшее напряженіе, выкатили на арену неви-

данных размѣров пушку из выкрашеннаго под бронзу дерева, затѣм закрѣлили против нея на столбах сѣтку. Карло внимательно провѣрил столбы и попросил публику соблюдать полную тишину.. Эту тщательно заученную наизусть фразу он произносил, почти без акцента, мрачным гробовым голосом. Музыканты заиграли что-то боевое. На арену в трико, покрытом синей мантіей, выбѣжала Каталина Діабелли. Ее встрѣтили рукоплесканьями. Она раскланялась с публикой и, бросив служителю мантію, побѣжала навстрѣчу Карло. Он высоко поднял ее. Затѣм, держа над головой ея ставшее прямым как палка тѣло, понес Каталину к пушкѣ. Ея сапожки вошли в дуло, — кто-то ахнул, — она исчезла в дулѣ с головой. По залу пронесся восторженный стон. Музыка перестала играть. Настала совершенная тишина. Карло стал за пушкой, незамѣтно положил руку на придѣланный к ней сзади, рядом с пуговкой пружины, пугач и стал медленно считать: «Раз!».. «Два!».. «Р-ри!»... Отпустив пружину, он выстрѣлил. Каталина вылетѣла из пушки, пронеслась над ареной и упала на сѣтку. Через полминуты они, держась за руки, раскланивались с ревѣвшей публикой.

V — VI — VII

Часть вторая

— Locarno! Piazza Grande! — прокричал кондуктор. Мамонтов встал и с мысленным проклятьем взвалил себѣ на плечи зачѣм-то купленный в Цюрихѣ дорожный мѣшок. На нем был костюм альпиниста, придававшій ему, по его мнѣнію, несерьезный вид. «Эти идіотскіе чулки — просто второе дѣтство, мѣшок напоминает гимназическій ранец». А альпеншток

на ровном мѣстѣ совершенно не нужен и дѣлает человѣка смѣшным. Иван Грозный всаживал кому-то в ногу такой остроконечный посох, это по крайней мѣрѣ было занятіе»... Николай Сергѣевич был в хорошем настроеніи духа, несмотря на то, что ноги у него горѣли, а плечи были натерты ремнями мѣшка. Он вышел и остановился в восторгѣ, окинув взглядом площадь. «Да вѣдь это Италія! Точно в другую страну переѣхал!»

День был солнечный и довольно холодный. «Что же сейчас дѣлать?» — нерѣшительно спросил себя Мамонтов. Можно было бы тотчас отправиться на поиски виллы Бароната. Но лучше было сначала устроиться, умыться, пообѣдать и отдохнуть. «Конечно, теперь ѣхать к Бакунину поздно. Пока разыщу его и доѣду, пройдет два или три часа. И какой же разговор, если у меня будут слипаться глаза? Да и нельзя вваливаться к незнакомому человѣку в обѣденное время... Городок крошечный, но, вѣрно, и тут найдется какой-нибудь Отель Бориваж или Вилла д-Англетэрр... Вот вѣдь кофейня уже есть... Сегодня я имѣю право на хорошій обѣд и на бутылку «добраго, стараго вина»... Говорят, в итальянской Швейцаріи есть недурныя вина, и кормят будто бы гораздо лучше, чѣм в нѣмецкой»... Он вспомнил о петербургских обѣдах, о водкѣ, об икрѣ, но тут же рѣшительно себѣ подтвердил, что нисколько не сожалѣет о своей поѣздкѣ. «Когда пространствуя воротишься домой, — И дым отечества»... Всѣ у нас кстати думают, что дым отечества это из Грибоѣдова. А Грибоѣдов это взял у Гомера как нѣчто общеизвѣстное... Мѣсяца три-четыре можно провести и без дыма отечества и даже без отечества»...

В Цюрихѣ Мамонтов без труда узнал, что Бакунин живет в Виллѣ Бароната, расположенной на Лаго Маджоре, по близости от Локарно. Николай Сергѣевич доѣхал до Флюэлена на пароходѣ, там переночевал и на зарѣ отправился по Локарнской дорогѣ пѣшком: к этому обязывали мѣшок, костюм альпиниста, тяжелые, подбитые гвоздями башмаки и альпеншток. В мѣшкѣ были туалетныя принадлежности, пе-

ремѣна бѣлья, складной мольберт, кисти, краски. Были еще съѣстные припасы, но от них ничего не осталось уже к девяти часам утра: на первом же привалѣ Мамонтов съѣл все что взял с собой в дорогу. Хотѣл было послѣ завтрака поработать, но так и не вынул кистей из мѣшка. Дорога была на рѣдкость живописна, один грандіозный пейзаж слѣдовал за другим и не было основаній предпочесть один другому. «Может быть дальше попадется что-нибудь еще лучше? Все равно я в один присѣст не мог бы ничего набросать... Да я и не пейзажист, и трудно писать, когда плечи болят от ремней, а ноги от этих проклятых башмаков»... Затѣм его нагнал дилижанс, в котором оказалось свободное мѣсто, — и только теперь в Локарно Николай Сергѣевич почувствовал, что ему очень наскучили красоты природы и что его начинает утомлять Швейцарія, по крайней мѣрѣ нѣмецкая, с ея Швейцергофами, Бориважами, Бельведерами, Эспланадами. «Право, люди творят не хуже природы! Как хороша эта линія аркадов! А эта церковь на горѣ! Колокольня немного высока для фасада... Вот гдѣ бы поселиться до конца дней!» — подумал он без увѣренности: вдруг через три дня станут невыносимыми и эта площадь, и колокольня, и весь этот городок, по ошибкѣ попавшій сюда из Италіи.

Он зашел в аптеку, чтобы справиться о гостинницѣ. Аптекарь, живой бойкій старичек, свободно говорил по французски, хотя и с забавным итальянским акцентом. Он снисходительно осмотрѣл Мамонтова, очевидно расцѣнивая его финансовыя возможности. «Кажется, расцѣнил их весьма низко», — подумал Николай Сергѣевич.

— Наш городок мало посѣщается туристами, несмотря на то, что он гораздо лучше многих прославленных курортов, — сказал аптекарь внушительно, как будто даже с угрозой прославленным курортам. — Больших гостинниц у нас нѣт. Рекомендую вам Albergo del Gallo, очень прилично и недорого. Вы сюда надолго?

— Я завтра думаю уѣхать, — отвѣтил Мамонтов. «Что если его и спросить об этой Баронатѣ? Еще, пожалуй, в го-

стинницѣ ни по французски, ни по нѣмецки не понимают. Мы в свободной странѣ, конспираціи тут и вправду не нужна...» — Я завтра уѣзжаю... Не можете ли вы мнѣ сказать, гдѣ находится вилла Бароната? Я знаю, что это на озерѣ и близко, но как туда проѣхать?

Аптекарь вышел из за прилавка и, к удивленію Николая Сергѣевича, протянул ему руку.

— Вы друг Микеле Бакунина? — спросил он и, не дожидаясь отвѣта, пояснил: — Я тоже его друг и поклонник. Когда он пріѣзжает в Локарно, то всегда заходит ко мнѣ. Разумѣется, я могу вам об'яснить, я сам там бывал много раз. Туда можно поѣхать на лодкѣ, это чудесная прогулка: одна из самых прекрасных частей Лаго Маджоре, — опять строго сказал он, точно Мамонтов это оспаривал. Можно также, если хотите, нанять извозчика. А если вы любите ходить, то можно пройти и пѣшком. Так вы друг Микеле? — снова спросил он, радостно улыбаясь. — Это великій человѣк! Мы всѣ его обожаем. Мы ему немного и помогали, кто как мог, когда ему приходилось совсѣм плохо. Теперь его дѣла поправились, и он купил эту виллу.

— Развѣ это его вилла? — удивленно спросил Николай Сергѣевич. «Кто же это мы? Аптекари? Локарнцы? Анархисты? Неужели этот аптекарь анархист?»

— Его и Каффіеро. Это тоже мой друг. Когда вы хотите ѣхать к Микеле?

— Сегодня уже поздно. Я хотѣл бы завтра, скажем, часов в десять?

— Еслиб сегодня вечером, я, пожалуй, поѣхал бы с вами, — с сожалѣніем сказал аптекарь. «Вот этого не хватало», — успѣл подумать Мамонтов. — Завтра утром не могу: я работаю. Но вы приходите сюда в десять часов, я сговорюсь с лодочником. Он возьмет с вас недорого, а может быть, даже отвезет вас безплатно: он тоже друг и ученик Микеле. И хозяин Albergo del Gallo сдѣлает вам скидку, если вы скажете, что вы друг Микеле: хозяин тоже анархист». Николай Сергѣевич невольно оглянулся на дверь, но тотчас

вспомнил, что здѣсь такія слова можно произносить совершенно безопасно.

Они простились как добрые знакомые. Аптекарь неожиданно сдѣлал скидку на мылѣ, сообщив, что с в о и м продает без всякаго заработка. «Я даже не сказал ему, что я с в о й», — с недоумѣніем подумал Николай Сергѣевич. «Что, если бы я был полицейским агентом?»

Гостинница была довольно живописная, — тоже такая, какой полагалось бы быть в Италіи, а не в Швейцаріи. «Живописность это конечно, но пообѣдаю я гдѣ-нибудь в другом мѣстѣ», — подумал Мамонтов, поднимаясь вслѣд за хозяином по покрытой тонким рваным ковром лѣстницѣ. Комната впрочем была хорошая: большая, с двумя окнами, с камином, в котором, над газетной бумагой и щепочками, лежали дрова. Она стоила так дешево, что Николай Сергѣевич не счел нужным ссылаться на свою дружбу с Микеле. Он попросил затопить камин и наудачу спросил об обѣдѣ. Хозяин отвѣтил, что обѣд будет готов часа через полтора и что он стоит полтора франка: два блюда с сыром и с вином.

— Если вам угодно, вам подадут обѣд сюда, — предложил хозяин. — Без всякой надбавки.

— О нѣт, я спущусь вниз, как только умоюсь, — отвѣтил Мамонтов. Хозяин ничего не сказал, но ушел как будто не совсѣм довольный. В ожиданіи горячей воды, Николай Сергѣевич подошел к окну. Оно выходило в небольшой запущенный сад, с уже знакомыми ему фиговыми деревьями. Между ними на веревках висѣло бѣлье. В садикѣ была бесѣдка со столиками и двумя стульями, и в этой бесѣдкѣ было нѣчто необыкновенно уютное и даже умилительное. «Вот бы что писать, а не Сен-Готард!» — сказал себѣ в восторгѣ Мамонтов. — «Кажется во мнѣ пропадает «второстепенный фламандец семнадцатаго вѣка»... Другое окно выходило на улицу. Против него были домики, тоже умилительные, чуть ли не средневѣковые, с аркадами и балкончиками, с садиками и с бѣльем на веревках. Николай Сергѣевич сѣл в кресло, стоявшее у окна под старинным Распятіем. К окну на уровнѣ

спинки кресла было на подвижном стержнѣ прикрѣплено зеркальце. «Это зачѣм?» — с любопытством спросил себя Мамонтов, наклонившись. Зеркало отразило всю улицу, с обоими тротуарами. «Какая прелесть! Очевидно, мѣстныя кумушки так проводят время: шьют или вяжут в креслѣ и видят все, что дѣлается на улицѣ, а их самих не видно»... В зеркальцѣ показалась телѣжка, запряженная клячей. Ею правил старик в сѣром балахонѣ и в странной фуражкѣ. «Право, это русскій стиль», — с удивленіем подумал Мамонтов, — «чѣм не Рязань?» Дѣйствительно, в крупном, необычайно массивном обликѣ, в широком лицѣ старика, в его бородѣ, в фуражкѣ и в балахонѣ, даже в том, как он сидѣл в телѣжкѣ и правил лошадью, было что-то необыкновенно напоминавшее Россію, что-то старозавѣтное, барское, помѣщичье, даже степное. «Что если это Бакунин?!» — пришла Николаю Сергѣевичу неожиданная мысль. Сердце у него немного забилось. Телѣжка под'ѣхала к гостинницѣ и остановилась, из гостинницы выбѣжал юноша. Старик в балахонѣ, с видимым трудом, вылѣз из телѣжки и оказался человѣком исполинскаго роста. «Помнится, кто-то говорил, что Бакунин гигант? Или это Маркс гигант? Или они оба гиганты? Нѣт, не может быть, чтобы это был Бакунин»... Старик потрепал юношу по плечу и, предоставив ему телѣжку, вошел в дом.

В дверь постучали. Немолодая изсиня черная служанка принесла два огромных кувшина воды и полотенце. Она опустилась на колѣни перед камином и принялась его растапливать. Мамонтов смотрѣл на нее, чувствуя неловкость, как всегда в тѣх случаях, когда на него работали женщины.

— Могу ли я вам помочь? — нерѣшительно спросил он. Но служанка по французски не понимала. Николай Сергѣевич подошел к ней и, несомнѣнно ей мѣшая, стал подталкивать в камин щепки и бумагу. На старых пожелтѣвших газетах были названія: "Equaglianza"... "Fratellanza"...

— Как называется та церковь на горѣ? — спросил он как умѣл по итальянски, больше для того, чтобы не молчать. Его итальянскаго языка служанка тоже не поняла, но быть

может по жестам, означавшим гору, или потому, что об этом спрашивали всѣ, догадалась и радостно отвѣтила, что церковь называется Madonna del Sasso. Николай Сергѣевич утвердительно закивал головой, точно именно этого ожидал, но уже не рѣшился спросить, как зовут только что пріѣхавшаго великана. Дрова загорѣлись. Мамонтов долго стоял у камина, не отрывая глаз от пламени. Он сам удивлялся своему волненію.

Николай Сергѣевич еще мылся, когда снизу донеслись рукоплесканья. «Это еще что такое?» — изумленно спросил себя он. Рукоплесканья продолжались довольно долго и улеглись медленно. Затѣм оттуда же стал доноситься мужской звучный низкій голос. Разобрать слова было невозможно. «Конечно, это не разговор, а лекція или рѣчь... Да тогда, вѣрно, это тот старик! Неужели в самом дѣлѣ Бакунин!»...

Мамонтов поспѣшно одѣлся и, оріентируясь по голосу, пошел по уже полутемному корридору. Лѣстница была довольно далеко. На ней голос был слышен гораздо лучше. Внизу пробѣжал на цыпочках тот самый юноша, с необыкновенно взволнованным лицом. Он нес канделябр с незажженными свѣчами. Рѣчь доносилась из комнаты, бывшей в концѣ другого корридора. Николай Сергѣевич рѣшительно отправился туда. «Если спросят, почему я лѣзу куда не звали, скажу, что ищу столовую»... Но его никто ни о чем не спрашивал. Он, тоже на цыпочках, подошел к двери.

В узкой, довольно длинной, полутемной комнатѣ за столом, положив на него огромныя руки, сидѣл, уже без балахона и фуражки, бородатый великан. При слабом свѣтѣ кончавшагося дня Николай Сергѣевич не мог разглядѣть его как слѣдует. В комнатѣ на стульях, на табуретах, на скамейкѣ, принесенной очевидно из сада, размѣстилось человѣк двадцать пять или тридцать. Мамонтов, согнувшись, скользнул к скамейкѣ и сѣл. Никто и здѣсь не обратил на него вниманія.

Старик говорил что-то по итальянски необыкновенно выразительно. Он довольно сильно пришепетывал, повидимому, по недостатку зубов. Тѣм не менѣе в каждом его звукѣ, в

жестах, в необыкновенной внушительности манеры, чувствовался замѣчательный оратор. Говорил он совершенно гладко, не заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, и лишь очень рѣдко, в поисках нужнаго выраженія, нетерпѣливо морщась, щелкая пальцами правой руки, на мгновенье переходил на французскій язык и снова возвращался к итальянскому. Обычно ему с разных сторон радостно, как бы в соревнованьи, подсказывали перевод французскаго слова. Слушали его всѣ с напряженным, благоговѣйным вниманіем. Николай Сергѣевич не понимал рѣчи, но теперь уже не могло быть сомнѣній в том, что это Бакунин. «Какая сила! Да, это очень большой революціонный оратор, не чета петербургским студентам! Но что же это за сборище? Неужели тут всѣ анархисты? На вид мастеровые».. Старик вдруг сильно повысил голос. Что-то пробѣжало по залу. «... Creare una minoranza dirigente e comunicarle la scintilla rivoluzionaria: le masse sarebbero venute poi!» — прокричал старик, ударив кулаком по столу. В комнату на цыпочках вошел юноша с зажженным канделябром. Он пробрался вперед, поставил канделябр на стол и присѣл на кончик скамьи, не сводя глаз со старика. «Какая замѣчательная голова! Лев!» — подумал Мамонтов, вглядываясь в оратора. В комнатѣ впрочем почти не стало свѣтлѣе. При свѣтѣ свѣчей лицо старика измѣнилось и теперь казалось грозным.

Николай Сергѣевич слушал, но понимал очень плохо. Старик говорил о неудачѣ испанской революціи. Повидимому, он приписывал ея провал тому, что революціонеры слишком церемонились. «Что же надо было дѣлать?» — с недоумѣніем спросил себя Мамонтов. «О каких бумагах он говорит? Бумаги надо было сжечь? Зачѣм жечь бумаги? Вѣрно, я не так понял»... Вдруг рядом с ним со скамьи вскочил блѣдный измученный человѣк и принялся что-то раз'яснять. На него неодобрительно зашикали. «Кажется, этот говорит по испански... Да, х-х это испанскій звук»... Старик тотчас тоже перешел на испанскій язык, но на нем ему было говорить не так легко. — «Не понимаем», «не понимаем», — послыша-

лись жалобные голоса. Испанец, немного владѣвшій французским языком, повторил свое об'ясненіе по французски. — «Свобода, равенство, братство», говорите вы?» — закричал старик и опять ударил по столу кулаком так, что на канделябрѣ что-то сильно зазвенѣло. Испанец испуганно замолчал и сѣл.

— Liberté, égalité, fraternité, — сопя, повторил старик и сердито засмѣялся. — Liberté, égalité, fraternité! — Быть может по разсѣянности, он продолжал говорить по французски. «Говорит совершенно как француз, только р твердое. Как будто чуть старомодно... Так, вѣрно, говорила русская аристократія в началѣ столѣтія. Может быть, царь так говорит», — думал, улыбаясь, Николай Сергѣевич. Теперь, понимая, он слушал очень внимательно. Старик издѣвался над республиканским девизом. В комнатѣ всѣ замерли. Он доказывал, что всеобщее избирательное право и есть самая настоящая контр-революція, что оно непремѣнно, при всяких условіях, будет использовано эксплоататорами против трудящихся. «В современном обществѣ работник — раб!» — закричал он так, что его навѣрное было слышно на противоположном концѣ дома. Юноша рядом с Мамонтовым вскочил и зааплодировал, за ним зааплодировали всѣ другіе. Старик сердито уставившись в испанца, сказал болѣе спокойно:

— Il faut avoir vraiment l'esprit mensonger de Messieurs les bourgeois pour oser parler de la liberté des ouvriers! Belle liberté qui les enchaine par la faim à la volonté du capitaliste!... Et la fraternité! Encore un mensonge! Je vous demande si la fraternité est possible entre les exploiteurs et les exploités, entre les oppresseurs et les opprimés? Comment? Je vous ferai suer et souffrir pendant tout un jour et le soir, ayant recueilli le fruit de vos souffrances et de votre sueur, le soir, je vous dirai: "Embrassons nous, mes amis, nous sommes des frères!..."

Послышался смѣх. Старик однако даже не улыбнулся. Лицо его осталось нахмуренным и грозным. «Игра ли это?» — спросил себя Мамонтов. — «Нѣт, едва ли... С ним, оче-

видно, по душам не разговоришься... Но как же мнѣ быть? Подойти послѣ окончанія и передать ему письмо? Лучше это сдѣлать через хозяина... И потом все-таки, вдруг это не Бакунин, а какой-нибудь другой революціонер? Надо для вѣрности спросить»...

— ... Мы, сторонники великой соціальной революціи, мы тоже хотим свободы, равенства и братства. Но мы желаем, чтобы великія слова эти стали из глупых выдумок правдой, настоящей, подлинной правдой жизни! И для этого мы не остановимся ни перед чѣм! Сейчас перед нами великая задача разрушенія! Многое погибнет! Гнилое должно погибнуть! Много крови будет пролито! — прокричал он со страшной силой. — Но я скажу как один дѣятель Французской Революціи: «Развѣ так была чиста та кровь, которая пролилась?»...

Опять послышались рукоплесканья. Старик снова замахал рукой. Кто-то из слушателей воспользовался передышкой и робко попросил говорить по итальянски, а то, к несчастью, не все понятно. На лицѣ старика вдруг выступила дѣтская, веселая и вмѣстѣ чуть жалостная, улыбка, совершенно не шедшая к его страшным словам. Николай Сергѣевич тоже воспользовался минутой и на цыпочках скользнул к двери. Хотя на него никто в комнатѣ не обратил вниманія, он чувствовал себя неловко, точно без билета, минуя контроль, проскочил в театральный зал. «Это, быть может, вѣрно даже в настоящем смыслѣ: вѣдь в самом дѣлѣ тут за вход, должно быть, платят. Да, это новый, совсѣм новый мір», — думал Николай Сергѣевич. — «Конечно, в Швейцаріи революціонеры могут выступать открыто, но, кажется, хозяин не очень хотѣл, чтобы я обѣдал внизу. Вѣрно, столовая тут гдѣ-нибудь рядом, а его голос слышен за версту... Вот он, хозяин»... Из отворенной хозяином двери донесся запах жаренаго мяса и лука. Николай Сергѣевич только теперь почувствовал по настоящему, как он голоден. «Ничего не подѣлаешь, придется отложить обѣд, но, разумѣется, теперь я пообѣдаю здѣсь»... Он вынул из кармана письмо земскаго дѣятеля и, скрывая смущеніе особенно непринужденным то-

ном, окликнул хозяина, который бросил на него подозрительный взгляд.

— Скажите, пожалуйста... — Он на мгновенье запнулся: слово «мосье» показалось ему неподходящим. — Это Бакунин?... Если это Бакунин, то я хотѣл бы передать ему одно письмо из Россіи. Я к нему и пріѣхал... Не будете ли вы любезны сказать ему послѣ его лекціи? Вѣдь это Михаил Бакунин?

Да, это сам Микеле Бакунин... Вы хотите, чтобы я передал ему письмо?

— Нѣт, вы только ему сообщите, что у меня есть письмо для него из Россіи. Я буду у себя. Если он может меня принять, пожалуйста, скажите мнѣ, я тотчас спущусь.

— Очень хорошо, — недовѣрчиво отвѣтил хозяин без обращенія. «Не знает теперь, кто я: «мосье» или... Как анархисты называют друг друга?» — Николай Сергѣевич, шагая через двѣ ступени, поднялся в свою комнату, гдѣ теперь ярко горѣли в каминѣ дрова, и зажег свѣчу на столѣ. Он очень волновался. Походив немного по комнатѣ, Мамонтов, больше от нервности, снова вышел в еле освѣщенный далекой свѣчой корридор. Снизу снова донеслись рукоплесканья, на этот раз особенно долгія. «Кажется, он кончил. Сейчас разговор»... Николай Сергѣевич безсознательно преобразился и стал очень серьезным, вдумчивым, ищущим правды человѣком, страстно желающим освобожденія всѣх народов міра. Он замѣтил это не сразу, но замѣтил. «Еще новый Мамонтов! Нѣт, нѣт, я ломаться не согласен!» Сдѣлав над собой усиліе, он отогнал этого пятаго или шестого Мамонтова. «Буду вообще говорить возможно меньше. Постараюсь, чтобы говорил он», — подумал Николай Сергѣевич, перегнувшись над перилами лѣстницы. Под лампой стоял тот же юноша. «Кажется, и он его ждет»... Через минуту донесся звучный низкій баритон старика, теперь впрочем совершенно иной по тону: «Компатріот? Какой еще компатріот?»... Внизу показался хозяин с зажженной лампой в рукѣ. За ним слѣдовал окруженный слушателями Бакунин. Они на ходу восторжен-

но ему апплодировали. В эту минуту юноша выбѣжал вперед, оттолкнул кого-то, вцѣпился в руку Бакунина и поцѣловал ее.

Николай Сергѣевич пошел или, вѣрнѣе, побѣжал в свою комнату. «Кажется, я тоже ошалѣл как этот мальчик!»... Он бросил в мѣшок валявшееся на полу бѣлье, зачѣм-то передвинул на столѣ свѣчу, поправил рукой прическу и снова вышел в коридор. Старик, смѣясь, шел к его комнатѣ своей тяжелой грузной походкой. За ним, почтительно улыбаясь, слѣдовал хозяин с лампой. Увидѣв Мамонтова, он что-то шепнул Бакунину.

— Михаил Александрович Бакунин? — спросил Николай Сергѣевич, не совсѣм справляясь с дыханьем. — Очень счастлив познакомиться с вами...

Старик остановился, наклонил свою колоссальную фигуру и вглядѣлся в его лицо. Хозяин высоко поднял лампу.

— Это вы компатріот? — спросил Бакунин, насмѣшливо-благодушно повторяя по русски только что им употребленное французское слово. — Я тоже очень счастлив... А как, компатріот, ваша фамилія? Мамонтов? Ну, отлично, ведите меня к себѣ. Вы мнѣ привезли письмо? От моих братьев? Может, и еще что-нибудь кромѣ письма?

— Я не имѣю чести знать ваших братьев. Письмо от... — Николай Сергѣевич назвал имя-отчество земскаго дѣятеля.

— Кто такой? У меня на крещеныя имена стала слаба память... А-а, — разочарованно протянул он, услышав фамилію, — он жив еще?... Ну, хорошо, я с ним посижу. Джакомо, — обратился он по французски к хозяину и взял у него лампу. Это ваша комната? И камин горит, отлично! — сказал он, входя.

II

— Ради Бога, садитесь, Михаил Александрович, — растерянно сказал Мамонтов, подвигая кресло. Старик стал спиной к камину, заложив назад руки, осмотрѣлся в комнатѣ и затѣм с любопытством уставился глазами в Мамонтова.

Повидимому, впечатлѣніе у него было благопріятное. «Экій однако гигант! Я, кажется, не встрѣчал человѣка крупнѣе»... Только теперь Мамонтов разглядѣл старика как слѣдует. Все в нем было нечеловѣчески-огромно: рост, голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзглое, густо обросшее сѣдоватыми волосами. От носа косо спускались рѣзко обозначившіяся складки. Николая Сергѣевича поразили его глаза, глубоко засѣвшіе под густыми сѣдоватыми бровями. «Как у хищнаго звѣря? Впрочем, нѣт. Прекрасные глаза, но опредѣлить их трудно... Да, именно лев! Вот бы его написать! И в этом рубищѣ!»... Бакунин был в самом дѣлѣ одѣт очень плохо. На нем было что-то вродѣ плисоваго сюртука, — таких больше не носили, — и сюртук этот был крайне изношен и вытерт. На рукавах фланелевой рубашки и на брюках виднѣлась бахрома.

— Ну-с, давайте письмо, — сказал, сопя, старик. Неохотно оторвав от огня руки, он наклонился к лампѣ и принялся читать, неодобрительно покачивая головой. Неодобреніе как будто относилось к автору письма, а не к подателю. — «... Mon jeune ami Nicolas Mamontoff», — бормотал он. Прочитав короткое письмо, он при свѣтѣ лампы еще раз вглядѣлся в Мамонтова, наклонившись к нему вплотную. Ну-с, ладно, прочел и восчувствовал.

— Михаил Александрович, ч а й к у позволите? спросил Николай Сергѣевич и рѣшительно на себя разсердился за это слово, показавшееся ему развязным. — Вѣдь здѣсь, вѣрно, есть чай?

Чай у них скверный, сколь я ни учил Джакомо. Но какой-же теперь чай?... Вот что, друг мой, мы с вами тут пообѣдаем. Ежели у вас нѣт денег, это не бѣда. Я нынче богат. У меня есть десять франков, а обѣд у них стоит только полтора. Так что я вас, к о м п а т р і о т, угощаю. — Мамонтов так растерялся, что не сразу мог отвѣтить. Очевидно, об'яснив себѣ его смущеніе по своему, Бакунин бросил взгляд на его дорожный костюм, на мѣшок, на грязные башмаки и добавил: А ежели у вас нечѣм заплатить за комнату,

то я вам дам три франка. Три оставлю себѣ на табачек и на франкировку писем. У меня тут впрочем кредит, да и у аптекаря я могу взять, так что вы, компатріот, не тужите.

— Ради Бога!... Напротив, я прошу вас сдѣлать мнѣ удовольствіе и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствіем, если вы со мной пообѣдаете.

Я могу сдѣлать вам и это удовольствіе, и эту честь, — благодушно отвѣтил Бакунин. Он произносил «чешть». — Развѣ вы тоже при деньгах?

— У меня есть деньги... Я свои вещи оставил в Цюрихѣ, — невольно пояснил Мамонтов в отвѣт на подразумѣвавшійся вопрос старика. — Из Флюэлена я вышел пѣшком, но скоро устал и сѣл в шагнавшій меня дилижанс. Уж очень болѣли плечи от этого мѣшка... Значит, мы спустимся вниз?

— А зачѣм? Там меня облѣпят люди. Здѣсь все итальянскіе эмигранты, простые люди, лучшіе мои друзья. Один мальчуган мнѣ нынче руку поцѣловал! — смѣясь, сказал он, дурачек этакій!... Нѣт, мы с вами пообѣдаем в этой комнатѣ... Джакомо! — прокричал он так, что Николай Сергѣевич вздрогнул. Голос Бакунина вполнѣ замѣнял звонок. — У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр. А ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них дрянное.

— Ради Бога! — в третій раз почему-то сказал Мамонтов. — Позвольте мнѣ... Вы не можете себѣ представить, какая для меня радость увидѣть живого Бакунина!...

— «Живого Бакунина», — насмѣшливо повторил старик, впрочем как будто довольный. — Ну, и что-же из этого слѣдует?

— Позвольте мнѣ выпить с вами шампанскаго. У них, быть может, найдется шампанское?

Бакунин весело засмѣялся.

— Отчего-же нѣт? Хотя должно быть, здѣсь с сотворенія міра никто шампанскаго не спрашивал!... Джакомо, у тебя есть шампанское? — обратился он к вошедшему хозяину, который сначала было растерялся, но потом гордо отвѣтил,

что за шампанским дѣло не станет. — Вѣрно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. Но у вас н а в ѣ р н о е есть деньги, Мамонтов? — Николай Сергѣевич засмѣялся нѣсколько принужденно. — У меня, тут, правда, неограниченный кредит... Неограниченный так франков до двадцати... Однако, шампанское мнѣ не по карману... Значит, два обѣда и бутылку шампанскаго.

А нельзя ли получить что-нибудь à la carte?

Никогда не заказывайте, молодой человѣк, ничего à la carte, особливо в дешевеньких гостинницах. Что у них к обѣду отмѣчено, то, по крайней мѣрѣ, свѣжо... Два обѣда, Джакомо, ему обыкновенную человѣческую порцію, а мнѣ м о ю. И пойли поторопись, мой друг, я голоден, как звѣрь... Ну вот, будет, значит, пир горой... Ладно теперь разсказывайте о себѣ. Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помѣщики Мамонтовы?

— Нѣт, я не из этих. Мой отец вышел из народа, он был сын крѣпостного, — сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из под бровей, радостно ахнул и оживился.

— Вот это хорошо! Это хорошо! — воскликнул он. — Как вы счастливы, что вы внук крѣпостного! (Зачѣм о н мнѣ это говорит?» — с непріятным чувством подумал Николай Сергѣевич). — Наше дворянское сословіе давно сгнило. Кто это сказал, что Россія сгнила, не успѣв созрѣть? Наполеон, что ли? О Россіи это такой гнусный вздор, что и опровергать совѣстно. А вот дворянство наше дѣйствительно насквозь прогнило, уж там я не знаю, успѣв созрѣть или не успѣв... Это, вѣрьте мнѣ, очень, очень хорошо, что вы внук крѣпостного!

Я думаю, это ни хорошо, ни нехорошо, это просто факт, — сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрѣл. Николаю Сергѣевичу казалось, что старик все время его изучает.

Нѣт, это отлично. От этого крѣпче революціонное сознаніе. Мнѣ давно надоѣли даже лучшіе буржуа. Способ-

ные к жизни и к смѣлому знанію теперь только внизу: работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними... В этом проклятый Маркс прав... Вы знаете Маркса? Не врите, будто читали, — смѣясь, вставил он. Его почти никто не читал, кромѣ его нѣмецко-еврейской своры, да еще меня, но вы, вѣрно, слышали о нем? Он нѣмец из евреев, самая скверная из всѣх возможных національных комбинацій... Вы не еврей? Нѣт? А то есть еврей с русскими фамиліями, вродѣ Утина. Слышали? Об этом индивидѣ можно бы цѣлый мемуарій написать, и даже должно, да неохота и времени нѣт... Впрочем, между евреями есть хорошіе люди. Вы в Цюрихѣ не встрѣчали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик: ему всего лѣт семнадцать. Способный парнишка! Нѣмцы хуже, гораздо хуже! Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпѣть не могу нѣмцев! Не во многом я сходился с покойным Герценом, а в этом сходился. Он тоже нѣмцев не выносил... У вас, надѣюсь, нѣт нѣмецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смѣшанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество («хорошо бы, еслиб он перестал заниматься моим происхожденіем!» — с досадой подумал Мамонтов). — Наше дворянство на добрую четверть нѣмецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянскій Петербург всю жизнь прожил и умрет нѣмцем... Почему это мы заговорили и нѣмцах? Я позабыл...

— Вы что-то хотѣли сказать о Марксѣ.

— Да, да, да! Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознаніе людей опредѣляет их бытіе, а бытіе опредѣляет их сознаніе. Правда, Маркс это разумѣет в нѣсколько ином смыслѣ, но это вѣрно и в смыслѣ персональном и единоличном. Вот тѣ итальянскіе и испанскіе работники, которым я читаю дѣтскія лекціи, в их революціонность я вѣрю. А в наших дворянчиков не вѣрю! Когда у нас зачнется революція, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непремѣнно.

Однако вы сами дворянин.

— К несчастью! — сказал Бакунин. — И даже столбовой: пятнадцатаго вѣка. Поэтому вѣрно и накопилось во мнѣ столько всякаго дрянца! — Он засопѣл и тяжело вздохнул.

— И среди нѣмцев, должно быть, есть прекрасные, подлинные революціонеры, — сказал Николай Сергѣевич, желавшій вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным веселым смѣхом. Все его огромное тѣло затряслось. Он опустился в кресло, затрещавшее под его тяжестью.

— Нѣмцы?... Подлинные революціонеры?... Да гдѣ вы это видѣли?...

— Уж будто нѣт? — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущенія.

— Клянусь, ни одного!... Я ни одного не встрѣчал!... Ни единой живой души... Вѣдь я их всѣх знаю!... — Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал. — Нѣмцы революціонеры!... Ох, уморил!... Молода — в Саксоніи не была... А вот я в Саксоніи б ы л а. Даже была там приговорена к смертной казни!... Нѣт, брат, нѣмец и революція это идеи невмѣстныя. Ежели у них когда произойдет революція, то это будет одна уморушка. А они революцію произведут, непремѣнно произведут, потому в Англіи и во Франціи революціи бывали, а им надо, чтобы у них было как в лучших домах. Они всѣ лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замѣчают... Развѣ только чуть-чуть подозрѣвают? Нѣмцы на весь свѣт кричат, что они самая высшая раса. Ну а в душѣ, кажется, иногда в трезвыя минуты сомнѣваются: вдруг не самая высшая, а самая низшая? И уж не дрянь ли и не мерзость весь их Фатерланд, тысячу раз воспѣтый их собственными поэтами, — какой же чужой поэт будет их Фатерланд воспѣвать? Хотя нѣт: едва ли подозрѣвают. Вот англичанин и не говорит, что он самая высшая раса: он в этом так убѣжден, что тут и говорить не стоит, какой может быть разговор?... Один только нѣмец и есть не лакей, а великій человѣк. Это Шопенгауер. Я в нем теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите, Мамонтов, сочи-

нения Шопенгауера и сдѣлайте из них livre de chevet... Как это по русски, я свой язык стал позабывать.

— Настольная книга. Шопенгауер меня не интересует. А вот этот Маркс?

Бакунин вдруг подозрительно на него уставился.

— Послушайте, Мамонтов, вы не марксид?

— Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его ученіем знаком плохо. Пріобрѣл русскій перевод «Капитала» и читал, да не совсѣм кончил, что-то помѣшало, послѣдних глав не прочел.

— И напрасно, — сказал Бакунин, опять засопѣв. «Капитал» замѣчательная книга. Я вѣдь ее переводил... Вы впрочем не мой перевод видѣли... Там вышла одна непріятная исторія... Конечно, вы слышали?

— Нѣт, не слышал. В чем дѣло?

— Не стоит разсказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его шайка, всѣ его лакси, Энгельсы, Либкнехты, Боркгеймы и чорт знает кто еще... Как только у людей хватает низости и мелкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбѣ грязь неизбѣжна. На ком ея нѣт? И на мнѣ много, ох, как много! — сказал он, сопя. — Но этакія подленькія штучки это их нѣмецкая спеціальность. Это их система политической борьбы... Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замѣчают. Просто они никогда об этом не думают: дѣлают гадости, не мудрствуя, гадость ли это или нѣт! Ах, когда-нибудь весь свѣт узнает, что это за народ! — прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекціи. На столѣ подпрыгнул подсвѣчник. — Хотя и грѣх то, что я говорю... Нѣт, нѣт, надо быть справедливым... Вы спрашиваете: Маркс. Я его ненавижу, но он умница, у него замѣчательная голова. Я не встрѣчал человѣка ученѣе, чѣм Маркс, и я многому у него научился. Голова у него свѣтлая, хотя он путаник и доктринарист... Вы не удивляйтесь: это бывает, что одновременно и путаник, и свѣтлая голова. Такіе-то люди именно всего опаснѣе. И

Маркс теперь самый опасный человѣк на свѣтѣ, опаснѣе Бисмарка, с которым он кстати во многом схож, особливо же своей ненавистью к славянству.

— Но он хоть революціонер. Вы не отрицаете?

— Не отрицаю. Вѣдь Маркс все-таки не совсѣм нѣмец, как мой Рабинович не совсѣм русскій. Да, да, я признаю, он предан классу работников, он имѣет большія заслуги, все это так. Может, я и к нему, и к Энгельсу несправедливъ. А все таки душа у него маленькая. Нѣмецкая душа! И хотя он предан классу работников, а в 1870 году он всей своей маленькой душой желал побѣды своему проклятому фатерланду... Вѣдь мы, международные революціонеры, всѣ в одном котлѣ варимся и все друг о другѣ знаем. Я знаю навѣрное, что Маркс был в восторгѣ от пораженія Франціи. Он это тоже как-то об'яснял интересами работников: в фатерландѣ, мол, работники сознательнѣе. Да еще об'яснял своей ненавистью к «Баденгэ»... Замѣтьте, кстати, ни один нѣмецкій революціонер в разговорѣ ни за что не скажет «Наполеон III», а непремѣнно «Баденгэ», потому что такова у Наполеона была кличка в Парижѣ, а ежели так говорят в Парижѣ, то так и надо говорить, чтобы быть echt Pariser. Только произносят они не по парижски, а как-то необыкновенно мерзко: «И-пат-тенкэ». — старик очень похоже воспроизвел нѣмецкій говор. — Маркс и ссылался на «Баденгэ», на интересы работников, но я доподлинно знаю, что желал он пораженія Франціи не поэтому, а ради гегемоніи его нѣмецкаго племени: гегемоніи военной, политической и особливо культурной. Он сам друзьям говорил, что ежели нѣмцы разобьют французов, то его теорія восторжествует над теоріями Прудона. Что кстати и оказалось вѣрно. Протестовать же против политики Бисмарка он стал только послѣ Седана...

— Может быть, именно потому, что послѣ Седана «Баденгэ» пал и война уже шла с республикой?

— Так марксиды говорят, — сердито сказал старик. — В дѣйствительности же, послѣ Седана стало совершенно ясно, что Германія побѣдила, что гегемонія германскому племени

обезпечена и что, стало, уже можно протестовать. А Энгельс — чистокровный нѣмец, человѣк туповатый, хоть ученый, — Энгельс послѣ Седана просто именинником ходил, не хуже любого нѣмецкаго офицера. Приличнѣе других держался Либкнехт. Этот тоже чистокровный и уж совсѣм кретин, но он юго-западный нѣмец, не то из Гессена, не то из Пфальца, чорт их разберет, и с дѣтства помнит, что для его юго-западнаго фатерланда внѣшній врагъ не столь французъ, сколь пруссакъ... Ну, а ежели Бисмаркъ об'явитъ войну Россіи, то всѣ они распоясаются и совершенно потеряютъ стыдъ: Маркс, хоть запрется на ключъ у себя в кабинетѣ, чтобы никто не видѣл, и тамъ помолится Богу или чорту о побѣдѣ Бисмарка. А чистокровные и запираться на ключъ не станутъ: в солдаты добровольцами пойдутъ! И, разумѣется, об'яснятъ очень подробно, почему интересы Фатерланда случайно опять совпали с интересами класса работниковъ. Книги об этом напишутъ: глупыя, бездарныя книги о томъ, как они с перваго дня все предсказали!... С тѣх поръ, как я их знаю, Маркс и Энгельс все предсказываютъ, и просто не было случая, чтобы хоть одно их предсказаніе сбылось... Но Боже избави им об этом сказать! Ежели что не сбылось, то вотъ по каким причинам, а то непремѣнно, ей Богу, случилось бы именно так как они сказали. Что до их учениковъ, то это тупой народъ, ох какой тупой! Самъ Маркс впрочем отлично знаетъ им цѣну. В душѣ и Энгельсу знаетъ, да не скажетъ, всегда его хвалитъ. Энгельс богатый человѣк и кормитъ его... Это тоже можетъ быть только у нѣмцев: глава партіи работниковъ — промышленникъ и былъ членомъ Манчестерскаго биржевого комитета! Англійскіе биржевики очень его любятъ, и он их очень любитъ, и в их кругу прожилъ лѣт двадцать, пилъ, ѣлъ, то он у биржевиковъ, то биржевики у него! А тайная, великая любовь Энгельса, ежели вы хотите знать, это военное дѣло. Он убѣжденъ, что он великій стратегъ и тактикъ, вродѣ как Мольтке, только, по волѣ злой судьбы, попалъ не в генеральный штабъ, а в Интернаціонал и на Манчестерскую биржу: не повезло. Одно в нем хорошо: Маркса он точно любитъ и почитаетъ. Кормитъ его и поитъ, и даже,

кажется, этим не попрекает, что нѣмцу уж вовсе не свой-ственно. Маркс, разумѣется, другого полета птица. Этот не биржевик, нѣт! Не сомнѣваюсь, что Энгельса он ни в грош не ставит, как и всѣх других членов Санхедерина. Но, в благодарность за кров и стол, он подарил Энгельсу половину паев в своем ученіи. Впрочем, не половину, а, скажем, со-рок процентов. И, разумѣется, тут с его стороны риска мало: потому всякій, кто хоть немного знает Энгельса, понимает, что этот нѣмец не мог написать «Коммунистическій мани-фест», произведеніе весьма замѣчательное. Он в их акціо-нерской фирмѣ имѣет по существу развѣ каких-нибудь де-сять процентов. А других Маркс держит по той же причинѣ, по какой когда-то Рашель окружала себя бездарностями. Впрочем, ни один крупный человѣк никогда с Марксом ужить-ся не мог бы и не мог. Вот, Лассаль был крупный человѣк, и, вѣрьте слову, Маркс ненавидѣл Лассаля гораздо искреннѣй, чѣм ненавидѣл «Баденгэ». Не могу это доказать, но голову на отсѣченіе дам, что тот день, когда убили Лассаля, был одним из счастливѣйших дней в жизни Маркса. А когда я умру, он за счет Энгельса шампанское закажет, как вы сего-дня. Да что кстати его не несут? Джакомо! опять закричал он так, что Николай Сергѣевич содрогнулся.

— Все-таки, в Германіи Либкнехт и тот другой, Бебель, очень ругают Бисмарка.

— Ругают, пока Бисмарк не об'явил Россіи войны. Бисмарка можно ругать только в мирное время. А когда война, то забудем все и об'единимся для фатерланда, интересы котораго всегда так чудесно совпадают с интересами международнаго класса работников. Они впрочем и в мирное время ругают Бисмарка с тайной гордостью: соціализм соціализмом, а очень хорошо, что у Фатерланда есть дурхлаухт фон Бисмарк и эксцелленц фон Мольтке... Вы думаете, я все это говорю оттого, что они мои враги? Да вот возьмите Лаврова. Не так давно вся русская колонія в Цюрихѣ подѣлилась на лавристов и бакунистов, даже до мордобоя дошло в «бремершлюсселѣ». А развѣ я против Лаврова что-нибудь говорю? Лавров, ежели

вы хотите знать, просто ....., — неожиданно произнес он не принятое слово. Николай Сергѣевич засмѣялся. — Ну да!... Очень исправный был полковник, полковником бы ему всю жизнь и оставаться: командовать дивизіей Лаврову было бы уже трудно. Он либеральный поп, как мой полунедруг Вырубов позитивистическій поп, и больше ничего. Но ежели вы меня спросите, способен ли полковник Лавров на мелкія низости и гадости, купается ли полковник Лавров в мелких гадостях, как в своей стихіи, я, разумѣется, отвѣчу: нѣт, не способен, нѣт, не купается... Вот несут обѣд! Благодарите судьбу, а то я вас заговорил! Я и Герцену, и Маццини, и Прудону и Тургеневу не давал слова сказать, хоть они всѣ были мастера поговорить.

Он ласково улыбнулся горничной, принесшей огромный поднос, и дружелюбно с ней поговорил. Знал и как ее зовут, и кто ея родители, и попросил кланяться какому-то Беппо. Дѣвушка радостно вспыхнула. Николай Сергѣевич разлил шампанское по бокалам. Бакунин поднес бутылку к лампѣ.

Неважная марка.

— А вы знаете толк?

— Когда-то знал... Ну вот что: мы должны выпить на ты! Тебя зовут Николай? Я тебя буду звать Nicolas, а ты меня зови Michel. Меня всѣ бакунисты зовут Мишелем. А за глаза, подлые, говорят: «старик» или «папаша». Число же мое в шифрѣ: 30... Что ты вытаращил глаза? Или ты не хочешь быть со мной на ты?

— Помилуйте, такая честь! — отвѣтил Николай Сергѣевич, дѣйствительно не ожидавшій, что будет на ты с Бакуниным.

— Да что ты все так странно говоришь: «честь», «удовольствіе»! Что за вздоры! Ты человѣк и я человѣк, ты революціонер и я революціонер.

— Почем же вам извѣстно, что я революціонер? — с улыбкой спросил Мамонтов. У него язык не повернулся сказать «ты» этому знаменитому старику. Николай Сергѣевич впрочем уже понимал, что Бакунин один из тѣх людей, кото-

рым физіологически трудно говорить знакомому «вы», особенно за бутылкой вина.

— Ежели бы ты не был революціонером, то зачѣм бы ты ко мнѣ пожаловал? Зачѣм ты бы мнѣ сдѣлал «честь»? Ты тогда запасся бы рекомендаціями в какую-нибудь амбассаду, а не ко мнѣ. Мнѣ всѣ буржуа давно изрекли анафему, чему я сердечно рад. Ну, твое здоровье, Nicolas. — Он чокнулся с Мамонтовым, выпил бокал вина и поморщился. — Дрянное шампанское!... Вот макароны у них первый сорт.

Он поднял крышку огромнаго блюда. Николай Сергѣевич ахнул, увидѣв настоящую гору облитых томатовым соусом дымившихся макарон.

- Господи!

Не поминай всуе имени Господня... Что, много? Ты, брат, с'ѣшь развѣ одну четверть, а три четверти я беру на себя. Ну, ладно, теперь я буду уписывать макароны и молчать, поскольку это в моих силах. А ты тоже ѣшь, но за ѣдой разсказывай о себѣ все: кто ты, откуда, что за человѣк, какія твои убѣжденія, чего ты хочешь, как смотришь на жизнь, что любишь, что ненавидишь. Одним словом, все.

Да как же все это разсказать?

Так просто и разсказать, — сказал Бакунин, навалив себѣ в нѣсколько пріемов на тарелку нечеловѣческую порцію макарон. — Постой, сначала выпьем еще по бокалу, чтобы у тебя развязался язычек... Вот так... Ну, будем здоровы. Теперь ѣшь и разсказывай.

Николай Сергѣевич ѣл с аппетитом и, к собственному удивленію, дѣйствительно принялся разсказывать «все». Разсказал о своих родителях, о своем дѣтствѣ, о гимназіи, об университетѣ, о смерти отца. Прерывая разсказ для новаго бокала, он думал, что все это никак не может интересовать Бакунина и что ему самому потом будет совѣстно. «Или вправду у меня от вина развязался язык? Вздор, от нѣсколькихъ бокалов! Должно быть, в самом дѣлѣ он так дѣйствует на людей»... Избѣгая фраз с обращеніем, с «вы» или «ты», он изрѣдка вставлял замѣчанія вродѣ: «Не надоѣло еще? Вѣдь

это совершенно не интересно» ... — «Разсказывай, разсказывай, нечего», — сердито-ласково отвѣчал Бакунин, слушав-шій очень внимательно, иногда даже задававшій вопросы с видимым любопытством, очень лестным Мамонтову. Николай Сергѣевич почти дошел до встрѣчи с цирком, — «неужели и об этом разсказать?» — когда кончились и вино, и макароны. На долю Бакунина дѣйствительно пришлось не менѣе трех четвертей горы на блюдѣ. Горничная как раз принесла двѣ тарелки с буфштексами, из которых один был тоже невиданных размѣров.

— Да что ты удивляешься? — благодушно спросил Бакунин. — Вѣдь во мнѣ без малаго три аршина, восемь пудов живого вѣса. Надо же мнѣ ѣсть. Я рѣдко ѣм мясо, а вина почти никогда не пью: финансы не дозволяют. Зато, когда заказываю бифштекс, то с в о ю порцію: они считают по божески, только за двѣ порціи, потому что хозяин меня любит. Ему кормить меня чистый убыток, а тебѣ тѣм паче... Но по случаю нашей дружбы надо выпить еще. Вино здѣсь скверное... Ты жженку любишь?

— Люблю.

— Вот и отлично. Я не то, что люблю, но она мнѣ напоминает Россію и молодость. Впрочем, здѣсь я ее готовлю не так, как у нас, а с апельсинами и лимонами: уж очень они тут хороши и отшибают вкус их скернаго рома.

Он обратился к горничной и подробно, ласково, с шуточками, которых не понимал Мамонтов, заказал ей по итальянски все необходимое для жженки. Горничная слушала его с восторгом; она видимо его обожала, как всѣ в этой гостинницѣ. Когда она ушла, Бакунин с тѣм же аппетитом принялся за бифштекс.

— Герцен тоже всегда изумлялся моим порціям. Сколько он меня кормил и поил, покойник!... Он думал кстати, что он гастроном. А на самом дѣлѣ аппетит у него был как у старушки, и он все заливал мерзким англійским соусом, так что настоящіе гастрономы на него смотрѣли с отвращеніем, а на меня изумленно. Вот, напримѣр, Вырубов, тот самый,

Контовскій поп, — пояснил он, видимо довольный своим опредѣленіем. — Ну, хорошо, ѣшь и продолжай. Ты очень хорошо разсказываешь.

«Сказать о Катѣ или нѣт?» — спросил себя Мамонтов и рѣшил не говорить.

— Да что же все я и я? Мнѣ вас слушать хочется.

— Не ври. И не «вас», а «тебя». Я поговорю потом, когда поѣм как слѣдует. Тогда тебѣ слова не дам сказать... Ты начал об отцѣ, я знавал таких людей как твой отец. Это интересные люди. Ну, ну, разсказывай.

Узнав, что Николаю Сергѣевичу досталось от отца наслѣдство, Бакунин по дѣтски наивно раскрыл рот.

— Так, значит, ты богатый человѣк?!

— Какой же богатый? Сам еще не знаю, что у меня есть. Наслѣдство под запретом и тяжба, — отвѣтил Мамонтов смущенно. Ему вдруг пришло в голову, что Бакунин может от него потребовать отдачи всего состоянія на революціонныя цѣли. — Наличных денег у меня немного, да и тѣ я взял у купца-процентщика под вексель.

— Ну, хорошо. И ты вправду хочешь стать художником? — разочарованно спросил старик. Николай Сергѣевич засмѣялся.

— Не хочу стать, а уже стал. Везу в Париж картину... Я знаю, вы не любите искусства. Правду мнѣ говорили, будто вы, когда тридцать лѣт тому назад руководили дрезденским возстаніем, устроили пороховой склад рядом с Сикстииской Мадонной?

— Не устроил, но отлично мог устроить. Я добрым нѣмцам совѣтовал тогда поставить эту самую Сикстинскую на валы, чтобы пруссаки не посмѣли стрѣлять: они для этого zu klassisch gebildet. Впрочем, только тогда, когда дѣло идет о Мадоннах, принадлежащих им самим. Чужих Мадонн им не жалко. А ежели говорить правду, то всѣ эти Мадонны ерунда. Из тысячи людей девятьсот девяносто девять восторгаются ими неискренне. И ни один человѣк от них счастливѣе не стал. Кто говорит, что стал, тот врет, а я терпѣть не могу

лжи... Впрочем у меня тут противурѣчіе: музыку я очень люблю... Ты Вагнера знаешь?

— Композитора Вагнера?

— Да, композитора. Это один из самых поганых нѣмцев, каких я когда-либо встрѣчал. А я, брат, поганых нѣмцев знал на своем вѣку видимо-невидимо. Но музыкант он геніальный, самому Бетховену вровень... Я его «Увертюру» к «Тангейзеру» могу слушать часами подряд, как Бетховена... Так вот, видишь ли, Вагнер когда-то со мной участвовал в нѣмецких революціонных дѣлах. Он тогда тоже называл себя революціонером. Но меня посадили на цѣпь и приговорили к смертной казни, а он, разумѣется, во время улепетнул и теперь лижет пятки какому-то из нѣмецких королей, немножко болѣе сумасшедшему, чѣм другіе... Вагнер часто спорил со мной об искусствѣ и все ужасался. Я ему говорил, что и музыку надо уничтожить: больше дурачился, конечно. А он только жалостно ахал и охал: «Aber nein, lieber Genosse Bakunin! Nein, nicht die Musik!...» Почему это я вспомнил о Вагнерѣ? Ох, стар я стал: все позабываю.

— По поводу моей живописи.

— Да, да... Тут ничего тебѣ присовѣтывать не могу. Что же ты пишешь? Дам каких-нибудь? Или фрукты? Теперь в Парижѣ молодые художники все пишут фрукты.

— Нѣт, не дам и не фрукты, — обиженно отвѣтил Мамонтов. — Я написал картину на сюжет из жизни Стеньки Разина.

— Неужто? — радостно воскликнул Бакунин. Вот это хорошо! На это я тебя пожалуй, благословляю. Стенька Разин был большой человѣк, нам всѣм до него далеко: и Марксу, и Маццини, и мнѣ, грѣшному. Я всегда думал, что разбой самая отрадная и почетная страница всей народной жизни. В Россіи только разбойник и был настоящим революціонером!... Ну да, ты носа не вороти! А то кто же: декабристы, что ли? Или Герцен? Герцен был либеральный барин, сибарит, фрондер и чистоплюй, вообразившій себя революціонером, вот как он воображал себя гастрономом! Умница

был, талантливѣйшее перо, но революціонер он был курам на смѣх. Он всю жизнь рефлектировал на самого себя, а это для революціонера вещь вреднѣйшая и невозможная... Это прекрасно, что ты написал Стеньку! Прощаю тебѣ то, что ты занимаешься живописью. Гдѣ же ты его изобразил? В каком антуражѣ?

— На Волгѣ естественно. Он захватывает струг богача Шорина... Помните?

— Конечно, помню! Стенька — мой любимец. Что-ж, ты вѣрно многое пріукрасил, а? Он тогда на Шоринском стругѣ много людей перевѣшал. Ты это изобразил?

— Смягчил, конечно, — нехотя отвѣтил Мамонтов.

— Почему «конечно»? И почему «смягчил»? Вѣдь это же и есть революція. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем дон-кишотствовать?

Улыбка у него стерлась. Глаза стали холодными, почти жестокими. Мамонтов смотрѣл на него с любопытством. Контраст между выраженіем странных глаз Бакунина и его старческим добродушіем был разительный. «Вот бы с него Стеньку писать? Хотя нѣт, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин. Глаза у него Рембрандтовскіе, какой-то clair-obscur, как будто сѣрые, а вот сейчас чуть только не темные. Никогда в жизни не видѣл такого «зеркала души»... И душа, должно быть, в лучшем случаѣ сложная. А на вид степной помѣщик восемнадцатаго вѣка, гвардіи поручик в отставкѣ, с разными «петербургскими дѣйствами» в прошлом. Может быть, Орловы были такіе? Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда, чего добраго, нельзя будет вернуться в Россію», — подумал Николай Сергѣевич.

— Стенька не только вѣшал людей, но и пытал их, и на кол сажал, — сказал он. — Как же не смягчать? Да и вы, если начнете революцію, то будете «дон-кишотствовать».

— Не говори вздору. Мы мстить и не собираемся. Хотя у меня есть за что мстить! Я у нѣмцев на цѣпи с полгода просидѣл, прикованный к стѣнѣ, ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-

долго ждал ея весь день, всю ночь... Сидѣл в казематах Кенигштейна, Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшіе годы там просидѣл! Пытать меня не пытали, но в Алексѣевском равеллинѣ я каждый день ждал пытки, особливо в началѣ. При Николаѣ очень просто могли прогнать сквозь строй: я вѣдь еще раньше был лишен дворянства... У меня есть за что и м мстить! Но для такого глубокаго чувства, как мщенье, в моем сердцѣ, к несчастью, нѣт мѣста. Русскіе люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всѣх их перерѣжем.

Николай Сергѣевич даже открыл от неожиданности рот: так не вязалась послѣдняя фраза с тѣм, что ей предшествовало.

— Хороша же ваша «отходчивость»» сказал он, улыбаясь не совсѣм естественно: выраженіе глаз Бакунина не располагало к улыбкѣ. Не знаю, чѣм задуманная заранѣе рѣзня отличется от казней? Каких же «их» вы перерѣжете? Вѣдь вы-то как раз не в Россіи сидѣли на цѣпи? Александра Николаевича зарѣжете?

Какого Александра Николаевича?

— Царя.

Бакунин взглянул на него изумленно.

— А ты как думал? Его, разумѣется, первым. Тебѣ, что, царя жалко?

— Все-же, как ни как, он освободил крестьян... Вопреки дворянам. Моих родных освободил, — сказал Мамонтов, с удивленіем замѣчая, что в разговорѣ с Бакуниным занимает почти такую же позицію, какую в разговорѣ с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна.

— Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились «снизу»: вѣдь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польшѣ продѣлал? Мнѣ Польша так же дорога и близка, как Россія. Тебѣ нѣт?

— Мнѣ нѣт.

— Жаль. Очень сожалѣю ... Нѣт, ты пока не созрѣл для

революціи, да еще мондіальной, нетерпѣливо сказал Бакунин.

— А вы вѣрите в мондіальную революцію?

Какое кому дѣло, вѣрю я или не вѣрю! Достаточно того, что я для нея жил и живу. Но, ежели ты хочешь знать, то я вѣрю, хоть знаю, что мнѣ не дожить. Наступают великія и жестокія времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к бурѣ. Да, ты, брат, видно, мягкосердаго исповѣданія? Таким в революцію в самом дѣлѣ носа совать не слѣдует... Зачѣм же ты собственно ко мнѣ пріѣхал? — с недоумѣніем спросил Бакунин. — Вѣдь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революціи?

— Я сам не знаю, чего я хочу... Я всего хочу! Скажу правду, я поѣхал в Европу чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что «ума-разума» сейчас больше всего у революціонеров. Так теперь думает в Россіи все наше поколѣніе. — Бакунин одобрительно кивнул головою. — Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать (он хотѣл было сказать «мыслить») против своего поколѣнія.

— Твое поколѣніе не ошибается. Какіе бы мы, революціонеры, ни были — а уж кому их и знать, как не мнѣ? — мы, многогрѣшные, соль земли: без нас ей и существовать было бы незачѣм.

— Не знаю. Но во всяком случаѣ я хотѣл побывать непосредственно у источника мудрости. И первым я хотѣл повидать... Михаила Бакунина, — сказал Мамонтов, выражаясь не вполнѣ естественно все оттого, что он не мог выговорить: «тебя». — Я хотѣл бы узнать, к чему стремятся бакунисты?

— Ты мою «Государственность и анархію» читал? Первый том уже вышел.

— Нѣт еще. Я достану в Цюрихѣ, конечно, но...

— Ну, так вот, ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил, теперь надоѣло. Но в двух словах, изволь, скажу. Наша цѣль: разрушеніе всѣх государств, уничтоженіе буржуазной циви-

лизаціи, вольная организація снизу вверх посредством вольных союзов, освобожденіе всего человѣчества волей возставшей черни...

Вот как! «Черни»!

— Разрушеніе всѣх религіозных, политических, юридических, экономических и соціальных учрежденій, составляющих настоящій порядок вещей. Полное и окончательное уничтоженіе классов, равенство индивидов обоих полов, уничтоженіе наслѣдственных прав, — сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштекс. Он с наслажденіем раскурил папиросу.

— А чѣм вы отличаетесь от марксистов? Я очень невѣжествен, я знаю, что мой вопрос смѣшит... Ну, мнѣ говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин нѣт, — уныло сказал Николай Сергѣевич, — я это двадцать раз слышал и никогда не мог понять. Что это значит: не признавать государство? Что вы сдѣлали бы, если бы пришли к власти?

— Прочти мою Ліонскую программу. — Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять: — Правительственная и административная машина отмѣняется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды, уголовные и гражданскіе, уничтожаются с замѣной народным судом. Уплата налогов и гипотек прекращается. Богатые классы облагаются должной контрибуціей. Каждая коммуна выбирает делегатов для революціоннаго конвента...

— Так вѣдь это значит: другой парламент, другой суд, другіе налоги, но вѣдь это все-таки государство?... Однако я не смѣю спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?

— Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для чорта. А какая его собственная программа, этого никто и в его Санхедринѣ не знает. Я тебѣ берусь доказать, что у Маркса есть всѣ пункты моей программы. Но есть и прямо противоположное. У Маркса все есть. Он вѣдь только дал ш т а н д п у н к т. — саркастически сказал Бакунин, — а уж пусть там кашу расхлебывают другіе. Штандпункт же у

него такой, что и толковать и примѣнять может каждый дурак: вот ты и представь, что из сего может выйти. Маркс признает и вооруженное возстаніе. Разумѣется, в свое время... Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное возстаніе произошло в е г о время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском Музеѣ, и единственное, что он в жизни любит, это его теорія и работа над ней в Британском музеѣ... Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухарѣ это весьма удивительно. Но ежели тебѣ кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюнь тому в безстыжіе глаза. Маркс в тысячу раз умнѣе и ученѣе всего своего Санхедерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сдѣлают революцію! — Бакунин опять захохотал. — Ох, не доживу, а хотѣл бы я одним глазком посмотрѣть на мондіальную революцію с Либкнехтом, скажем, во главѣ! Или, еще лучше, провизорное правительство с гнуснецом Борхгеймом!... Я не Бог знает какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни: революція должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнуснецов не обойтись, на это порой приходится полузакрывать глаза, но ежели наверху преобладают гнуснецы, то революція погибнет, вѣрь моему слову.

Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были двѣ бутылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сложное сооруженіе, со спиртовой горѣлкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по итальянски, одновременно занявшись и приготовленіем жженки. Готовил он ее не слишком искусно. Горничная, смѣясь, ему помогала. В комнатѣ запахло ромом и жженым сахаром. Николай Сергѣевич молча улыбался и обдумывал, о чем спрашивать старика дальше.

Они выпили по бокалу горячаго напитка, который показался Мамонтову очень крѣпким: Бакунин вылил в ведерко чуть не половину бутылки рома. Николай Сергѣевич похвалил жженку.

— Да развѣ это настоящая жженка? — сказал Баку-

нин. — Настоящей я с Сибири не пил! Но уж у нас тут такой обычай: с кѣм перехожу на ты, кого принимаю в наше братство, с тѣм пью жженку. Ну брат, будем здоровы...

— Вѣдь я еще в братство не принят.

— Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу? — Он полѣз в карман сюртука и вынул кучу старенькихъ потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергѣевич пробѣжал одну из них: "Association Internationale des Travailleurs. Fédération Jurasienne. Carte de membre central. Sur la présentation de ..... le porteur de cette carte né en ..... originaire de ..... profession de ..... a été admis comme membre central. Les membres centraux ont à payer une cotisation annuelle de fr. 1.50"... Могу сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебѣ и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, генеральный совѣт Интернаціонала был 76, конгресс Юрской федераціи 153... Постой: а не 135? — Он задумался, вспоминая. — Нѣт, кажется, 153... Ох, становлюсь стар, все позабываю, — сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу.

— А что если я все это немедленно сообщу Третьему Отдѣленію? — смѣясь, спросил Мамонтов.

— Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во первых, у тебя рекомендательное письмо. А во вторых, пора бы мнѣ знать толк в человѣческих физіогноміях. Вѣдь у меня какая жизнь была! Опыт кой-какой в людях набрался. Твое лицо мнѣ сразу понравилось. Так как же, хочешь стать бакунистом?

— Могу ли я так сразу стать бакунистом? Я теперь знаю общія цѣли бакунистов, но какіе ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то вы в самом дѣлѣ примете меня за агента III Отдѣленія.

Бакунин подумал с минуту, глядя на Мамонтова в упор.

— Я тебѣ скажу. Вѣрю тебѣ, у тебя душа молодая и че-

стная. Ты с норовом человѣк, но прямолинейный. Мы точно стоим за возстаніе. В результатѣ возстанія власть перейдет к революціонному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество.

— Да вѣдь только что было возстаніе в Испаніи и не удалось. И ваше возстаніе в Ліонѣ не удалось, и еще...

— И еще будет десять возстаній и тоже не удадутся, нетерпѣливо перебил его Бакунин. — А одиннадцатое удастся. Теперь мы задумали думу о возстаніи в Италіи. Мы и «Баронату» купили для этой цѣли.

— Что такое «Бароната»? Мнѣ еще в Цюрихѣ русскіе говорили, что Бакунин живет в виллѣ «Бароната». Я и собирался там завтра побывать, но вот встрѣтил здѣсь... Так эта вилла имѣет отношеніе к возстанію?

— А ты как думал? Понятное дѣло, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из Россіи деньги, остепенился и бросил к чорту всѣ публичныя дѣла. А на самом дѣлѣ мы купили эту виллу для революціоннаго дѣла. Вилла дрянная, но вид-очарованье! С Премухиным может сравняться!... Премухино это наше Бакунинское имѣніе в Тверской губерніи, гдѣ прошла моя юность, — со вздохом сказал он, тряся головой и точно отгоняя от себя воспоминаніе о Премухинѣ. Я в этой Баронатѣ впрочем заодно фрукты развожу и разное другое. Ты Eucalyptus Globolosus знаешь? Великолѣпное австралійское дерево и ростет здѣсь не по днямъ, а по часам... Вот вправду скоро, за старостью, брошу публичныя дѣла и займусь сельских хозяйством. Что я за каторжник такой, чтобы страдать всю жизнь, а? Развѣ я не имѣю права на отдых?

— Как не имѣть? — отвѣтил, смѣясь Мамонтов. — Быть может, в Михаилѣ Бакунинѣ пропал мирный помѣщик.

— Помѣщик не помѣщик, но иногда заквакают лягушки, и у меня комок к горлу подступает! — сказал Бакунин. Он вдруг приложил к глазам платок и отвернулся. — Так мнѣ это напоминает Премухино и Россію!... Вѣдь ни Премухина, ни Россіи я больше не увижу. Умирать пора...

— Как же умирать, если вы хотите поднять возстаніе?

— смущенно замѣтил Мамонтов. Ему в самом дѣлѣ казалось, что этот замученный жизнью человѣк скоро умрет. — Но какая же это вилла?

— Маленькая старая вилла на холмѣ над Лаго Маджоре. В саду сажен двадцать виноградника, нѣсколько гряд овощей и цистерна... Тропинка незамѣтно спускается к озеру. Кромѣ того мы прорываем подземный ход, так что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей.

Мамонтов вытаращил глаза.

— Зачѣм же к озеру идти подземным ходом?

— Как ты не понимаешь? — раздраженно спросил Бакунин. — В «Баронатѣ» у нас будет квартера, убѣжище для революціонеров всѣх стран, склад оружія и тайная типографія. Ежели вдруг нагрянет полиція, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку и поминай как звали.

— Куда же можно бѣжать из Швейцаріи? Вѣдь это самая свободная страна в Европѣ.

— Найдем куда бѣжать! Но главное, разумѣется, не в том, чтобы бѣжать от полиціи: до того, как полиція нагрянет, мы еще натворим дѣл. Понимаешь, один берег Лаго-Маджоре итальянскій, и мы на нем знаем такіе уголки, гдѣ нѣт ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для возстанія оружіе — мы подземных ходом выносим к лодкѣ и переправляем в Италію.

— Да сколько на лодкѣ можно переправить оружія? Вѣдь такое игрушечное возстаніе подавит одна полиція без всяких войск.

— Я тебя, брат, не учу как краски класть на картинѣ. Что-ж ты Бакунина учишь, как дѣлать революцію! — сердито сопя, спросил старик, очевидно не любившій возраженій, несмотря на свой бытовой демократизм. — Молод ты, брат, меня учить!

— Ради Бога, прошу извинить! Я в мыслях не имѣл...

— В революціи, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазіи и лишь одна четверть дѣйствительности. Этого только Маркс в Британском музеѣ не понимает! —

сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жженка пролилась из стакана. Он залпом его опорожнил. — И все-таки революція будет! Будет мондіальная, универсальная революція! Злая шутка, что я до нея не доживу и что не я буду ею руководить!... Но это все равно, к о м у выпадет счастье: Бакунину ли, Стенькѣ ли али кому другому! Лишь бы слились в Россіи двѣ могучія стихіи: крестьянская и разбойничья, и тогда заварится каша на весь мір!

Мамонтов смотрѣл на него не без испуга.

— Ну, хорошо, — нерѣшительно сказал Николай Сергѣевич, тоже для того, чтобы не молчать. Ну, вы уничтожите врагов. Дальше что?

— Присутственныя мѣста сожжем! В первый же день, с их архивами, бумагами, с их вѣковой человѣческой грязью. — Лицо у него вдруг передернулось. — Их сожжем в первый же день!

— Архивы? Если я правильно разобрал по итальянски, вы и на лекціи тоже говорили об уничтоженіи бумаг? Почему же это имѣет такое значеніе?

— Сожжем в первый же день! — угрюмо повторил старик, все с той же судорожной гримасой. — Как ты не понимаешь? Ежели всѣ бумаги сожжены, имущественныя, судебныя, архивныя, то к прошлому не может быть возвращенія, — пояснил он, мотая головой. — Разумѣется, все сожжем, все! Не в первый день, а в первый час! — «Кажется, у него это манія», — подумал Мамонтов, с недоумѣніем и испугом глядя на блѣдное, передергивающееся лицо старика. — И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мір!

А когда каша будет сварена и с'ѣдена?

— Что же ты хочешь сказать?

— Ну, установите новый общественный порядок. У всякаго трудяшагося, сначала в Италіи, потом, скажем, в Россіи, потом во всем мірѣ, будет домик, курица в супѣ и не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете дѣлать дальше? Что при новом общественном порядкѣ дѣлать таким людям, как Бакунин?

— Дальше что? — переспросил озадаченно старик. — Дальше я сейчас не заглядываю. — Он засмѣялся и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выраженіе. — Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала... Ты мнѣ нравишься, право! Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты пріѣхал в Локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма. Я повез бы тебя в «Баронату», ты мог бы погостить на нашей квартерѣ, но бѣда, видишь ли в том, что я уѣзжаю по дѣлам.

— Вы уѣзжаете? Ах, ты Господи! — сокрушенно сказак Николай Сергѣевич.

— Так что же?

— Как что! — Мамонтов вздохнул. — Значит первый блин комом. Вѣдь я хотѣл написать ваш портрет, — сказал он, рѣшив за трудностью отказаться от фраз без «вы» и без «ты».

— Вот, значит, для чего ты ко мнѣ пріѣхал! Так бы и говорил! А то «учиться уму-разуму»... Тогда подожди меня, братец, здѣсь. Я через недѣльку вернусь.

— Нѣт, я лучше снова к вам пріѣду, — отвѣтил Николай Сергѣевич. «Если он говорит «через недѣльку», то может пріѣхать и через три, а ты его жди в этой дырѣ!» — подумал он, забыв что хотѣл провести в Локарно остаток жизни. — Если будет ваша милость, я напишу вам и пріѣду в Баронату дня на три-четыре, чтобы работать цѣлый день и написать вас как слѣдует... Согласны?

— Согласен. Но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу... Я шучу, пріѣзжай, всегда буду рад.

— Однако, вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал: я пріѣхал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Вѣдь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хорошій художник, а плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду дѣлать в жизни. Я дѣйствительно хотѣл научиться у вас.

Хотѣл? Больше не хочешь?

Хочу, конечно, — отвѣтил Мамонтов. Как ни инте-

ресен был ему Бакунин, он понимал, что не научится у старика той мудрости, которая ему подходила бы. — Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря крови проливать хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь.

— Ты, что-ж, думаешь, я ее люблю! — сказал Бакунин. Терпѣть не могу. И жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо.

— Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тѣх же цѣлей можно достигнуть мирно. Не сразу конечно, но сразу и цѣной крови нельзя... Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами: вы об этом думали всю жизнь, а я так мало знаю... Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приду: возьмите меня. Я завтра утром уѣду в Парижъ и по дорогѣ в Цюрихъ куплю все ваше, что найду в книжной лавкѣ.

— Ну что-ж, твое дѣло. Насильно мил не будешь... Хорошо, хорошо, не протестуй... Так ты спѣшишь в Парижъ? Фрукты писать? — насмѣшливо спросил Бакунин. — А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся. Будешь с нами работать.

— С вами работать? С кѣм же и над чѣм?

— Над чѣм, я тебѣ сказал. А с кѣм? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с Кафіеро. Не слышал о нем? Это мой итальянскій ученик. Он тоже получил наслѣдство, но он его цѣликом отдает на дѣло революціи. — Николай Сергѣевич вспыхнул. — Нѣт, это я тебѣ говорю не в укор, а потому, что пришлось к слову. Что же, ежели ты революціи не сочувствуешь? Жаль.

— Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю.

— На деньги Кафіеро мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумѣется, она не моя. Я на ней имѣю стол и кров. Много ли мнѣ нужно? Чай и табачек есть, больше человѣку ничего не требуется. Одно только: болѣть стал! Это, братец мой, послѣднее **дѣло.**

— Что такое? Какая болѣзнь?

— Разныя вѣрно, а главное сердце ожирѣло и очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одѣваться и раздѣваться трудно. Иногда по нѣскольку дней не раздѣваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо: надо бы заправить челюсть, да не хочется и денег нѣт.

— Михаил Александрович, возьмите у меня денег! — горячо сказал Мамонтов. — Я не могу отдать свое состояніе на революцію, потому что... Потому что этого никто не дѣлает. Но...

— Не говори никто: вот Кафіеро отдает.

— Кафіеро я не знаю. Но Герцен, напримѣр, был богатый человѣк и не отдал. Да я и сам вѣдь не знаю, кому сочувствовать...

— Я тебя ничуть и не обвиняю и в причины твоего нехотѣнія не вхожу. Не отдаешь — твое дѣло. Тут и об'яснять нечего.

— Не отдаю, потому что хочу жить свободно, а это без денег невозможно. Но еслиб вы согласились взять у меня нѣсколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцію, а на ваше леченье, а? Вы мнѣ сдѣлаете честь.

— Да ты меня так не убѣждай. Меня и убѣждать не надо. Нѣсколько сот франков, говоришь? Пятьсот?

— Отлично, пятьсот.

— Возьму с благодарностью, вот пріятная неожиданность! Надо еще выпить, — сказал Бакунин, разлив по стаканам остаток жженки. — Твое здоровье! — Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергѣевич смущенно отсчитывал деньги. — Спасибо, голубчик. А челюсти я себѣ все-таки не заправлю. К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю кстати долг заплачу. — Он вздохнул. — Странно, я всю жизнь брал взаймы справа и слѣва и никогда по сему поводу не чувствовал смущенія. А что меня за это ругали, сказать тебѣ не могу. Еще покойный мой друг-недруг Бѣлинскій ругал... Он впрочем сам брал деньги взаймы гдѣ только мог, но он это дѣлал с мукой. А я, видишь ли,

без муки... Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь»! — с досадой передразнил кого-то Бакунин. — При чем тут честь? И что такое честь? «Мое», «твое»!.. Я своей жизнью, смѣю думать, завоевал себѣ право на то, чтобы за мой чай с хлѣбом и за табак платили другіе и чтобы меня этим не попрекали, а?

— Да разумѣется!

— Ну, спасибо тебѣ. Вот не думал не гадал! Признаюсь, когда Джакомо сказал мнѣ о компатріотѣ, я подумал, что надо выручать этого компатріота из бѣды. Помнится, я даже предложил тебѣ денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым раз подѣлиться, когда у меня есть... Господи, у кого только я не брал взаймы! Помню, в Сибири я задумал бѣжать из ссылки, нужны деньги, а их-то как всегда и нѣт. Был там вице-губернатор, хорошій человѣк... Как его звали? Забыл, сейчас вспомню... Ну, мы с ним были знакомы, я всѣх знал. Вѣдь генерал-губернатор граф Муравьев приходился мнѣ близким родственником. Поѣхал я к вице-губернатору, говорю ему: «Так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей взаймы». Он заахал: «Да у меня, говорит, Михаил Александрович, таких денег нѣт в свободном состояніи! Да и зачѣм вам, говорит, Михаил Александрович, такая сумма? Тут в глуши такія деньги и истратить не на что!» — «Тут, в глуши, говорю я ему в отвѣт, точно истратить не на что. Но мнѣ, видите ли, Ваше Превосходительство, бѣжать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалыя деньги». И что же ты думаешь? Дал! «Ежели, говорит, на побѣг, то я не могу отказать. Получите»... Ты смѣешься? Ну да, потому он русскій человѣк. Нѣмецкій вице-губернатор, небось, не то, что не дал бы, а сейчас же послал бы за полиціей, уж в этом ты вѣрь моему слову... Или вот, не очень давно, разозлил меня этот контовскій поп Вырубов своими писаньями. Смерть хотѣлось ему отвѣтить брошюрой, а напечатать ее не на что: было тогда полное безденежье. Что-ж, взял я и написал Вырубову: хочу тиснуть о вас ругательную брошюру и пороха не хватает, не пришлете ли мнѣ для упла-

ты за нее типографіи триста франков? Прислал! Потому он тоже русскій человѣк... Да что ты хохочешь?

— От восторга, Михаил Александрович!

— Ежели-б ты мнѣ не предложил денег, я сам бы к тебѣ обратился, узнав, что ты богатый человѣк. Я не говорю тебѣ, когда отдам: ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей волѣ. За это я тебя угощаю: и за обѣд, и за шампанское плачу я... Не спорь, слушать ничего не хочу!... А на твои деньги я теперь разведу музыку, — добавил он, подумав. — Нѣт, я ни к доктору не пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человѣчка в Болонью! Разлюбезное дѣло!

Он засмѣялся от радости. Николай Сергѣевич хотѣл было возражать, но раздумал.

— Я в жизни не видал такого человѣка, как вы, и даже не предполагал, что такіе люди возможны! — совершенно искренне сказал он. — Хотѣлось бы еще выпить с вами, да боюсь, что вам вредно?

— Вредно? Конечно, вредно. А что мнѣ не вредно? И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо: и поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай: на двоих бутылку шампанскаго, бутылку красненькаго и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу. Уходили Сивку крутыя горки.

— Не думаю: уж очень мощная сивка!

— Сивка, пожалуй крѣпкая, да горки были очень крутыя... А ты пьешь недурно. Ты вообще мнѣ нравишься. Tu as le diable au corps et le poivre au c... Я люблю это выраженіе... Чего ты все гогочешь? Пора тебѣ, брат, спать. Ты, чай, устал от прогулки с мѣшком? А я пойду работать.

Как работать?!

— Я всегда работаю до утра. А нынче много надо написать писем разным человѣчкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег: вѣдь я почти все франкирую, — не без гордости пояснил старик. — Теперь особливо пи-

шу к итальянцам и испанцам... Понравились тебѣ мои слушатели? Хорошій народ: это все эмигранты. Ну, прощай голубчик... Может, завтра увидимся, а может и нѣт: я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя. — Он тыкнул рукой в окно и с большим усиліем встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту!» — подумал Николай Сергѣевич, не успѣвшій помочь старику, — «самое время устраивать возстанія!» Бакунин неожиданно его обнял.

— Ежели не увидимся, не позабывай и не поминай лихом. И еще раз от души тебя благодарю за деньги. А «мудрости», боюсь, я тебя не научил! Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист! сказал старик, сопя крѣпче прежняго.

Несмотря на большую усталость, Николай Сергѣевич от волненія долго не мог заснуть. По природѣ он легко находил в людях смѣшное и дурное, — при желаніи это можно было найти и в Бакунинѣ. «Однако кто в нем отыскал бы э т о, тот выдал бы самому себѣ патент на неизлечимую буржуазность. В нем не смѣшно и не гадко даже то, что было бы смѣшно и гадко в другом. Вѣроятно, это происходит от размѣров личности: уж очень все титанично в Бакунинѣ. И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайно сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью... Да, необыкновенный, необыкновенный человѣк! Но самое странное его глаза! Так они не идут к его простотѣ»... — думал Николай Сергѣевич. Неожиданно простота Бакунина вызвала в его памяти воспоминаніе о Катѣ. Он сам улыбнулся этому странному сопоставленію, и подумал, что из Парижа быть может скоро вернется в Петербург. «Зачѣм мнѣ собственно ѣхать в Лондон?»...

Мамонтов сам себѣ отвѣтил, что собирался в Лондон больше по чувству симметріи: «Уж если Бакунин, то и Маркс. Но прежде всего нѣт никаких основаній думать, что Маркс меня примет. К Бакунину было все-таки рекомендательное письмо,

хотя оно на него не произвело большого впечатлѣнія. К Марксу нѣт и письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацію. Distinguons. Для того, чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки имѣть нѣкоторое имя, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поѣду к Марксу и к другим, когда создам себѣ хоть нѣкоторое положеніе в мірѣ живописцев, а для этого нужно время. Разговоры же об «умѣ-разумѣ»... Что дал мнѣ сегодняшній разговор? Рѣшительно ничего, в этом Черняков был прав. Так же было бы, вѣроятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуниным, и не только из тщеславія, не только потому, что можно будет об этом разсказывать. Конечно, нынѣшній день дал мнѣ сильнѣйшее впечатлѣніе, котораго книги Бакунина не дали бы... Но «уму-разуму» у бакунистов не научишься, с их подземными ходами и мондіальной революціей, которую они развозят на лодкѣ... Должно быть, это очень смѣшно, его Бароната», — улыбаясь, думал Николай Сергѣевич. — «Как только такой умный человѣк может быть столь наивен? Вѣдь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всѣм этим — Бароната!... Нѣт, к Марксу мнѣ скакать незачѣм. Поѣду в Париж и там будет видно... Буду много работать, попробую показать «Стеньку» и другое»...

Николай Сергѣевич проснулся от угара: засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушкѣ, на которой медленно осѣдала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти разсвѣтало. В окнѣ против его комнаты блѣдно свѣтилась свѣча. Бакунин сидѣл за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.

(Продолженіе слѣдует)

М. Алданов.

*[1])
* *

Подыши еще немного Тяжким
воздухом земным, Бѣдный,
слабый воин Бога, Весь
истаявшій, как дым.

Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в морѣ лѣт! Вот
— одно воспоминанье, Вот –
и памяти уж нѣт.

Но как прежде — ярки зори,
И как прежде — ясен свѣт,
«Плещет море на просторѣ»
Лишь тебя на свѣтѣ нѣт.

Подыши-ж еще немного
Сладким воздухом земным,
Бѣдный, слабый воин Бога, И
— уйди, как легкій дым ...

БАШНЯ И ПАШНЯ

Спорит Башня с черной Пашней:
— Пашня, хлѣба мнѣ подай!
Спорит Пашня с гордой Башней:
— Приходи и забирай!

[1]) Эти два стихотворенія Федора Сологуба еще неизвѣстны русским читателям.

Башня поиск высылает,
Панцырь звякает о бронь,
Остріе копья сверкает,
Шею гнет дугою конь.

Пашня Башнѣ покорилась,
Треть зерна ей отдала,
А другой — обсѣменилась,
Третьей — год весь прожила.

Шли года. Упала Башня
И разсыпалась стѣна.
Шли вѣка. Ликует Пашня,
Собирая сѣмена.

Федор Сологуб.

Из Райнера Марія Рильке

НОЧНАЯ ПОѢЗДКА*)

Санкт-Петербург

В этот час, когда мы на высоких
вороных орловских рысаках, —
между тѣм, как отсвѣты в далеких
неурочно-ранних площадях

занялись, причудливо-новы —,
мчались, нѣт: взвивались, возлетали
и дворцов громады огибали
к набережным вѣющим Невы,

*) Стихотвореніе относится к періоду синтаксическихъ причудъ Рильке. По содержанію оно является отзвукомъ словъ Достоевскаго о фантастичности, ирреальности Петербурга.

растревоженные долгим бдѣньем
в эту ночь без неба, без земли,
полную цвѣтеній и броженій,
что густой волной обволокли
Лѣтній Сад, гдѣ, в чащѣ синеватой
мимо нас толпа туманных статуй
отходила, тая, без возврата — :

в этот час тот город стал
исчезать, как будто он познал,
что совсѣм он не был; он устал,
как безумец, чей несмѣнный бред
вдруг разсѣялся, и, безоружный,
понял он, что бремя долгих лѣт,
то, что мыслить болѣе не нужно,
эта мысль упорная: гранит —
покидает мозг его недужный
и его навѣк освободит.

Александр Биск.

ОСЕНЬЮ

Осенью на нас нисходит
Скука с облачных небес
И в крови безумье бродит,
Как шальной и хмурый бѣс.

Осенью желтѣют думы,
Словно взвихрены судьбой.
По лицу земли угрюмой
Я хожу, как бы чужой.

Осенью в душѣ рыдает
В смутный сумеречный час
И неслышно замирает
Вѣтра скорбный контрабас.

Леонид Опалов.

СВѢТЛАЯ ЗЕМЛЯ

Колышется море полыни,
Господняя длань широка.
Как будто над полем Волыни,
Проходят в дождѣ облака,

И в неба высокаго иней
Плывут в воробьях провода.
У нас на Украинѣ синей
Такая бывает вода,

Такія долины и кочки,
В густом черноземѣ слѣды,
В травѣ голубые ставочки,
В пунцовых сережках сады.

Все то же, все то же, все то же,
Встрѣчая тебя узнаю,
Тебя сновидѣнія множат.

О, как под осенней рогожей,
Чужая страна, ты похожа
На свѣтлую землю мою!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Долгій, ночной, неизмѣнный,
Слышится мѣдный полет.
Это Василій Блаженный
Голосом чистым поет.

Плачут убогіе камни,
В землю вростают дома.

Нищаго брата сума
Тѣнью мелькнула издавней.

Просит старуха копейку
Шопотом мѣрно-глухим.
Сонно кричат пѣтухи.
Юркнул монашек в скуфейкѣ.

Толстая, пыльная дрема
Чешет рукой в головѣ.
Мальчик лежит на травѣ,
Волосы цвѣта соломы.

Отрок, в ночи убіенный,
Колокол скорбный поет.
Шелесты, шорох, измѣна,
Прошлаго горестный гнет...

В чуждой столицѣ надменной
Гулкій читаю полет.

Софія Прегель

Что скажете сегодня людям вы,
Посланники, бредущіе с тоскою
По торжищам, средь городской молвы
Походкой неувѣренной такою?

Но — диво — огрубѣвшія сердца
Тревога ваша незамѣтно ранит
И выиграны будут для Отца
Тѣ, в чьей душѣ вдруг тишина настанет.

Мы любим — и спасает нас порой
Одно напоминанье о любимом;

Священной музыки верховный строй
Вверху небес доступен серафимам.

А на землѣ, гдѣ арфы не звучат,
Не арфа — грустная, простая лира;
Сквозь тлѣн и прах, сквозь весь юдольный ад
Ее пѣвец проносит в царство міра.

Есть озеро средь гор. Однажды днем
Свѣт встрѣтился в нем с новым чудным свѣтом.
Еще послѣдній райскій отблеск в нем
Остался вѣчной памятью об этом.

Закидывайте невод! В глубинѣ
Коснитесь глубины, улов берите,
Грѣху, враждѣ, насилію, войнѣ
Препятствія, препятствія чините.

Пусть чудо повторится, как тогда,
Пусть будет так, как было: в лѣтнем свѣтѣ
Звук голоса. Спокойная вода.
Вершины гор. Ладья. Рыбачьи сѣти.

Когда нибудь опять веснѣ и свѣту
С открытым сердцем рада будешь ты;
Когда нибудь — как странно думать это —
Под новым солнцем расцвѣтут цвѣты.

И мір усталый, бурей потрясенный,
Забудет все, и холод и войну.
И этот вѣк, тревожный и смятенный
Как мудрый старец, отойдет ко сну.

Легка, таинственна, неуловима
Мечтательная грусть — и так остра
Косая тѣнь, что пролетает мимо
Собора, освѣщеннаго с утра.

Молитвами и звуками органа
Как милость вновь на землю низвести?
Опять вражда, открытая как рана,
Отчаянье встрѣчает на пути.

Тысячелѣтней горечью напѣва
Она звучит — и отвѣчает ей
Печальною улыбкой Приснодѣва,
Склоненная над ношею своей.

О Человѣкѣ, образѣ Его,
И о Лицѣ, средь этих лиц печальных,
Так страшно думать. В сердцѣ — никого
И нѣт сегодня близких мнѣ и дальних.

Качнулась ось земли. Земля в огнѣ,
Стихія ворвалась для зла и мщенья
И все таки — на каждом и на мнѣ
Тѣнь от креста и свѣт его крещенья.

Юрій Терапіано.

Париж, 1940.

Путем земным — день ото дня — проходишь
И, забывая вѣщія слова,
Чего-то ищешь все и не находишь,
И лишь болит ночами голова.

Умрешь — и в странствіях других, надзвѣздных,
Среди иных міров, чужих планет,

Душа скитается из бездны в бездну
(И там, и там тебѣ покоя нѣт)...

— Пусть надо мной склоняется печально
В усталой нѣжности прозрачных рук
Мой тихій ангел, друг мой дальный,
Мой самый лучшій, самый вѣрный друг...

Марія Толстая.

Ты тоже из таких — из одиноких,
Задумавшихся тяжко над собой,
Из несогласных, дикихъ, однобоких,
Чья жизнь раздумья длительный запой.

Из мѣченых несчастьем, неумѣлых,
И неумѣющих, и нехотящих жить.
Из уязвленных знаньем, онѣмѣлых,
И научившихся лишь одному — шадить.

Помочь нельзя. Дай руку мнѣ, и страстно,
И с изступленным вдохновеньем лги:
— Жизнь платит вѣчные свои долги.
Смерть не разлучит нас. Любовь прекрасна.

Ксенія Успенская.

НОВОЕ ОТЕЧЕСТВО

Dulce et decorum est pro patria mori.
Горацій.

Патріотизм есть послѣднее убѣжище негодяя.
Д-р Джонсон и Лев Толстой.

Современная война в своем пафосѣ, в своих осознанных и полуосознанных цѣлях, таит одно противорѣчіе. Вскрыть его нужно не для того, чтобы бередить раны, по старой русской привычкѣ, но чтобы помочь его преодолѣнію. По отношенію к военной политикѣ люди раздѣляются на два лагеря. Одни считают, что говорить сейчас, до побѣды, о мирѣ преждевременно. Другіе думают, что важно выиграть не только войну, но и мир. Страшнѣе всего проиграть мир, послѣ всѣх нечеловѣческих усилій и жертв. Проиграть мир послѣ побѣды значит очутиться опять лицом к лицу с хаосом, как послѣ 1918 года, не справиться с демонами, разбуженными войной, и безпомощно — и уже безнадежно, — поплыть по теченію к конечной гибели. О защитѣ будущаго мира нужно думать уже сейчас, со всѣм напряженіем умственных и духовных сил. Признаемся, что мы раздѣляем мнѣніе людей этого лагеря и потому не считаем преждевременным говорить о противорѣчіях войны.

Основное противорѣчіе ея — между интернаціонализмом ея цѣлей и націонализмом сражающихся народов.

Еще осенью 1939 года, в первые дни войны, интернаціональная нота ясно прозвучала в устах англійских и французских отвѣтственных вождей. Эта война не только ради самозащиты. Она должна привести к установленію новаго международнаго порядка. Мир должен быть гарантирован прочно, общей властной организаціей, отличной от безвластной Лиги Націй. С тѣх пор эта нота не переставала звучать, в послѣднее время всего громче в устах американских государственных дѣятелей (Кордель Холл). К сожалѣнію, Атлантическая Хартія, единственный обязывающій документ

со стороны «союзных націй», очень скупо говорит о новом порядкѣ, стоя скорѣе на старой позиціи самоопредѣленія народов. Эта скупость, конечно, не случайна: она говорит о больших трудностях, стоящих на пути к новому строю.

Трудности множатся по мѣрѣ развитія войны. Если, с одной стороны, медленно — слишком медленно — растет и укрѣпляется экономическая, военная и политическая связь между союзными державами, то, с другой, растет и **обостря**ется націонализм порабощенных Германіей народов. Неслыханныя насилія и униженія національнаго чувства вызывают естественную человѣческую реакцію. Даже люди, вчера равнодушные к судьбам отечества, потеряв его, переживают по отношенію к нему вспышку страстной любви. Хорошо говорить о будущем порядкѣ тѣм, кто живет в уютном прадѣдовском домѣ и думает застраховать его от пожара и войны. Но о чем могут думать милліоны бѣженцев, выгнанных с родины ,или люди, превратившіеся во «внутренних эмигрантов», как не о возвращеніи родины? Возвращеніе, «старый порядок» — становится сладостной мечтой. Активные, горячіе, живущіе борьбой, мечтают о мести. По человѣчеству нельзя осудить их. Милліоны истребляемых евреев, поляков, сербов, как и униженных и оскорбленных французов, голландцев и норвежцев горят сейчас одной мыслью: уничтоженія Германіи. Легко себѣ представить, что ни о чем другом не думают и в Совѣтской Россіи. По крайней мѣрѣ, ни один звук не донесся оттуда, который мог бы быть истолкован в смыслѣ универсальных цѣлей войны. Там война переживается, как національная, отечественная, освободительная. О том же, и только о том, говорит и генерал де Голль в своей программѣ: возстановленіе Франціи и ея имперіи — вот идеал свободной или «воюющей» Франціи. Без сомнѣнія, этот взрыв патріотических чувств в порабощенной Европѣ является одним из мощных факторов побѣды. Люди, потерявшіе національное сознаніе, легко примиряются с нѣмецким завоевателем. Нельзя не предпочесть, политически и морально, націонализм де-Голля пацифизму де-Мана. Но ясно, каким огромным препятствіем для организаціи міра является весь этот котел кипящих, взаимно непримиримых національных страстей.

Нѣт, не «свободные» (т. е. порабощенные) народы и не СССР пронесут сквозь ад войны образ новаго міра. Если кто может думать о нем, если у кого не захлестнуло разума волной «праведной» злобы, то это двѣ великих англосаксонских демократіи. Здѣсь еще есть люди, которые помнят

не только о побѣдѣ, но и о мирѣ. Но и здѣсь нѣт единства. Мы видим двѣ Америки: Америку Рузвельта, великодушную и дальновидную, сознающую отвѣтственность за оба полушарія, и другую Америку, вчера еще изоляціонистскую, которая теперь согласна лишь на войну во имя національных цѣлей. Вѣроятно, та же борьба происходит и в старой Англіи, но до нас доходят сюда лишь слабые ея отголоски.

Невозможно видѣть в этом спорѣ о цѣлях войны старую тяжбу реалистов и идеалистов. Слишком ясно, что в данном случаѣ реалисты просто слѣпцы, которые идут к своей и всеобщей погибели. Их реализм — паралич ума и воображенія, а не разсудительность опыта, законно ищущаго в прошлом опоры для жизни. Даже тогда, когда «идеалисты» и «реалисты» говорят как будто об одном и том же: о гарантіях будущаго мира, о международном правопорядкѣ, они говорят о разных вещах. Для одних рѣчь идет о поддержкѣ стараго національнаго отечества средствами международной полиціи, для других — о созданіи новаго сверхнаціональнаго единства. Послѣдній вопрос, раздѣляющій их, есть вопрос о суверенитетѣ. Кому принадлежит верховный суверенитет: сегодняшнему національному государству или сверхнаціональному государству завтрашняго дня?

Безумна и революціонна наша жизнь с ея неслыханными темпами. Она ставит проблемы, которыя далеко опережают сознаніе большинства. Многое, бывшее вчера утопіей, сегодня становится неотложной необходимостью. Есть об'ективныя требованія жизни, которыя вытекают не из нравственных идеалов передового меньшинства, а из ея собственной логики. Было время, когда соціализм или проблема вѣчнаго мира были идеалом, постулатом нравственнаго сознанія. Теперь, как соціализм — в новом аспектѣ организованнаго мірового хозяйства — так и пацифизм — в формѣ принудительнаго международнаго порядка, диктуются самосохраненіем нашей культуры. Нам уже не дано рѣшать, что лучше, что хуже: организованное или свободное государство, національный или международный суверенитет. Здѣсь выбор не между двумя формами жизни, а между жизнью и смертью.

Проблема, поставленная сейчас жизнью, есть обузданіе національнаго государства, а не одной Германіи, как склонны часто упрощать дѣло. Германія, дѣйствительно, воплощает сейчас дух агрессіи. Но одна ли она им одержима? Уберите Германію с карты Европы — даже без всякой возможности ея возвращенія — можете быть увѣрены, что преемник ей

скоро найдется, если оставить неприкосновенной систему сосуществованія суверенных государств.

1.

Есть доля правды в утвержденіи, что націонализм становится міровой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государствѣ. Уничтоженіе фашизма есть, таким образом, лучшій путь к обезпеченному миру. Дѣйствительно, в настоящую эпоху мы не видим воинственных демократій. Но сам фашизм является скорѣе порожденіем націоналистической горячки, чѣм ея отцом. Это вѣрно, по крайней мѣрѣ, для Германіи и Италіи. А Японія сумѣла воплотить тоталитарно-національный идеал и внѣ своеобразных форм фашизма. Искорененіе политическаго фашизма еще не спасает от остраго націоналистическаго заболѣванія. И этот націонализм всегда найдет для себя тоталитарныя формы. Демократія не пригодна для народа, который дѣлает войну идеалом своей жизни. Для тоталитарнаго, военнаго воспитанія деспотизм, в том или ином видѣ, единственно возможная государственная система.

Не слѣдует придавать поэтому рѣшающаго значенія тому факту, что за двадцать лѣт от Версальскаго мира до новой войны агрессорами являются фашистскія державы (да и здѣсь сомнительно пониманіе Японіи как фашистской страны). Опыт этого двадцатилѣтія учит другому: опасности суверенаго національнаго государства и в то же время его беззащитности. Оно опасно в своей силѣ, беззащитно в своей слабости. Никто не спас Манджуріи, Абиссиніи, Албаніи, Австріи, Чехіи, несмотря на существованіе мірового арбитра — в Женевѣ. Лига Націй не имѣла суверенитета, а суверенитет народов (кромѣ агрессоров) оказался для них роковым преимуществом: это он был источником их беззащитности.

Люди, орієнтированные на прошлое, и притом не очень давнее, мнимые реалисты, живущіе в 19 столѣтіи, отвѣчают: Когда же это было иначе? Безопасность вредная утопія. Жизнь опасна, свобода опасна. Война стара как человѣчество. Войны задерживали прогресс, но не могли остановить его. Мир не вѣчный, но длительный покоится не на сверхнаціональной организаціи, а на временном равновѣсіи сил.

Говорящіе так не отдают себѣ отчета в том, что чудовищная техника наших дней в корнѣ измѣнила всѣ условія жизни. Теперь количественныя различія, обусловленныя техникой,

переходят в качество. Невозможна свободная ѣзда по дорогам, пересѣкаемым тысячами автомобилей. Невозможно сохраненіе личных патріархальных отношеній хозяина и рабочаго в современной фабрикѣ. Невозможна свобода войны и мира для государств, вооруженія которых способны взорвать на воздух всю нашу цивилизацію. Война перестала быть бурей, грозой, подчас живительной. Она стала чѣм-то вродѣ болѣзни, все разлагающей и неизлѣчимой. За двадцать лѣт еще не были залѣчены раны первой войны. Экономическое разстройство, порожденное ею, превратилось в общій кризис. Вызванный ею же подрыв демократическаго сознанія привел к фашистскому обвалу в половинѣ Европы. Ослабленіе великих европейских націй поставило на очередь возстаніе цвѣтных материков против гегемоніи бѣлой расы. И через двадцать лѣт новая война начинается с того мѣста, на котором остановилась первая. Реванш побѣжденной Германіи, в союзѣ с ненасытившимися партнерами старой антигерманской коалиціи, дѣлает новую войну продолженіем первой. Это значит: война не кончается, не может кончиться, пока не останется камня на камнѣ от нашей цивилизаціи, или пока эта цивилизація не найдет своего политическаго единства.

Изолированное государство болѣе не может существовать. Оно не способно организовать ни своего хозяйства в слишком узких границах, ни своей безопасности слишком слабыми силами своих армій. Оно должно найти в себѣ силы для болѣе широкой интеграціи или погибнуть.

Как ни нова и ни безпримѣрна мощь современной техники, сама проблема интеграціи политических организмов, принадлежащих к культурному единству, стара как мір. Время от времени, человѣчество — или, вѣрнѣе, отдѣльныя его цивилизаціи — чувствуют себя стѣсненными в старых политических рамках. Под вліяніем новых культурных потребностей, но почти всегда путем войны, старыя общества-государства вступают в новыя высшія соединенія. Греко-римскія городскія общины сливаются в Имперіи, феодальныя княжества в національныя государства. Процесс тяжелый и мучительный. Не легко иберу или галлу подчиниться римскому игу, или Великому Новгороду смириться перед Москвой. Но исторія неумолима. Цѣной отказа от узкой независимости-суверенитета культура покупает себѣ возможность жизни, роста, процвѣтанія, уже не в Нормандіи, не в Новгородѣ, не в Афинах — а во Франціи, в Россіи, в космополитической Римской Имперіи.

Опыт Рима особенно поучителен для нашего времени. Рим интегрировал не одну національную культуру, а все многообразное единство средиземноморских культур, уже давно тяготѣвших к единству, несмотря на пестроту національных и мѣстных антагонизмов. И культура, которую он защищал своим мечем, была не его, національной, римской культурой, а эллинистической, т. е. скорѣе всего греческой или грекоюсточной — по своему сознанію, уже вселенской. И все же то был очень болѣзненный процесс. На пути к единству пролились рѣки крови. Старыя отечества не хотѣли умирать. Рим и Карфаген, Рим и Босфор, Рим и Испанія, Рим и Галлія — сколько жестоких вѣковых поединков! Несмотря на далеко зашедшее культурное единство Средиземноморскаго міра, національныя или локальныя чувства были сильны. Замѣчательно, что они были сильнѣе у варваров, чѣм у культурныхъ греков или сирійцев. Не одно гражданское вырожденіе Востока было тому причиной, но и космополитическое сознаніе, прокладывающее дорогу римской государственности.

Сейчас мы живем в таком же противорѣчивом мірѣ, об'единенном хозяйством, наукой, техникой, укладом жизни, в значительной мѣрѣ даже искусством. Дѣйствительно, искусство наших дней, в его высших и низших проявленіях, одинаково удалилось от романтического идеала національного искусства, которым жил 19 вѣк. По существу, культурныя различія между народами Европы не болѣе значительны, чѣм между княжествами средневѣковой Франціи, и совсѣм уже несравнимы с пестротой древних культур Средиземноморья. Но политика и здѣсь, как и вездѣ, отстает от жизни. Государственное сознаніе остается прикованным к старым суверенитетам, зажатым в узкія національныя границы. Отсюда кровавыя муки родов новаго великаго отечества.

Что это будет за отечество? Косная мысль пугается огромностью встающаго міра и хочет облегчить себѣ переход к нему. Завѣщанныя 19 вѣком привычки эволюціонной мысли соблазняют ложным реализмом постепенности. Не все сразу. Мы не созрѣли до мірового отечества. Ближайшій этап перед нами — это система федерацій: Центральио-Европейская, Восточно-Европейская, Дунайская или Балканская плюс уже существующія: Британская, Россійская и т. д. Для многих сейчас это единственно мыслимое завершеніе войны. Но что же это за рѣшеніе? Что оно рѣшает? Какая из этих федерацій обладает дѣйствительной автаркіей? Какая может обезпечить свою безопасность своим собственным мечем? Вѣдь,

это чистый предразсудок — хотя и лестный для представителей великих націй — что только малыя государства нежизнеспособны, беззащитны и опасны для общаго мира. Как ни безсмысленны мелкіе конфликты Юго-Востока Европы, не они взорвали мір. Конфликты между великими державами куда опаснѣе: франко-германскій, германо-русскій, германославянскій. Европа, раздѣленная на четыре-пять федерацій, представляет такой-же пороховой погреб, как и Европа тридцати національных государств. Да и легче разрѣшаются конфликты в великом цѣлом, чѣм в малом. Не Балканской федераціи замирить вѣковую ненависть ея народов; это по силам какой-нибудь Пан-Европѣ. Совершенно так же, как распри народов Кавказа разрѣшатся не Кавказской Федерацією, а, по крайней мѣрѣ, Всероссійской. Слѣдовательно, и осуществленіе великой Федераціи не труднѣе, а легче осуществленія малых, вопреки близорукому реализму постепеновцев.

Отказавшись от идеи областных федерацій, не возвращаемся ли мы к знаменитому проекту Пан-Европы? Но война произнесла над ним свой окончательный суд. Европа без Англіи, центрированная вокруг Германіи — теперь это чисто нѣмецкій идеал. Но если Англія или даже Англо-Америка становятся средоточіем и даже организующей силой, то это уже не Европа — по крайней мѣрѣ, в географическом смыслѣ. Англо-саксонскій мір, разселившійся по всѣм частям свѣта, плюс истощенная войной Европа, которая может быть теперь только придатком к нему — вот первыя очертанія будущаго отечества. Культурно и духовно, это все та же Европа, т. е. предѣл распространенія былой греко-римской и христіанской культуры, еще понынѣ живых и живительных в своем наслѣдіи. Кто присоединится к этой духовной Европѣ из внѣ лежащаго міра, сейчас невозможно предвидѣть. Это будет дѣлом текущаго политическаго дня, тогда как созданіе «европейскаго отечества» — дѣло, подготовленное тысячелѣтней исторіей. Европа уже существует как нація в культурном смыслѣ, — хотя и раздѣленная междоусобицами, — она должна лишь создать для себя политическую форму.

Дальнѣйшій рост этой океанической Европы зависит от напряженія культурных сил — по крайней мѣрѣ, соціальных и политических. Здѣсь могут быть всякія неожиданности. Так Китай или Индія, при всей глубокой несродности нам их древних цивилизацій, в настоящее время раздѣляют наши нравственно-политическія предпосылки, выросшія на христіанской основѣ. Быть может, они даже являются лучшими за-

щитниками этих начал, чѣм сама духовно надорванная Европа. С другой стороны, всѣм прошлым своим связанныя с Европой Германія и Россія, по крайней мѣрѣ, сейчас, остаются внѣ Европы, как духовно-политическаго единства. Фашизм не совмѣстим с традиціями старой Европы, — болѣе того, он для нея смертелен. Лишь внутренне и свободно преодолѣв фашизм, страны диктатуры могут искренне согласиться на вступленіе в новое великое отечество. Преодолѣніе фашизма здѣсь не единственное условіе. И простой національнализм, до извѣстной степени законный, но реакціонный и несовмѣстимый с завтрашним днем исторіи, будет противиться отказу от государственнаго суверенитета. Для патріота это будет казаться непосильной жертвой. Отчаяніе и безнадежность иного существованія облегчают об'единеніе порабощенных народов. Но сильные, побѣдоносные, или, хотя бы и побѣжденные, но стойкіе до конца не пойдут — долго не пойдут — на акт, который будет им представляться національным самоубійством.

Но, может быть, здѣсь и лежит подводный камень, обрекающій на крушеніе всѣ планы новаго политическаго міра? Внѣ Европы останутся огромные массивы, ранѣе входившіе в ея состав. Не расшатает ли это с самаго начала задуманное построеніе? Думается, что трудности, вытекающія из ограниченности будущаго отечества, не являются непреодолимыми. Существенно лишь то, чтобы оно сосредоточило в своих руках подавляющій экономическій и военный потенціал, — который бы дѣлал борьбу против него невозможной. Тогда разоруженіе міра перестанет быть утопіей. Государства и народы, цѣпляющіеся за свою суверенность, могут быть связаны с міровой державой договорными отношеніями, дѣлающими и для них возможным участіе в экономической и культурной организаціи міра. Конечно, главная опасность именно здѣсь: опасность будущих конфликтов и войн, связанных с независимостью національных государств. Возможно, что недодѣланное в этой войнѣ будет докончено в будущей, как ни страшно об этом думать. Во всяком случаѣ, выбора нѣт: единство или гибель.

Утопизм, которым отличаются почти всегда разговоры о едином отечествѣ, характеризует не самую цѣль, а предполагающіяся средства к ней. Утопична, в самом дѣлѣ, мысль, что пятьдесят независимых государств могут в один прекрасный день на общей конференціи — в Женевѣ или Вашингтонѣ никѣм не принуждаемыя, совершенно свободно отказаться

от своего суверенитета. Но совершенно не утопична, напр., мысль о возможном завоеваніи міра — в одном или двух поколѣніях — сильнѣйшей міровой державой. Завоеваніе Европы Гитлером уже почти совершившійся факт. Если мы вѣрим, что это завоеваніе не окончательное, и что Германіи не удастся удержать за собой завоеванный материк, то наша увѣренность вытекает прежде всего из характера завоевателя. Германіи не дано pacis imponere morem. «Новый порядок», который несет Гитлер, есть порядок господства, а не сотрудничества. В жертву одной расѣ, т.е. народу, обрекаются на гибель и рабство десятки милліонов. Народы Европы не могут примириться с такой участью. Но с потерей суверенитета они теперь уже примирились бы, если бы Гитлер или другой властелин дѣйствительно нес им благо прочнаго мира, экономическаго процвѣтанія и извѣстной культурной свободы. Недаром столько соціалистов Франціи и Бельгіи на первых порах поторопились признать нѣмецкое завоеваніе. Мир и единство — слишком соблазнительныя вещи для современнаго человѣка. Не одна трусость и низкій расчет загнали Деа, Бержери и Де-Мана в гитлеровскій стан. Но великая задача, которая рѣшалась нѣкогда с успѣхом Цезарем и с меньшим успѣхом Наполеоном, не по плечу Гитлеру. Его государственные идеали слишком низменны. Бисмарк, на его мѣстѣ, может быть, сумѣл бы дѣйствительно покорить и замирить Европу.

Счастьё наше — если не слишком возмутительно говорить о счастьѣ среди бойни и кладбища, — что мы имѣем альтернативу Германской Имперіи в федераціях англо-саксонскаго міра. За послѣдніе полвѣка Англія сумѣла, хотя и не до конца, перестроиться из насильственно сколоченной имперіи в свободный союз народов. Отдѣльныя части этого союза, как и само цѣлое, как и ранѣе оторвавшаяся от него великая Сѣверо-Американская республика, связаны федеративными узами, большей или меньшей прочности. Это первый в исторіи удачный опыт федеративной государственности в великодержавном масштабѣ. Его удача дает возможность иначе оцѣнивать пресловутую утопичность Федераціи, как основы мірового государства.

Имперія или федерація? Эта альтернатива не точна, если дѣло идет о формѣ будущаго міра. Британія есть имперія в формѣ федераціи, гдѣ средневѣковые титулы монарха являются символами единства свободных народов. Реально возможна лишь антитеза между свободой и принужденіем. Но и она в чистом видѣ безпочвенна. Не может быть государства,

построеннаго лишь на одной свободѣ, как и на одном принужденіи. Сила и принужденіе всегда были и будут фактором государственно-образующим. Но прочность государства зависит от добровольнаго признанія. Свобода и сила, добровольность и принужденіе должны быть положены в основу созданія и новой государственности. Война облегчает, а не затрудняет это созданіе. Она пріучает людей к необходимости принужденія, к добровольной или недобровольной жертвѣ своей свободой. Чего не могла добиться старая Лига Націй от своих суверенных членов, того может легко потребовать коалиція побѣдителей, опирающаяся на силу побѣдоносных армій. Новое федеративное отечество имѣет своей политической предпосылкой гегемонію побѣдителей.

«Гегемонія — значит господство? господство — значит угнетеніе?» — скажут многіе, учившіеся думать по плакатам, — а таких теперь большинство. — «Вы предлагаете нам, вмѣсто нѣмецкой или русской имперіи, Англо-Саксонскую федерацію? В чем ея преимущества?» Отвѣтить легко ссылкой на конкретный опыт. Тому, кто мог спастись из лагерей любого тоталитарнаго государства, сохранив свою голову от фашистских идеологій, жизнь не только «угнетеннаго» индуса, но и негра в африканских колоніях представляется раем. Да и сама структура Британской Имперіи, как и Соединенных Штатов Америки исключает политическую тиранію, оставляя, самое большее, возможность экономических и соціальных преимуществ правящаго слоя. Вмѣстѣ с соціальной демократизаціей, идущей гигантскими шагами, сами эти преимущества капиталистическаго класса сойдут на нѣт. Останутся, вѣроятно, неравенства в уровнѣ жизни, в оплатѣ труда между разными расами и народами; такое ли это непереносимое зло?

Федеративность новаго общества, исключающая «сплошной» централизм, сохраняет старое отечество с ограниченными функціями. Международная политика и хозяйство выходят из его компетенціи, но за ним остается значительная доля культурной политики, полиціи и правосудія. Превращаясь из суверреннаго государства в штат, оно сохраняет свою символику, пышность исторических костюмов и традицій. Это облегчает переход для гражданскаго сознанія. Старое отечество существует, хотя и не посылает своих сынов на смерть для защиты своих интересов и престижа. Лойяльность и подданство раздѣляются между великими и малыми отечествами, возвращая Европу в мір оклеветаннаго феодализма. Феодализм, т.е. раздѣленіе суверенности между рядом политических

сфер, раскрѣпощает личность от всепоглощающаго этатизма, который встал угрозой для свободы. Не даром наша свобода родилась с Великой Хартіей в нѣдрах феодализма.

Опасность грозит совсѣм с другого конца: не от насилія, а от безвластія, или от бездѣйствія власти. Лига Націй погибла от нежеланія гегемонов 1919 года обнажить меч на защиту ея законов. Новая власть побѣдоносных демократій стоит с самаго начала перед необходимостью военнаго и политическаго принужденія для умиротворенія и организаціи міра. Разоружить народы, пресѣчь немедленно національныя вендетты ,избіеніе меньшинств, политическій террор, безконечныя и безплодныя пограничныя тяжбы... Сколько труда, сколько пота и крови предстоит отлать прежде, чѣм наша старая планета будет вновь пригодна для жизни разумных существ. И если кто-нибудь примет на себя ответственность за общее дѣло, возьмет почин и водительство, народы благословят его, какія бы ошибки и даже злоупотребленія он себѣ ни позволил. Власть не всегда средство эксплоатаціи. Бывает — и не так рѣдко, — что она является орудіем для осуществленія высокой миссіи. И нѣт миссіи выше и благороднѣе, чѣм осуществленіе новаго — не средиземноморскаго, не римскаго, а европейскаго в культурном смыслѣ, — или, чтобы не обижать Америки, и не забѣгать вперед исторіи — скажем «Атлантическаго» мира: Pax Atlantica.

2.

Для нас русских, как для большинства людей нашего времени, отечество слишком слилось с націей; нам трудно, для многих невозможно, и помыслить разрыв между ними. Во всяком случаѣ, он не кажется заманчивым — скорѣе всего, он пугает. Мы привыкли думать, что національная культура нуждается в государственной охранѣ, как черепаха в скорлупѣ, и что без брони государства она рискует погибнуть в борьбѣ за жизнь. Формулируя так наше традиціонное отношеніе к націи, мы обнажаем его слабость. Оно, дѣйствительно, вытекает из малодушія или из невѣрія в силу духа. Его можно было бы признать за выраженіе національнаго атеизма. Конечно, у русскаго общества никогда не было того особеннаго вкуса к государственности, которым отличаются, напр., современные нѣмцы. В нас говорит не столько любовь к принужденію, сколько привычка к нему. Несмотря на весь наш вѣковой протест против давленія государства на куль-

туру, мы сжились с этим бытом и, когда наши духовныя силы были надорваны революціей, оказались беззащитными перед соблазнами стараго, уже разрушеннаго міра.

А между тѣм исторія совсѣм не подтверждает предполагаемаго совпаденія государства и національной культуры. Это совпаденіе бывает скорѣе исключеніем, чѣм правилом. Нам заслоняет перспективу XIX вѣк со своей мечтой — построить государство на чисто національной основѣ. Мы принимаем за дѣйствительность мечту романтиков и патріотов прошлаго столѣтія.

Но прежде, чѣм говорить о фактах, надо условиться о понятіях. Что мы понимаем под націей? Конечно, здѣсь мы не имѣем возможности обосновывать наше опредѣленіе; важно хотя бы установить его.

Нація, разумѣется, не расовая и даже не этнографическая категорія. Это категорія прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем опредѣлить ее как совпаденіе государства и культуры. Там, гдѣ весь или почти весь круг данной культуры охвачен одной политической организаціей и гдѣ, внутри ея, есть мѣсто для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы называем націей. Не народ (нація) создает исторію, а исторія создает народ. Англійская нація создалась лишь в XIV вѣкѣ, французская в XI в., послѣ многих вѣков государственной жизни. Культурное единство, достаточное для образованія націи довольно трудно опредѣлимо по своему содержанію. В него входит религія, язык, система нравственных понятій, общностфь быта, искусство, литература. Язык является лишь одним из главных, но не единственным признаком культурнаго единства. Швейцарія — нація без языкового єдинства, может быть и Россія СССР также.

Это культурное богатство не дается сразу ни одной этнографической народности, но постепенно наживается ею в ея исторической жизни. Но очень часто культурное единство вовсе не вмѣщается в рамки общей государственности. Простое обозрѣніе великих исторических культур показывает, что національныя, т. е. охваченныя государством культуры, встрѣчаются рѣже, чѣм культуры сверхнаціональныя.

Древность дала нам два великих національных государства - результат географической изоляціи, — гдѣ границы культуры и государства почти совпадают: это Египет и Китай. Но Вавилонская культура не смогла создать для себя политическаго единства: в одной Палестинѣ, культурной провинціи

Вавилона, было мѣсто для десятка малых государств. Никогда не знала политическаго единства и великая культура Индіи. Вот почему Индія никогда не была націей и, если станет ею, то этим она обязана только англійскому воспитанію. Культура Греціи развивалась в сотнях маленьких отечеств. С нашей точки зрѣнія, нельзя говорить о греческой націи, но лишь о греческой культурѣ. Об'единительныя тенденціи эллинистическаго міра завершились в имперіях, гдѣ греческая культура была брошена в плавильный тигель с иными культурами Востока и Запада. В христіанском средневѣковьѣ народы жили в тѣсном духовном и культурном единствѣ, которое никогда не получало другого единства в государственной сферѣ, кромѣ символическаго: Священной Римской Имперіи. Столь же универсальна и многогосударственна была и культура Ислама. Лишь на наших глазах Кемаль-Паша, выученик либеральной Европы, создает чисто національное турецкое государство. Для стараго государства Османов, не «турок», а «правовѣрный» было символом отечества, как «христіанин», «католик» для средневѣковой Европы и даже Руси («крещенный», «православный»).

В новую эпоху из распада католическаго міра создаются дѣйствительно національныя государства: Англія, Франція, Испанія... Но на ряду с ними существуют вплоть до XIX вѣка исторически создавшіяся, не національныя, а чисто территоріальныя политическія единства. Австрія погибла лишь в 1918 году — и сейчас многіе ее оплакивают. Всѣ мы знаем, что Германія и Италія лишь в прошлом вѣкѣ осуществили свое единство, т. е. создали государственную броню для своих, уже древних и великих культур. Опоздавшія на пир, онѣ набросились с жадностью на сомнительныя яства, и теперь морально расплачиваются за невоздержаніе. Конечно, не случайно, что фашизм, т. е. острое національное заболѣваніе, поразил прежде всего эти страны — новорожденнаго и потому особенно остраго національнаго сознанія. Замѣчательно, что величайшія свои культурныя достиженія Италія дала в вѣк Возрожденія (или еще в средневѣковьѣ), а Германія в вѣк Канта и Гете (или еще в реформаціи), когда обѣ эти страны не имѣли политическаго національнаго существованія. Италія его вообще не знала с римских времен до Виктора-Эммануила II. И вот этот, давно лелѣемый, романтическій національный идеал, едва осуществившись, на наших глазах стал отравлять источники той самой культуры, которая его

создала, глубоко исказил ея нѣкогда прекрасныя черты и привел эти народы на край духовной гибели.

Ну, а Россія? На первый взгляд, она кажется примѣром національно-государственнаго образованія. Мы всѣ были воспитаны в этом Карамзинском убѣжденіи. Но Карамзинская схема, коренящаяся в московских официальных традиціях XVI-XVII вѣка («Степенная Книга») есть насиліе над историческими фактами. Кіевская Русь — эпоха высшаго культурнаго расцвѣта древней Руси — не была государством, а лишь системой связанных культурно, религіозно и династически, но независимых государств. Потом на столѣтія Русь вступает в систему міровой монголо-татарской имперіи. Освобожденная, она создает національное государство под властью Москвы, но Западная Русь остается за его рубежом. Задолго до возсоединенія с зарубежной Русью, Москва разливается широко на туранскій Восток и Юг, пріобрѣтая характер Евразійской Имперіи. Узкая провинціальная культура Москвы оказывается непригодной для организаціи и одушевленія этой колоссальной имперіи. С Петра Россія считает своей миссіей насыщеніе своих безбрежных пространств и просвѣщеніе своих многочисленных народов не старой, московской, а западно-европейской цивилизаціей, универсальной по своим тенденціям. Как считать національным государство Екатерины? В глазах самой интеллигенціи и власти, Россія является сонмом народов, скрѣпленных династіей, которая несем им свѣт с Запада. Фелица — киргиз-кайсацкая царевна ,друг Вольтера и Дидро. Національнализація русской культуры и государственности есть медленный процесс, развивающійся в XIX вѣкѣ. Еще при Николаѣ I слово «національный» было символом революціоннаго. Но именно к этому царствованію относится не очень удачное начало національнализаціи русской культуры.. Однако этот процесс идет параллельно с возрастающей слабостью Имперіи. Два послѣдних царя, воспитанные славянофилами, пытались обрусить Имперію и вооружили против нея цѣлый ряд ея народов. Національнализм сказался одним из ядов, разложивших императорскую Россію.

Так за все тысячелѣтіе своей исторіи Россія искала національнаго равновѣсія между государством и культурой, и не нашла его. На этом пути вообще историческія удачи были только исключеніями. Да, Франція и Англія — историческія счастливицы. Но обобщеніе их опыта в XIX вѣкѣ завело в тупики. Для многих малых народов, для черезполосных на-

сельников, т.е. для большинства, осуществленіе національнаго государства оказалось невозможным. Версаль окончательно доказал это. Для иных, «великих» вставала другая опасность. Государства, заполнившія границы національной культуры, не желали останавливаться на них, и переливались через край, стремясь превратиться в имперіи. Но имперія несовмѣстима с принципом національнаго государства: она или несет сверхнаціональную культуру или, обезличивая малые народы, превращает их в чернозем для возращенія одной націи. Lebensraum выдуман не Гитлером. XIX вѣк, начавшійся эрой освободительнаго націонализма, заканчивается борьбой имперіализмов. Дѣти и внуки гарибальдійцев завоевывают Ливію и Абиссинію, тщатся поработить славян. Едва об'единившаяся Германія возобновляет свой забытый с XV столѣтія Drang nach Osten. Франція и Англія уже успѣли создать себѣ колоніальныя имперіи. Но всѣ имперіи лишь этапы на пути к единой Имперіи, которая должна поглотить их всѣх. Вопрос лишь в том, кто будет ее строить и на каких основах.

Историческая неудача національнаго государства способна вызвать у многих горькія чувства. Что и говорить, національное отечество имѣет свои преимущества. Оно теплѣе, милѣе сердцу; оно согрѣвает строгій закон гражданства любовью к той живительной духовной родинѣ, которую защищает закон. Татарин мог любить Россію, а хорват Австрію. Но их любви не хватало той глубины и полноты оттѣнков, которыя возможны для русскаго — или нѣмца. С другой стороны, насыщенность національными эмоціями сообщала чрезвычайную силу велѣніям отечества. Національное государство внутренне гораздо крѣпче, спаяннѣе, чѣм имперія или федерація.

Однако, это его преимущество немедленно же оборачивается его пороком. Эгоизм національнаго государства особенно страшен потому, что питается не только низменными, но и очень высокими чувствами. Убаюканные нѣмецкой музыкой и стихами Гете, нѣмцы легче идут на истребленіе славян. Так и для нас образ «Святой Руси» облегчал всяческія насилія над иноролцами. Парадоксальным образом Гете и Толстой в наши дни дѣлаются воспитателями національной ненависти. Но это есть уже предательство, измѣна самой національной культурѣ. Связь ея с государственностью, которая берет ее под свою высокую руку, оказывается губительной для культуры.

В завершеніе всего, представленіе о том, что за борьбой великих держав стоят еще зашищаемыя ими великія національныя культуры, оказывается анахронизмом. Европейскія культуры уже перестали быть національными в смыслѣ романтиков. Научно-техническій и соціальный раціонализм XIX вѣка убил остатки выращенных средневѣковьем и связанных с почвой національных культур. Умолкла народная пѣсня, вымирает народное искусство. Нигдѣ, кромѣ маскарадов, не носят національных костюмов. А народная душа? Школа, газета и фабрика еще до радіо и синема нивеллировали ее. Что всего важнѣе, самое значительное в мірѣ духа, в религіи, в искусствѣ, в философіи сейчас не носит національнаго отпечатка. Передовая литература, живопись, музыка сейчас космополитичны. И никакая фашистская акція ничего не в силах измѣнить в этом фактѣ. Фашисты всѣх стран говорят о національной культурѣ, но, кромѣ исторических символов и имен, они вкладывают в нее одно и то же содержаніе. Если бы мы могли мысленно разрѣзать черепа десятка молодых людей, приналлежащих к Hitler-Jugend, к Балиллѣ, Фалангѣ и т. д., то увидѣли бы, что эти черепа набиты одним и тѣм же: спорт, техника, авіація, военное дѣло и военныя забавы, культ мужества и насилія, товарищества и жестокости, религія государственности и при том в одних и тѣх же формах — вездѣ до утомительности одно и то же. Различна лишь направленность ненависти. И эта ненависть к чужому — не любовь к своему — составляет главный пафос современнаго національнаго націонализма — не в одних фашистских странах. Національный фашизм оказался товаром для экспорта. Претенціозный борец против раціонализма буржуазнаго общества, он представляет типическій продукт современной механизаціи жизни. Но это лишает смысла всю его борьбу — титаническую и безумную. Нѣмцы могут разрушить весь мір во имя великой Германіи - которая не будет отличаться от фашизированной Франціи, Америки или Россіи.

Нѣт, современное государство плохая защита для національной культуры. Оно оказывается для нея скорѣе губительным. Вот почему отмираніе національнаго государства не несет с собой никакой катастрофы для культуры націи. Болѣе того, оно ее освобождает. Но здѣсь необходимо внести одно существенное различеніе в понятіе національной культуры.

В состав всякой культуры входят элементы болѣе или менѣе національные и универсальные. К универсальным в наше время принадлежит наука, техника, спорт и т. д. Но и

среди національных элементов болѣе общи и абстрактны хозяйство и политика, чѣм, напр., искусство, язык и быт. Грядущая универсализація государства может угрожать только политикѣ и хозяйству, которыя по необходимости, если не цѣликом, то в значительной степени становятся планетарными. Но хозяйство и политика представляют, вмѣстѣ с наукой и техникой, наиболѣе раціонализированные пласты культуры. Другими словами, универсализируется раціональная культура — та, которая всеобща по своему строенію. Національное, коренящееся в ирраціональных слоях духа может уцѣлѣть и жить, если только найдет в себѣ жизненныя силы. Не от Атлантической Имперіи грозит ему гибель, а от истощенія и скудости собственных сил.

Проблема сохраненія національной культуры совпадает с гораздо болѣе важной — единственно важной — спасенія культуры вообще. Стало ясно, как день, что на обездушенном, техническом разумѣ-разсудкѣ она существовать не может. Человѣк, утративший связь с міром духовным и с міром органическим, дѣлается жертвой своей собственной техники. Машина и оружіе истребляют своих создателей. Всѣ наши планы, мечты и молитвы о спасеніи покоятся на одной предпосылкѣ; на великой духовной революціи, способной возродить и переродить человѣчество, дав ему новыя силы для жизни и творчества. Чтобы жить, человѣк должен найти утраченныя связи с Богом, с душевным міром других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мірах: верхнем и нижнем. Оба эти міра говорят с ним на языкѣ ирраціональных символов. Общеніе с ними способно возродить, в новом смыслѣ, и національную культуру, освобожденную от своих раціональных элементов.

Есть одно, чрезвычайно привлекательное, хотя и ограниченное явленіе в культурѣ нашей эпохи, — которое дает ключ к возрожденію творческаго націонализма. Это областническая, или так наз. регіональная литература. Среди зрѣлища демонических кошмаров, которое являет большое искусство наших дней, областничество остается оазисом, гдѣ течет, хотя бы и скудный, источник живой воды.

Жіоно и Рамюз, может быть, самые значительные писатели Франціи — во всяком случаѣ, самые глубокіе и чистые. Чѣм отличается областническая литература от національнаго эпоса, о котором мечтали романтики? Главным образом отсутствіем государства. Здѣсь человѣк-крестьянин живет ли-

цом к лицу с Богом и землей. Власть как будто ушла, оставив один вѣчный символ жандарма, который «не без ума носит меч». Государству-жандарму платят деньгами и кровью, но уже не несут ему своей любви. Нація перестала питать духовно. Франція, Германія, Россія превращаются в идолы прошлаго, условная краса которых способна соблазнять риторов, не поэтов. Но Жіоно, Рамюз и Пришвин спасают безцѣнное и вѣчное, что еще живет во Франціи и в Россіи.

Но государство, вѣль, тоже не цѣликом от дьявола. Оно имѣет свое призваніе. Его идеальное имя — справедливость. Его закон есть несовершенное выраженіе нравственнаго императива. Разум человѣка и творимая им соціальная культура имѣют тоже свои права. Возстаніе против разума — ирраціонализм современнаго искусства и политики — есть безуміе и грѣх. Не к уничтоженію раціональнаго мы призываем, а к извѣстному размежеванію сфер. Раціональное перерастает націю. Ирраціональное остается удѣлом націи и ея органических подраздѣленій: племенной, областной, родовой жизни.

Есть символ, который мог бы уяснить и закрѣпить нашу мысль. В былое время, еще совсѣм недавно, отец и мать вводили ребенка и юношу в сферу національной культуры. Их роль в этом посвященіи была не одинакова. От матери ребенок слышал первыя слова на родном «материнском» языкѣ, народныя пѣсни и сказки, первые уроки религіи и жизненнаго поведенія. Отец вводил отрока в хозяйственный и политическій мір: дѣлал его работником, гражданином и воином. Раздѣленіе между раціональным и ирраціональным содержаніем культуры до извѣстной степени совпадает с различіем материнскаго и отцовскаго в родовой и національной жизни. Этому различію соотвѣтствует, или должно соотвѣтствовать, двойное именованіе того національнаго цѣлаго, в которое посвящается ребенок-юноша. На англійском языкѣ оно звучало бы как fatherland и motherland. Наш язык знает не совпадающія по значенію, но всегда волнующія слова: отечество и родина. Не совершая насилія над русским языком, легко убѣдиться, что отечество (страна отцов) связывает нас с міром политическим, а родина-мать с матерью-землей.

То, что совершается в нашу эпоху ,не есть разрушеніе отечества или родины. Но это их необходимое и, конечно, болѣзненное разобщеніе. Древній галл не потерял отечества, став гражданином Римской Имперіи. Если же он потерял родину, которую обрѣл вновь в глубинѣ средневѣковья, то это

было слѣдствіем рацiонализма греко-римской культуры. Наше отечество не гибнет, но расширяется до океанических масштабов. Моя родина остается конкретной и многоликой: Россія, Великороссія, Поволжье, Саратовскій край. Родинѣ своей я отдаю полноту эмоціональной любви, освобожденной от политических страстей (злой эротики). Отечеству отдаю свой разум и волю, направленную на постоянную реализацію справедливости в несовершенных исторических ея проэкціях.

Нужно только помнить, что ни отцовское, ни материнское не исчерпывают мір личности. Послѣднее оправданіе личной жизни — в духѣ, а дух по ту сторону (выше) рацiональнаго и иррацiональнаго. И материнская и отцовская культура могут питаться, «одухотворяться» им, и в этой мѣрѣ выражать движеніе человѣчества к его высокой цѣли. Но никогда им не вмѣстить полноты духа, не замѣнить личной, сверхорганической и сверхрацiональной жизни и ея условія — свободы.

Г. Федотов.

«ЗА ЧТО КРОВЬ ПРОЛИВАЛИ?»

Народы, войны ни за что не желавшіе, слишком вяло или совсѣм к ней не готовившіеся, войны, разсудку вопреки и наперекор стихіям, всѣми правдами и неправдами избѣгавшіе, войны не замѣчавшіе даже и тогда, когда волны ея стали уже перекатываться над их головами — у этих народов, конечно, никаких «цѣлей войны», не было и быть не могло. Когда над всѣми возможными и невозможными цѣлями доминировала верховная цѣль — от войны во что бы то ни стало уйти, — тогда всѣ эти благородныя спекуляціи вокруг «цѣлей войны» никакой политической вѣсомости имѣть не могли. Народы, сражающіеся нынѣ против Гитлера, в войну не вошли, а в ея кровавый поток были Гитлером брошены.

Еслибы камень, сорванный порывом бури со скалы и низвергающійся в бездну, мог мыслить, то он навѣрно примыслил бы своему паденію какую нибудь «цѣль». Народы оказались такими мыслящими камнями. В клокочущем потокѣ міровой катастрофы, куда народы были низринуты, они стали примысливать «цѣль» своего паденія в войну. По естественному ходу вещей міра сего цѣль всегда предшествует тому дѣйствію, которое по отношенію к цѣли является как бы средством. В интересующем нас случаѣ дѣло обстояло совсѣм наоборот. Цѣли появились послѣ того, как воистину с невѣдомой силой нас ударили ужасающія средства войны. Пришла война. Цѣли к ней были примышлены. Основаны были эти цѣли на принципѣ, недурно выражаемом русской пословицей: не бывать бы счастью, да несчастье помогло, или — поможет...

Современное соціально-революціонное сознаніе давно уже отказалось от взгляда на войну, как на средство созданія новаго міра, лучшаго, радикально отличнаго от существующаго. В 20-ом столѣтіи ставку на войну — внѣшнюю и внутреннюю, как зиждителя новаго міра соціализма и коммунизма, стал дѣлать русскій большевизм. Ленин, опираясь на обольстившаго его своим глубокомысліем нѣмецкаго генерала Клау-

зевица и замѣшав густо его ученіе на Бакунинѣ, Ткачевѣ и Нечаевѣ, благословил войну, как творческую силу того священнаго неистовства, которое именуется «революціей». Это принципіальное пріятіе войны, как творческой силы соціальной революціи, стало идейным и, можно сказать, морально-психологическим достояніем всего мірового коммунизма и большевизма. Правда, вмѣсто браваго примѣра войны с германским имперіализмом, новая русская власть заключила с этим имперіализмом «похабный мир». Спустя 21 год, в теченіе 22-х первых мѣсяцев міровой войны № 2-ой, эта власть, воспитавшаяся на перепертом на язык родных осин Клаузевицѣ, была «спаяна кровью» с новым радикально худшим изданіем нѣмецкаго имперіализма, и спайка эта продолжалась ровно столько, сколько этого хотѣл Гитлер.

Но внѣ большевизма и коммунизма всѣ теченія международнаго соціализма, не говоря уже о соціально реформаторских теченіях несоціалистическаго и нереволюціоннаго типа, были послѣдовательно пацифистскими, — во всяком случаѣ в том важном здѣсь для нас смыслѣ, что не разсматривали войну, как радикальное средство соціально-политической хирургіи, что им была чужда и тактически, и психологически ставка на войну; они, даже признавая, что пожар Москвы много способствовал ея украшенію, не предполагали предаваться военно-революціонному поджигательству. Люди, боровшіеся за новый, за лучшій мір, за идеалы соціальной справедливости и справедливости вообще, не соблазнялись нечаянными радостями, которыя может принести война. Громадные массивы современной демократіи полагали, что война — это лѣкарство, которое опаснѣе самой болѣзни. Они от войны никакой интересной прибыли не ожидали. Они, мы всѣ, люди из разных отрядов міровой и русской демократіи, были — страшно нынѣ молвить — пацифистами...

Опыт войны № 1 и послѣвоеннаго періода только мог укрѣпить демократію в ея отрицаніи войны, как соціально-политически преобразующей силы. В с ѣ европейскія революціи, войной вызванныя, кончились реакціей. Различные растворы фашизма, до самых густых, разлились, расползлись по всѣм странам. Осталась в живых до гитлеровскаго нашествія одна чехо-словацкая демократія, но и она еще до этого нашествія была уже тяжко больна національным вопросом, и первые роковые удары она получила не от 5-ой колонны, а от банальнаго, но слишком реальнаго и опаснаго внутренняго врага. Демократіи, созданныя войной, всѣ погибли еще до

того, как нацистская Германія вошла в полную силу. Военное поколѣніе, вынесшее на своих руках знамя освободительных революцій и переворотов, оказалось не только неспособным защищать свободу, но и не желающим ее защищать и свободу презирающим во имя новых начал диктатуры, военный милитаристскій корень которой не подлежит никакому сомнѣнію.

Милліоны людей всѣх классов, от высших до низших, познали в это время идеи соціализма в оправѣ жестокой расправы с тѣми инакомыслящими, к которым они еще вчера сами принадлежали. Идеи свободы и человѣчности выступили в отвратительном обличіи ортодоксальной инквизиціи. Россія показала первые примѣры власти террористической диктатуры, а затѣм эта стихія разлилась по всему міру, оттѣсняя идеи гуманизма и культуры на робкія защитныя позиціи.

Было бы, конечно, глубокой ошибкой воспринимать весь період между двумя міровыми войнами в односторонне отрицательном и сугубо пессимистическом освѣщеніи.

Демократизирующія вліянія и первой войны не подлежат никакому сомнѣнію. Общій стиль жизни всѣх участвовавших в войнѣ народов стал послѣ войны значительно демократичнѣе. Но эта демократизація шла по линіям, не обязательно совпадающим с линіями человѣческой индивидуальной и колективной свободы. Демократизація больше шла по линіи «равенства», чѣм по линіи «свободы». В казармах даже мирнаго времени гораздо больше бытового равенства и «простоты» в хорошем и дурном смыслѣ этого слова, чѣм в условіях гражданской жизни; больше его в тюрьмах и во всѣх прочих заведеніях колективнаго сожительства людей, в особенности принудительнаго характера. Массовыя стихійныя бѣдствія вообще являются великой эгализирующей силой, а войнѣ эта сила присуща в самой высокой степени.

Конечно, равенство один из основных элементов всякаго демократическаго режима, всякой демократической системы и без равенства нѣт демократіи. Однако, равенство возможно и в рабствѣ; рабы, вообще говоря, болѣе равныя существа, чѣм свободные люди, и именно послѣвоенная эпоха дала букет разнообразных диктаторских режимов, в основѣ которых лежала стихійная эгалитарная тяга масс. Диктатурам в Россіи и Германіи это, к несчастью, удалось доказать: во имя хотя бы и мнимаго равенства массам иногда легко отказаться от реальной свободы. Послѣвоенная борьба за демократію и

соціализм была меньше борьбой за свободу и больше борьбой за равенство. Соціализм в пониманіи широких масс стал не столько идеалом свободы, сколько идеалом равенства. Лѣвыя теченія современнаго соціализма охотно поддавались этой стихіи, углубляя и расцвѣчивая ее пестрыми и искусственными цвѣтами замысловатых научных теорій. Повальное міровое упоеніе большевизмом было ничѣм иным, как односторонним разрѣшеніем извѣчной антиноміи между равенством и свободой в пользу равенства, хотя бы и равных рабов.

Война несомнѣнно демократизировала мір, подняв повсюду соціальный вѣс т. н. «низших классов», т. н. «простого человѣка». Но наиболѣе разительныя, наиболѣе бурныя, наиболѣе революціонныя формы этого возвышенія низших классов были связаны с поношеніем свободы.

Люди войны 1914-1918 г.г. принесли человѣчеству большевизм и фашизм. Принесенныя же войной республики, демократіи, свободы и сколько еще их было хороших институтов военной выдѣлки, оказались зданіями, построенными на курьих ножках. Как творческое начало, как бродильное начало, как «начало» вообще, міровая война № 1-ый оставила самую печальную память.

И вот нынѣ мы присутствуем при тревожной картинѣ. Опять пышно расцвѣли надежды на украшеніе міра путем мірового пожарища № 2. Опять расцвѣтает вѣра, что не бывать бы счастью, да несчастье поможет. Опять тяжкій больной в лихорадочных припадках болтает направо и налѣво (больше налѣво) о том, каким здоровяком и красавцем на заглядѣнье он будет, когда он болѣзнь одолѣет. Еслибы не учиненное ему громадное кровопусканье, самая мысль о котором казалась ему еще вчера кошмарным безумiем, то никогда в жизни он бы до таких высоких степеней тѣлеснаго совершенства не дошел. В журналистикѣ и даже в научной литературѣ так и стало кишѣть «цѣлями войны», которой никто не хотѣл, кромѣ Гитлера и его союзника первых 22 мѣсяцев. Мысль о том, что не до жиру — быть бы живу, казалась отвратительным «пораженчеством» даже в самые страшные для союзников моменты тяжких пораженій, в моменты, когда собственно никаких союзников не было, когда Англія одиноко выносила и вынесла всю тяжесть войны, имѣя в запасѣ еще только 5 не пущенных в ход военных аэропланов, и когда великая русская сила была еще не наша.

Сейчас, когда происходит крутой и, будем надѣяться, рѣшительный перелом военной ситуаціи в пользу союзников

— сейчас настроенія типа «быть бы живу», к счастью, не имѣют никакого ни об'ективнаго ни суб'ективнаго основанія. Мы теперь уже не только в ѣ р и м, что ось будет разбита и уничтожена, мы это з н а е м. Но достаточно ли этого хотя бы только для одной вѣры в то, что полная побѣда над осью приведет к построенію «новаго міра» в соціальном смыслѣ этого опредѣленія? Придем ли мы ч е р е з м і р о в у ю в о й н у № 2, при ея помощи и посредствѣ, к построенію соціалистическаго общества, к чему сводится множество планов и «цѣлей войны»?

Здѣсь нужно заранѣе условиться о границах поставленной проблемы. Она в данном случаѣ вообще, и в рамках данной статьи, в частности, имѣет смысл только в том случаѣ, если проблема «новаго міра» непосредственно, в отношеніи причины и слѣдствія, связана с нынѣшней войной, с э т о й вот войной. Нас здѣсь не интересует, что вообще будет «послѣ войны». Нас интересует, как с а м а война и ея прямыя послѣдствія повліяют на строительство «новаго міра», в том его варіантѣ, который пользуется наибольшей популярностью, с которым связаны у многих лучшія надежды и который принято называть «соціалистическим» (хотя послѣ появленія большевизма и фашизма термин этот потерял свою былую опредѣленность и ясность). Иначе говоря, как эта война подѣйствует на ход «соціальной революціи» в ея наиболѣе вѣроятных аспектах?

Для отвѣта на этот вопрос полезно будет вернуться к міровой войнѣ № 1. Что она была войной імперіалистической, войной капиталистической, в этом тогда были убѣждены и люди, чуждые матеріалистическому толкованію исторических событій. Что в той войнѣ рѣшающую роль, и в ея происхожденіи, и в ея цѣлях, сыграли капиталистическіе, буржуазные интересы — это тогда не подлежало никакому сомнѣнію. Тогда не так много волновались по поводу цѣлей войны, как нынѣ. Но вытекавшіе из войны выводы не могли не быть направлены против основной причины или причин этой войны. Война была вмѣненав вину капитализму и імперіализму, как внѣшне-политическому его обличью, и идея революціи против капитализма, идея соціальной революціи являлась самым простым логическим и психологическим выводом из всей міровой ситуаціи. Эти простые, слишком простые выводы стали достояніем широкой массы, и вознесли их на идеологическія и теоретическія высоты не только коммунизм, но и всѣ лѣвыя теченія соціализма, воистину самозабвенно настаивавшія на

своем идейном родствѣ с коммунизмом. Война была капиталистической и здѣсь разница между «оборонцами» и «интернаціоналистами» заключалась только в том, что оборонцы считали свой, союзный капитализм прогрессивнѣе враждебнаго, а интернаціоналисты полагали, что это «один и тот же чорт». Они были «интернаціоналистами» по своему неумѣнію и нежеланію разобраться в том, правая лѣвая гдѣ сторона. Но в общем всѣ теченія соціализма, захватывая и большіе участки соціально радикальнаго мышленія вообще, дѣлали из войны один и тот же вывод: капитализм — вот врагъ!

Оставляя в сторонѣ вопрос о том, насколько научно состоятельны были эти исключительно экономическія об'ясненія міровой войны № 1, надо установить один несомнѣнный фактъ: к міровой войнѣ № 2 эти исключительныя «капиталистическія» об'ясненія оказались уже совершенно непримѣнимыми. Имѣли они наибольшій успѣх в теченіе 22-х первых мѣсяцев войны, когда коммунисты всѣх стран были убѣждены, что воевать против Гитлера могут только заклятые имперіалисты. Оставляя в сторонѣ эту, еще ненаписанную исторію первых 22 мѣсяцев войны, необходимо установить, что сейчас ни одно сколько нибудь серьезное направленіе исторической и соціологической мысли не вмѣняет нынѣшней войны «капитализму» и «имперіализму». Теперь совершенно исчезло то настроеніе міровой войны № 1, когда массы чутко внимали совѣтам ряда признанных вождей: «разбери, кто правъ, кто виноват, да о б о и х и накажи»... и соотвѣтственно и поступали.

Почему же сейчас, не вмѣняя этой войны капитализму, вообще «экономическому строю», люди самых разнообразных взглядов и темпераментов в своих чаяніях «новаго міра» то и дѣло нацѣливаются прямо в сердце капитализма и посильное участіе в этом принимают не только соціалисты, но и завѣдомые капиталисты? Почему эти серьезныя, полусерьезныя и совсѣм не серьезныя «визіи» новаго міра являются сплошь и рядом визіями антикапиталистическими? Чѣм англійскій, американскій, французскій и всѣ иные капитализмы виноваты в том, что в эту кровавую трясину мір бросила внѣкапиталистическая сила современнаго фашизма и нацизма? Несомнѣнно, во всѣх странах были сильныя капиталистическія группы, которыя Гитлеру сочувствовали и отчасти даже и помогали. Но если начать тщательно разбираться в том, кто, гдѣ и как помогал Гитлеру, и на уничтоженіи этих помощников строить «цѣли войны», то мы можем зайти очень

далеко: прямо к соціальным и идеологическим антиподам этих провинившихся в симпатіях к фашизму капиталистов.

Причины этой міровой войны № 2 не такого свойства, чтобы именно о т н и х умозаключать к необходимости устройства соціальной революціи, необходимости мирной или насильственной ликвидаціи капиталистической системы. Капитализм Англіи, Соединенных Штатов, Канады, Австраліи, Новой Зеландіи — я беру только высоко развитыя страны англо-саксонскаго міра — оказался этой войной не болѣе соціально и морально скомпрометированным, чѣм он был до войны[1]).

Откуда же, из какого идейнаго источника берутся эти антикапиталистическія и соціалистическія упованія в их спеціальной и презюмированной связи именно с этой войной? Один источник прост и ясен. «Великая» война, как и всякая великая катастрофа, сдвигает всѣ вещи и всѣ привычныя традиціонныя отношенія с насиженнаго мѣста. Покуда война длится, всѣ эти вещи и отношенія никакого опредѣленнаго мѣста вообще не имѣют. Обязательно ли в таком случаѣ, чтобы по окончаніи войны онѣ вернулись именно на старыя, на свои мѣста? Почему не воспользоваться в общем все таки рѣдко представляющимся случаем, чтобы поставить вещи и отношенія, потерявшія свое обычное мѣсто, на новыя мѣста, болѣе справедливыя, болѣе соотвѣтствующія нашим моральным и соціальным идеалам? Почему в самом дѣлѣ не воспользоваться громадной разрушительной силой войны, как революціонным факторомъ, направленным против міра зла и неправды? «Мы всегда были против капитализма и за соціальную революцію. Независимо от того, отчѣго возникла война, виноват ли или не виноват в ней капитализм, война поможет нанести капитализму весьма серьезные, если не смертельные удары. Не использовать для этого всѣ представляющіяся благодаря войнѣ возможности, было бы преступленіем».

Это один из источников линіи на сверженіе или отмѣну капитализма. Но есть и другой болѣе сложный и менѣе сим-

[1]) В момент сдачи этой статьи в набор я получил № 21-22 «Соц*алистическаго Вѣстника» с чрезвычайно поучительной статьей Б. Николаевскаго, который разоблачает миф о капиталистическом происхожденіи и характерѣ нынѣшней войны в рядѣ соображеній, близких к тому, что на эту тему сказано в предлагаемой статьѣ, и кромѣ того бросает интересный свѣт на теоретическую проблему соотношенія между капитализмом и войной вообще.

патичный. Сейчас среди пролетаріата нѣт пораженцев. К несчастью, ни среди пролетаріата стран оси, — к счастью, ни среди пролетаріата союзников, включая и С.С.С.Р. Всюду для пролетаріата война их отечеств это и его, пролетаріата, война. В такой массовой и сплошной степени это явленіе совершенно небывалое. В таких размѣрах это явленіе абсолютно противорѣчит психикѣ коммунистических и вообще крайне лѣвых лидеров движенія, живущих еще цѣликом в идеологической атмосферѣ пораженчества и «интернаціонализма» періода войны 1914-1918 г. К такому пролетаріату — патріотическому, оборонческому, коалиціонному, «бургфриденом» умиренному и умѣряемому, они никак идеологически и психологически не подготовились. И поэтому, мирясь со всѣм этим, как с горькой необходимостью, рѣжущей им их ортодоксально-революціонные нервы, они примышляют этой войнѣ извиняющую всѣ эти ужасно оппортунистическія вещи высокую цѣль: соціалистическую революцію. Париж стоит обѣдни, и ради соціальной революціи можно и погрѣшить против нѣкоторых излюбленных идеек. Тут вот и фабрикуются эти мнимо-трагическія проблемы: «Зачѣм, собственно, воевали?» «Зачѣм кровь проливали?» «Что даст народу (или пролетаріату) война?» Это именно этим кругам как бы невдомек: «зачѣм пролетаріат так вложился в дѣло войны?» Не иначе, как во имя соціальной революціи... Такой мол это уже класс, по их мнѣнію, что задешево, просто потому, что его отечество в великой опасности, он себя не продаст. Тут есть глубокое убѣжденіе в том, что если у этого отечества есть хоть капля совѣсти, то меньше чѣм соціалистическим строем никак нельзя отблагодарить пролетаріат за оказанныя отечеству услуги. Любя пролетаріат, эти лѣвые маклеры его хотят продать пролетарскій патріотизм по возможно высокой цѣнѣ.

И тут нѣт никакого сомнѣнія: в этой маклерской роли этим очень лѣвым людям, так и не узнавшим еще, зачѣм пролетаріат воюет, посильно помогают многочисленные правые буржуазные элементы. Они вѣдь увѣрены в том, что пролетаріат помогает спасать их отечество, а не свое собственное. Вот эта заботливо-филантропическая возня вокруг пролетаріата, как бы он не забыл и не разлюбил свое отечество; вот эти вытекающія отсюда требованія: «надо пролетаріату дать», «надо пролетаріату показать», ибо если пролетаріату не «дать» и не «показать» или по меньшей мѣрѣ не посулить, то патріотическій порыв вот-вот изсякнет, — все это вмѣстѣ взятое построено на глубоком недовѣріи к этим «массам», которым надо «дать» и «показать», на недовѣріи, смѣшанном порою с сознательной демагогіей, порою на оскор-

бительном сентиментальном представленіи о «массѣ», как о государственном несмысленышѣ.

Не соблазненныя рѣками молочными да берегами кисельными послѣвоеннаго «новаго міра», массы повернутся спиной к отечеству. Так думают в крайне лѣвых кругах. Но так думают и в многих отмѣнно буржуазных и консервативных кругах. По существу правые буржуа всегда были гораздо болѣе убѣждены в истинности того положенія «Коммунистическаго Манифеста», что «у пролетаріата нѣт отечества», чѣм даже очень лѣвые соціалисты. Поэтому открытіе того факта, что пролетаріат во всем мірѣ оказался любящим свое отечество и готовым за него кровь проливать, произвел на многих правых буржуа еще болѣе глубокое впечатлѣніе, чѣм на лѣвых соціалистов. Оказалось, пролетаріат любит «наше отечество», хотя оно и капиталистическое. И за то, что он любит «наше отечество», он достоин и благодарности и поощренія.

Эта война обнаружила широкую картину угрызенной соціальной совѣсти буржуазіи. Изобиліе планов, заявленій, интервью, статей, рѣчей и книг самаго буржуазнаго происхожденія, с чрезвычайно далеко на приближеніе к соціализму идущими требованіями к послѣвоенному «новому міру», свидѣтельствуют об этой угрызенной соціальной совѣсти самым наглядным образом. Мы, конечно, не увѣрены, что послѣ того, как война кончится, рѣка войдет в свои берега и опасность всеобщей гибели в потопѣ минет, не наступит всеобщее успокоеніе и угрызенную совѣсть не начнет клонить ко сну. Но сейчас эти манифестаціи угрызенной соціальной совѣсти до того часты, настойчивы и, скажем еще, модны, что поневолѣ онѣ наводят на скептическія размышленія. Столь пространно не пишут не только рѣшительный отказ, но и рѣшительное согласіе, в данном случаѣ похоронить существующій капиталистическій строй. Сейчас угрызенная соціальная совѣсть даже и довольно реакціонных слоев все поняла и все простила пролетаріату, в том числѣ и большевизм, и коммунизм. Никогда еще в самых заядлых буржуазных органах не появлялись статьи столь глубоко и далеко идущаго «пониманія» большевизма, как это наблюдается сейчас. И нельзя быть увѣренным, не является ли вся эта сентиментальная и показянно совѣстливая возня буржуазных кругов вокруг пролетаріата одной из причин, толкающих большевистскіе и большевизанствующіе элементы на тот вывод, что теперь то и наступил самый раз спустить курок и устроить по случаю вой-

ны в качествѣ ея «цѣли», настоящій соціальный «кладдерадатш».

Все на свѣтѣ мѣняется, да еще как! Мы привыкли к тому, что буржуазія радикализировала рабочій класс своей ненавистью и непониманіем. Сейчас мы присутствуем при таком отрадном зрѣлищѣ, когда буржуазія радикализирует иных лѣвых лидеров соціалистическаго движенія своей любовью к пролетаріату и «пониманіем» его... Волненія угрызенной буржуазной совѣсти находят свое выраженіе в салонном большевизмѣ, чрезвычайно ободряющим большевизм подполья. Все это может быть болѣе всего смѣшно.. Но за этой смѣшной декораціей кроется может быть тѣнь больших соціально-политических трагедій. Покуда милые, любящіе и понимающіе людн баюкают не столько себя, сколько других видѣніями «новаго міра», тѣ визіонеры, которые узнали, как «это» дѣлается по ослѣпившему их примѣру С.С.С.Р., зрѣют в своих настроеніях гражданской войны с любезной иногда отсрочной ея до конца операціи против Гитлера.

Для С.А.С.Ш. все это может быть совершенно не опасно. По разсчетам National Ressources and Planning Board Америка послѣ войны при національном доходѣ в 100-110 милліардов долларов и с всеобъемлющей программой соціальных и политических свобод сумѣет и на основѣ частной собственности стать благоустроеннѣйшей страной в мірѣ. Но все, что примѣнимо к Америкѣ, не примѣнимо к Европѣ. Здѣсь и послѣ заключенія мира разныя страны в разной мѣрѣ еще долго и тяжко будут больны войною. Здѣсь, за исключеніем С.С.С.Р., гдѣ «соціальная революція» с извѣстными нам послѣдствіями уже произошла, всякая не только революція, но и вообще рѣзкая ломка полна будет катастрофических послѣдствій. Это вообще еще неразрѣшенный вопрос даже для профессіональных любителей революціи, когда удобнѣе всего ее начать и как, единожды ее начавши, благополучно кончить. Похоже на то, что всѣ революціи выбирают для себя наиболѣе неудобное для них время. Но тот физически, матеріально и душевно истерзанный мір, каким явится Европа на другой день послѣ перемирія, даст для всякаго, далеко идущаго соціальнаго переворота противопоказаніе отчаянной убѣдительности. Наше поколѣніе, пережившее катаклизмы 1914-1918 г.г., видѣло этих людей войны, если хотите, этих жертв войны в роли дѣлателей революціи. Мы можем здѣсь совершенно оставить в сторонѣ вліяніе пропаганды, вліяніе русских «бѣсов» и наших домотканых «разрушительных те-

орій». Нам достаточно в своем умѣ просто реально представить себѣ этого человѣка, вышедшаго из ада войны со всѣми его политическими, соціальными и психическими комплексами, чтобы легко понять, что революція, рожденная войною, наслѣдственно тяжко больна. Может быть, война, рожденная революціей, и хорошая война — примѣры тому бывали, — но революціи, рожденныя войною, несчастныя революціи. Онѣ во всяком случаѣ не ведут к свободѣ. Всѣ революціи послѣ міровой войны № 1 оказались несчастными революціями.

Сама война, как таковая, в особенности война в стилѣ міровых за порядковыми номерами, создавая всѣ удобныя условія для техническаго разворота революціонной процедуры, создает с другой стороны поколѣніе, душевный мір котораго менѣе всего приспособлен для сознательнаго творчества новаго міра, хотя бы даже для творчества в формах насильственных. Но не забудем и это: весьма возможно, что эту войну в непосредственной формѣ побѣдных гражданских боев рѣшат дѣти: юноши и дѣти, начиная с 18 лѣт. Не найдется ни одного режима, хотя бы и предѣльной либеральности, который дал бы юношам 18 и 19 лѣт избирательное право, хотя этим аргументом часто и дѣтолюбиво манипулируют: если может сражаться за отечество и кровь за него проливать, то может мол и в парламентѣ засѣдать. Увы, это не так: в рѣшеніи на полѣ брани судеб отечества примет участіе молодежь, которую пускать в парламенты еще никак нельзя. Но революція, но широкое массовое движеніе, направленное на сверженіе существующаго строя — это не парламентское засѣданіе. Здѣсь молодежь и очень незрѣлая молодежь не только равноправный участник историческаго дѣйства, но и главный, но часто и рѣшающій его участник. На массовых митингах иногда рѣшаются судьбы страны, судьбы классов и институтов, рѣшаются людьми, которые в жизни пока что научились только этому: сражаться и умирать.

Но есть все таки и пропаганда, есть и «бѣсы». Когда даже их нѣт заранѣе, их без труда выдумывают и выдѣлывают тут же на полях гражданской войны. Сейчас их достаточно в запасѣ во всѣх странах, раненых войною. В том трагическом клубкѣ соціальных, политических, національных и даже религіозных противорѣчій, которыя во многих странах внезапно обострятся послѣ того, как падут цѣпи нацистской тиранiи, будет разгуляться гдѣ на волѣ дѣлателям революціи, злым истерикам соціально-политическаго и національнаго из-

ступленія. Их отмѣнно гуманным салонным покровителям из общества, почитаемаго «лучшим», станет страшновато. Уже появляются во все большем числѣ ораторы, жадно умственным оком вглядывающіеся в картину будущих «гигантских революціонных потрясеній». К счастью, множится также и число соціалистов, которые имѣют мужество указать на всѣ катастрофическія послѣдствія оріентаціи рабочих масс и соціалистических партій на «соціальную революцію» как на метод строительства «новаго міра». Я хочу здѣсь процитировать редактора «Соц. Вѣстника» Р. Абрамовича, котораго трудно заподозрить в принципіальном реформизмѣ и в стремленіи во время войны особенно выпячивать тему о большевизмѣ. Он пишет:

«Если взять интернаціональную ситуацію, так, как она есть, и учитывая при этом и роль С.С.С.Р., как в жизни иностранных государств, так и в рядах международнаго пролетаріата, то не подлежит никакому сомнѣнію, что пролетарская революція сможет и должна будет свершиться под гегемоніей мірового большевизма. Безнадежная утопія думать, что раздробленныя, расколотыя силы демократическаго соціализма сумѣют устоять в отчаянной борьбѣ на два фронта: с одной стороны против капитализма всего міра, который вѣдь напряжет всѣ свои силы, чтобы спасти себя от пролетарской революціи, и с другой — против агрессивнаго диктаторскаго коммунизма, в своих собственных рядах, методы котораго мы хорошо знаем и который вѣдь получит могущественную моральную и матеріальную поддержку от сильной совѣтской державы.

«Утопично надѣяться, как это дѣлают иные англискіе соціалисты или лондонская группа австрійских соціалистов, на мирное соглашеніе с большевиками, по которому они бы сидѣли спокойно в границах своего государства, предоставив проведеніе соціальной революціи во всем остальном мірѣ силам демократическаго соціализма. Хотим ли мы этого или нѣт, современная интернаціональная ситуація и роль Россіи таковы, что всякая постановка вопроса о соціальной революціи практически означает отдачу этой революціи под гегемонію мірового коммунизма. Такая революція должна привести к серіи войн гражданских и національных, к ряду экономических катастроф, сопровождаемых кровавыми столкновеніями невѣроятной жестокости. При этом могут возникнуть комбинаціи чрезвычайнаго характера: в своей отчаянной борьбѣ против угрожающей их существованію соціальной револю-

ціи, буржуазные классы могут искать поддержки в только что потерпѣвшем пораженіе фашизмѣ, если не германском, который будет совершенно разбит, то в фашизмѣ домашнем. Результаты такого мірового катаклизма трудно предвидѣть. Тут возможно продолженіе міровой бойни на годы и годы, как гражданская война в Россіи продлила первую міровую войну до 1921 г.» («Di Zukunft», сентябрь 1942 г.).

Как мы видим, краски наложены Р. А. Абрамовичем очень густо: навряд ли либерально-демократическіе противники соціальной революціи могли бы наложить краски гуще, чѣм это сдѣлал лѣвый демократическій соціалист. Но он прав и нам думается, что в рядѣ европейских стран, если им суждено пройти через революцію в классическом смыслѣ этого слова, создадутся ситуаціи, для которых краски Р. А. Абрамовича могут оказаться и слишком блѣдными. При этом распредѣленіе стран на «союзныя» и «враждебныя» может существенно измѣниться по сравненію с нынѣшним. Вывод из всего этого мнѣ представляется таким:

Война должна быть изжитой, — изжитой внѣшне-политически, соціально и психологически, прежде чѣм созданіе новаго соціальнаго міра может стать практической задачей интенсивнаго «революціоннаго» соціально-политическаго строительства. И будет оно **не цѣлью войны, а цѣлью мира**, которому только и под силу выполненіе таких цѣлей. Нельзя такія цѣли «примыслить» войнѣ, вся матеріальная и духовная суть которой явно и безнадежно этим цѣлям противорѣчит.

Поэтому будем осторожны с этой эсхатологіей «новаго міра», из чрева войны вышедшаго. Не будем слишком увлекаться этой «соціальной революціей», ни вышедшей из угрызенной буржуазной совѣсти, ни из яростнаго убѣжденія распаленных ужасами войны масс в том, что будет, будет оно — всеобщее человѣческое счастье, если «мы на горе всѣм буржуям міровой пожар раздуем». И не будем столь сладостно умиляться этой соціальной патокѣ, от изобилія которой иногда просто нехорошо становится.

Значит, мы воюем даром? Значит, этот великій ужас и великій подвиг войны для нас, для демократіи, безцѣлен? Да, он «безцѣлен», как безцѣльна всякая катастрофа, как безцѣльны землетрясенія, смерчи и всѣ казни египетскія. У переживающих эти казни людей онѣ порождают только двѣ цѣли — пережить их с наименьшими потерями и предупредить возможность их повторенія. Первый главный вывод из

всякой войны, который называть ея «цѣлью» можно только играя словами, — это п о б ѣ д и т ь в ней, разбить врага так, чтобы уже не поднялся. И второй вывод из всякой войны, навязанной мирным народам, это создать такое положеніе вещей, которое отбило бы у всѣх и навсегда и охоту и возможность начинать какую бы то ни было войну с какими бы то ни было цѣлями, хотя бы и самыми возвышенными.

Мы не принадлежим к тѣм, которые полагают, что эта война возникла по экономическим причинам, и поэтому не в экономикѣ лежит для нас рѣшеніе вопроса о прекращеніи самой возможности войны. 20 государств с наиполнѣйшим соціалистическим строем в их экономикѣ, но с диктаторскими режимами в их политикѣ, рисуются нам гораздо болѣе опасными для мирнаго сожительства народов, чѣм 20 государств с наиполнѣйшим капиталистическим строем, но с демократическим режимом, когда рѣшеніе вопросов о войнѣ и мирѣ принадлежало бы не дворам, «героям», генералам, военным заводчикам и кликам военных поставщиков, а тому самому народу, которому придется в войнѣ умирать. Гитлеровскій режим оказался куда менѣе капиталистическим, чѣм Вильгельмовскій, однако военное человѣкоистребительство оказалось при нем в гораздо большем фаворѣ, чѣм при капиталистическом Вильгельмѣ. С тѣх пор, как карту Европы разукрасили диктатуры различных цвѣтов, с тѣх пор война стала в порядкѣ дня Европы, одним из первых его пунктов. Эта капиталистическая, имперіалистическая и матеріалистическая неизбѣжность войны была сущим пустяком и игрушкой по сравненію с диктаторіальными возможностями и неизбѣжностями. Это может быть вполнѣ вредный народ — нѣмцы. Но совершенно очевидно, что если бы эта никуда негодная в глазах лѣвых и правых Веймарская республика, столь ужасно капиталистическая и буржуазная, не пала жертвой все болѣе реакціонных режимов, пользовавшихся тѣм большей поддержкой стран-побѣдительниц, чѣм болѣе режимы эти становились реакціонны, то все таки войны не было бы.

Сейчас проблема уничтоженія войны — это не проблема уничтоженія капитализма, но у н и ч т о ж е н і я д е с п о т и з м а, при каких бы соціальных режимах деспотизм, диктатура, олигархія ни процвѣтали. Режимам, которым ничего не стоит проливать кровь своих собственных граждан, таким режимам еще легче проливать кровь чужих народов, если только, конечно, руки не слишком коротки. Покуда в мірѣ

будет существовать хотя бы только одна сильная держава с деспотическим режимом, до тѣх пор идея всеобщаго разоруженія — идея утопическая. Когда Рузвельт в своем посланіи к Конгрессу от 6 января 1941 г., говоря о четырех свободах, прибавлял к каждой из них слова: «и всюду во всем мірѣ», то это не было только стилистическим украшеніем. Восходя к универсальному духу борцов за религіозную свободу среди піонеров 18 столѣтія, создавших дѣйствительно новый мір свободы, Рузвельт в этих словах « и всюду во в с е м мірѣ» выразил конкретную и конструктивную политическую мысль: демократія — повсюду; пока будет, хотя бы даже и в «концертѣ держав» одна только страна, сильная по территоріи и населенію, но живущая под режимом деспотіи — до тѣх пор всѣм остальным державам надо будет, памятуя прошлое, быть всегда... готовыми к войнѣ. Одна из свобод Рузвельта — «свобода от страха» во всяком случаѣ нигдѣ не сможет быть осуществлена. А вѣдь Президент тут это и имѣл в виду: свободу от страха войны.

Никакіе международные договоры и никакой международный контроль, если даже против него не возстанет національное самолюбіе и «престиж» диктаторски управляемых націй, тут не помогут. Правители и режимы, которые не выносят контроля своего собственнаго народа и не имѣют для этого соотвѣтствующих правомочных государственных институтов — такіе правители и режимы, конечно, сумѣют уже как нибудь уклониться от контроля «чужих», от контроля международнаго. Вообще — самое это понятіе — «международный контроль» — кимвал бряцающій и мѣдь звенящая без своего самаго существеннаго орудія — сильнаго, органической частью режима являющагося, внутренняго контроля своих собственных граждан.

Морально и политически авторитетными и большую власть имущими инстанціями война эта много раз опредѣлялась, как «война за освобожденіе», «война за свободу», «война за демократію». Был даже конкурс на хорошее названіе для этой войны. Освободительный демократическій мотив выдвигался во время конкурса очень часто. В общем конкурс не удался. Но все равно: — этой войнѣ присущ ея смысл. Из этой войны вытекают опредѣленные выводы. Ей имманентны нѣкоторыя идеи. И, отвлекаясь от реальности сегодняшняго дня, можно сказать: это война за демократію, и только в демократіи «всюду и во всем мірѣ» могут быть оправданы тѣ

ужасныя жертвы, которыя уже потребовала и еще потребует борьба за побѣду.

Очень много уже этой бѣдной демократію критиковали. Будут критиковать и дальше. Но она, столь во многом виноватая: и за свое отлыниваніе от войны, и за многія из ея неудач, — она, именно она, эта раскритикованная демократія — смысл и душа, оправданіе и «цѣль» этой войны и только в демократіи могут быть искуплены эти ужасныя неизобразимыя жертвы войны.

Мы теперь убѣждены, что демократіи побѣдят. Но побѣдит ли демократія, как всеобщій интернаціональный и универсальный принцип? Міровая война № 1 тоже закончилась побѣдой демократій. В послѣдній момент слабая, разбитая, обезкровленная на общем дѣлѣ Россія тоже превратилась в демократію. Демократію эту задушили дѣлатели сепаратнаго мира с уже издыхавшим противником. Тогда в 1918 г. побѣдили демократіи. Но уже в момент их торжества на 1/6 части земного шара справляла свой годичный юбилей диктатура, нынѣ почтительно признанная всѣм міром. Побѣдили тогда демократіи, но не демократія, как принцип внутренняго и интернаціональнаго сожительства людей. Побѣдили в войнѣ демократіи, а во внутренней жизни многих и многих государств и среди почитавшихся прогрессивными слоев населенія стал пышно расти чертополох самых своболоненавистническихъ антидемократических идеологій.

Нельзя сказать, чтобы за истекшіе годы и мѣсяцы міровой войны № 2 демократія, как принцип, как основное начало внутренней и международной жизни сдѣлала серьезные успѣхи. Для таких успѣхов демократическим странам долго не хватало побѣд и нынѣ еще не хватает идеологической экспансіи. Демократія вообще оказалась идеологически гораздо болѣе лѣнивой, чѣм диктатуры. Притом практика военных союзов и соглашеній шла на антигитлеровской сторонѣ вовсе не по линіи идейнаго размежеванія между демократіей и диктатурой. Ось оказалась идеологически гораздо болѣе однородной и спаенной, чѣм ея противники. Надежды на то, что военное содружество между великими англосаксонскими демократіями и великой русской диктатурой подѣйствует демократизирующим образом на послѣднюю — надежды эти не оправдались. Не только Россія, как многовѣковое національное цѣлое, но и ея 1/4-вѣковой диктаторскій режим, взятый в отдѣльности, стали пользоваться успѣхом и признаніем, какими они никогда до того не обладали. На эту сторону со-

бытій военных лѣт в печати уже было указано.

Резюмируя идеологическіе итоги 3½ лѣт войны необходимо открыто признать, как это ни грустно, что за это время, в т.н. міровом общественном мнѣніи гораздо больше выиграла диктатура, чѣм демократія. Атлантическая хартія, составленная вождями англосаксонских демократій, с самаго же начала должна была быть сформулирована так, чтобы под ней могли поставить свою подпись и недемократическія, и антидемократическія правительства. Поэтому в нее и не могли войти двѣ свободы — наиболѣе существенныя и для демократіи показательныя — свобода вѣроисповѣданія и свобода слова. Поэтому п. 3 хартіи превозгласил свободу каждаго народа выбирать себѣ любой политическій режим, независимо от его отношенія к демократіи. Поэтому в хартіи ожил 18-ый вѣк с его принципом государственнаго суверенитета, казалось бы достаточно уже скомпрометированным и идеологически похороненным трагической практикой обѣих войн — № 1 и № 2. Основной документ об'единившихся между собой противников Гитлера был под гнетом стратегической необходимости прикроен по мѣркѣ того режима, который демократію раздавил у себя на родинѣ и через филіалы Коминтерна пытался ее взорвать в міровом масштабѣ. Хартія была документом военной коалиціи, но не Декларацією Прав Человѣка и Гражданина.

Но все равно: этой войнѣ имманентны свои идеи и принципы, и если ей можно примыслить какую нибудь цѣль, кромѣ побѣды над врагом, то цѣль эта — м и р н а о с н о в ѣ и н т е р н а ц і о н а л ь н о о б я з а т е л ь н о й д е м о к р а т і и. Свобода от страха новой войны никогда не будет достигнута, покуда по крайней мѣрѣ большія и сильныя государства не подчинятся закону демократіи. Демократизація міра — это первое и основное условіе его пацификаціи. Д е м о к р а т і я п е р е с т а л а б ы т ь п р а в о м н а р о д о в. Д е м о к р а т і я с т а л а и х о б я з а н н о с т ь ю. Всѣ гарантіи международнаго мира — пустыя слова, если государства, в соглашеніе входящія, отрицают правовыя гарантіи в жизни своего собственнаго народа. Всякій международный контроль — пустая фикція, если право контроля отрицается за собственным народом. Интернаціональнаго мира быть не может и не будет, покуда народы будут имѣть право на режим, отрицающій свободу и мир. Свобода, которую имѣли судетскіе нѣмцы и нѣмцы из Саара выбирать себѣ и нацистскій режим — это издѣвательство над международным миром. Выбирать себѣ режим насилія и диктатуры

— это должно быть запрещено сообществом свободных націй, достаточно сильных, чтобы провести это в жизнь.

Вот смысл этой войны, вот из нея же вытекающая цѣль ея, вот идея этой войны: демократическое сожительство демократически организованных народов. Мы должны побѣдить гитлеризм эту античеловѣческую силу. Побѣдить и навсегда уничтожить... Но неужели для того, чтобы заново готовиться побѣдить через какой-то промежуток времени другого, новаго врага?

Вот гдѣ холодным ужасом леденит душу вопрос: — зачѣм кровь проливали? Вот, гдѣ это роковое всемірное кружало — «мир-война, мир-война» гонит к краям отчаянія. Но в с ѣ должны понять, что этого не должно быть, что этого не может быть! Это должны понять в Москвѣ.

Борьба за демократію «всюду и во всем мірѣ» — тот, кто в этих словах видит только пышное велерѣчіе — тот воистину глух к велѣніям времени своего.

Борьба за демократію... За какую? За обыкновенную... За хорошую... За широкую... За честную... За интернаціональную.

У нашей войны не было цѣлей, потому что мы войны не хотѣли. Но для такой цѣли стоит эту войну вести.

Войну за демократію.

Во всем мірѣ.

Ст. Иванович.

СУДЬБА ЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРЕЕВ

Послѣднее тысячелѣтіе по справедливости считается еврейскими историками европейским періодом прошлого евреев. Дѣйствительно, все, что было живого и значительнаго в еврействѣ за этот період, ведет свое происхожденіе из Европы. Правда, в послѣдніе 60 лѣт было создано значительное — количественно и качественно — поселеніе и на других континентах, но ни еврейство американскаго континента, ни палестинское не могут себя считать вполнѣ эмансипированными и вышедшими из колоніальнаго статуса.

Этот факт надо постоянно имѣть в виду, учитывая и для будущаго значеніе европейскаго еврейства. Стоит только представить себѣ, хотя бы в формѣ чисто гипотетической, исчезновеніе или сильное ослабленіе европейскаго еврейства, как его послѣдствія не преминут оказаться во всѣх странах еврейскаго разсѣянія, включая Америку и Палестину. Американское еврейство, оторванное от питающей его связи с Европой, быть может, будет в состояніи создать свои формы общинной или религіозной жизни. Но несомнѣнно, что отсутствіе притока новых элементов из Европы значительно ускорит процесс деколониализированія и «амальгамированія» американскаго еврейства с окружающим населеніем. С своей стороны, палестинское еврейство без постояннаго притока свѣжих сил из Европы вряд ли будет в состояніи усилить свой экономическій и культурный потенціал, необходимый для созданія прочнаго жизнеспособнаго общежитія.

Переходя к вопросу о будущности европейскаго еврейства, надо сказать, что она будет зависѣть, помимо многих других обстоятельств, от исхода войны, ея продолжительности, цѣны побѣды и, наконец, от фактическаго положенія, в котором европейское еврейство будет находиться в момент окончанія военных дѣйствій. Очевидно, что это положеніе, с своей стороны, тѣсно связано с продолжительностью войны. Время — главный фактор побѣды Об'единенных Націй. Вмѣстѣ

[1]) Статья эта принадлежит Я. Д. Робинзону, директору Института Еврейских Дѣл в Нью-Іоркѣ. Р е д.

с тѣм время — главный врагъ еврейскаго населенія нацифицированной Европы. Евреи, какъ граждане, какъ люди, готовы принять время какъ фактор побѣды. Было бы, однако, неразумным отрицать наличіе трагическаго раздвоенія у каждаго еврея, думающаго о судьбах его европейских соплеменников. Однако, нѣт ничего болѣе опаснаго и вреднаго, чѣм дефетизм, сводящійся к тому, что, дескать, евреям все равно как кончится война, ибо евреев к тому времени в Европѣ все равно не останется. Излишній оптимизм совершенно неумѣстен, но так же неумѣстны и подобныя ультра-пессимистическія заявленія. Цѣна побѣды для всѣх Об'единенных Націй растет с каждым днем. Почему же евреи должны быть исключеніем?

Каковы же послѣдствія болѣе чѣм трех-лѣтней войны для европейскаго еврейства? Цѣль, формулированная лидерами нацизма, в частности Гитлером и Геббельсом, опредѣленная: полное истребленіе не только европейскаго, но и мірового еврейства. О чем, однако, умалчивается, это о методах этого уничтоженія, к числу которых принадлежит использованіе еврейской рабочей силы для нужд военной мощи Гитлера. С одной стороны, это как будто ограничивает волю к уничтоженію; с другой стороны, эксплоатація еврейской рабочей силы является одним из методов уничтоженія, наряду с другими, болѣе очевидными и болѣе стремительными.

Процесс уничтоженія еврейства основан на всей націонал-соціалистической доктринѣ, которая только недавно нашла новую формулировку в прогремѣвшей статьѣ юрисконсульта Гестапо Вернера Беста. В этой статьѣ он говорит en toutes lettres: «Историческій опыт нас учит, что уничтоженіе или устраненіе чужого народа не противорѣчит законам жизни, при условіи, однако, что это уничтоженіе тотальное».

Надо сказать, что наши знанія о фактическом положеніи евреев в Европѣ, в частности к востоку от Рейна, полны пробѣлов. Нѣмцы, при всей циничной откровенности своей доктрины, скрывают — и довольно успѣшно — свои дѣйствія, ведущія к осуществленію проводимых ими начал. Мы лучше информированы о том, что происходит к западу от Рейна и в юго-восточной Европѣ. Мы полностью бродим в потемках в отношеніи громадных пространств, занятых нѣмцами послѣ агрессіи на Совѣтскій Союз. Мы имѣем, однако, возможность от поры до времени получать точныя свѣдѣнія от видных лиц, пробирающихся иногда за германскій кордон. Недавно посѣтившее Европу высокопоставленное лицо подтвердило

значительную часть непровѣренных извѣстій, полученных нашим Институтом из других источников.

Я не намѣрен дать полной картины всего происходящаго в Европѣ, ограничусь только нѣкоторыми аспектами этой картины.

Первое и, быть может, чреватое самыми серьезными послѣдствіями для будущаго, это новое разселеніе еврейства. Можно сказать с значительной долью приближенія к абсолютной истинѣ, что исторически границы еврейскаго населенія мало измѣнились со времен раздѣлов Польши. Правда, за это время еврейство Европы сильно разраслось. Но географическіе центры оставались почти тѣ же. Только в самом Совѣтском Союзѣ за послѣдніе 20 лѣт намѣчалась опредѣленная тенденція к оставленію областей традиціонных еврейских поселеній Украины и Бѣлоруссіи и к проникновенію в области, бывшія в царскія времена внѣ черты осѣдлости. Этот процесс во время войны значительно усилился. Надо полагать, что при вторженіи германцев в Совѣтскій Союз большая часть населенія нынѣ оккупированных ими областей, в частности Восточной Украины, Восточной Бѣлоруссіи и РСФСР, была эвакуирована вглубь Союза. Как извѣстно, совѣтская политика была против хаотическаго бѣженства, но за организованную эвакуацію. Евреи, принадлежавшіе к тѣм соціальным слоям, которые в первую очередь эвакуировались, а именно, к хозяйственной и административной бюрократіи и к промышленному пролетаріату, были в числѣ этих счастливцев. Надо думать, что фактъ особенной опасности, угрожавшей еврейскому элементу, не мог не быть учтенным советской властью при проведеніи ею политики эвакуаціи.

С другой стороны, германцы ведут систематическій процесс депортаціи на восток как евреев, живущих в Польшѣ, Словакіи и Протекторатѣ, так и живущих в Германіи и в оккупированных западно-европейских государствах. В Западной Европѣ депортаціи, в первую очередь, подвергаются иностранцы, но в виду того, что в Бельгіи и во Франціи количество евреев-иностранцев равно или превышает количество евреев-туземцев, то не трудно видѣть, какая большая масса затронута этим процессом. Впрочем, нѣмцы не особенно считаются с документами подданства, и фактически не только иностранцы, но и коренные туземцы выселяются из этих двух стран и из Голландіи.

В результатѣ политики «разселенія» из 1.200.000 евреев, живших в Германіи, Австріи, Франціи, Голландіи и Бель-

гіи в 1933 г., там вряд ли осталось к лѣту этого года больше 350 тысяч. Всего лѣтом 1942 г. восточнѣе бывшей польско-германской границы было концентрировано около трех с половиной милліонов человѣк, т. е. 70% всего наличнаго еврейства Европы. Помимо элемента разселенія, в нем, как и в элементѣ принудительнаго труда, имѣется и элемент уничтоженія. В оффиціальном докладѣ Обергруппенфюрера Фердинанда Гиге (Hiege) главѣ Гестапо Гиммлеру заявляется, что потери при депортаціи в первом періодѣ составляют до 30%. При чем, надо имѣть в виду, что этот доклад касается не только еврейских депортированных. Не будет поэтому преувеличеніем принять цифру в 30%, как минимальную цифру потерь для еврейских выселенцев. Принимая, однако, во вниманіе факты повторных выселеній, этот и без того высокій процент потерь должен быть во многих случаях по крайней мѣрѣ удвоен.

При этой политикѣ уничтоженія, принудительнаго труда и новаго разселенія неудивительно, что абсолютныя цифры еврейскаго населенія в Европѣ за 38 мѣсяцев войны сильно упали. Мы полагаем, что в сентябрѣ 1933 г., к началу войны, в областях, находящихся нынѣ под германским контролем, жило около 8 мил. 150.000 евреев. В іюлѣ 1942 г. в этих областях жило еще около 5 мил. евреев. Куда же дѣлась разница в 3.150.000?

Около 150.000 человѣк успѣли вырваться из этих частей Европы и добраться до берегов Атлантическаго и Средиземнаго Моря. Около 1.600.000 было эвакуировано вглубь Совѣтскаго Союза. Около 1.500.000 погибло, из них пало на полѣ брани около 200.000 человѣк, полмилліона человѣк стали жертвой погромов и массовых убійств, 200.000 человѣк погибло при депортаціях, 50.000 покончили самоубійством или погибли в концентраціонных лагерях и 550.000 составляет біологическій дефицит в результатѣ систематическаго недоѣданія, тяжелаго труда, вынужденаго бездѣйствія, эпидемій и психической депрессіи, вызванной главным образом полной неувѣренностью в завтрашнем днѣ. Выходит, что почти пятая часть всего еврейскаго населенія погибла меньше чѣм в три года войны. Принимая эту цифру, мы весьма критически отнеслись к безчисленным сообщеніям о массовых звѣрствах по отношенію к еврейскому населенію, исходящим как от правительственных органов, так и от газетных корреспондентов. Если всѣ эти цифры принять на вѣру, то боюсь, что евреев в Европѣ не осталось. Однако, при всѣх преувеличе-

ніях этих данных, зерно истины в них имѣется. Жутко подумать о том, что случилось в лѣтніе и осенніе мѣсяцы этого года, отмѣченные рѣзким усиленіем обоих методов уничтоженія — медленной и мгновенной смерти.

Не мѣшает вспомнить при этом случаѣ, что процесс уничтоженія евреев начался в Германіи в 1933 году и в Австріи в 1938 году. До начала войны в этих двух государствах было 33.000 жертв насильственной смерти (самоубійства и концлагеря). Вмѣсто еврейскаго населенія в 700.000 (1933 г.), лѣтом этого года там его вряд ли насчитывалось больше 50 тысяч.

Будущность народа опредѣляется не только количеством населенія, но и его качеством. Каковы же качества этой массы вырванной с корнем из своих традиціонных поселеній и подвергшейся, в лучшем случаѣ, ежедневному холодному погрому?

Физически эта масса представляет собой элемент, который в первую очередь к концу войны будет нуждаться в продолжительном процессѣ оздоровленія. Условія питанія в Европѣ сами по себѣ довольно мизерны. Для еврейскаго же населенія созданы спеціальныя условія, в свѣтѣ которых общія условія кажутся недосягаемым идеалом. У всѣх народов деревенское населеніе почти не страдает от недоѣданія. Как ни жесток режим пайка, он во всяком случаѣ не распространяется на деревню. Еврейскій городской элемент лишен и этой привилегіи. Мало того, даже городской нееврейскій элемент имѣет возможность улучшить паек путешествіем в деревню, гдѣ живут родные и знакомые; евреи, запертые в гетто или в концентраціонных и трудовых лагерях, этой возможности не имѣют. К тому же еще прибавляется, что еврейскій паек вдвое или втрое меньше общаго пайка; что евреям недоступны нераціонированные продукты, и что для закупки с'ѣстных припасов им отведен один или два послѣобѣденных часа, когда лавки фактически уже пусты.

Не менѣе безотрадно и экономическое положеніе. Лишенные всей своей собственности, вырванные и исключенные из всѣх профессій и занятій, евреи, за рѣдкими исключеніями, имѣют только выбор между принудительным неквалифицированным трудом и нищенствованіем. Деклассированіе цѣлаго народа, кажется, не имѣет прецедента в исторіи. Как народ книги, евреи всегда гордились интеллектуальными достиженіями, высокой степенью грамотности и большим вкладом в сокровище міровой культуры. В нацистской Европѣ это кончилось, и никакая духовная активность невозможна. За три

года войны большинство еврейских дѣтей оставалось внѣ школы и без внѣшкольных способов образованія, и трудно предвидѣть, какіе проблемы предстанут в связи с этим послѣ окончанія войны.

Мало конкретнаго извѣстно о моральном состояніи еврейских масс. Трудно, однако, предположить, что тѣ жестокія условія, в которых находится большинство европейскаго еврейства, могут вызвать повышеніе моральных стандартов.

В связи с этим положеніем многіе ставят себѣ вопрос: Можно ли отложить вопрос о судьбах европейскаго еврейства до конца войны? Не будет ли слишком поздно тогда? Не слѣдовало ли начать теперь какую-нибудь большую акцію для спасенія европейскаго еврейства? И в этом отношеніи намѣчается сильное расхожденіе между до-ассимиляціонной еврейской общественностью и по-ассимиляціонной. Ортодоксальная группа в еврействѣ проповѣдует политику недѣланія; она выражает, быть может, не совсѣм необоснованный скептицизм в отношеніи возможных результатов еврейской акціи. Она справедливо указывает на то, что евреи не одни, что они не единственныя жертвы этой войны, что не только малыя и среднія державы, но даже великія державы не в состояніи заставить Германію перемѣнить свою политику и тактику по отношенію к мѣстному населенію оккупированных областей. Эта группа идет дальше, утверждая, что всякая акція не только будет безполезна, но и вредна, ибо она вызовет еще большее раздраженіе в рядах германцев и усиленіе анти-еврейских преслѣдованій. Она утверждает — без основанія на сей раз, — что анти-нацистская акція, предпринятая евреями с 1933 г., вродѣ бойкота, привела только к дальнѣйшему ухудшенію еврейскаго положенія в Германіи. На самом дѣлѣ, всякій безпристрастный историк должен признать, что, какова бы ни была установка евреев к нацистам, анти-еврейскія мѣры были в их программѣ и потому неизбѣжны, независимо от воли евреев.

Конечно, немногое может быть сдѣлано теперь, при заревѣ мірового пожара. Было бы, однако, безответственно упустить малѣйшее из того, что может быть сдѣлано. Спасеніе всякаго индивидуальнаго еврея является не только актом человѣколюбія, но также и актом политическим. Филантропія немыслима без предварительной политической подготовки. Границы между этими двумя методами незамѣтно стираются, и рѣшеніе заключается в комбинаціи этих двух методов для одной и той же цѣли. Коллектив-

ныя или индивидуальныя посылки в оккупированную Европу, эмиграція из Европы в другія страны свѣта угрожаемой части еврейства, спасеніе дѣтей, — вот непосредственныя ударныя задачи как для еврейской политики, так и для всякаго филантропа. К ним присоединяется еще одно: мобилизація общественнаго мнѣнія всюду, даже в странах, зависящих от Оси, для предотвращенія возможных болѣе жестоких гоненій. Как скептически ни смотрѣть на Лаваля, мы не можем отрицать того факта, что реакція внѣ-европейских стран, в частности Соед. Штатов, и мѣстнаго населенія Франціи, в частности христіанскаго духовенства, возымѣла свое дѣйствіе в политикѣ депортаціи. У меня перед глазами документ, подписанный Дарланом и адресованный делегату французскаго правительства в Парижѣ; в этом документѣ Дарлан рѣшительно высказывается против проведенія новых анти-еврейских мѣропріятій в оккупированной Франціи, мотивируя свое несогласіе тѣм, что дальнѣйшія мѣропріятія могут только усилить симпатіи мѣстнаго населенія к гонимым евреям[1]). Наряду с великими державами из числа Об'единенных Націй, Ватикан имѣет свое мѣсто и значеніе во всякой мобилизаціи общественнаго мнѣнія против германских жестокостей.

Что же, однако, произойдет послѣ войны? Конечно, нѣт ничего болѣе рискованнаго, чѣм предсказывать будущее. Оно от нас закрыто густой вуалью, и была бы дерзновеніем попытка проникнуть в его сокровенность. Однако, допустим, что война кончилась сегодня; допустим далѣе, что то, что мы знаем о положеніи еврейства, соотвѣтствует дѣйствительности. Что тогда? Основной вопрос, который придется рѣшать, это вопрос о возможных границах реинтеграціи евреев в странах их поселеній до начала нацистской агрессіи. Конечно, единицы, может быть тысячи, смогут вернуться и проникнуть в поры новых экономических и политических организмов. Однако, болѣе чѣм сомнительно, что это удастся сдѣлать массам. Не забудем, что их лавки и мастерскія заняты главным образом мѣстным населеніем, если не совсѣм закрыты, отчасти в процессѣ раціонализаціи торговли и промышленности. Как поведет себя польское правительство, реакціонное, демократическое, даже соціалистическое, в таком случаѣ? Пошлет ли оно полицейскіе наряды для выселенія сотен тысяч поляков из их лавчонок и мастерских с тѣм, чтобы водворить там

[1]) Тѣм временем германцы нарушили перемиріе и заняли всю Францію.

евреев? Боюсь сказать, что еще не родился тот министр внутренних дѣл, который даст такой приказ и который рѣшится насильно водворить евреев в первобытное состояніе, как говорилось когда-то на бюрократическом языкѣ царской Россіи. А если бы он даже рѣшился это сдѣлать, если бы даже эти евреи были водворены в первобытное состояніе, не трудно представить себѣ, как они себя чувствовали бы среди враждебнаго населенія. Надо думать, что будет мало охотников рваться в пасть ко льву. А если так, куда же их дѣть? Если послѣ войны будет возстановлена свободная иммиграція, вопрос может рѣшиться сам собой. Шансы, однако, на возстановленіе свободной иммиграціи незначительны. Придется поэтому думать и планировать иммиграцію не в колонизованные уже части свѣта, а в области, нуждающіеся в колонизаціи. Другими словами, вмѣсто инфильтраціи эмигрантов придется перейти к систематической колонизаціи мало заселенных и климатически благопріятных областей. Гдѣ онѣ будут? Это трудно сказать в данный момент. Надо, однако, полагать, что Палестина с ея 60-лѣтним стажем еврейской колонизаціонной практики, при наличіи благопріятных политических условій, может играть громадную роль.

Подобнаго рода динамическое рѣшеніе проблемы еврейских масс Европы ничуть не устраняет необходимости возстановленія евреев в их личных и имущественных правах немедленно послѣ окончанія военных дѣйствій. При громадности и безпримѣрности проблем, которыя предстанут перед нами в концѣ войны, врядъ ли возможно будет одно рѣшеніе. Их, по всей вѣроятности, будет нѣсколько.

В данный же момент задача американскаго еврейства заключается в том, чтобы не только готовиться к будущему, но принять всѣ мѣры к спасенію европейскаго еврейства. Лига Спасенія Европейскаго Еврейства, состоящая не только из евреев, могла бы, в границах возможнаго, много сдѣлать. Задача же вновь прибывших в Америку евреев заключается в том, чтобы будить общественную совѣсть и не дать ей успокоиться на квіетизмѣ и чистой филантропіи. Только путем постоянных и рѣшительных дѣйствій можно надѣяться внести улучшеніе в тяжелое положеніе европейскаго еврейства.

Я. Робинзон.

СТИХІЯ СКИТАЛЬЧЕСТВА У КОРИФЕЕВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

8-го іюня 1880 года на торжественном засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности справлялся Пушкинскій юбилей. Почтили празднество своим присутствіем и западник Иван Сергѣевич Тургенев, и славянофил Иван Сергѣевич Аксаков. Смѣняли друг друга мастера юбилейнаго краснорѣчія; в мѣру витійствовали, в мѣру восхваляли, в мѣру печалились. Все было пышно, юбилейно и чинно. Mais quelqu'un troubla la fête: произошло нѣчто, сломавшее рамки оффиціальных программ. Это было выступленіе Достоевскаго.

Он взошел на кафедру — и она превратилась в трибуну. «Не прошло и пяти минут — рассказывал потом Глѣб Успенскій — как у него во власти были всѣ сердца, всѣ мысли, вся душа всякаго без различія, присутствовавшаго на собраніи». Какія то невидимыя нити протянулись от него к слушателям. В него вперились всѣ глаза, каждое его слово ловилось напряженным слухом в мертвой тишинѣ, в которой, казалось, можно было разслышать по. лет мухи. Потому-ли, что во всей залѣ не было человѣка, равнаго ему по силѣ его «жестокаго таланта», вскрывающаго всѣ бездны и провалы мятущейся человѣческой души? Потому-ли, что за Достоевским виднѣлась тѣнь его прошлого — политическаго преступника, в свое время на эшафотѣ уже простившагося мысленно с жизнью — и в послѣдній момент п о м и л о в а н н а г о к к а т о р г ѣ? Потому-ли, наконец, что трагедія Достоевскаго особенно живо напомнила аудиторіи трагедію самого Пушкина, — вѣчно поднадзорнаго, друга декабристов, то и дѣло призываемаго под стеклянныя очи русскаго Августа («но Август смотрит сентябрем» — комически жаловался поэт друзьям) и затравленнаго придворной камарильей? Потому-ли, что чѣм-то «нездѣшним» вѣяло от всего облика оратора — от его худой, изможденной и сгорбленной фигуры, с изрѣзанным рытвинами морщин лбом, с глубоко посаженными, мрачным свѣтом горящими глазами? Достоевскій думал сам (повидимому, неправильно), что это его изобразил Некрасов в поэмѣ «Несчастные», под видом

загадочнаго арестанта — «Крота», вдруг почувствовавшаго в себѣ ветхозавѣтнаго пророка:

Корит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово, как гроза,
И как-то бѣшено и чудно
Горят глубокіе глаза...

Нам неизвѣстны другія ораторскія выступленія Достоевскаго — да ему и недолго оставалось жить послѣ «лебединой пѣсни» своей на Пушкинском юбилѣе. Может быть, что он так и сошел в могилу, не распознав в себѣ «оратора Божьей милостью»: из тѣх, которые не вырабатываются, а рождаются, чтобы «глаголом жечь сердца людей». Но возможно также, что он был «оратором единственной рѣчи», как бывают «авторы единственной книги», до такой степени исчерпывающіе в ней свою духовную сердцевину, что им ничего болѣе не остается, как давать ослабленные перепѣвы все того же «лейтмотива» всей жизни. Так или иначе, но своды зала «Общества Любителей» сотряслись от «никогда еще в нем неслыханных рукоплесканій», то была овація, граничившая с «идолопоклоненіем». Недаром И. Аксаков заявил, что была «не рѣчь, а событіе»; недаром вокруг оратора, еще не остывшаго от нахлынувшаго вдохновенія, тѣснилась толпа экзальтированных дѣвушек; а юноша, прорвавшійся на эстраду, чтобы пожать Достоевскому руку, прикоснулся к ней и упал в обморок...

Ясно, что Достоевскій задѣл в молодых сердцах какую-то трепетную, туго натянутую струну. Что же такое с'умѣл он сказать о Пушкинѣ?

Он говорил, что Пушкин дорог нам прежде всего не четкостью музыкальнаго ритма, не блеском воображенія, не изумительной простотой, словно родниковой кристальностью поэтическаго стиля. Это — много, но это — еще «не то». Прав был Гоголь, разгадавшій в Пушкинѣ «явленіе чрезвычайное и, может быть, единственное явленіе русскаго духа»...

— «и пророческое!» — вдруг с особым удареніем и особою силою не произнес, а загремѣл Достоевскій — «новым направляющим свѣтом озаряющее темную дорогу исторіи нашей. В этом смыслѣ Пушкин для нас — пророчество и указаніе!»

Так высоко подняв весь тон трактовки Пушкинской темы, Достоевскій ведет далѣе слушателей от неожиданности

к неожиданности. Из всей поэзіи Пушкина он выдѣляет Ц ы г а н, гдѣ — твердит он — заложена «сильная и глубокая, вполнѣ русская мысль». Нигдѣ не найти «такой самостоятельности страданія и такой глубины самосознанія» — присущей с к и т а л ь ч е с к о й стихіи русскаго духа.

«В Алеко Пушкин уже отыскал и геніально отмѣтил тип несчастнаго скитальца в родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося в оторванном от народа обществѣ нашем... Тип этот вѣрный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской землѣ, поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще надолго, кажется, не исчезнут». Но если прежніе Алеко уходили за цыганами и за их таборами — расшифровывает мысль свою Достоевскій — то теперь они уходят в революцію, в соціализм, все равно: «они ходят с новою вѣрою на другую ниву и работают на ней ревностно, вѣруя, как и Алеко, что в дѣланіи своем достигнут цѣли своей и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо — тут голос Достоевскаго окрѣп и зазвучал торжественнѣе — «русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успокоиться на меньшем он не примирится!» Он разом, самым мѣтким, самым прозорливым образом отмѣтил с а м у ю г л у б ь н а ш е й с у т и, сути нашего верхняго, над народом стоящаго обшества... Он первый угадал его геніальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значеніем его в нашей грядущей судьбѣ». Новая овація была ему отвѣтом, — Достоевскій в глазах молодежи уже выростал в «пророка русской революціи» (так впослѣдствіи и назовет его Мережковскій). Заканчивал Достоевскій ярко «народническими» нотами. «Та же воспріимчивость к пониманію чужого народа, его души, его радостей и печалей — увѣрял он — та же воспріимчивость свойственная вдохновенному выразителю русской души, — свойственна и всему русскому народу; печали и радости, волнующія жизнь европейскаго человѣка, его страданія, — для каждаго из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей!» Это ли не залог того, что именно русскому народу суждено «внести в человѣческую семью умиротвореніе», — «ибо что такое сила духа русской народности, как не стремленіе ее, в конечных цѣлях своих, ко всемірности и всечеловѣчности?»

Так говорил Достоевскій: Пушкинскій праздник есть

праздник современных борцов за всемірность и всечеловѣчность! Алеко? Но развѣ сам Пушкин этой стилизаціей собственнаго имени «Александр» не подчеркнул автобіографическаго элемента в мыслях и переживаніях героя «Цыган»? И развѣ мы не знаем, что сам он, в Бессарабіи, однажды на нѣсколько дней пропал, забыв служебное порученіе, с цыганским табором, — как позднѣе, из Царскаго Села, с мужицким обозом? Конечно, не от Достоевскаго могла укрыться автобіографическая струя и в другом, на его взгляд «самом гармонически совершенном произведеніи пушкинскаго генія» — в Евгеніи Онѣгинѣ. Достоевскій прямо утверждает: в нем «тот же самый Алеко является уже не в фантастическом свѣтѣ, а в осязаемом, реальном и понятном видѣ». Прибавим мимоходом, что свой Алеко есть и у Льва Толстого: юнкер Оленин, только среди «Казаков» вмѣсто «Цыган».

Алеко отряхнул от ног своих прах того общества, в котором

> Любви страшатся, мысли гонят,
> Торгуют волею своей,
> Главы пред идолами клонят
> И просят денег, да цѣпей.

Этот язык — почти алгебраичен; так могло быть вчера, как и сто лѣт тому назад, и под любым градусом широты и долготы. Совершенно иное — Евгеній Онѣгин: он дитя своего вѣка и своей среды. Он — преемник Чацкаго, котораго, по разбросанным у Грибоѣдова намекам, можно считать сотрудником опальнаго Сперанскаго. Чацкій тоже осужден на «скитальчество», осужден «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголок!»

Пушкину была нужна по меньшей мѣрѣ такая же степень уточненія и самого образа Онѣгина, и природы его морально-общественной трагедіи, какая удалась Грибоѣлову с Чацким. Нужна — и невозможна. Достоевскій поэтому в дѣйствующих лицах поэмы увидѣл простые символы. Грибоѣдовская Софья может считаться символом тогдашней Россіи; то же — как зорко подмѣтил Достоевскій — можно сказать и о Пушкинской Татьянѣ. В ея лицѣ сама Россія сначала увлекается, потом разочаровывается в новом, болѣе модернизированном воплощеніи «того же Алеко». Однако, в его уравненіи: «Алеко равен Евгенію, равен Александру Пушкину» надо из средней величины вычесть не только ум и геній Пушкина, но и не

менѣе изумительный его т е м п е р а м е н т. Недаром же Пушкиным то и дѣло «овладѣвало безпокойство, охота к перемѣнѣ мѣст, — весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест». Недаром он все порывался куда то, вон из тѣсных рамок Петербургской имперіи: то на Кавказ, под «перестрѣлку за холмами», то в Западную Европу, то в Китай, куда он в 1829 году формально и конечно, безуспѣшно просился, и даже мечтал очутиться там, откуда пришел его род:

Под небом Африки моей.

Евгеній Онѣгин, хотя Пушкин и увѣряет порою, что он был надѣлен оригинальным и ѣдким умом, прежде всего — лѣнивый и барственный баловень судьбы, «всевышней волею Зевеса наслѣдник всѣх своих родных»; а Пушкин, весь вѣк бившійся, как рыба о лед, о безденежье и никогда не вылѣзавшій из долгов, был совершенно исключительным явленіем по своей изумительной умственной энергіи и рѣдкой работоспособности; про него можно было сказать: «и жить торопится и чувствовать спѣшит»; от Онѣгина лежала дорога к Обломову; Пушкин был живою антитезою славянской обломовщины.

Однако, не слѣдует забывать, что Онѣгин остался у Пушкина недорисованным по тѣм самым «независящим обстоятельствам», по которым Пушкин должен был и предать сожженію — десятую пѣснь своей поэмы. В свое время Писарев жестоко раздѣлался с Онѣгиным, а через его голову — с Пушкиным; знай он то, что знаем мы теперь, послѣ трудов Брюсова, Щеголева, Гофмана, Гершензона, Лернера и прочих пушкиновѣдов, он должен был бы сам сконфуженно перечеркнуть девять десятых своей нашумѣвшей в то время статьи. Теперь мы знаем: Пушкин вообще думал, что для Онѣгина «о печати и думать нечего». Мы знаем, что в неискалѣченном текстѣ Пушкин вводил своего героя в круг декабристов

Гдѣ Лунин дерзко предлагал
Свои р ѣ ш и т е л ь н ы я м ѣ р ы,

Как гласил уцѣлѣвшій и ныеѣ разобранный «зашифрованный отрывок» из преданной сожженію части поэмы. Только в нем ключ к пониманію «путешествія (первоначально — с т р а н с т в і я) Евгенія Онѣгина». Оно оставлено в

брульонах, в отрывкх с явно демонстративною цѣлью: показать публикѣ, что от широкаго замысла волею судеб остались только «рожки да ножки».

Онѣгин, не находящим себѣ мѣста с к и т а л ь ц е м мечется по всей Россіи. Онѣгины, эти «овцы без стада и без пастыря» в пережившей разгром декабристов Россіи вездѣ — наприкаянныя, изящныя и умныя ненужности, вездѣ преслѣдуемые этой своей ненужностью, как неотступною черною тѣнью, вездѣ с одним и тѣм же рефреном: «тоска! тоска!»...

Мимоходом замѣтим: по вопросу об автобіографическом элементѣ в Онѣгинѣ слѣдует помнить, что этот рефрен взят из письма самого Пушкина — к Рылѣеву...

У Пушкина есть одно, не часто цитируемое стихотвореніе: «Однажды, странствуя, среди пустыни дикой...» Хотя оно является переводом из англійскаго мистика Буньяна, но поэт вложил в него свои переживанія. Все оно покрыто какой то загадочною дымкой. Того, от чьего лица идет рѣчь, — терзают «души пронзенной муки». Пронзила ее «великая скорбь», скорбь незнанія — что суждено ему и что ему дѣлать; всѣ его родные, близкіе, видя и слыша какіе вопли испускает он, и как «в тоскѣ ломает руки», давно уже от него отступились, —

Как от безумнаго, чья рѣчь и дикій плач
Докучны, — и кому суровый нужен врач.

Только побѣг от протоптанных дорог, только «странствіе среди пустыни дикой» приводит его к порогу разгадки. В нем передано чувство духовной смуты и тоски по цѣлеустремленности жизни. Человѣку надо озарить сумерки существованія «нѣкіим свѣтом», на который можно идти, как евреи шли за своим столпом облачным. Но эта старая метафора здѣсь осложняется почти физически-осязательным ощущеніем своего отщепенства, отрыва от родной среды, бѣгства, странничества, мы сказали бы: А г а с ф е р о в а Н а ч а л а.

Но грозовая туча — 14-ое декабря — отшумѣла и разметана, — тѣм безнадежнѣе и душнѣе атмосфера, словно душа «за рѣшеткой в темницѣ сырой», как томящійся в клѣткѣ орел — чудится Пушкину — «Зовет меня взглядом и криком

своим — И вымолвить хочет — давай, улетим! — Мы вольныя птицы: пора, брат, пора!»

И долго долго поэтическая мечта Пушкина рисует ему в заманчивых чертах этот отлет, этот побѣг, и сам он рисуется себѣ в чертах одного из своих героев: «Отступник свѣта, друг природы, — Покинул он родной предѣл — И в край далекій полетѣл - - С веселым призраком свободы. - Свобода. Он одной тебя — Еще искал в подлунном мірѣ...».

Но пройдет и этот період, и среди рабов он сам себя почувствует уставшим от бунта рабом: а программа свободы сѣжится до размѣров тихой пристани; «— На свѣтѣ счастья нѣт, а есть покой и воля - Давно завидная мечтается мнѣ доля, — Давно, у с т а л ы й р а б, замыслил я побѣг - - В обитель дальнюю трудов и чистых нѣг.»

Максимализм былых требованій от жизни смѣняется самым скромным минимализмом. Свобода для всѣх? Права человѣка? Мечты, ечты, гдѣ ваша сладость? «Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет». Дай бог себя самого отстоять от деспотических покушеній, найти хоть скромный уголок, гдѣ тебя предоставят самому себѣ... «Вот счастье! вот права!»

Если нужны біографическіе комментаріи к этим поэтическим мотивам, то их сколько угодно в его перепискѣ с друзьями. Оборотной стороной скитальчества у него является там чувство о б р е ч е н н о с т и. В Пушкинском музеѣ есть его рисунок висѣлицы с 5 повѣшенными декабристами, и припиской: «и я мог бы, как тут...»

Смерть или побѣг: эта альтернатива давно предчувствовалась Пушкиным. Его иногда упрекали в односторонне-сатирическом отношеніи к Россіи; он только пожимал плечами: «У меня затрещала бы набережная, когда бы я только коснулся сатиры!» Брату Льву он раскрывал себя цѣликом: «меня тошнит с досады: на что ни взглянешь, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли тому быть?» К Е. М. Хитрово он пишет: «и среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего вѣка!» Брату он прозрачно намекает на свое желаніе «взять потихоньку трость и шляпу»... «Святая Русь мнѣ становится невтерпеж» — еще прямѣе пишет он в другой раз: «ubi bene, ibi patria (родина там, гдѣ хорошо живется). А мнѣ, — вот там, гдѣ растет трын-трава, братцы!» То был намек на одно

подпольное стихотвореніе того времени*), и означал он намѣреніе перебраться на родину Вольтера, родину свободы. Кн. Вяземскому он прямо пишет: «ты, который не на привязи, — как можешь ты оставаться в Россіи?»... И предупреждает, что о нем еще могут услышать: «он удрал в Париж и никогда болѣе в проклятую Россію не вернется...» Наконец, это настроеніе подымалось в нем до самых высоких нот: «я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног!...»

Мы сдѣлали бы, однако, ошибку, если бы приняли эти слова слишком буквально. В психологію русскаго духовнаго скитальчества вовсе не входит «моральная безотцовщина». В том же письмѣ к Вяземскому мы находим признаніе, что ему было, однако же, совершенно невыносимо слышать, когда сколько нибудь похожіе отзывы о Россіи раздавались из уст иностранца. Ясно: «проклятая Россія!» есть не вскрытіе его глубиннаго к ней отношенія, а просто гнѣвное богохульство сквозь скрежет зубовный. Мы знаем, что Пушкин отечеством своим гордился до эксцессов, — как в «Бородинской годовщинѣ» или в отповѣди «Клеветникам Россіи». Изреченіе «ubi bene, ibi patria» было в его устах лишь вызывающецинническим парадоксом. Нѣт, душѣ подлиннаго «скитальца-страдальца» русскаго поверхностно-свѣтскій «космополитизм» чужд. В любом концѣ міра Россія останется навѣки врѣзанной в его сердце; Пушкин знает, что не перестанет и среди тропиков,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной Россіи.

Но Россія не баловала его. В раздраженіи на облетавшія всю Россію эпиграммы, Александр I хотѣл замуровать его в Соловецкій монастырь. Николай I нашел месть болѣе изощренную: превратить его в собственнаго придворнаго поэта. Отсюда и берет свое начало та извѣстная личная трагедія поэта, в которой не было пощажено ни его личное достоинство, ни его свобода, ни его семейная честь: все было оклеветано, унижено и забросано грязью. Прав Валерій Брюсов: Пушкин «почти что искал смерти, как единственнаго выхода из тисков, в которыя его загнала милость царя». Это «почти что» можно опустить. У Пушкина созрѣло сознанье, что «во

*) Ах, гдѣ тѣ острова, гдѣ растет трын-трава, братцы; гдѣ читают «Ticelle» и летят под постель «Святцы».

всѣх стихіях человѣк — тиран, предатель или узник»; он был узником, его окружали предатели, и над всѣм и всѣми парил холодный, бездушный тиран. «И смерти мысль мила душѣ моей», безтрепетно выводило пушкинское перо. Ибо «блажен, кто праздник жизни рано — Оставил, не допив до дна — Бокала полнаго вина»: вѣдь на днѣ, навѣрно, смертельный ял.

В трехтомном сборникѣ статей и рѣчей Ключевскаго есть удивительная по художественной прелести рѣчь «Предки Евгенія Онѣгина». Он нисходит в глубь исторіи по этапам послѣдовательных поколѣній, в эпоху каждаго из них прикидывая — как выглядѣл бы тогдашній «Евгеній Онѣгин»? Мы однако, за ним не пойдем и галлерею «предков» выхватим из самой жизни.

Вот, напримѣр, умершій за 200 лѣт до трагедіи декабристов — в 1625 г. — князь А. И. Хворостинин. Был он горд: «в разум себѣ в версту не поставил никого»; по обыску были у него найдены «латинскія книги». Началось у него с того же, е чего у Пушкина с его «Гавриліадой»: «в вѣрѣ пошатался и православную вѣру хулил, про святых угодников божьих говорил хульныя слова». Хотѣл отпроситься или даже бѣжать — совсѣм как творец О н ѣ г и н а — в чужіе края (Литву). Мысли свои повѣрял бумагѣ — в рукописях его найдены «скука и тоска по чужбинѣ, презрѣніе к доморощенным порядкам». Писал: «в Москвѣ людей нѣт, все народ глупый, ж и т ь н е с к ѣ м, сѣют землю рожью, а живут всѣ ложью»; осмѣливался дерзко говорить даже «о деспотѣ русском». Был упрятан в монастырь (как собирался упрятать Пушкина Александр I), но потом, очевидно, сломленный и смирившійся — был возвращен, возстановлен в дворянствѣ и получил даже доступ ко двору, но скоро был унесен смертью.

А вот слѣдующій — Ордын-Нащокин, котораго многіе ученые считают «первым государственным человѣком российской исторіи». Он «во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которыя осуществил преобразователь». Но волею был своенравен: осмѣлился в 1671 г. отказаться исполнить одно из царских предписаній; постригся в монахи; но демонстративнаго побѣга от жизни в монастырь долго не выдержал и в 1680 г. скончался.

Или Опочинин: ярославскій помѣщик, большой вольно-

думец. Сам порвал нить своей жизни, оставив предсмертную записку, полную «космополитической скорбью». В ней писал: «отвращеніе к нашей русской жизни есть то самое побужденіе, принудившее меня рѣшить своенравно свою судьбу». Оставил распоряженіе отпустить на волю двѣ семьи своих дворовых и раздать крестьянам барскій хлѣб. «Не знаю — трогательно признался он — кому завѣщать мои книги, сокровище, которое питало меня в жизни; онѣ только и держали меня еще на землѣ». И предал их — огню...

Все это были прародители Онѣгина по духу — и по благородному сословію. Но в той же второй половинѣ семнадцатаго вѣка «скитальческій» дух обуял и болѣе плебейскій по происхожденію служилый класс. Вписавшій свое имя в исторію русскаго самосознанія Котошихин, достаточно извѣстный широкой публикѣ еще по гимназическим учебникам русской словесности, кончил жизнь настоящим Агасфером. Под'ячій посольскаго приказа, «человѣк ума несравненнаго», он не выдержал того же, чего не могли выдержать Хворостинины, Ордын-Нащокины, Опочинины. Он сбѣжал в Польшу, оттуда перекинулся в Германію, из Германіи — в Швецію. Византійское православіе он отверг и перешел в протестантство. Но он был человѣком бурных страстей, имѣл в Стокгольмѣ связь с замужней женщиной, в столкновеніи с ея мужем убил послѣдняго и расплатился за это собственной многомятежной жизнью.

А вот другой, так сказать, в с т р ѣ ч н ы й случай — Юрія Крижанича. Когда Котошихины отряхали прах Россіи с ног своих, — он, наоборот, находясь в самом сердцѣ Европы, вздумал «вздыхать о сумрачной Россіи». То был ранній панславист по настроенію, хорват по происхожденію, католик по религіи, заклятый враг «чужевладства, чужебѣсія и людодерства» по убѣжденіям. Прилѣпившись мыслью и сердцем к сѣверной, старшей сестрѣ славянства, он не представлял себѣ, что его вѣра у нея будет считаться «латинской ересью», равносильной «злому невѣрствію». Свою западную образованность он понес в страну, гдѣ именем церкви твердили: «богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрію». Можно себѣ представить, каким оказался он в ней, в концѣ концов, «незванным гостем»! «Меня называют скитальцем-бродягой» — этими характерными словами жаловался он, но оставался неисправим: вѣровал и исповѣдывал право человѣка и гражданина обрѣсти себѣ отечество по свободному выбору сердца. Был сослан в Тобольск и, лишь проведя там

15 лѣт, излѣчился от своих иллюзій: «выпросился в свои земли»..

Перебирая имена этого скорбнаго списка страстотерпцев зарождающейся россійской интеллигенціи, нельзя не остановиться на двух «горных вершинах» русской мысли: на извѣстном украинском философѣ Г. Сковородѣ и на великом русском ученом М. В. Ломоносовѣ. Их участь была много счастливѣе тѣх, о ком до сих пор шла рѣчь. Но вот изумительно-характерные факты. Г. Сковорода, знавшій, кромѣ новых языков, еще латинскій и греческій и читавшій Библію по еврейски, никѣм ниоткуда не гонимый, однако сам вдруг ощутил в себѣ Агасфера. Вот нѣсколько строк его біографіи:

«Сорока лѣт с небольшим, еще в расцвѣтѣ сил, Сковорода, отказавшись от всѣх благ культурной жизни, на которыя имѣл право по своему образованію, берет в руки посох и в образѣ полунищаго странника скитается по деревням и хуторам, живя милостыней и проповѣдуя»...

При этом невольно приходит на ум цѣлый ряд других, безконечно болѣе поздних событій: Лев Толстой, его внезапный «уход» из дому на самом закатѣ дней жизни, его агонія в безвѣстном дотолѣ Астаповѣ, ставшем вдруг средоточіем лихорадочно напряженнаго вниманія всего культурнаго міра. Но это цѣлая особая величественная глава, говорить о которой вскользь невмѣстно...

Одним из излюбленных выраженій Сковороды было: «мір ловил меня, но не поймал...» И так же — по крайней мѣрѣ на казенной бумагѣ — обстояло дѣло с Ломоносовым. Этот геніальный самоучка, приводившій в ужас жрецов Св. Синода своими мнѣніями о множественности міров; предвосхитившій атомистическую теорію и этим опередившій свое время на 126 лѣт; сформулировавшій под именем «всеобщаго закона природы» идею сохраненія матеріи и энергіи, и опередившій в химіи свое время на полтораста лѣт; предвосхитившій самого Лавуазье за сорок с лишним лѣт. — этот геніальный самоучка за семнадцать лѣт до своей смерти, т. е. в 1748 году — числился... к р е с т ь я н и н о м в б ѣ г а х.

Да, сомнѣнія нѣт. Об'явив «скитальца-страдальца» самым характерным явленіем исторіи русской интеллигенціи, усмотрѣв в нем «самую глубь нашей сути», Достоевскій показал себя великим прозорливцем. И если вообще он, по

мѣткой характеристикѣ Айхенвальда, «тяжелой поступью, с блѣдным лицом и горящим взглядом прошел, бряцая цѣпями, по нашей литературѣ, и до сих пор она не может опомниться и придти в себя от его изступленнаго шествія», — то его собственное духовное естество было раздвоено, в самых глубинах своих, в стихійной тягѣ к исконному духовному скитальчеству русской души, и в одновременной искусственной, наносной «враждѣ до гроба» к нему же.

«Головинскаго, Достоевскаго, Пальма за недонесеніе о распространеніи письма Бѣлинскаго и сочиненія Григорьева лишить чинов и всѣх прав состоянія и подвергнуть смертной казни разстрѣляніем». Одного этого чудовищнаго приговора, эшафота, помилованія и прозябанія «записок из Мертваго Дома» было достаточно, чтоб для него исчезли всѣ «средніе пути». Либо «Аннибалова клятва» безпощадной ненависти и возмездія, либо — душевное крушеніе, моральная прострація и принятіе своей участи, как перста судьбы и кары неба.

Вспомним из «Возмездія» Блока: «В тѣ годы дальніе, глухіе — В сердцах царили сон и мгла. — Побѣдоносцев над Россіей — Простер совиные крыла. — И не было ни дня, ни ночи, — А только тѣнь огромных крыл; — Он дивным кругом очертил Россію, заглянув ей в очи — Стеклянным взором колдуна. И затуманилась она...»

Затуманился и писательскій облик Достоевскаго; но вырваться из колдовского круга к «возмездію» он уже не мог. К тому же, «возмездіе» повернулось к нему своей отталкивающей изнанкой в темных очертаніях демоническаго облика нечаевщины; его он воспринял, как исполненіе евангельской притчи о «бѣсах», изгнанных Спасите.лем из безумной и вселенных в стадо свиней, чтобы вмѣстѣ с ним сгибнуть в пучинѣ морской. Вдохновлявшіе Онѣгина и Пушкина декабристы были отнынѣ для него, как и для Тютчева, — не болѣе, как «жертвы мысли безразсудной», вообразившіе будто их «крови скудной» хватит, чтоб растопить «вѣчный полюс» самодержавія. От Тютчева он отличался лишь пониманіем, что и под ледяной корой может клокотать лава, медленно, но неудержимо подымаясь и грозя изверженіем. Это изверженіе — революція — стала кошмаром его души. Достоевскій, далѣе, извѣдал на себѣ самом всю могучую притягательную силу соціализма; сломить ее он считал невозможным; но он взлелѣял мечту ею овладѣть, возвѣщая міру, что у нас есть свой собственный, «русскій соціализм», на основѣ Христова ученія в высшей его формѣ: в правдѣ православной церкви.

Так мысля и чувствуя, Достоевскій во второй половинѣ «пушкинской» рѣчи не мог не подвести под только что опоэтизированнаго им самим «скитальца» своего рода «мины с замедлителем». Да, отдадим христіанскую милостыню нашего сочувствія безпокойному Алеко в его новѣйшем изданіи, в Онѣгинѣ; но истинная героиня нашего романа — это Татьяна: воплощеніе Вѣчной Женственности вмѣстѣ с чистотою вѣры, цѣльностью, непосредственностью и безкорыстной преданностью долгу. Что такое Татьяна, как не олицетвореніе самой Россіи во всей неначатости, свѣжести неразвернувшихся сил?... Не Россія ли в ея лицѣ хочет отдать себѣ отчет, что такое, в концѣ концов, этот успѣвшій смутить ея дѣвственный покой «скиталец»: «ангел ли хранитель или коварный искуситель?...» Продумайте дальше этот, Достоевским вложенный в Пушкинское твореніе с и м в о л и з м, и вывод дан сам собой: как Татьяна перед святыней алтаря «другому отдана и будет вѣк ему вѣрна», так и Россія приговорена к своему царю.

Достоевскій принадлежал к числу ораторов «словом владѣемых». Подчиняясь «магіи слова», он сам поддался обаянію как созданнаго Пушкиным образа — так и просвѣчивающаго сквозь него образа самаго автора. И образом этим он так увлек всю свою аудиторію, что когда спохватился — было уже поздно. Но при подготовкѣ рѣчи для печати, приходилось дѣло поправлять. Достоевскій должен был приняться за кропотливо-мозаичную работу вставок, смягченій, оговорок. Но тут случилась другая бѣда: восторженные слушатели рѣчи, подобно Глѣбу Успенскому при чтеніи больше не узнавали ея. Но Достоевскій был не из тѣх, кто способен длить недоразумѣніе: он напрямик заявил, что его не поняли, что его «скиталец-страдалец» вовсе не положительный, а в сущности отрицательный тип; и, в нашумѣвшей когда-то полемикѣ с проф. Градовским, он так же страстно развѣнчал и свел его с пьедестала, как раньше на него возводил. Всѣ эти скитальцы потому-де и скитальцы, что настоящим образом любить Россію не умѣют; воображая себя «непонятыми», они доходят до мстительнаго ея оболганія. При том же, имѣя оброчных крестьян, можно скитаться по всѣм Европам не без комфорта в рессорных каретах и каютах перваго класса. Слышно, что иные из скитальцев не дураки скитаться и по мѣстам вродѣ Bal Mabile; а «духовной жаждою томимым», говорят, удается таки жажду недурно утолять шампанским лучших марок. И, разбросав при этом случаѣ не мало намеков

на Герцена, Тургенева и прочих знаменитых опальных современников, Достоевскій приходит к своей цѣли. По правдѣ сказать, какое-то зерно правды в его озлобленно-язвительных рѣчах есть. Но «тон дѣлает музыку», а тон у него был тот же самый, что и в граничащих с пасквилем изображеніях Тургенева в образѣ самовлюбленнаго писателя Кармазинова или Чернышевскаго в видѣ самоувѣреннаго пустослова в «Крокодилѣ». Достоевскій был великій мастер проникновенія в глубокіе провалы человѣческой души; но и в его собственной душѣ были свои зіяющіе провалы.

Нельзя, однако, из чувства справедливости не отмѣтить: по отношенію к «скитальцам» высшаго круга у Достоевскаго есть неожиданно-частыя точки соприкосновенія с Некрасовым, котораго он вообще недолюбливал. Только послѣдній «то же слово, да не так же молвит». В поэмѣ «Маша» он выносит приговор «современному герою»: — Книжки читает, да по свѣту рыщет, — Дѣла себѣ исполинскаго ищет, — Благо, наслѣдство богатых отцов — Освободило от лишних трудов...».

Этот отзыв Некрасова — предвѣстіе того, что скоро придут менѣе изящные Базаровы и Волоховы и сдадут всѣх этих Чацких, Онѣгиных и Печориных, Рудиных и Агариных в историческій архив. Существует стихотворная «Притча», которая не могла быть опубликована по цензурным соображеніям и принадлежность которой Некрасову иными оспаривалась. В ней изображены «люди, сгоравшіе жаждой труда и рвеніем, сдвигающем горы»: «Связали котомки свои и пошли. — Стыдом неудачи палимы, — И скорбь вавилонскую в сердцѣ несли, — Ни с чѣм уходя, пилигримы». Уж эти первыя строки устраняют, на мой взгляд, сомнѣнія в принадлежности их Некрасову. Не имѣя возможности опубликовать «Притчу», он использовал ея отдѣльныя рифмы и обороты для «Размышленій у Параднаго Под'ѣзда».

Но главное «открытіе» в некрасовской поэзіи для Достоевскаго это — «скиталец», словно нарочно по заказу для Достоевскаго скроенный. Это — «дядя Влас», отрѣвшійся раз навсегда от земных соблазнов. Вот он, вполнѣ народный и, в отличіе от безпочвенности интеллигенціи, глубоко «почвенный» тип. У Власа «сила вся души великая в дѣло Божіе ушла»: таким и должен быть народный проповѣдник «нашего русскаго соціализма», совпадающаго с правдой православной церкви». И с пророческим жаром До-

стоевскій провозгласил, как послѣдній свой завѣт Россіи и мятущейся русской интеллигенціи:

«Власы спасут себя и нас!»...

Но именно потому, что Достоевскій на своей религіозный лад примыкал к формулѣ крайняго народничества: «не народ учить, а у народа учиться», он и настраивал себя особенно безпощадно к «интеллигентам», полагающим свою сущность в миссіи «учительства». В злых каррикатурах на них он был чрезвычайно изобрѣтателен. Таков образ либерала Степана Трофимовича в «Бѣсах», образ «благороднаго приживальщика». Он тоже мечтает о том, чтобы стать скитальцем: «возьму свою суму и уйду пѣшком»; и дѣйствительно театрально скрывается «с посохом и сумой», т. е. с тросточкой и чемоданчиком, но уходит недалеко, кстати простуживается в дорогѣ и его возвращают на насиженное теплое мѣсто. Еще болѣе издѣвательски задуман образ тоже приживальщика, «учителя жизни» в то же время тирана своих покровителей — Фомы Опискина. И вот этому человѣку, у котораго нѣт ни одного движенія души неподдѣльнаго, он влагает в уста явныя перифразы из «Переписки с друзьями» Гоголя, еще подчеркивая это сходство ссылкой Фомы на «Гоголя, писателя легкомысленнаго, но у котораго бывают иногда з е р н и с т ы я м ы с л и». Дѣло кончается и тут паролiей на «скитальца-страдальца»: «Скитальцем пойду я теперь по землѣ со своим посохом». Но, конечно, лжепророк развѣнчивается еще болѣе жалкою комедіей fausse sortie, «ухода» с котомкой странника, с тѣм же финалом, что у Степана Трофимовича из «Бѣсов».

Каррикатура эта граничит с пасквилем. У Гоголя, конечно, много гипорболическаго, много лже-романтизма и высокопарной приподнятости стиля. Он весь в противорѣчіях. Тон его религіозной проповѣди порою нестерпимо ходулен. Но противорѣчія эти — не от фальши, он сам — их жертва. Он заставляет хохотать всю Россію, а сам роняет вздох — «скучно на этом свѣтѣ, господа!» Пушкин читает его «смѣшныя» сочиненія, и говорит: «Боже, как грустна наша Россія!» И сам Гоголь вторит ему: «как много в человѣкѣ безчеловѣчья!».

У Гоголя есть безспорно вдохновенныя страницы, пытающіяся вскрыть природу русскаго «скитальчества», загадку

его не только как скитальчества индивидуальнаго, интеллигентскаго, но и народнаго, стихійнаго, мощнаго.

«Русь! Русь! Открыто пустынно и ровно все в тебѣ; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно в ушах — твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и широтѣ твоей, от моря и до моря, пѣсня? Что в ней, в этой пѣснѣ? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что пророчит сей необ'ятный простор? Здѣсь-ли, в тебѣ-ли не зародиться безпредѣльной мысли, когда ты сама — без конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему?...

Это Гоголь праздничный, и над ним исподволь смѣется другой Гоголь, сам себѣ плохо вѣрящій. Проникновенно обрисован русскій народ-богатырь, но Гоголя так и подымает оттаскать его за сивую бороду: «О, Русь, Старая рыжая борода, когда же ты поумнѣешь?...» Гоголя влечет в Руси «непостижимая, тайная связь»; но он же порой обзывает ее «кацапіей» и тщетно пытается, на зло ей, возвеличить гетманщину; а покачавшись маятником между ними, в концѣ концов лучшую часть жизни отдает заграницѣ, и в частности — далекой Италіи. Ничего его к этому извнѣ не принуждает. Родина, или, если угодно, обѣ родины принимают его с распростертыми об'ятіями. Но почему-то он пишет своим друзьям: «с того времени, как ступила нога моя на родную землю, как будто очутился я на чужбинѣ». Это не просто скиталец, это скиталец двойной, с вѣчными жалобами: «как тягостно мнѣ существованіе в моем отечествѣ», — «какой это тяжелый сон!» Отравлен ими даже весь его литературный успѣх — эпохи «Ревизора»: он «хотѣл бы убѣжать теперь». И еще цѣлый ряд моментов, когда ему «повѣситься или утопиться казалось похожим на лѣкарство или облегченіе».

Но вѣдь от этого — только один шаг до жгучаго вопля души «Записок Сумашедшаго»: «Спасите меня! Дайте мнѣ тройку как вихорь коней! Садись мой ямщик, взвѣйтесь кони и несите меня с этого свѣта! Далѣе, далѣе, — ч т о б ы н е в и д н о б ы л о н и ч е г о ! !»

Из уст Гоголя слышали мы и о другой тройкѣ — той, на которой обрывается первая часть «Мертвых Душ», и ко-

торая мчит его снова к каким то туманным геополитическим «прозрѣніям».

«И какой же русскій не любит быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закруглиться, загуляться, сказать иногда — «чорт побери все», — его ли душѣ не любить ее? Знать, у бойкаго народа ты только и могла родиться: в той землѣ, что не любит шутить, а ровнем-гладнем развернулась на полсвѣта... Не так ли и ты, Русь, как бойкая, необгонимая тройка, несешься? Что значит это наводящее ужас движеніе? Русь, куда же несешься ты? Дай отвѣт. Не дает отвѣта. Летит мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь посторанивaются и дают ей дорогу другіе народы».

Увѣровать ли в «необгонимую тройку-Русь»?... Искать ли спасенія в тройкѣ, которая умчит прочь от Руси — далеко-далеко, «чтоб не видно было ничего»? В Гоголѣ всѣ чувства смѣшаны, весь он — в смятеніях: А что бы он сказал, если бы увидѣл, до чего разскакалась русская тройка теперь; как отшатывались от нея другіе народы — чтобы опять к ней вернуться и на нее возложить свои упованія!

В тирадах Гоголя есть взвинченность стиля, но морально-психологической фальши нѣт. Выход померещился ему, как это часто бывает при земном бездорожьи, в правдѣ по ту сторону міра: это была тихая пристань, на которой должны были кончиться всѣ метанія и скитанія. Бог для Гоголя стал небесным Государем, чьею волею Николаевская Россія предназначена стать «Градом новым, спускающимся с небес на землю»; помѣха только в несовершенствѣ человѣческаго матеріала. О, если бы всякій столоначальник понял, что он, в сущности, чиновник небеснаго стола; если б каждый помѣщик научился глядѣть на себя, как на высшей волею помазаннаго отца, пестуна и воспитателя своих крѣпостных и т. д. — чего бы еще не хватало?

И как только Гоголь все это «постиг», как только его mania religiosa заставила его увѣровать в себя, как в пророка Божія, на всѣ загадки жизни находящаго «отвѣты, которые будут от самаго Бога» — так неизбѣжно он должен был с презрѣніем выбросить за борт все, чѣм он жил раньше. Сжигая «Мертвыя Души» Гоголь только начинал эпоху медленнаго с а м о с о ж ж е н і я на кострѣ мощнаго — мощнаго до изувѣрства — отрицанія «скитальческой» эпохи своей жизни. Он подлинно отверг всего себя, всего прежняго Гоголя. Отчудив всю свою личную волю, вручив ее в руки перваго встрѣчнаго фанатика, отдав ему в добровольную ка-

балу свой ищущій покорности и страданія разум, он весь замер в аскетическом изможденіи, в медленной агоніи умерщвленія плоти: буквально уморив себя голодом.

Поколѣніе 70-х годов прошло мимо Гоголевскаго тупика; в лицѣ этого поколѣнія «скитальчество» стало перерастать самого себя. Оно становится соборным, внутренне сомкнутым, связанным круговою порукою и общим обѣтом подвижничества. Рождается своеобразный «орден русской интеллигенціи», направляющій теченіе разрозненных скитаній в одно русло, сливающее их как бы в цѣлый «крестовый поход». Его участники, однако, не просто рыцари, а странствующіе рыцари-монахи. Вспомните что говорил историк русской революціи: «русскій соціалист порывал свои семейныя связи, отказывался от карьеры, вызывал искусственный загар лица, надѣвал затѣм крестьянскую одежду, засовывал за голенище фальшивый паспорт, перекидывал через плечо котомку с книгами, брал в руки посох, отряхивал от ног своих прах стараго міра и пускался в неизвѣстный путь...» (Проф. Тун, Исторія рус. революціи).

Все это по словам одного из участников тогдашняго движенія в народ, П.Б. Аксельрода, было скорѣе «паломничеством ко святым мѣстам народной жизни со стороны вѣрующих мужчин, женщин и дѣтей, чѣм серьезно-продуманным дѣлом сознательной и организованной революціонной партіи...»

У другого выдающагося участника того движенія — эти настроенія осложнились и измѣнились. Он сказал себѣ: «не могу больше жить для условных полезностей революціонных программ, я должен найти абсолютное Благо и абсолютную Правду чтобы жить ими». Он встрѣтился с вдохновенным чудаком, проповѣдником «богочеловѣчества» Маликовым (с него Достоевскій в «Бѣсах» взял коллизію «богочеловѣка» с «человѣкобогом»). Поставив Чайковскому вопрос, во что он вѣрит, и получив отвѣт — «в человѣка», Маликов голосом ветхозавѣтнаго пророка прогремѣл: «чтобы вѣрить в человѣка, нужно умѣть найти в нем Бога!». И судьба Чайковскаго была рѣшена. «В августѣ 1874 — говорит он — я разстался с друзьями, а в сентябрѣ, того же года уѣхал заграницу, по пути в американскія степи для осуществленія в своей жизни богочеловѣка».

Такова была эта «партія», о которой Бакунин сказал: «она состоит из безчисленнаго множества лиц всѣх

сословій, бѣжавших от сословій и от всѣх признанных положеній в Россіи; из людей, ненавидящих настоящее, готовых отдать жизнь за будущее, живущих, так сказать, на воздухѣ: бездомная странствующая церковь свободы...»

На этом и остановим наш далеко не исчерпывающій смотр попыток художественнаго постиженія стихіи русскаго скитальчества.

В III-м томѣ своей «Русской исторіи» В. О. Ключевскій говорит: «Московскій народ выработал особую форму политическаго протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не возставали против него, а выходили из него, бѣжали из государства. Московскіе люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государствѣ, случайными, временными обитателями в чужом домѣ; когда им становилось тяжело, они считали возможным бѣжать от неудобнаго домовладѣльца, но не могли освоиться с мыслью о возможности возставать против него или заводить другіе порядки в его домѣ».

Подобная-же, в сущности, мысль была выражена и проф. Вернадским в его словах: «бунтарство русскаго народа есть лишь обратная сторона его государственности».

Скитальчество интеллигентское приходится при этом разсматривать, как своеобразное проявленіе на верхах русскаго общества того же самаго процесса, который по иному, но еще болѣе глубинным, почвенным образом проявлялся в его народных низах. И параллелизм этих двух явленій, и единство их первоисточника является пока еще «неподнятой цѣлиной» исторіи русской литературы, взятой в органической связи с исторіей самаго русскаго народа. Тот же основной стержень, как у классиков, мы найдем и позднѣе в обоих развѣтвленіях русской литературы: и в неореализмѣ Горькаго, Леонида Андреева, Чехова, Бунина, — и в символизмѣ Вл. Соловьева, Мережковскаго, Брюсова, Бѣлаго, Блока, Клюева, Есенина. И глубинной подкладкой этого является основной факт всей русской исторіи: массовое скитальчества непосѣдливости, неуемности, колонизаціоннаго піонерства русскаго народа в непосредственной связи с непомѣрным удѣльным вѣсом его «государственной крови» и с геополитическими рамками его историческаго бытія. Когда это будет доказано и наглядно показано, — вписана будет необыкновенно значительная глава в общую «философію исторіи русской литературы и русской жизни»...

Виктор Чернов.

ЗАЛМАН ШНЕУР

(к сорокалѣтію его литературной дѣятельности)

I

Скудность литературнаго творчества была любопытнѣйшей чертой культурной исторіи еврейства. Со времени Іегуды Галеви, поэта XI вѣка вплоть до начала вѣка XIX еврейство не выдвинуло ни одного писателя, достойнаго вниманія. Историку еврейской литературы, послѣ того, как он покидает Палестину, а потом мавританскую Испанію, приходиться пробавляться такими стихотворцами, как Эммануил Римскій, в котором от поэзіи была только его дружба с Данте. Факт особенно удивительный в виду того, что в древности еврейскій геній с наибольшим блеском выразился в С л о в ѣ. Литературное творчество древних евреев до сих пор не превзойдено. Казалось странным, что именно этот родник живой силы так безнадежно в еврействѣ заглох. Почему? Как это случилось?

Разгадку слѣдует искать как раз в том, что, при поверхностном размышленіи, вызывает удивленіе: еврейскій народ потому долгое время казался литературно безплодным, что унаслѣдовал величайшее литературное достояніе древности — Библію. Сила Библіи обезсилила длинный ряд еврейских поколѣній. Она сковывала поэтическую мысль, подавляла свободу воображенія, искореняла зародыши оригинальнаго стиля и порабощала самую личность еврея. Своим духовным величіем, огневой страстностью своей лирики, божественным спокойствіем своего пафоса, мудростью своих замѣт о жизни и человѣкѣ.

Многіе другіе народы усердно читали Библію с большой пользой для их національной литературы. И это потому, что для не-евреев Библія была только драгоцѣнным придатком к собственному духовному наслѣдству; для евреев Библія была цѣнностью единственной, в с ѣ м — сущностью и формой их духовнаго бытія. Библія не была для них куполом храма — она была их небом с его солнцем, с его звѣздами. Она сопровождала их неотступно на всѣх путях жизни. И

когда еврей с литературными порывами желал повѣствовать о каком нибудь событіи, он не мог дѣлать этого иначе, как в манерѣ и языком Пятикнижія. Когда он желал дать выход скорби, как мог он уйти из под власти Іереміады? Могла ли Пѣсня Пѣсней быть им забыта, когда он был томим любовью? Если он негодовал, возмущенный неправдой и соціальным злом, Исая и Амос подсказывали ему свои рѣчи. А когда в смятенной душѣ пробуждалось сомнѣніе в благостности и справедливости Провидѣнія, Іов овладѣвал его рѣчами или ввергал его в нѣмоту. Могли ли умолкнуть в его душѣ Давидовы Псалмы, когда душа его тянулась к Богу? Захочет еврей пофилософствовать о жизни, о людях, о нравах – Экклезіаст и изреченія Соломона прорѣзали для его мысли колеи глубокія и неуклонныя? Так, хотя в меньшей степени, искусство итальянскаго Ренессанса художественно обезплодило ряд позднѣйших поколѣній, нашедших отчаянный выход в отреченіи от прошлаго – в футуризмѣ.

Одолѣть это бремя было не по силам ортодоксальной еврейской интеллигенціи. Только тогда, когда в еврейскій мір проникли вліянія европейской литературы, стал понемногу ослабѣвать парализующій гипноз Библіи. Разбавленное ключевой водой старое вино, стало для еврейских писателей напитком животворным.

Это освобожденіе не могло, разумѣется, осуществиться сразу без степеней и градацій. Ряд писателей и поэтов, из которых иные были высоко одарены, как Мапу и Іегуда Лейб Гордон, в теченіе многих десятилѣтій расчищали путь для поколѣнія, построившаго подлинно-новую еврейскую литературу. У колыбели этого поколѣнія стояли два писателя большого и оригинального таланта — Менделе Мойхер Сфорим (С. М. Абрамович), в Одессѣ, и Перец, поэт хасидской мистики, в Варшавѣ. Главою же этого поколѣнія был Бялик, выступившій на литературное поприще в самом концѣ прошлаго вѣка, одновременно с Саулом Черниховским и на нѣсколько лѣт раньше Залмана Шнеура. Эти поэты придали крѣпкому, музыкальному и скупому языку Библіи новую гибкость, мягкую пѣвучесть. Бялик, в частности, обогатил язык невѣдомыми прежде нюансами, создал множество новых слов и с древним библейским стилем гармонически примирил болѣе поздній язык Талмуда (Мишны), литургій и раввинских писаній. Но не в этом было главное значеніе первых больших поэтов новаго поколѣнія. Их заслуга в том, что они нашли себя и впервые запѣли не по «памяти робкой», а от сердца.

2.

Рядом с Бяликом, Залман Шнеур занимает среди творцов новой еврейской литературы одно из первых мѣст. Сорок лѣт безпрерывнаго творчества во всѣх жанрах литературы — поэмы, пѣсни, разсказы, романы — не могли, разумѣется, образовать одну прямую линію без уклоновъ. Молодой писатель подвергался различным вліяніям, порою только случайным. Так, многому он научился у Менделе Мойхер Сфорим: от него он усвоил заботу о деталях, о тех маленьких черточках, которыя дают жизнь человѣческому характеру и пейзажу. Но одно время он увлекался и Леонидом Андреевым с его сюжетами, освѣщающими не норму жизни, а провалы и гримасы. Однако, талант его скоро пробился на путь самостоятельный.

В поэзіи Шнеур, прежде всего, поражала ея мужественная бодрость. Неизбѣжныя в молодости ноты меланхоліи, жалобы на одиночество, отклики «міровой скерби» заглушались прибоем здоровой радости: отрадно жить, дышать воздухом, чувствовать силу мускулов, упругость тѣла, порывы любви, запах цвѣтов, прохладу лѣса. Это был едва ли не первый еврейскій поэт, презрѣвшій слезы, не искавшій в них ни убѣжища, ни утѣшенія. Непривычна была также скудость чисто-еврейских мотивов в поэзіи Шнеура. Пѣсни его посвящены человѣческой судьбѣ, трагеліям духа, волненіям и игрѣ жизни, а поэмы — грандіозным явленіям природы: горам, нѣдрам земли, глубинам моря, лѣсу, звѣрям, минералам и растеніям. В этих поэмах нашли себѣ выраженіе неистощимое воображеніе поэта и сила его образнаго слова. Его природа, по слову Тютчева, «не слѣпок, не бездушный лик». она одухотворена. Горы, воды, нѣдра, лѣс, звѣрь, цвѣток, цвѣтной камешек все это у Шнеура очеловѣчено, вызывая в нем ряд образов людской доли на землѣ. Золото, извлекаемое из темных глубин земли, в фантазіи Шнеура розсыпью своею отмѣтит каждый изгиб человѣческой натуры, жадность, тщеславіе, благолѣпіе — весь ритуал жизни и смерти. В рыбном царствѣ он установит іерархію — пародію суетнаго и жестокаго человѣческаго общества. Огородные овощи, которые Шнеур опишет с забавной типичностью, в то же время его добрые старые знакомые из міра двуногих — галлерея портретов с их индивидуальными особенностями, повадками, тиками. И все это пронизано, грѣющим свѣтом поэзіи природнаго зачатія.

Ново в твореніях Шнеура обширное и точное знаніе физическаго и предметнаго міра. От диллетантской «приблизительности», характерной для большинства старых еврейских писателей, оторванных от природы и поглощенных преимущественно явленіями душевными, у Шнеура не осталось и слѣда. Его наблюденія остры и подмѣчают малѣйшія детали. Он тонко различает цвѣта и краски, знает свойства металлов, растеній. Основательно знает интимныя складки всякаго ремесла и профессіи. От этого так богат у него предметный «реквизит», так разнообразны краски и так убѣдительны картины быта.

Чувством природы Шнеур, по его собственному признанію, обязан Днѣпру, на котором он вырос, Волгѣ и Полѣсью, которое он полюбил с дѣтства. Позже, в Одессѣ, он узнал море, а потом — Альпы и Пиренеи. Естественныя науки он изучил в университетѣ, готовясь к врачебной профессіи. Но в основѣ его духовной формаціи краеугольным камнем лежало его еврейское воспитаніе в семьѣ отца, шкловскаго эрудита, потомка знаменитаго раввина, Залмана Шнеура Шнеерсона, главы любавическихъ хассидов. Будущій поэт усердно изучал Библію, Талмуд, Мидраши, а от отца узнал много хасидских легенд и сказаній. Самая среда еврейскаго Шклова, очень традиціонная и вмѣстѣ с тѣм, в извѣстном смыслѣ, просвѣщенная, оказала на Шнеура рѣшающее вліяніе на всю жизнь. При всей своей свѣтской образованности, при всем европеизмѣ, Шнеур один из самых почвенных евреев его поколѣнія. Эта біографическая деталь важна для уразумѣнія его творчества. Все, на что он смотрит, он видит глазами еврея; как еврей чувствует и откликается. Это особенно замѣтно в живописаніи животных. Его медвѣдь несомнѣнно медвѣдь живой, но это не медвѣдь русскаго охотника, а слегка об'евреенный. И когда Шнеур рисует бѣлоруссов или великороссов — мѣтко и интересно, — чувствуешь, что наблюдает их еврей. Почти всегда у него еврейская мѣра, еврейскій вѣс. И это, может быть, не столько потому, что Шнеур иначе не может, а потому, что иначе он не хочет. Он стопроцентный еврей, в том смыслѣ, в каком Лѣсков, скажем, был стопроцентным русским, и ему было бы неуютно,скучно пытаться быть не собою, не сыном с в о е г о отца, не внуком дѣда.

Неудивительно поэтому, что Шнеур, несмотря на то, что язык Библіи был для него послушнѣйшим инструментом, почувствовал потребность слагать свои пѣсни и на «идиш»

(т. н. жаргонѣ), языкѣ еврейских масс, языкѣ Шклова. Нѣкоторыя из прелестных его пѣсенок на идиш, отмѣченных легкой иронической сентиментальностью («Маргаритки»), сдѣлались народными.

3.

В жизни каждаго поэта наступает пора, когда от самосозерцанія, питающаго его лирику, он обращается к міру внѣшнему, к жизни общества, к явленіям, волнующим его современников. Тогда поэт становится бытописателем или исторіографом. Когда эта пора наступила в жизни Шнеура, переход от еврейскаго языка к «идиш» сдѣлался существенно необходимым. Дѣло в том, что еврейскій язык, как ни великолѣпен он в лирикѣ и трагедіи, не отвѣчает требованіям реалистическаго бытописанія. И это не по бѣдности, а от своеобразія языка. Уже в древности он оторвался от быта евреев и давно перестал его отражать. Что он вообще сохранился — чудо, об'яснимое интенсивностью религіозной и интеллектуальной жизни еврейства, которой он остался единственным хранилищем. Правда, в Палестинѣ начался процесс сліянія древняго языка с новым бытом, и через одно-два поколѣнія он сдѣлается естественным орудіем палестинских бытописателей, но изображеніе восточно-европейскаго еврея на этом языкѣ представляется почти переводом. Характер, психологическій строй, умственный «климат» еврейским масс отражается полностью и красочно только в «идиш». Это и превратило одно из нарѣчій стараго нижне-нѣмецкаго языка в язык, совершенно отличный от него, подлинно-еврейскій.

Идишистская литература Европы в то время, когда к ней пришел Шнеур, была весьма обширна и не бѣдна талантами. Тѣм не менѣе, и в ней, как и в еврейской поэзіи, Шнеур выдѣлился своею оригинальностью. Избѣгая слишком рѣшительных обобщеній, можно все же сказать, что литература эта, в общем, была скорѣе «женственной». В ней было много души, много мягкости, жалости, «милости к падшим», но и не мало сентиментальности. Обрисовка типов даже у хороших писателей почти всегда носила нѣсколько эскизный чуть-чуть безплотный характер. Чувствовалась склонность истолковывать еврея, его об'яснять, немного прикрашивая. Писатель порой становился в позу защитника. Был в этой литературѣ смѣх, была сатира, но удары наносились «любящей рукой».

Шнеур с этой манерой круто порвал. Он внес в литера-

туру «жестоковыйность». Он, конечно, чувствует поэзію убогости в трудной жизни маленькаго еврея, красоту традиціонных черт быта; он знает и жалость к безпомощному горю, но ничто не подкупает его суровых наблюденій. Все мелкоумное, мелко-доброе, мелко-религіозное, все вялое и робкое, все условно-почтенное, жеманное, фальшивое он ненавидит с мужественной страстью. Взглядом проницательным часто злым, он пронизывает непріятнаго ему человѣчка насквозь, до самых внутренностей и не простит ему самаго блѣднаго пятнышка. Он не церемонится со своими персонажами, будь это загримированный святоша, лже-интеллигент, мизерный самолюбец, самодур из нуворишей. Другіе такого еврея осудительно журили, Шнеур словно берет его за бороду и немилосердно трясет. И дѣлает он это, не торопясь, с видимым наслажденіем. При этом он, смѣясь, приговаривает, и язык его тогда кажется настоенным на крапивѣ. Это от страстности темперамента, и можно замѣтить, что темперамент порой завлекает художника слишком далеко, в ущерб гармоніи и мѣрѣ.

Обрисовка характеров у Шнеура очень тщательная. Рисунок тверд, краски сочны. В своем усердіи он неутомим. Старый балагула (ямщик) одѣвается в жестокій утренній мороз. Сколько фуфаек, сколько кафтанов, шарфов! Как бережно, искусно, туго окутана шея! Как ловко затянуты ремни и пояса! Это займет у Шнеура двѣ страницы, но за то читатель сквозь эти приготовленія увидит живого человѣка, навык десятилѣтій, зимній русскій пейзаж и ухабистую дорогу; услышит его жалѣющій кнут и упрекающее причмокиваніе старика родным лошадкам. А вот виленскій гаон, раби Эліогу, аскет, не позволяющій солнцу проникнуть в его уединеніе дабы оно не отвлекло его от созерцанія, за минутной утренней трапезой вкушать листик зелени, и этой секундѣ Шнеур в эпопеѣ «Наполеон и равви» посвящает цѣлую главу! Но время читателя зря не потеряно: пугливое, отдаленное эхо какой-то давно прошедшей весны безотвѣтно стучится в сердце аскета.

Шнеур любит силу, особенно любит он ее в героическом напряженіи или в честной простотѣ. Силу физическую и силу духовную. Его излюбленные персонажи: дюжіе, крѣпкіе, безстрашные простолюдины — извощики, ямщики, паромщики, в которых кипит крѣпкая кровь, играет упорная воля, мастера безхитростных, но трудных дѣл; и герои духа: рабби Шнеур Залман Шнеерсон из Любавичей, котораго никто и ничто

не своротит с избраннаго пути — ни Петропавловская крѣпость, ни сам Наполеон в образѣ и в плоти, лицом к лицу; виленскій гаон, кремень вѣры, чахлый боец титанической силы, никогда ни перед чѣм не отступавшій; рабби Іошуа Цейтлин из Шклова негоціант и идеалист, отказывающійся от очень выгодных дѣл с князем Потемкиным-Таврическим, когда дух его истомился по Торѣ и изученію которой он, в основываемо йим раввинской академіи, посвящает богатство и силы. (По курьезному совпаденію, рабби Шнеур Залман предок нашего автора, а рабби Іошуа предок писателя М. О. Цетлина!).

Основныя произведенія Шнеура, в которых оригинальный характер его творчества сказался с особой яркостью — «Шкловскіе разсказы», «У берегов Днѣпра», «Наполеон и равви» и «Ной Пандра», роман исключительной силы. В нем все совершенно: композиція, краски, быт и пейзаж.

«Ной Пандра» был переведен на всѣ европейскіе языки. И интересно отмѣтить, что всѣ не-еврейскіе критики почувствовали его важную новизну. Характерен в этом отношеніи отзыв Эллиса Робертса в лондонском «Ньюс Кроникл». Пандра, пишет он, — «представитель еврейства, совершенно отличнаго от того еврейства, к которому мы привыкли. Читая этот дух захватывающій, колдующій роман, я все время чувствовал себя во власти каких-то воспоминаній. Не сцены, не характеры создавали это впечатлѣніе — вѣдь, мѣста и люди для меня непривычны и новы, но общая атмосфера книги. Дефо? — немного, может быть. Фильдинг? — да, чуть-чуть. Толстой? — в жадной радости от зримой природы, запахов, звуков. Но было что-то еще болѣе близкое. И вдруг я отдал себѣ отчет: это то, что мог бы написать молодой Диккенс, если бы он был евреем».

С. Поляков-Литовцев.

ПЕРВАЯ ВОЕННАЯ ЗИМА В РОССІИ*)

В «войнѣ нервов» или, как говорят иногда в Совѣтской Россіи, в «в о й н ѣ х а р а к т е р о в», которую одновременно с кровопролитной бойней ведет Гитлер, первая военная зима в Россіи уже принадлежит исторіи. И в этой исторіи Ленинград по праву занимает почетное мѣсто. С середины сентября 1941 года город оказался отрѣзанным от остальных частей страны. Сообщеніе поддерживалось только по воздуху. Когда установились морозы и окрѣп лед на Ладожском озерѣ, по нему шло снабженіе продовольствіем, да и населеніе часто предпринимало вылазки в окрестности в поисках с'ѣстных продуктов. Этот путь по льду Ладожскаго озера получил у населенія кличку «Д о р о г а ж и з н и».

Хорошо запомнили Ленинградцы погожій осенній вечер перваго воздушнаго налета, когда нѣскольким группам непріятельских аэропланов удалось не только подкрасться к окраинам, но и пересѣчь на большой высотѣ весь город. Это было в один из первых вечеров сентября, когда высоко в небѣ, в быстро проплывающих тучках, в дымках зенитных разрывов появились нѣмецкіе самолеты. С тѣх пор эти посѣщенія и артиллерійскіе обстрѣлы прочно вошли в быт Ленинграда. Иногда, особенно вначалѣ, вражескіе аэропланы ограничивались сбрасываніем «м о р а л ь н ы х б о м б» — цѣлых пакетов прокламацій. В этих листовках, написанных по словарю неживым, книжным языком, Ленинградцам обѣщалась в случаѣ капитуляціи «п р е л е с т н а я мирная жизнь».

Своим внѣшним обликом осажденный город очень скоро стал походить на Петроград времен «Сѣверной Коммуны» періода гражданской войны. Отчасти это сходство вызывалось тѣм, что город, как и во времена приближенія армій генерала Юденича, вновь подтянулся, сжался в кулак, втянул бока, ушел в свои проходные и внутренніе дворы. Опять появились баррикады, заслоны. Вновь, но в неизмѣримо болѣе широком масштабѣ, началась м и г р а ц і я населенія с

*) Глава из подготовляемой к печати книги о жизни Совѣтскаго Союза во время войны.

окраин в районы, гдѣ созданы были дополнительныя или «резервныя укрѣпленія». Переселеніе жителей растянулось на многія недѣли.

Всякій массовый переѣзд порождает со стороны грустное впечатлѣніе. В особенности грустное зрѣлище представляло это переселеніе теперь: оно охватило многія тысячи жителей, и уж как-то очень откровенно прянула в глаза вопіющая бѣдность населенія. Вещи перевозились на грузовиках, но больше всего на маленьких саночках, салазках, на случайно добытых дровнях. Громоздились старые желѣзные кровати, керосинки, стѣнные часы «ходики», узлы с домашним скарбом. Но владѣльцев этой нищеты бѣдность занимала мало. С ней, повидимому, люди давно сжились. Тысячи потянулись за своим «добром», другія тысячи добровольно, без всякаго вмѣшательства жилищных отдѣлов, уплотнялись, очищая мѣсто для новых «вселенцев».

Город стал просыпаться раньше. Зашуршали предразсвѣтныя сумерки от шагов пѣшеходов. Усложнилась работа дворников: они скалывали лед на улицах по старинкѣ и везли его на маленьких саночках в Неву. Бомбардировками сорваны многіе под'ѣзды.

Одним из первых живо зарисовал внѣшній вид осажденнаго города извѣстный поэт, участник 1-ой міровой и гражданской войн — Николай Тихонов в очеркѣ «Город в бронѣ» к годовщинѣ Октябрьской революціи:

«Теперь мы узнали, каков Ленинград во мракѣ затемнѣнія. Узнали, как выглядят улицы без огней и без людей ночью. Как не нужна и прямо враждебна луна над городом. Как надо жить, стиснув зубы от великой ненависти. Над Невой в туманѣ проходят корабли. Глухо стучат шаги ночного дозора. Улицы стали напоминать совсѣм другія времена. Голос времен, как эхо, живет в пространствах ночи... По улицам проходят обозы и танки, проходят войска. С мужчинами рядом шагают женщины, сестры, жены. Так онѣ пройдут до самаго фронта. Фронт недалеко. И тут же под вой разрывов им скажут: Довольно. Вернитесь! Онѣ ответят: мы остаемся и останутся дружинницами».

Но у живой жизни всегда много красок и звуков. И посреди самой угрюмой озабоченности может неожиданно брызнуть веселый смѣх. На улицѣ возлѣ одной из бань выстроился длинный «хвост» мужчин в дремучих бородах: «Откуда такіе бородачи в наше время, да еще цѣлая куча? — Подождите, через нѣсколько часов всѣ будем молодыми — говорят, по-

смѣиваясь, бородачи». Это пришли в город партизаны помыться ,побриться, отдохнуть.

Новости в осажденном городѣ распространяются, пожалуй, быстрѣе, чѣм в нормальное время и, главное, онѣ переживаются дружнѣе, скопом. Вот нѣмецкая бомба, попав в Зоопарк, убила старую, всей дѣтворѣ знакомую слониху. И хотя время сейчас не для прогулок в Зоологическом Саду, случай оживленно обсуждается, старая слониха вѣдь почти коренная жительница Ленинграда. Но тут же — и на этот раз трагическое — происшествіе вытѣсняет вѣсть о слонихѣ: от бомбежки рухнул гдѣ-то дом. Вызваны бойцы аварійной команды. Они работают умѣло и быстро. Вдруг один из бойцов молча передает труп дѣвочки. Товарищи по работѣ чувствуют, что руки бойца как-то странно ослабѣли: может быть, он устал? — Нѣт. Но в убитой он опознал свою собственную дочь. Но он не уходит с поста: под развалинами могут быть и живыя дѣти.

Эту картину дополняет и корреспонденція из Ленинграда от начала декабря К. Д е д к о в а:

«Над городом, над домами, улицами и площадями Ленинграда — сѣрая муть облаков, снѣг, вѣтер. Первая декабрьская пурга метет в окна, засыпает воротники прохожих. Но, как всегда, на улицах много народа. Он идет по своим дѣлам, спѣшит на заводы, в институты, в учрежденія. Временами, через опредѣленные промежутки, слышатся глухіе разрывы снарядов. Снаряды падают на улицах, иногда пробивают стѣны домов, крыши верхних этажей, свистят осколки. Движеніе на время стихает, потом обстрѣл прекращается...»

Менѣе внѣшне благополучное, но, думается, болѣе отвѣчающее трагической дѣйствительности описаніе ночного зимняго Ленинграда можно найти в новеллѣ уже упомянутаго Тихонова:

У ворот родильнаго дома позвонил человѣк с улицы. Он стоял «запыхавшись, злой, растерянный». Он шел с завода, с работы в ночной смѣнѣ и вдруг услышал в темнотѣ чьи-то стоны. Оказывается, посреди улицы, темноты и снѣга, какая-то женщина собралась рожать — «А я не акушер» — буркнул прохожій. Дежурная сестра Ирина с санитаром и прохожим двинулись на розыски:

«Стон доносился справа. Они бросились туда, и дѣйствительно, за фонарем, как указывал прохожій, прижавшись спиной к стѣнѣ дома, у запертых наглухо ворот сидѣла женщина... Да, эту женщину доставить в родильный дом было уже

поздно: она рожала. Рожала на снѣгу, в черную зимнюю ночь, освѣщенная вспышками рвущихся снарядов. Ирина оглядѣлась... Снѣг сыпался за ворот, сильные порывы вѣтра ударяли в лицо, руки холодѣли, сердце билось от волненія так, что она слышала его стук. Казалось, никакого Ленинграда нѣт, есть дикая, темная пустыня, заметаемая зимней бурей под вой вражеских снарядов. Напрасно стучать в эти наглухо закрытые ворота, напрасно кого-то звать — улица пустынна, до утра по ней может не пройти ни один человѣк». Женщина разродилась дѣвочкой. Ребенка завернули и вмѣстѣ с его матерью все-таки доставили в родильный дом. Когда ее уложили, она подозвала к себѣ дежурную и сказала «строгим, почти суровым шопотом»: «Как тебя зовут? А зачѣм вам это? спросила Ирина. Хочу знать. Ирина зовут меня. — Дочку так назову — пусть тебя помнит. Ты ее спасла».

Уже к началу зимы населеніе города было болѣе или менѣе с'организовано. Еще осенью в 3-хдневный срок зарегистрированы были всѣ, подлежавшіе воинному обученію («Всевобуч»). Открылись всевозможные курсы по подготовкѣ спеціалистов по тушенію пожаров, по уходу за ранеными. Расплодились новыя «профессіи»: «тушители», «верхачи» (наблюдатели на крышах), бойцы аварійных команд, «доноры». Ускоренные курсы прошли домохозяйки, учителя, инженеры, дворники, писатели.

Ряд ленинградских ученых сражаются добровольцами. Многіе пали смертью храбрых. По приблизительным подсчетам 2500 студентов и преподавателей в рядах дѣйствующей арміи... Другіе остались на своих постах, чтобы здѣсь своими знаніями и трудом помочь фронту. Научные институты и лабораторіи сосредоточились на вопросах прикладного знанія. Сдѣланы маленькія, но полезныя открытія. Разработаны, напримѣр, новые составы свѣтящихся красок, которыми покрывают углы улиц, края тротуаров. Свѣтящіяся краски используются и для с в ѣ т я щ и х с я п а у ч к о в, нужных пѣшеходам, чтобы оріентироваться в темнотѣ. В одном институтѣ сконструирован для фронтовых людей портативный аппарат — к а р м а н н а я г р ѣ л к а, дающая тепло втеченіи нѣскольких часов. Много работают медики. Особенное вниманіе — при бѣдности медикаментов — привлекает проблема лѣченія ран. Занят этим профессор Н. П е т р о в, поснятившій себя изслѣдованію примѣненія бальзамов при газовой инфекціи.

Ленинградское отдѣленіе Института Исторіи Академіи

Наук предполагает изданіе серіи работ под общим заголовком «Лѣтопись великой отечественной войны». Ленинградскій Союз писателей подготовил нѣсколько сборников об «Осажденном Ленинградѣ» и «Осажденные города не сдаются».

Уклад жизни во многом измѣнился. Театры начинаются в 4 часа дня. Большим успѣхом пользуется опера «Евгеній Онѣгин». В «Лавкѣ писателей» больше всего покупаются старыя солидныя историческія работы.

Хотя и трудна научная работа при остром недостаткѣ топлива и питанія, условія, в которых приходится работать на заводах, еще тяже. лѣе. Об этих ýсловіях, впрочем, пишут рѣдко и неохотно.

Скупо, но достаточно отчетливо вырисовывается эта обстановка в небольшом очеркѣ Татьяны Окс.

В дверь подвала одного из домов на Петроградской Сторонѣ постучался красноармеец, пріѣхавшій в отпуск. Он пробирался через нѣмецкія линіи и завтра спозаранку должен пуститься в обратный путь. Ему открывает дверь его сын Вова. Отец едва узнает его, так измѣнился ребенок за полгода разлуки: вырос, поблѣднѣл. Жены Лены нѣт дома. Она поступила на завод, возвращается с работы только поздно вечером. Вова часто бѣгает встрѣчать ее, хотя она и протестует. Вова трудится на домашнем фронтѣ: колет дрова, топит печь «времянку», носит воду. Ночью красноармеец разсказывает женѣ, как он пять дней провел под сугробами в развѣдкѣ и в награду получил трехдневный отпуск, разсказывает о мужествѣ своих товарищей, у которых иногда и лицо покроется «коркой льда и крови», но они не отходят от пулеметов. Тревожит его, однако, судьба жены. Он убѣждает ее выбраться из Ленинграда, попытаться поѣхать в провинцію: «Вѣдь нельзя больше терпѣть. Думаешь, я не вижу. Ты падаешь с ног. Вова высох, как комарик».

Лена признается, что осенью, когда еще не установились морозы, она часто подумывала об этом и «тогда многіе уходили». «Каждый вечер» — разсказывает она — я складывала мѣшок и на разсвѣтѣ будила Вову, чтобы взять его и уйти. И каждый раз я бросала мѣшок в угол, потому что думала о людях, что придут сегодня в цех, голодные, измученные безсонницей, обстрѣлами, но придут... А знаешь как у нас? Не хватает транспорта, цеха не отапливаются. От холода инструменты обжигают руки. Никто не уходит. Только ждем. Ждем, что вы придете». Недавно с их завода взяли нѣлую группу рабочих-спеціалистов, сказали им, что они нуж-

ны для работы на одном важном оборонном заводѣ в тылу, но предупредили, что средства сообщенія очень скудны, семьи свои они должны будут оставить в Ленинградѣ. И люди уѣхали (были перевезены на аэропланах) одни... Когда рано утром красноармеец проснулся, Лены уже не было. Сын растапливал «времянку» и передал от матери записку и пакетик с ѣдой: хлѣб, нѣсколько тоненьких ломтиков колбасы, два куска сахару. Вова сам напомнил отцу, что ему пора собираться в обратный путь.

Очерк написан по способу моментальной фотографіи, без обычной совѣтской ретуши — разсужденій о «наших достиженіях». Поэтому он глубоко и западает в душу. Маленькій очерк вмѣстил много деталей из жизни этой страшной зимы. На одной из них надо остановиться подробнѣе. Рѣчь идет о дѣтях, о судьбѣ семьи.

Как ни тяжелы условія на предпріятіях и в учрежденіях, личная, семейная жизнь людей осажденнаго города побивает всѣ рекорды выносливости. Особенно поражает выносливость дѣтей. Образ маленькаго Вовы, выбѣгающаго зимней ночью на-встрѣчу матери, чтобы ей было не так страшно — не исключеніе. Он это дѣлает по собственной иниціативѣ. На нем лежит много обязанностей и, пожалуй, самая неблагодарная домашняя работа.

В городѣ не было воды. За ней приходилось бѣгать иногда очень далеко. Ведер нѣт. Воду брали в бутыли, в бидоны, в металлическіе ящики. Водой можно запасаться только днем, когда большинство взрослых на работѣ. Не легче с отопленіем. Центральное отопленіе пріостановлено; там, гдѣ есть печи, нѣт дров. Как и в годы гражданской войны, населеніе вернулось к желѣзным печуркам. Тогда онѣ назывались «буржуйками». Сейчас, деликатно, «времянками». Но не в названьи дѣло: тепло их эфемерно, обслуживаніе хлопотливо и отнимает массу времени. Даже в годы голода и гражданской войны дѣти были поставлены в сравнительно лучшія условія. О них заботились всевозможныя дѣтскія учрежденія и организаціи. Сейчас они поневолѣ выпадают из поля вниманія, живут трудной — недѣтской, одинокой жизнью.

Характерен разсказ Н. Тихонова «Семья»: Пожилой рабочій Семен рѣшает пойти на фронт. Жена поддерживает его в этом рѣшеніи. Она тоже уйдет: работать вмѣсто него на завод. Когда обезпокоенный этим рѣшеніем Семен спрашивает, а как же будет с дѣтьми, которыя еще нуждаются в уходѣ,

жена отвѣчает, что 11-лѣтнюю Олю и маленькаго Петю она отдаст к своей подругѣ Лелѣ. Но Оля твердо отказывается и за себя и за младшаго Петю. Она увѣряет, что справится с хозяйством не хуже матери; много обязанностей она выполняет вѣдь и теперь. Из перечисленія этих обязанностей видно, что за водой ходит она, в очереди за хлѣбом стоит она. Петю кормит тоже она. Остаются дрова, да в этом ей поможет сосѣдская дѣвочка. Сварить же обѣд по нынѣшним временам не Бог вѣсть что: разносолов вѣдь нѣт!

По этой картинѣ жизни осажденнаго Ленинграда читатель без труда установит основной и рѣшающій факт:

Ленинград держался и держится не чудом, а мужеством и граничащей с чудом выносливостью, стойкостью и тихим героизмом всего населенія.

Поражает в этой картинѣ с л а б о с т ь направляющего и организующего вліянія к о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т і и. Было бы поспѣшно и невѣрно начисто игнорировать ея роль. Вѣдь в ея руках, в руках ея членов, сосредоточена вся административная, хозяйственная жизнь, вся, так сказать, парадная часть ея общественной жизни: выѣзды делегацій от заводов и учрежденій на фронт с подарками, большія собранія с участіем партизан, представителей фронта, окрестных деревень из освобожденных районов, просвѣтительная работа. Но за время войны внутри коммунистической партіи произошли большіе сдвиги. Много коммунистов на фронтѣ, другіе вмѣстѣ с заводами переброшены в глубокій тыл. Сейчас в партійных комитетах оживленно обсуждаются мѣры «привлеченія и воспитанія новых кадров».

Но есть и еще одно обстоятельство, дѣлающее компартію сейчас менѣе вліятельной, чѣм она была до войны. Если уже в мирное время внѣшняя сторона оффиціальной общественной дѣятельности обезцѣнивалась установившейся рутиной и шаблоном, то теперь это выпирает особенно рельефно. Перед лицом нечеловѣческих лишеній и страданій живых масс особенно неумѣстно и неубѣдительно звучат изліянія о том, что этот героизм вызван «желаніем защитить великія достиженія», еще менѣе умѣстно обязательнос славословіе «дальновидной политики правительства, партіи и самого товарища Сталина».

Публицисты и писатели, прожившіе вмѣстѣ с Ленинградцами трудную зиму, хотя сами в большинствѣ члены компартіи, чувствуют это болѣе глубоко, чѣм люди со стороны. Не смѣя вслух анализировать эту «неувязку», они по

своему ее все-же отмѣчают: либоовсе молчат, либо пишут о «мудром руководствѣ» так, как о нем писалось до войны — пышным слогом, а весь жар непосредственнаго чувства, всю настоящую взволнованность отдают туда, куда слѣдует — описанію простого мужества, безымяннаго героизма всего населенія.

В этой связи стоит заглянуть и в Ленинградскій союз писателей. Как и у прочих совѣтских учрежденій и организацій, у Союза, собственно, двѣ жизни — оффиціальная и другая — своя, внутренняя. Оффиціальная в эту зиму свелась к организаціи вечеров, на которых выступали литераторы, пріѣхавшіе с фронта, к поѣздкам делегацій на фронт с подарками, к подготовкѣ сборника литературных новинок, написанных за зиму, к подготовкѣ писательской конференціи, намѣченной на лѣто 1942 года.

Болѣе интимная писательская жизнь сосредоточилась в «Домѣ писателя». Вслѣдствіе полиграфических трудностей было пріостановлено печатаніе литературных ежемѣсячников. Вмѣсто этого писатели воскресили традицію Живых Альманахов. На этих собраніях писатели читали отрывки из своих новых вещей.

Удачен был Живой Альманах в канун Новаго Года. Это была болѣе чѣм скромная вечеринка. Дом писателей не отапливался. Чуть-чуть согрѣли воздух в комнатѣ. Писатели пришли голодные, одѣтые во все, во что только можно было одѣться. Вечеринка напоминала литературныя собранія времен гражданской войны. Правда, только немногіе среди собравшихся были участниками вечеринок начала революціи: Н. Тихонов, В. Каверин, Анна Ахматова. За истекшее 25-лѣтіе произошло немало перемѣн: одни писатели умерли, другіе замолкли поневолѣ, третьи переселились в Москву или уѣхали дальше в тыл. Но бытовыя лишенія опять, как и тогда, искупались атмосферой большей дружбы, чѣм это имѣло мѣсто во времена относительнаго благополучія. Онѣ создавали новую спайку, предрасполагали к искренности.

Об этих настроеніях дает представленіе короткое стихотвореніе Ахматовой:

«Мы знаем, что нынѣ лежит на вѣсах
И что совершается нынѣ.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская рѣчь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим, и от плѣна спасем
Навѣки.»

О них говорит все творчество ушедшаго в народное ополченіе Н. Тихонова. Неслучайно послѣ ряда блѣдных в смыслѣ творческих достиженій .лѣт,опять окрѣп его писательскій голос. Прочитанная им поэма посвящена осажденному Ленинграду:

«Домов затемненных громады
В зловѣщем подобіи сна.
В желѣзных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина»...

Привязанность к Ленинграду вспыхнула в Тихоновѣ с большой силой, вытеснив из сердца даже его увлеченіе романтикой гражданской войны. Эта привязанность характерна почти для всѣх Ленинградских писателей. В осажденном городѣ возродилась не романтика революціи, а старая тема Петербурга, ведущая свое начало от Гоголя и Достоевскаго. В началѣ вѣка ее особенно культивировали символисты Блок и Бѣлый. Свои новыя мысли о Ленинградѣ Тихонов ярко передал в кратком разсказѣ «Яблоня»:

В городѣ очередной налет нѣмцев, люди бѣгут в убѣжища. Отправился туда и один художник. Грустныя, отчасти даже малодушныя мысли мучают его: зря он не выбрался из Ленинграда, как это сдѣлали многіе! Вѣдь работать все равно нельзя. Его руки покрылись какой-то корой, мучает ревматизм, двигаться ему трудно, а сейчас вот и свѣта нѣт. Но тревога кончилась. Художник вышел на улицу и, подходя к дому, замѣтил новое дерево — яблоню, убранную пышным снѣгом, переливавшимся изумительным снѣжным пламенем. Прежде он ее никогда не видѣл, так как ее заслонял старый, безобразный забор. Взрывом забор уничтожен. Художник оглянулся и увидѣл город, «залитый фіолетовой, колдовской луной». «Прекрасный город вставал вокруг него в неизмѣримой и неповторимой красотѣ... Как? Уѣхать из этого изумительнаго міра красоты, героизма, труда, великолѣпія?!»

С этими настроеніями перекликаются и мысли критика И. Груздева (автора работы о жизни и творчествѣ М. Горькаго):

«Мы сейчас лишены необходимых условій для нашей работы. У нас нѣт свѣта, нѣт тепла, мы голодны. И вот поднимается вопрос: нужен или не нужен в этих условіях писательскій труд в Ленинградѣ?» Груздев отвѣчает утвердительно, считая даже особой «писательской удачей», что судьба дала нѣкоторым писателям прожить это время именно в Ленинградѣ, «не на задворках исторіи, а на фронтѣ исторіи, лицом к лицу с грозными событіями, в великом городѣ, суровые дни котораго войдут в исторію тысячелѣтій. И если есть у нас уши, которые слышат, и глаза, которые видят — сказал он, обращаясь к писателям — подумайте о том, что вѣдь именно нам выпало счастье запечатлѣть то, что мы видим и слышим, и ни один человѣк в мірѣ не может нас замѣнить...»

***

В будущем году Москва сможет отпраздновать свой особый юбилей: в 1943 году исполнится 25-лѣтіе перенесенія столицы из Петербурга-Ленинграда назад в Москву. Но ни грандіозныя и трагическія событія этого двадцатипятилѣтія, ни теперешняя война не могли вытравить из сознанія коренных жителей обѣих столиц, что в чем-то неуловимом, неосязаемом, но очень существенном, оба города не похожи друг на друга.

Из всѣх русских городов Ленинград — самый европейскій город. А Москва, хотя и стала политическим и хозяйственным центром страны, в чем-то осталась прежней — столицей европейско-азіатской державы. Правда, в послѣдніе годы внѣшній облик Москвы измѣнился, она в ударном порядкѣ европеизировалась. Уже во время нынѣшней войны, и как раз в дни опасности, «Извѣстія» не без гордости сообщили, что 7-го октября 1941 года закончилась передвижка на 50 метров послѣдняго зданія на улицѣ Горькаго (бывш. Тверской) для расширенія этой центральной артеріи, ведущей к Бѣлорусскому вокзалу. Но наряду со строительством, с расширеніем улиц, на окраинах по-прежнему имѣются цѣлые кварталы одно- и двухэтажных деревянных домов. Эти доживающіе архитектурные «граждане» только ярче подчеркивают то, что было характерно и для старой купеческой Москвы:

архитектурная пестрота, сосуществованіе различных стилей, эпох, вкусов вѣками собиравшагося города.

Вот одна характерная деталь: Ленинградскіе писатели почти никогда не ссылаются на Отечественную войну 1812 года. У Ленинграда никогда не было вкуса к исторіи, культурная и общественная жизнь города всегда больше в современном. Ленинградец и по своему душевному складу отличен от Москвича: он болѣе собран, сдержан, внѣшне суховат.

Не то Москва. Здѣсь Отечественная война далекая, но своя, кровная исторія. О ней со слов прадѣдов любил и любит побалакать пестрый народ мѣщанской окраины. Рабочіе, занятые на строительных работах, до сих пор будто бы находят в землѣ французскіе деньги. В ходу поговорки: «От копѣечной свѣчки Москва сгорѣла» и т .п. Пережила революцію и развинченная шарманка и, пробираясь по глухим дворам предмѣстій, она все еще монотонно наигрывает популярный нѣкогда романс, слова котораго сочинены были нынѣ забытым поэтом Соколовым в 30-х годах прошлаго столѣтія:

«Кипѣл, горѣл пожар Московской
Дым разстилался по рѣкѣ...»

А слова этого-ж романса: «Судьба играет человѣком, она лукавая всегда» — в безконечных варіантах давно вошли в обиходную рѣчь.

В фельетонах, посвященных Москвѣ, рѣлкій писатель, если он к тому же коренной москвич, обходится без упоминанія об Отечественной войнѣ. Здѣсь его упоминаніе, как старинный семейный сувенир:

«Суровое предзимнее небо нависло над моим городом. Москва! Город надежд; город славы... В Москвѣ уцѣлѣли еще дома, свидѣтели 1812 года. С великой гордостью я ощущаю себя в эти дни москвичем, уроженцем этого любимаго города, сыном моей страны, моей родины» — писал Вл. Лидин в октябрѣ 1941 г.

Любит Москва широкій жест, индивидуальный порыв души, корнями уходящій в старый деревенскій мір. Но любит вѣдь жест и новая власть. И амальгама стараго и новаго в Москвѣ, хотя и причудлива, но прочна. Она передана в стихотвореніи «Москва в эти дни» С. Щипачева:

«Москва, благословен твой каждый камень,
Как вся святая русская земля.
Нас осѣняет Ленинское знамя,
Нас в бой зовут столѣтія Кремля!»

В грозные дни опасности писатели и публицисты старались подобрать с улиц Москвы побольше специфически московских деталей. Вот у Устьинскаго моста замѣтил В с. И в а н о в «Пункт по пріему вещей от населенія в фонд обороны». Вещи сюда приносились разныя: кто нес пару бѣлья, кто рубаху, кто пальто. Но особенно растрогал писателя дар одного сапожника-кустаря. Сам он был калѣкой, одноногим. Ногу потерял на войнѣ 1914 года. Сейчас он принес хорошіе хромовые сапоги, не принятые заказчиком. Сапоги у кустаря приняли, но он продолжал стоять, что-то обдумывая, колеблясь. Вдруг он вынул из жилетки золотое кольцо и положил его на прилавок. Кольцо это — подарок умершей жены. Он любил ее, думая, что сама смерть не сможет разлучить его с кольцом...

Но, конечно, не отдѣльныя черточки могут передать дѣйствительную атмосферу, в которой жила Москва. Несмотря на то, что частичная эвакуація учрежденій и нѣкоторых заводов была произведена еще в концѣ лѣта, и несмотря на частыя воздушныя тревоги, Москва до конца сентября 1941 года жила как с т о л и ц а т ы л а. Еще 9-го октября передовик «Извѣстій» призывал партійныя и совѣтскія организаціи «осознать опасность, грозящую странѣ, покончить с настроеніями благодушія и беззаботности, напрячь всѣ силы для отпора врагу». А недѣлю позже наступил самый критическій момент. Было введено осадное положеніе. Оборона внѣшних рубежей была возложена на генерала Жукова, оборона самого города — на генерала Артемьева.

Поползли зловѣщіе слухи. Распространителей этих слухов бойкіе на язык москвичи прозвали «ОГГ» (сокращеніе: Одна Гражданка Говорила): «Всѣ желѣзнодорожные узлы давно разбомблены»; «эвакуированные в провинцію артисты Московскаго Художественнаго Театра прислали холода в Москву за хлѣбом»; «за Крестовской заставой нѣмцы спустили парашютный десант».

Лучшей пока повѣстью о Москвѣ в эти октябрьскіе дни является «Линія жизни» Павла Нилина. Это разсказ о москвичѣ-добровольцѣ Митѣ Поповѣ, отдавшем свою жизнь «за Россію под названіем Совѣтскій Союз». Нѣсколькими, вѣрно схва-

ченными подробностями писатель запечатлѣл тревогу рядовых москвичей, вызванную эвакуаціей города, их чувство, что «если дрогнет Россія бѣжать будет некуда» и их вѣру, что «Россія не дрогнет».

Зловѣщій свѣт на царившую в эти дни обстановку проливает с у д е б н а я х р о н и к а. Ранним утром 18-го октября — разсказывает репортер «Извѣстій» — на пути к одной из застав шло нѣсколько грузовых машин. В их кузовах сидѣли эвакуированныя семьи. Около машин, двигавшихся очень медленно, сновали какіе-то люди, ни в чем не отличавшіеся от обычнаго уличнаго люда. Когда грузовики подошли к площади, к ним бросились громилы. «Они бѣжали вслѣд за грузовиками, висли на бортах. По собачьи грызлись из-за добычи, торопясь урвать побольше». Их удалось захватить. Пятеро из них были разстрѣляны.

Еще болѣе показательно судебное дѣло против руководящих работников обувной фабрики № 2 от 21-го октября. Руководители фабрики получили приказ неотлучно находиться на производствѣ, обезпечивая безперебойность в работѣ и дисциплину. Но директор предпріятія Варламов с своими сотрудниками об'явили рабочим, что предпріятіе закрывается. Вмѣсто заработной платы Варламов распорядился открыть фабричные склады, сказав рабочим: «Берите эти фетровые валенки! Надѣвайте их и бѣгите прочь из Москвы». Сам Варламов вмѣстѣ с другими лицами из администраціи бѣжал, предварительно захватив кассу фабрики. Их поймали... Троих приговорили к разстрѣлу.

Наряду с усиленіем мѣр по борьбѣ с «паникерами» и «шепчущими громкоговорителями», власть прибѣгла к мобилизаціи общественнаго мнѣнія широких слоев населенія. Были проведены митинги на заводах, населеніе было мобилизовано на работы по возведенію «о б о р о н и т е л ь н а г о р у б е ж а» вокруг Москвы.

Картина, встающая из описанія заводских митингов, при всей своей неполнотѣ, все-же не оставляет сомнѣній относительно дѣйствительных размѣров паники, охватившей населеніе. Паника эта питалась вѣстями с фронта, просачивавшимися через бѣженцев из захваченных противником мѣстностей, через раненых, через администрацію. Катастрофическое положеніе с продовольствіем в этой обстановкѣ играло роль вѣтра на пожарѣ. Самый внѣшній вид Москвы мог внушить острую тревогу. По центральным артеріям города текли безостановочно танки, шли войска, бродили люди с растерянными

лицами. У каждаго открытаго магазина тянулись очереди.

Перенесеніе столицы в Куйбышев поселило в Москвичах горькое чувство: нас бросают на произвол судьбы. Стихію паники нельзя унять мѣрами голаго террора. Пусть сѣятели паники — «жалкіе трусы», «обыватели», но эти «обыватели» — как справедливо говорили между собой рабочіе на одном митингѣ, описанном корреспондентом «Извѣстій» — «совѣтскіе обыватели». Нужно было искать путей переломить эти настроенія.

Таким неосознанным вначалѣ выходом и была мобилизація всего населенія на работы по возведенію «оборонительнаго рубежа».

Работы начались в самые тревожные дни. Мобилизовано было все населеніе. Несмотря на ужасную погоду, на примитивныя лопаты и кирки — работа наладилась и велась с большой энергіей. Все кольцо вокруг Москвы было разбито на участки, во главѣ каждаго участка были назначены отвѣтственные руководители; кое-гдѣ — без особаго успѣха — была сдѣлана попытка перенесенія сюда методов «соціалистическаго соревнованія». Так на нѣкоторых участках были проведены собранія, вынесены торжественныя обѣщанія закончить работы к годовщинѣ Октябрьской революціи. К 7-му ноября эти работы, однако, не были закончены. В другое время это послужило бы поводом для публичной «проработки» отвѣтственых руководителей, для вынесенія им выговора и замѣны их другими. Сейчас эти невыполненныя обѣщанія были забыты. И «Правда», и «Извѣстія» продолжали расхваливать мужество и энтузіазм работающих.

Эти работы выполнили другое, гораздо болѣе важное назначеніе: они переломили настроеніе растерянности, апатіи и паники. В трудѣ, лишеніях, в голодѣ и холодѣ выковалось новое содружество людей, новое чувство солидарности, великое чувство общности в судьбѣ. В этом смыслѣ оборонительный рубеж дѣйствительно стал незабываемой вѣхой в исторіи этой войны. Ранняя и очень суровая — даже по русским понятіям — зима явилась желанной гостьей...

Но вот самый острый кризис миновал. Из столицы тыла Москва превратилась в угрожаемую столицу центральнаго фронта. Настали суровые дни борьбы, молчаливо напряженные, собранные, цѣлеустремленные. Несмотря на близость фронта, на частые воздушные налеты, город зажил кипучей, сплоченной жизнью.

Страшная война ежеминутно требовала от населенія великих жертв, но взамѣн устраняла одну, начинавшую укореняться несправедливость, угнетавшую и раздражавшую широкіе слои населенія: война возвращала населенію право судить людей не по их словам, а по их дѣлам. Вмѣсто принудительнаго ассортимента «героев», утвержденных авторитетом власти, населеніе взяло себѣ право хвалить героев, которых каждодневно оно само выдвигало из своей среды. В большинствѣ случаев герои эти не были ни коммунистами, ни отвѣтственными работниками, а заурядными гражданами, в момент испытанія проявившими скрытыя от глаз посторонних высокія душевныя качества. Нерастерявшійся во время налета аэропланов водитель троллейбуса, подросток, ловко примѣтившій и потушившій тлѣвшую огневую точку, бѣдная женщина, сжалившаяся над брошенными в суматохѣ эвакуаціи кошками, любитель-пожарник, придумавшій — послѣдній крик «вечерней моды» — класть в тулью картуза крышку от кастрюли для предохраненія головы от возможных ушибов — всѣ они становились темой оживленных бесѣд в бомбоубѣжищах, источником одушевленія и подражанія.

Эти органическія явленія массовой психологіи росли и ширились, внося в общій тонус жизни элементы неожиданной бодрости. Это чувствовалось в мѣстах большого скопленія публики — в пошивочных мастерских, в бомбоубѣжищах, в кино, в театрах.

Особым успѣхом пользовались в кинематографах картины «Киносборника», вродѣ «Лондон не сдастся», «Наша Москва». О «Нашей Москвѣ» рецензент писал:

«Все здѣсь знакомо и близко москвичу: дежурные у под'ѣздов домов, пожарные на крышах, убѣжища на станціях метро, вся работа населенія, успѣшно ликвидирующаго послѣдствія вражеских налетов».

Популярность выпала на долю новаго, уже во время войны возникшаго на улицѣ Горькаго театра «Я стребок». Маленькій театр удачно разрѣшил коренной вопрос о необходимости «военнаго союза всѣх видов искусства для общей атаки на врага»: он создал говорящій и самодвижущійся плакат, выросшій из традицій балаганнаго искусства старых русских ярмарок. Авторы идеи попали в самую точку:

«На сценѣ москвичи строят баррикады, надолбы, ежи. Из зрительнаго зала тѣ же москвичи, набившіе руку на этих работах, подают компетентныя реплики: 'Трамбовкой покрѣпче бей!'»

Сам увлеченный и согрѣтый этой атмосферой дружбы между актерами и зрителями автор замѣтки добавляет: «Театральное искусство рожденное войной, овѣянное ея дыханіем, неотдѣлимо от нашего дня. Оно требует высокой правды этих дней».

Вѣрная сама по себѣ мысль интересна еще и потому, что она одновременно об'ясняет нам сдержанность оффиціальной критики в отношеніи театральных постановок и концертов, посвященных историческим темам далекаго прошлаго. Когда в Московском Музыкальном Театрѣ был устроен концерт «Герои русскаго народа», во время котораго были исполнены «Богатырская» симфонія Бородина, «Полтавскій бой» Чайковскаго и др., рецензент «Правды» не удержался от замѣчанія: «Слѣдовало бы гораздо больше представить героику нынѣшних дней великой освободительной борьбы совѣтскаго народа»...

Почти цѣлых два мѣсяца прожила Москва под непосредственной угрозой ея занятія. День 13-го декабря 1941 года, когда населеніе города оффиціально было оповѣщено о начавшемся отступленіи противника войдет, конечно, не только в исторію Москвы, но и в анналы второй міровой войны. Трудно переоцѣнить морально-политическое значеніе событій, развернувшихся на коротком отрѣзкѣ 2—3 мѣсяцев зимней кампаніи, начало которым положено было отступленіем нѣмецкой арміи из под Москвы. Впервые за 7 мѣсяцев войны армія и населеніе реально ощутило: Врагъ не непобѣдимъ!

«На самой передовой линіи величайшаго поединка Москва выстояла. Были дни, когда каждый из нас провѣрял свою жизнь, потому что рѣшалась судьба Москвы»... — писал в этот день Вл. Лидин.

И здѣсь вновь напрашивается параллель с Ленинградом: «Выстояла» не одна Москва. Держался и держится Ленинград. По количеству жертв, Ленинград далеко обогнал Москву. Но эхо этого массоваго героизма в печати и в странѣ слабѣе, чем того заслуживают Ленинградцы... Зато впервые послѣ многих лѣт в сознаніи всей страны Москва дѣйствительно стала центром, собирательницей земли. Произошло это благодаря особому стеченію обстоятельств. По слѣдам отступившей нѣмецкой арміи шли наступавшія части Красной Арміи. Втеченіи декабря были освобождены Тихвин, Калинин (Тверь), Малоярославец, Клин, Калуга. Первыя свѣдѣнія о состояніи освобожденных районов естественно стали

поступать в Москву. Московское населеніе по собственной иниціативѣ в разных мѣстах города организовало сборы на помощь пострадавшим жителям освобожденных городов. Бездѣтныя семьи вызвались усыновить или принять на воспитаніе осиротѣвших дѣтей.

Но как ни важна была сама по себѣ эта матерьяльная помощь, реальные размѣры ея, увы, были болѣе чѣм скромны. Зато Москва разрѣшила другую, еще болѣе насущную задачу.

«Война», «армія», «страна» — все это гигантскія, собирательныя понятія, за которыми в реальной жизни движутся, переживают, мучаются живыя существа. И даже самое мелкое подраздѣленіе состоит из разнородных единиц. Отдѣльныя единицы, или даже крупныя об'единенія могут быть героичны, вынословны, могут одерживать побѣды, а армія в цѣлом может одновременно терпѣть пораженіе. Еще в большей степени относится это к «общественному мнѣнію».

В гигантских народных катастрофах, обрушивающихся на человѣчество, важно постигнуть м о р а л ь н ы й к л и м а т, в котором развиваются событія. Часто поведеніе и самочувствіе людей, имѣющих десятистепенное отношеніе к арміи и не имѣющих никакого вліянія на политику и стратегію — может сыграть рѣшающую роль в исходѣ больших событій. Эта мысль водила пером Льва Толстого, когда он создавал свою грандіозную эпопею.

7 мѣсяцев длилась уже война, но до сих пор с т р а н а н е з н а л а с е б я. В этом смыслѣ вѣсти из освобожденных районов приобрѣтали первостепенное политическое значеніе.

В освобожденные города по горячему слѣду двинулись корреспонденты. Матерьял, собранный ими, при всей своей неполнотѣ, давал отвѣт на самый жизненный для всей страны вопрос. Чтобы читатель мог сам убѣдиться в смыслѣ этого отвѣта, приведу отрывки из первых наскоро набросанных описаній.

...«По улицам К а л и н и н а третій день тянутся люди с узелками и свертками. Они вышли вчера и сегодня пришли к себѣ домой.

«— Наш дом цѣл! Только стекла побиты!

— Смотрите, сосѣди уже вернулись!

«Улицы полны народа. В воздухѣ — взволнованность большого торжества. Праздник цвѣтет румянцем на лицах, играет улыбкой на устах, звенит пѣсней. Самые дорогіе гости

в городѣ бойцы Красной Арміи. Их стремятся заполучить в гости хоть на минуту... На улицѣ ѣдет машина с плѣнными. Они сидят, нахохлившись, в своих сѣрозеленых шинелях и пилотках.

«- Попугаи! — кричит им кто-то вдогонку.

— Хватит вам, набезобразничали! Смерть фашистам!»

Аналогична картина освобожденнаго Тихвина: «Вдоль улиц тянулись вереницы людей, тащивших на санках свой скарб. Это жители Тихвина возвращались в родныя мѣста. Навстрѣчу, из только что возстановленной городской пекарни ѣхали подводы, груженныя свѣже-выпеченным хлѣбом... В городѣ уже открылись двѣ столовыя, парикмахерская, работает почта. Приведен в порядок вокзал. Группа женщин, лишь недавно вернувшихся в город, идет по улицам с большим вѣнком. Онѣ направляются к братской могилѣ, чтобы почтить память павших героев, отдавших свою жизнь за освобожденіе Тихвина»...

Солнечногорск пострадал меньше других городов. Но в окрестностях немало деревень сожжено до тла. В иных мѣстах бродят еще люди, ковыряя палкой в золѣ, вытаскивая кастрюли, ухваты, — все, что осталось им от роднаго дома. Со стороны эти мѣста производят гнетущее впечатлѣніе «мертвой пустоши». Но присмотрѣвшись ближе, начинаешь замѣчать, что не опустились руки у жителей: какіе-то тихіе, ушедшіе в себя люди «что-то латают, что-то заколачивают и смотришь через нѣсколько дней — подымается из трубы домашній дымок».

Почти во всѣх освобожденных городах возстановленіе разрушеннаго производится по иниціативѣ мѣстных людей. Создаются уличные комитеты и силами (а часто и средствами) самих вернувшихся жителей ремонтируются дома.

В Клинѣ за двѣ недѣли была возстановлена треть разрушенных квартир. И тѣ, кто пострадали, и тѣ, кто вселился к ним, живут тѣснѣе, чѣм прежде, но ропота нѣт, преобладает атмосфера сочувствія к горю ближняго.

Из бесѣд с жителями освобожденных районов выяснилось и их дѣйствительное отношеніе к оккупантам. Людей, активно симпатизировавших нѣмцам и желавших им побѣды, было ничтожное меньшинство. Так, в Солнечногорскѣ «только в одном домѣ веселились, когда пришел нѣмец».. Это был дом... директора городской поликлиники Крестовскаго. Жена директора спекла по случаю прихода нѣмцев пироги и наго-

товила пельменей. Крестовскій был назначен нѣмцами старшиной города. Когда нѣмецкая армія уходила, Крестовскій просился взять его, но ему в этом было отказано. Он сдѣлал попытку бѣжать, но был пойман.

Количество активных «квислингов» всюду было, повидимому, ничтожно. Но настроенія толщи населенія в первое время отнюдь не были так однородно героичны, как это часто думают. На этом не побоялся остановиться Евгеній Петров (полгода спустя погибшій в Севастополѣ) в корреспонденціи из Волоколамска.

Петров разговорился с одной женщиной, в домѣ у которой размѣстился штаб Красной Арміи. Ея дом уцѣлѣл, но имущество нѣмцы забрали. Горько жаловалась женщина на то, что нѣмцы «за людей нас не считали». Тут в разговор вмѣшалась ея сосѣдка: «Вот — сказала она — Будешь в другой раз знать, какіе твои нѣмцы! Все ходила, говорила: 'Врут газеты, нѣмец нам зла не сдѣлает, не сдѣлает! Дождалась!» В свое оправданіе женщина отвѣтила: «Я думала — нѣмец культурный. А они все сдѣлали, как в газетѣ пишут. Теперь одно остается — бить нѣмца».

От себя писатель замѣтил: «Я уже не в первый раз слышал эту фразу: 'Нѣмец все сдѣлал, как в газетѣ'. Она очень характерна для тѣх людей, которые думали, что нѣмец не может быть таким чудовищным звѣрем, как об этом пишут в газетах». И Петров пытается дать характеристику категоріи людей, к которой принадлежит пострадавшая женщина. Судя по тому, что у нея забрали нѣмцы (1 корову, 8 овец, 26 племенных кур), эта женщина довольно зажиточная горожанка, полулегально торговавшая вѣроятно на мѣстном базарѣ. «Несмотря на довольно большое имущество — говорит Петров — ей казалось, что она недостаточно счастлива при совѣтской власти. Прежде она не ощущала своего счастья; она ощущает его теперь, когда у нея в домѣ ничего не осталось. Она счастлива лишь тѣм, что ушли нѣмцы».

Заграницей есть немало людей, которые думают, что революція и особенно три Пятилѣтки совершенно измѣнили соціальный облик Совѣтской Россіи. По этим представленіям современный совѣтскій город населен пролетаріатом и различными категоріями служащих. Это глубоко невѣрно. Конечно, соціальный облик современной Россіи измѣнился. Но и сейчас в любом городѣ, особенно провиціальном, живет — и вовсе не на правах «соціальнаго пережитка» — многочисленный слой городского мѣщанства (мелкой буржуазіи).

С одной стороны это мѣщанство разными узами связано с рабочими и служащими, с другой — с окрестным крестьянством. До революціи главным его занятіем были ремесла и мелкая торговля. Торговлей и ремеслами оно продолжало заниматься и всѣ годы революціи, хотя и подвергалось за это всяческим притѣсненіям. Эти притѣсненія и ущемленія и были главной причиной, почему люди типа пострадавшей женщины, были «недостаточно счастливы при совѣтской властн». Нѣмецкій грабеж среди бѣла дня раскрыл им глаза, они поняли, что это война на полное уничтоженіе и закабаленіе. Народная молва об этом дошла до Москвы, а отсюда растеклась по всей странѣ.

Вот тогда-то, ни исходѣ зимы 1941-42 года, германо-совѣтская война и вступила в новую, рѣшающую фазу, превратившись в войну н а р о д н у ю

КРАСНАЯ АРМІЯ

1.

Бойцы и командиры

Красная армія это не слѣпок, не фотографія русскаго народа — это и есть русскій народ, но в шлемах, шинелях с винтовкой в рукѣ, на истребителях, танках и бомбовозах. Это и есть весь русскій народ, принесшій с собой на поля сраженій, с запахом родной земли, и свое счастье и невзгоды, и быт, и политику, и столѣтніе навыки, и новые запросы. Армія представляет народ полнѣе, чѣм сама страна, ибо в то время, как по улицам Пскова, Кіева, Одессы и Ростова новое начальство, щелкая каблуками и вздымая правую руку, провозглашает здравіе своему вождю, — десятки тысяч псковских, кіевских, одесских, ростовских бойцов стоят в траншеях по сю сторону фронта, гдѣ представлены всѣ провинціи, всѣ уѣзды и всѣ уголки обѣих половин разрѣзанной страны. Армія сдѣлалась в войнѣ самой сильной из массовых организацій сов. Россіи — много больше по размѣрам самой крупной из политических организацій мирнаго времени, хоть и не вліятельнѣе ея. В этом существо одной из проблем военнаго времени.

Впрочем, Красная армія имѣет свои особенности: она сейчас болѣе крестьянская, чѣм страна в цѣлом. До войны имѣлись достаточные контингенты молодежи, чтоб отбирать в армію тѣ или иные элементы, напр. элементы рабочіе в большем процентѣ, чтоб понижать удѣльный вѣс деревни, и чтоб в теченіе многих предыдущих лѣт держать внѣ арміи выходцев из имущих классов. Но военная необходимость положила предѣл всему этому. Сейчас дѣло обстоит наоборот: так как сотни тысяч рабочих, занятых в военной индустріи и в транспортѣ, должны оставаться в тылу, процент крестьян в арміи растет, и она состоит и сейчас, несмотря на индустріализацію послѣдняго періода, не меньше чѣм на 75-80 проц. из крестьян.

Это отражается непосредственно и на ея политических настроеніях. Партійные и особенно комсомольскіе элементы составляли раньше громадную часть арміи, мѣстами и временами больше половины ея. Но за послѣдніе годы армія по-

полнялась уж не столько за счет новых поколѣній, сколько старшими возрастами, преимущественно из деревни. Не только процент комсомольцев упал чрезвычайно низко, но и членов партіи оказалось в ней относительно не много. Вѣдь нельзя было брать в армію сотни тысяч членов партіи из государственнаго и хозяйственнаго аппарата без того, чтобы разбить его. Пришлось и их оставить в тылу; лишь болѣе пассивные, менѣе вліятельные партійные элементы ушли рядовыми в армію.

Так сложилась в войнѣ эта большая армія: болѣе крестьянская, болѣе консервативная, менѣе партійная. Это относится к милліонной массѣ рядовых или, по новѣйшей терминологіи, к бойцам Красной арміи.

Но аналогичным было развитіе и в средѣ офицерства, или по современной терминологіи, в комсоставѣ. Командный состав накладывает отпечаток на всякую армію во всѣ эпохи, кромѣ моментов революціонной встряски. Поэтому и в сов. Россіи кадровое офицерство, имѣвшее право авторитетно говорить от имени арміи, комплектовалось внимательным и осторожным подбором в теченіе двух десятилѣтій. Один слой нарастал на другой, как кольца растущаго дерева: оставались офицеры — ветераны гражданской войны; было поколѣніе нэповской эпохи; уцѣлѣли там и сям фрондисты «праваго уклона»; прибавилась молодежь на смѣну вычищенным в грозные годы 1937-39. Через военныя школы, через комсомол, через партію — и вот командный состав состоял уж одно время перед войной на три четверти из членов партіи, а в самом высшем генералитетѣ — на всѣ сто процентов.

Но и здѣсь все перемѣнилось с начала войны. Десятки тысяч новых командиров стали вливаться в старый кадровый состав, и некогда уже было разбираться в их партійной и соціальной принадлежности. В огромном большинствѣ это была новая совѣтская интеллигенція, студенты и совѣтскіе служащіе. Часть этого слоя была, конечно, мобилизована в качествѣ рядовых, но другая часть, пройдя ускоренное обученіе, замѣщала собой быстро рѣдѣющіе ряды стараго кадроваго офицерства. При этом надо имѣть в виду, что и до 22-го іюня принадлежность к В.К.П. в комсоставѣ далеко не означала полной, сердцем и душой, принадлежности к коммунистическому движенію. Военные коммунисты всегда были в особом положеніи. Но когда начала вливаться масса новаго офицерства в старые составы, всѣ кадры стали смѣшиваться и новыя амальгамы были скоро готовы.

Вырос, возмужал, обучился и стал воевать новый офицерскій состав — лучшее, что может дать Россія в современную эпоху. В огромном большинствѣ это новая, молодая интеллигенція, с традиціонной в Россіи широтой кругозора, серьезными умственными запросами, с приличным общим образованіем; не-партійная или внѣ-партійная, она не лишена политических эмоцій. Ея прадѣды, часто сами крѣпостные, жили в эпоху большой ломки 60-х и 70-х годов; ея дѣды прислушивались, затаив дыханіе, к титанической борьбѣ «Народной Воли»; ея отцы дѣлали двѣ революціи и выбирали демократов в Учредительное Собраніе; а у них самих, у наслѣдников великих традицій, проходил на глазах в послѣднее десятилѣтіе весь колхозный опыт, чистки 30-х годов, возвышеніе Гитлера, дружба с Берлином и война с Германіей. И вот сегодня они стоят, в трех-тысяче-верстной полосѣ траншей, во главѣ своего вооруженнаго народа и ведут е г о войну за его существованіе. Как ни повернулись бы дѣла во внутреней жизни Россіи, какія бы трансформаціи ни пережил ея режим, — это офицерство является и останется прочным элементом ея общественной жизни, и у нея не будет основаній стыдиться за него, взятаго в цѣлом.

«Хорош совѣтскій солдат» — пишет Ксаверій Прушинскій, польскій офицер-писатель, недавно вернувшійся из Москвы — «не столько впрочем солдат, сколько офицер совѣтскій. Часто, описывая другія арміи, я утверждал, что их низшіе элементы мнѣ представляются болѣе цѣнными, но здѣсь я другого мнѣнія: совѣтскій командир представляется мнѣ матеріалом лучшим, чѣм средній совѣтскій солдат — нѣсколько пассивный, послушный, с меньшей инціативой, чѣм наш солдат. Но совѣтскій командир производит впечатлѣніе человѣка живой мысли, с современным дѣльным военным образованіем, несомнѣнной храбрости, но руководимый разсудком... Каждый разговор с совѣтским офицером оставляет впечатлѣніе интеллигентности собесѣдника, самостоятельной мысли, сообразительности.

Нѣт сомнѣнія, что в своих офицерских рядах сов. Россія собрала свой наилучшій, самый цѣнный человѣческій матеріал, каким она сейчас располагает.

Господа, э т и л ю д и к о г д а - л и б о б у д у т п р а в и т ь Р о с с і е й ! Других нѣт. Смѣлость, ин-

теллигентность, образованіе, организаціонный навык, пониманіе, молодость, энергія, даже опыт — все на их сторонѣ»[1]).

Всякая армія является орудіем политики своего правительства в мирѣ как и в войнѣ. Идеальной является в этом отношеніи армія безпрекословно-послушная. Опасной является армія фрондирующая, недовольная. Между настроеніями арміи, в особенности ея офицерскаго состава, и политикой власти необходима тѣсная связанность, параллелизм, даже идентичность. Как же складываются эти взаимоотношенія у нас. при описанном состояніи Красной арміи?

2.

Войны гражданскія и войны международныя

Перед началом европейской войны Троцкій писал, что сов. правительство не рѣшится дать оружіе в руки своему народу, ибо будет бояться его, вооруженнаго. Троцкій ошибся. Но он ясно предвидѣл ту трудность, которая не могла не встать перед сов. правительством в момент войны.

Просто и легко было в этом отношеніи в тѣ годы гражданской войны, когда складывались навыки, традиціи, кадры, идеологія совѣтских военных походов. По ту сторону фронта стояла другая русская армія, и для войны с ней надо было довести внутри-политическіе лозунги до истерической крайности: за бѣдноту против богатых, за революцію против контр-революціи, народные вожди против царей, лучезарный соціализм в будущем против сплошного мрака в прошлом. Только так и возможно было вести войну гражданскую, и идеологія ново-формируемой Красной арміи строилась на тѣхже фундаментах, что и идеологія новой власти и ея партіи. Была тѣсная идейная связь арміи с правительством. Единственная трудность, которая при этом возникала, относилась к роли стараго, ненадежнаго офицерства, но ее обошли при помощи политических комиссаров.

Но войну **международную** приходится вести совершенно иными методами, подчас прямо противоположными. Исторія Красной арміи между началом 20-ых и концом 30-ых годов около 15 лѣт есть исторія приспособленія арміи гражданской войны к потребностям войны международ-

[1]) Wiadomości Polskie. London. 1942 .'o 134.

ной. Если на это понадобился такой длинный срок, и если и к концу этого срока задача далеко не была разрѣшена, то причина была в том, что вѣдь та власть, которая реформировала армію для будущей войны, сама продолжала жить в идеях войны гражданской, продолжала дѣло соціальной ломки и питалась надеждами на міровые классовые катаклизмы. Она строила національную армію — против Японіи или Англіи или Германіи — но продолжала вѣрить в наступленіе своеобразной ситуаціи гражданской войны: с японскими, англійскими, германскими народными низами против их верхов. Она стремилась создать крѣпкое единство своей арміи, по преимуществу крестьянской, но жила анти-собственническим пафосом и подавляла всѣх, очень многочисленных внутренних противников. Идеи гражданской войны, выгоняемые в дверь, врывались обратно в окна внутренней и внѣшней политики. Это и было основным противорѣчіем ситуаціи, складывавшейся наканунѣ войны.

В 20-ых годах еще блуждали в головах милыя, забавныя теоріи о спеціальной «пролетарской военной наукѣ», которая неизмѣримо выше буржуазной; о революціонных арміях, которыя меньшим залпом достигают больших цѣлей, чѣм другія арміи; о новой системѣ взаимоотношеній между командирами и бойцами, и т. д. Этими дѣтскими наивностями переболѣли тогда многіе будущіе практики и реалисты, реорганизаторы и трансформаторы. Но время брало свое, и нѣкоторые элементы реализма вступали в свои права. С возрожденіем военной индустріи вставали в порядок дня проклятые вопросы каждой арміи — пушки, авіоны, миноносцы. Догоняли Европу, кой-в-чем перегоняли ее, придумывали новое. Но структура Красной арміи и ея идейный фундамент мѣнялись очень медленно, по упомянутым причинам. Это был період стабилизаціи всѣх фронтов. Полу-милліонная армія в то время постепенно сдѣлалась постоянным элементом общественной жизни, и обучались, подготовлялись офицерскіе кадры. Наряду с ней и для контроля над ней сформированы были: около 60.000 особой арміи ГПУ или Внудѣла с назначеніем внутри-политическим, и развѣтвленія Политуправленія Красной арміи: политотдѣлы, политработники — с функціями пропагандистскими и полиціейскими.

В 30-ых годах, в пору колхозов и пятилѣток, новое офицерство, в большой части комсомольцы и партійцы, стояло посрединѣ, между армейской массой и правительственным аппаратом. Далеко не во всем оно было душой на сторонѣ

власти. Его тѣснил также строгій, неусыпный контроль со стороны надзирающих органов. Много офицеров, вплючая и нѣкоторых высших вождей арміи, было на сторонѣ внутрипартійных «оппозицій».

К этому времени уже заглохли совершенно народныя движенія. Но когда замолкает ахеронт, общественная борьба принимает новыя формы. Военная машина, этот громадный аппарат, физіономію котораго опредѣляет командный состав, проникались в эти годы духом реализма. Поглощенная вопросами новой техники, военнаго образованія, она отчуждалась от боевых коммунистических настроеній, и новый дух, широко захватывая военные круги, проникал даже и в то учрежденіе — в Политуправленіе — которое для того-то и было создано, чтоб партія могла держать армію крѣпко в руках!

С 1934 года военная опасность дѣлалась все болѣе реальной и всѣ больные вопросы стали выходить наружу: и стремленіе арміи к эмансипаціи от идеологіи и навыков гражданской войны, и разнобой в настроеніях «военнаго аппарата» и «аппарата партійнаго». Пошли годы лихорадочной, зигзагообразной перестройки — то вправо, то влѣво. Возстанавливались традиціи русской исторіи; все больше подчеркивалось національное назначеніе Красной арміи; а одновременно подготовлялась, а затѣм и проводилась грандіозная чистка арміи от всѣх недовольных, оппозиціонных элементов.

В этом состояніи и с этим идейным багажом Красная армія вступила в полосу войн. Финляндская кампанія была первой войной на европейском континентѣ, в которой Красная армія участвовала послѣ 1920 года. Это был первый экзамен, и, подводя ему итоги весной 1940 г., в Кремлѣ сочли ее тяжелым, но важным уроком для будущего. Началась новая, очень крупная реорганизація в сторону «реализма» и с новой ликвидаціей нѣкоторых старых систем и традицій.

Героем реорганизаціи сдѣлался на этот раз ген. Тимошенко, выдвинувшійся незадолго перед тѣм на финляндском фронтѣ. Политкомиссары были упразднены; введены были новые чины; возстановлено отданіе чести; новый, строгій дисциплинарный устав замѣнил старую систему взаимоотношеній между бойцами и командирами. «Учиться тому, что нужно на войнѣ», провозглашал Тимошенко, урѣзывая политграмоту. Это была попытка приближенія к типу европейских армій.

Многое ему удалось. Но еще больше оставалось без

измѣненій. Его реформаторству были поставлены общими условіями границы, несмотря на сочувствіе арміи. Послѣдствія сказались вскорѣ.

3.

Мимикрія

Как много осталось без измѣненія, обнаружилось послѣ 22-го іюня. Во главѣ фронтов и армій оказались, несмотря на чистки, военные дѣятели из гражданской войны, много повидавшіе за это время и кой-чему научившіеся, но неразрывно связанные с традиціями своей личной героической эпохи. Больше того, старая система комиссаров (они назывались теперь не политическими, а военными комиссарами) была возстановлена; а Тимошенко, имя котораго связано было с нѣкоторой эмансипаціей арміи, должен был покинуть пост Наркома Обороны. Правительство вручило оружіе народу и поставило во главѣ арміи десятки тысяч новых, безпартійных офицеров; но, сознавая опасности, оно приняло потив них различныя мѣры.

В одном лишь отношеніи сов. правительство радикально порвало со старыми традиціями: вся идеологія войны была в один миг очищена от каких бы то ни было элементов классовой борьбы, коммунизма, міровой революціи, внутри-политических задач и т. д. Война была об'явлена Отечественной и Освободительной, т. е. по существу національной. Нигдѣ и никогда не затрагивались больше вопросы о войнах имперіалистическихъ, капиталистическихъ, революціонныхъ, контр-революціонныхъ, и т. д. Из теоретическихъ конструкцій Ленина, так много писавшаго об имперіалистическихъ войнах, взято было лишь дѣленіе на войны справедливыя и несправедливыя, и война Англіи и Америки и всѣх меньших союзников была признана войной справедливой, только всего.

Вся внутри-политическая философія была в миг (это явно было заранѣе обдумано и подготовлено) переставлена на рельсы «блока с безпартійными». Каковы мол ни были бы взгляды и убѣжденія того или иного воина и гражданина, ему мѣсто в рядах борцов, ибо война ведется правительством (оно больше никогда не называлось коммунистическим) за общіе всѣм интересы. Это была теорія «бургфридена», хоть и без его практики. Илья Эренбург, быстро поднявшійся в военное время до роли официознаго публициста, выражал это слѣдующим образом:

«Один скажет себѣ «за Совѣтскій Союз», другой «за Россію», третій «за Алтай», четвертый «за наше село Русскій Брод», пятый «за Наташу», но всѣ они чувствуют одно — в это грозное лѣто они защищают родину и родных от нѣмецкой смерти»[1]).

Послѣдніе трое прибавлены лишь «для стиля», сущность в первых двух: «за Сов. Союз» плюс «за Россію». Этот «блок коммунистов с безпартійными» не новость для сов. Россіи; не раз уж эта формула повторялась в предыдущіе годы. Но тогда это была насквозь фальшивая фраза, ибо тогда безпартійные обязаны были подтягиваться, приспособляться к партійным, повторяя весь катехизис и одобряя всѣ рѣшенія. Теперь дѣло кое-в-чем измѣнилось: теперь партія в своей философіи и пропагандѣ приспособлялась к безпартійным, систематически выбрасывая все, что безпартійных могло бы раздражать, и выпячивая такую идеологію, которая пришлась бы по душѣ безпартійным. В теоріи коммунизм, несомнѣнно, признавал себя и сейчас болѣе высоким и болѣе прогрессивным строем идей, чѣм «примитивный націонализм»; но «высшая система» отступала перед «низшей». За 19 мѣсяцев войны сов. пресса меньше написала о капитализмѣ, коммунизмѣ, соціализмѣ, чѣм пишет о них за один день маленькая пресса крохотной коммунистической партіи в Англіи.

Тот же характер носили, наконец, и провозглашеніе Сталина «избранником Божіим», и благословенія всѣх церквей. Число открытых церквей почти не увеличивалось; но телеграммы четырех митрополитов, экзарха, раввина и муфтія с «благословеніем Божіим» торопливо несли в Кремль через тѣ ворота, гдѣ красуется надпись, что религія — опіум для народа.

Так задумана была идейная «платформа» для веденія этой войны: во-первых, в пропагандѣ, агитаціи, в прессѣ, в рѣчах — избѣгать всѣх вопросов, способных раздѣлить Красную армію; во-вторых, крѣпко держать в руках Красную армію — при помощи генералитета из старых процѣженных партійных дѣятелей, при помощи партійных организацій в ротах, полках и арміях, и наконец, при помощи большого, многотысячнаго аппарата военкомов и политработников.

Однако, развитіе военных событій внесло серьезные коррективы в эти планы. Уступки в идеологіи не разрѣшали

[1]) «Правда», 29 іюля 1942 г.

вопросов практики, и тренія между арміей и партійными инстанціями не только не уменьшались, но пріобрѣтали все болѣе серьезные размѣры.

4.

Суровая критика

Мы сейчас еще не знаем, каков был стратегическій план сов. Генеральнаго Штаба в началѣ войны, и в частности, в какой степени и до какой линіи отступленіе было добровольным и в какой мѣрѣ оно было вынужденным. Но этого не знала и Красная армія, кромѣ немногих лиц. Для арміи долгое отступленіе всегда связано с мыслью о пораженіи. Во всѣх совѣтских военных школах обучали, что армія «будет бить врага на его территоріи»; в стихах пѣлось «мы вождю клянемся смѣло, что за вражеским предѣлом уничтожим мы заклятаго врага», что «только тронете границы, — ой, придеться вам дивиться Ворошиловским бойцовским чудесам», и что «не бывать фашистской сворѣ в наших землях, в нашем морѣ». Тѣм настойчивѣе армія искала теперь об'ясненія долгим неудачам, и мысль естественно обращалась к системѣ и организаціи военных сил. Усиливалась критика.

Вот авіація часто оказывалась не на высотѣ, уступая германской. Вспоминали и говорили, что заводы торопились сдавать как можно бо. льшеавіонов, не обращая достаточнаго вниманія на качество, в частности на скорость, и что это имѣло мѣсто по требованіям военных властей. Нетрудно было понять германскіе успѣхи.

Вот во многих случаях военныя операціи шли плохо потому, что не было достаточной развѣдки, т. е. ошибались насчет расположенія, количества войск, танков у нѣмцев и пр. Ошибки такія имѣли мѣсто неоднократно[1]). Неумѣлость или халатность, которыя должны были служить этому об'ясненіем, связывались, конечно, со всей системой.

Вот выяснилось, что вопреки всему, чему учили в школах, радіо-связь частей на фронтѣ часто оказывалась парализованной, и это, естественно, отражалось отрицательно на операціях. Плохо работала почта, и письма на фронт шли нерѣдко по нѣсколько мѣсяцев, а подчас и вообще не доходили[2]). Выражая накопляющееся недовольство, «Красная Звѣ-

[1]) См. «Красная Звѣзда» 7 и 10 февраля 1942 г.

зда» писала 3 февраля 1942 г.: «Лучше четыре часа готовиться и полчаса драться, чѣм полчаса готовиться и четыре часа драться».

Партійная организація, как упомянуто выше, пропорціонально уменьшались, по мѣрѣ пополненія дѣйствующей арміи из запаса. Но крѣпко держался их аппарат, ядром котораго служили спеціально назначенные и спеціально оплаченные партслужащіе. Они доминировали над всей идейной жизнью рот, полков и дивизій и, надо отдать им справедливость, проявляли большую активность. Но вся эта система не привлекала и не примиряла: и то, что многіе из них не обязаны были сражаться, а лишь говорить и писать; и что большая часть их совсѣм не годилась для идейнаго руководства; и что без согласія их ни один офицер не имѣл права отдавать распоряженій; и то, наконец, что в их распоряженіи были мѣры репрессіи и многое другое.

Вот какую, напримѣр, картину рисует тот же орган Красной арміи «Красная Звѣзда», от 1-го февраля, описывая внутреннюю жизнь одного полка, наканунѣ наступленія:

> «... Н-скій полк имѣл цѣлый день для подготовки к наступленію. За день было проведено: совѣщаніе политруков, совѣщаніе комсомольскаго актива, инструктаж агитаторов, совѣщаніе парторгов. В результатѣ актив отсутствовал в подраздѣленіях весь день.»

И «Красная Звѣзда» восклицает в отчаяніи:

> «Погоня за совѣщаніями и засѣданіями...»

Равновѣсіе длилось поэтому недолго. Уже осенью 1941 г., примѣрно с октября, начинаются закулисныя тренія, конфликты, кризисныя явленія. То ослабляясь, то вдруг сильно обостряясь, они заполнили собой общественно-политическую жизнь арміи в 1942 г. Они нашли себѣ обильное выраженіе и в прессѣ, и в декретах, и в назначеніях и смѣщеніях. Они являются одним из самых крупных событій внутри-политической жизни Россіи за прошедшій період войны.

[2]) Прокуратура привлекла в началѣ 1942 г. к уголовной ответственности ряд работников связи за задержаніе корреспонденціи на фронт. Приговоры осужденным — от двух до десяти лѣт тюрьмы.

5.

Оползни

При этом не было обвалов, эффектных столкновеній, об'явленных чисток, программных декларацій.

Шли не обвалы, а оползни: цѣлыя глыбы сдвигались медленно, полузамѣтно; но толкающія их силы не переставали дѣйствовать ни на минуту. Послѣ каждаго пройденнаго дюйма открывалась дорога на новый дюйм. Шло сползаніе по всѣм линіям: и по линіи идейной, и по линіи партійной, и по линіи организаціонной. Но все вмѣстѣ составляет главу из большой исторіи и борьбы за эмансипацію Красной Арміи.

Уходили маршалы, генералы, полковники. Начиная с сенсаціонной отставки Ворошилова и Буденнаго 22 октября 1941 года, пошли перемѣщенія, которыя часто назывались чехардой, но которыя в дѣйствительности были тихой, безкровной чисткой. Всплывали новыя фигуры, блистали новые мундиры, и вновь уходили в тѣнь. Цѣлые десятки прошли и ушли. На высших постах остались, из сонма высших генералов, лишь Шапошников со своим Жуковым, да Тимошенко. Всѣ, кажется, остальные смѣнились.

В большой, но тихой чисткѣ («на войнѣ условія иныя») сказывается и идейное оползаніе: ей придан был характер освобожденія арміи от засидѣвшихся военных дѣятелей эпохи гражданской войны, неспособных понять значеніе техники и приспособиться к новым потребностям. Это была уступка власти настроеніям арміи; виновников искали в коммунистических дѣятелях стараго закала. Плох, мол, не сам по себѣ, партійный режим, а тѣ партійные военные вожди, которые «не перестроились». Так именно и толковалась отставка первых титанов, а потом и десятков остальных. В арміи шла борьба против старых командиров, обладателей титулов и орденов; их разоблачали, над ними смѣялись, и Москва благосклонно смотрѣла. Старые же начальники, гордые своими заслугами и патріотизмом, бранили своих критиков «пораженцами», а уходя в отставку, наивно грозили: «Посмотрим, как вы без нас повоюете!»

Дальше больше. Переставали цѣнить в арміи «пролетарское происхожденіе», наоборот, выдвигались люди с происхожденіем интеллигентским. Слово «товарищ» перестало быть

обязательным в обращеніи, его в арміи стал часто замѣнять присвоенный титул (либо «товарищ Петров», либо «лейтенант Петров») даже в отношеніях между командирами-коммунистами. Лозунг «Пролетаріи всѣх стран, соединяйтесь!», в теченіе четверти вѣка украшавшій заголовки всей без исключенія большевистской прессы, исчез в январѣ 1942 года с военнаго органа «Красная Звѣзда», и его замѣнил на том же мѣстѣ и тѣм же шрифтом не партійный, національный «Смерть нѣмецким оккупантам!» Среди новых лозунгов чаще других повторялся один из лозунгов дня Красной Арміи:

«Отомстим нѣмецким фашистам и мерзавцам!»
«Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Старые ордена «Краснаго Знамени», «Орден Ленина», и даже «Герой Совѣтскаго Союза» имѣли коммунистическій привкус. Поэтому лѣтом 1942 г. введены были новые ордена: «Суворова», «Кутузова» и «Александра Невскаго» для командиаго состава, а для бойцов: «Отличный минер» и «Отличный сапер». Это был большой оползень. К тому же и комиссары и политработники были заранѣе исключены, и одни лишь активные военные имѣли право на эти новые знаки отличія.

Еще в финляндской войнѣ командиры вели бойцов в бой, судя по газетам, с лозунгом «За родину, за Сталина!»; теперь «Красная Звѣзда» отмѣчает только лозунг «За родину!». Затѣм в статьях и кореспонденціях «Красной Звѣзды» все чаще стало говориться о Россіи — вмѣсто С.С.С.Р., о «русском» — вмѣсто совѣтскаго. Так быстро шло оползаніе, что уж через нѣсколько мѣсяцев новая терминологія сдѣлалась господствующей в в о е н н ы х органах, и старые военные писатели-коммунисты быстро перестраивались и переучивались. Иллюстраціей может служить, напримѣр, стихотвореніе «Письмо Другу» с Западнаго фронта, помѣщенное в «Красной Звѣздѣ» и заканчивающееся слѣдующими строками:

По русским обычаям, только пожарища
По русской землѣ раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
За то, что сражаться на ней мнѣ завѣщано,
Что русская мать нас на свѣт родила,
Что в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

В унисон с этим в арміи пѣлись уже не совѣтскія карманьолы, а «Тучи над городом встали» и «Раскинулось море широко»...

Так сложилась парадоксальная ситуація. В сов. Россіи категорически запрещенной оказалась пропаганда коммунизма, ленинизма, коллективизма; и вмѣстѣ с тѣм открылась нѣкоторая свобода в печати для крох тѣх очень старых идеологій, которыя, казалось, совѣтской печатью давно похоронены. Задуманный как хитрый маневр на кратчайшій срок, этот парадокс сдѣлался правилом, он дѣйствует уже 19 мѣсяцев. Страннымъ покажется теперь поворот к прежнему, если он когда-либо произойдет...

6.

«Молодые» и «старики»

— Воюет, как может...

— Как может? А как должно — это скоро будет?

— Господи, когда же наконец переведутся на нашей землѣ дураки, невѣжды, подхалимы, простофили, подлизы. Надо бить этих самовлюбленных невѣжд, бить в кровь, вдребезги, и поскорѣе замѣнить их другими, новыми, молодыми, талантливыми людьми. Иначе можно загубить наше великое дѣло... В гражданской войнѣ не участвовал? И орденов мало? К сожалѣнію, среди нашего высшаго командованія это еще играет главную роль... Раз в гражданской войнѣ не участвовал, не признают.

Так говорит представитель «молодых» о старых командирах Красной Арміи в пьесѣ Александра Корнѣйчука «Фронт», помѣщенной в четырех номерах «Правды» от 24 до 27 августа 1942 г. Пьеса эта стоит в художественном отношеніи на невысоком уровнѣ; она представляет собой в дѣйствительности не столько художественное произведеніе, сколько громкую политическую декларацію и цѣлую программу реорганизаціи Красной арміи. Ея значеніе подчеркивается и совершенно необычной формой напечатанія, и помѣщеннымъ во всей совѣтской прессѣ через мѣсяц спеціальным комментаріем к ней, и наконец, такой смѣлостью формулировок и выраженій, которая была-б совершенно невозможна, если бы эта пьеса не получила одобренія какой-то очень высокой инстанціи.

Она представляет, поэтому, документ историческаго значенія.

Дѣйствующія лица, почти всѣ военные, дѣлятся на двѣ партіи: старых коммунистов, участников гражданской войны, и их окруженіе — с одной стороны, и молодых, способных, болѣе образованных, привлекающих к себѣ все живое и здоровое, — с другой. Во главѣ первых стоит командующій фронтом генерал Горлов, во главѣ вторых — генерал Огнев.

Горлов — пролетарскаго происхожденія, и сам рабочій. У него множество орденов, он извѣстен в странѣ и заграницей. Он вѣрит в мозоли, в быстроту и натиск, и очень скептически относится ко всяким новшествам. У него, у его друзей и у его прессы, с уст не сходят герои, героизм, героическое. Вокруг него начальник развѣдки Удивительный, начальник связи генерал Хрипун, и другіе[1]).

Глава партіи «молодых», генерал Огнев, наоборот, происхожденія интеллигентскаго; его отец был учителем (а его единомышленник и тоже «положительный тип», генерал Благонравов — сын дьякона); он очень образован, вѣрит в новыя достиженія военной техники, храбр, внимателен к бойцам и строго воздерживается от напитков. На сторонѣ Огнева — Мирон, директор авіаціоннаго завода, языком котораго говорит с арміей совѣтская индустрія (не рабочій, а директор говорит от ея имени); Мирон приходится Горлову братом, и это дает ему возможность открыто говорить ему горькія истины.

Рѣчь в пьесѣ идет о том, как отобрать у нѣмцев обратно русскую станцію Колокол. Горлов строит военный план этой операціи; но строит он его плохо, нѣт у него ни достаточных свѣдѣній о противникѣ, ни подлинной стратегіи. Однако, он требует безусловнаго и слѣпого подчиненія от своих генералов, в частности, и от командующаго арміей ген. Огнева:

— За малѣйшее отклоненіе — говорит он ему — оторву голову!

Подготовка трудной военной операціи штабом Горлова перемежается с чествованіем и выпивкой. Недурно представ-

[1]) Автор рисует Горлова так, что тот во многом напоминает Ворошилова. Что это сдѣлано сознательно, видно из того, что подлѣ Ворошиловграда (прежняго Луганска) находится, как извѣстно, Горловка. Это настолько бросается в глаза, что комментаріи к «Фронту», появившіеся позднѣе, сочли необходимым опровергнуть предположеніе, будто дѣйствующія лица пьесы списаны с живых людей.

лен начальник связи ген.-майор Хрипун, у котораго «осталось полдюжины стараго коньячку», и с которым сам Горлов ведет компанію; у этого начальника очень слабо поставлена связь с другими военными частями, но он очень возмущается фронтовой газетой, которая ставит в примѣр службу связи у нѣмцев и пишет, имѣя в виду Хрипуна:

«Тупость отдѣльных командиров и начальников мѣшает поставить радіо-связь на должную высоту. Всѣ условія для этого есть».

Горлов-же, весь в традиціях гражданской вейны, возмущен критикой:

«Побьем любого врага, — возражает он — не радіо-связью, а геройством, доблестью!»

Старые командиры считают новых не только выскочками, но и п о р а ж е н ц а м и. Этот термин очень в ходу. Генерал Удивительный говорит о Благонравовѣ, что тот «всѣм и всѣми недоволен. Пахнет пораженчеством».

«Эти настроенія извѣстны, — говорит он еще раз — типично-пораженческія».

Стратегическіе принципы Горлова. военный примитивизм, весь отдающій гражданской войной, изображены довольно удачно:

— Главное — натиск. Ошеломить и уничтожить... Война это риск, а не арифметика.

— Заграницей один обозрѣватель, — говорит Горлов, — недавно по моему адресу сказал слѣдующее: «Командующій Горлов не укладывается в рамки обычных представленій». Эти буржуазные спецы никак не могут понять, как Горлов, человѣк от земли, с земляным нутром, не академик и не теоретик, а бьет хваленых нѣмецких генералов, и теоретиков и академиков. Главное у полководца — в душѣ. Если она смѣлая, храбрая, напористая, тогда никто не страшен... Война — не академія... Дѣйствуй без разсужденій.

— Есть у меня книжные стратеги, — продолжает Горлов — в с е о в о е н н о й к у л ь т у р ѣ б о л т а ю т. Приходится им крѣпко мозги вправлять.

Когда является директор авіаціоннаго завода Мирон, у него происходит с братом его Горловым слѣдующій разговор:

Горлов: Самолеты нас рѣжут. Мало даете... Мало.

Мирон: Вот скоро новый подарок получите... Скорость такая, что Геринг от злости лопнет.

Горлов: Вы поменьше со скоростью возитесь, а главное давайте побольше.

Мирон: Ты эту пѣсеньку брось. Мы ее знаем, наслушались от вашего брата. Хватит. К чертям!

Горлов: Почему? Не понимаю.

Мирон: Годами кричали нѣкоторые наши стратеги: давайте нам побольше самолетов, скорость дѣло второстепенное, нам колнчество важно..

Горлов: Ну и вѣрно.

Мирон: Вот, если-б и дальше таких стратегов слушали, то мы бы теперь погибли, перебили-б нас нѣмцы, как перепелок.

Устами того же Мирона автор зло критикует обильную раздачу орденов и наград старым генералам, не заслуживающим того: «Вашему брату синяков-то мало ставят... Я б на мѣстѣ правительства вам больше синяков ставил, да таких хороших, чтоб всѣ видѣли, а орденов поменьше». А устами солдата Остапенко автор шутит:

«У Калинина от орденов болѣзнь сильная пошла... Награждать то ему каждый день приходится, по двѣсти, а то и по триста человѣк, всѣ руку жмут ему с радости крѣпко, вот и заболѣл. Каторжное дѣло».

С большой смѣлостью касается автор темы о военных комиссарах. Надо помнить, что написано все это задолго до их отмѣны, т.е. в тот момент, когда они офиціально считались еще великим достиженіем, и когда в передовых статьях своих газеты хвалили их до небес. Но «молодые» отзываются о них очень зло и насмѣшливо.

— У меня комиссар, — говорит сторонник Огнева ген. Колос — Онуфрій Стратегов... Насчет грамоты не больно... Я его называю Онуфрій Копыто. Это ему больше подходит.

— И не обижается? — спрашивает Огнев.
— Нѣт, он же понимает...

В одном батальонѣ «политрук с командиром завели себѣ повара, жрут за пятерых, а кухня для бойцов работает ни к черту». Когда бойцы за это «побили морду» повару, политрук («сверхбдительный») создал из этого цѣлое дѣло, что «агентура врага подняла голову».

В другом мѣстѣ племянник Мирона, лейтенант Сергѣй, разсказывает Мирону о своих артиллеристах: «Живем, как семья. Знаешь, кто отец в нашей семьѣ?»

— Политрук? — спрашивает Мирон.
— Нѣт. Командир орудія.

Всю смѣлость этого разговора можно понять лишь если вспомнить повторяемыя в прессѣ слова Сталина, что «комиссар — отец полка». «Молодых» отличáет хоть и очень лойяльное отношеніе к Сталину, но не обожествленіе его. Когда Мирон, напримѣр, пріѣзжает прямо от Сталина на фронт, Горлов спрашивает его: «Как товарищ Сталин выглядит? Измѣнился?».

— Да как тебѣ сказать — отвѣчает Мирон — и не замѣтил. Я докладывал о заводѣ.

Военныя операціи заканчиваются в пьесѣ благополучно потому лишь, что, вопреки стратегическому плану Горлова, Огнев дѣйствует самостоятельно, получив на то согласіе из Москвы. Он спасает положеніе, и станція Колокол взята. Затѣм Горлов получает отставку, с ним уходят и его ставленники, и начальником фронта назначается Огнев.

Все кончается хорошо: чистка ведет к побѣдам. Сочувствіе читателя цѣликом на сторонѣ «молодых», «пораженцев». Но, увы, положительные типы очень плохо удались автору. Они не живые, а надѣленные всѣми совершенствами люди. Не видно, как они работают послѣ побѣды, дѣйствительно-ли им удается преодолѣть препятствія.

А дальнѣйшія событія показали, что болѣзни не излѣчены и что кризис продолжается.

7.

Эмансипація и ея кризисы

Борьба теченій ограничивалась, как мы видѣли, высшими кругами коммунистическаго командназо состава. Лишь косвенно, извилисто, подспудно воздѣйствовали настроенія болѣе широких военных слоев. «Молодые» стояли посрединѣ, направо от них вся армейская масса — налѣво «фракція гражданской войны». Глухая борьба продолжалась за кулисами, но тѣм временем ея содержаніем сдѣлался вопрос уж не только о персональной смѣнѣ командиров, а о военных комиссарах. Ортодоксальные же элементы держались за традиціи и подчеркивали боевыя заслуги коммунистов вообще, и комиссаров в частности.

Еще за нѣсколько дней до напечетанія пьесы Корнѣйчука «Правда» помѣстила очень интересную передовую статью, в которой давалась высокая оцѣнка «политработникам в бою». «Правда» писала, глухо полемизируя с тѣми, кто требовал отмѣны военных комиссаров:

> «... Именно сейчас, в дни суровых испытаній роль военных комиссаров, роль политруков, политработников неизмѣримо возросла»[1]).

Дальше передовая давала образцы личных подвигов комиссаров в бою: как, напр., один ослѣпшій в бою комиссар цѣлыя сутки (!) «руководил своими храбрецами»; другой комиссар, раненый, полз наравнѣ со своими бойцами, и т. д. Передовая заканчивалась призывом к военным комиссарам — стойко сражаться.

Затѣм, как бы в отвѣт на суровую критику дѣйствующих лиц из пьесы Корнѣйчука, та же «Правда» помѣстила (4 сентября) отчет о собраніи коммунистов одного полка, в котором комиссар дѣлал доклад; в его докладѣ опять таки интересно противопоставленіе коммунистов командирам:

> — «Коммунисты личным примѣром — говорил докладчик — вдохновляют бойцов на подвиги во имя родины. Безсмерт-

[1]) «Правда», 15 августа 1942 г.

ной славой покрыл себя пулеметчик, кандидат партіи, тов. Ярошенко. Отважно сражается коммунист Кошеленко» и т. д.

— «Но, — спрашивал докладчик, — почему бывают неудачи?»

— «Нѣкоторые командиры, — пояснял он, — недостаточно умѣло управляют боем, в критическую минуту теряются».

В преніях говорили, что «командиры отдѣленій не всегда ставят четко задачу перед бойцами».

Таким образом, борьба вступала в рѣшительную фазу. Ортодоксы хотѣли видѣть промахи у командиров Красной Арміи, а «молодые» требовали отмѣны военкомов.

«Напряженная ситуація сложилась на фронтѣ в п о с л ѣ д н і е м ѣ с я ц ы», — писала «Красная Звѣзда» 11 октября 1942 г., — в отношеніях между комиссарами и командным составом. Но в началѣ октября напряженіе должно было привести наконец к какому-либо рѣшенію. 3 октября праздновалось шестидесятилѣтіе маршала Шапошникова. Через три дня «Кр. Звѣзда» уже помѣстила передовую с рѣзкой критикой тѣх военных комиссаров, которые пренебрегают военной наукой. «Цѣнность комиссаров, — писала она, — не измѣряется количеством собраній или докладов. Нѣкоторые комиссары не имѣют военных знаній и опираются лишь на свою репутацію из періода гражданской войны». А еще через три дня, Калинин подписал декрет, упразняющій военных комиссаров, и одновременно Сталин, в качествѣ Наркома Обороны, издал приказ о присвоеніи в мѣсячный срок оставшимся еще политработникам военных званій.

«Дальнѣйшее существованіе системы военных комиссаров, — говорилось в указѣ Президіума Верховнаго Совѣта, — может сдѣлаться помѣхой в дѣлѣ улучшенія руководства арміей, и поставить самих комиссаров в неудобное положеніе»[1]).

Офиціальный комментарій гласил, что в період военных отступленій у комиссаров были большія заслуги, но что теперь, перед наступленіем комиссары больше не нужны. Возстановлено было, таким образом, единоначаліе командованія.

[1]) Цитирую по американским газетам; поэтому текст может не буквально соотвѣтствовать русскому тексту Указа.

Прежніе военные комиссары отчасти были назначены на военныя должности, другіе были отправлены в военныя школы для подготовки к командным должностям; тѣ же, наконец, которые для этих функцій не подходили, были устранены.

Не нужно, конечно, думать, что эта большая реформа означала ликвидацію политработы или партійных организацій в арміи. На этот счет ни Указ, ни комментарій не оставляли, конечно, никакого сомнѣнія. «Именно в настоящій момент — писала «Красная Звѣзда» 13 октября, — просвѣщеніе и пропаганда среди войск, их политическое просвѣщеніе должно пріобрѣсти болѣе широкіе масштабы». Ликвидировано было лишь равноправіе комиссаров с командирами, зависимость командиров от согласія («контр-ассигнаціи») комиссаров в военных рѣшеніях. Но большой «политическій аппарат» в арміи остался.

Отмѣна военкомов была большим событіем во внутренней жизни Красной арміи. Она пріобрѣтала тѣм большее значеніе, чѣм больше страстей и чѣм болѣе острую борьбу вызывал раньше этот вопрос. Это была побѣда «молодых» и над «старыми», и над строгой партійностью. «Извѣстія», комментируя реформу, писали, что совѣтское командованіе поощряет выдвиженіе новых командиров, даже во время войны, вмѣсто старых. Но реформа эта, явившись результатом споров и борьбы, не могла не повысить самосознанія, вѣры в свои силы командналго состава, давно стремившагося к освобожденію от контроля. Вмѣстѣ с тѣм это был еще один, к тому же очень существенный шаг по пути преобразованія прежних армій гражданской войны в армію войны международной.

Нельзя сказать еще, как обстоятельства сложились послѣ октябрьской реформы. Но послѣ всей предыдущей исторіи взаимоотношеній между армейским и партійно-полицейским аппаратом, не может быть сомнѣній, что равновѣсіе и устойчивость еще не достигнуты; что с ликвидаціей одних вопросов, на очередь встают другіе; и что политическія настроенія, преобладающія в многомилліонной арміи, не совпадают с настроеніями руководящих в партіи кругов. Равновѣсія, безусловно, не только еще нѣт, но очень сомнительно, может ли оно быть достигнуто простыми средствами.

Пока продолжалось отступленіе Красной арміи перед непріятелем, процесс ея эмансипаціи был по необходимости очень замедлен. Она не могла похвастать успѣхами, и свою критику она не могла подкрѣплять авторитетом побѣдителя. Пока продолжалось отступленіе, всѣ теченія, гражданскія и

военныя, фронт и тыл, народ и армія, искали виновников. Вѣдь большое отступленіе, даже в самых лучших условіях, тяжело ударяет по «военной морали».

Но когда наступит время больших наступленій и серьезных побѣд, когда германская машина начнет откатываться к своим границам, дѣло не сможет не измѣниться. Красная армія, т. е. вооруженный народ, и в особенности ея руководители, смогут обрѣсти тогда то самосознаніе, ту увѣренность в себѣ и ту способность к борьбѣ, которыя вѣдь являются предпосылками новых больших рѣшеній. До сих пор перед общественным судом стояли побѣжденные. Быть может, недалеко то время, когда они сдѣлаются побѣдителями, которых, как извѣстно, не судят.

Д. Далин.

ОТРАЖЕНІЯ ВОЙНЫ

САМОКРИТИКА В СОВѢТСКОМ ТЫЛУ.

1.

Іюнь—сентябрь 1941 года, — это первая и самая страшная полоса русско-германской войны, когда нѣмецкій блицкриг еще побѣдоносно развивал свою бѣшенные темпы, а русское сопротивленіе только-только накапливало свою силу и энергію. 22 мѣсяца пакта с Гитлером не прошли даром для власти. Одно дѣло теоретическая готовность к любой войнѣ с «капиталистическим окруженіем» и совсѣм другое дѣло — конкретная война с таким страшным и безпощадным противником, как гитлеровская Германія. Но длительная «дружба» с Германіей, не могла пройти безслѣдно и для сознанія населенія, убаюканнаго мыслью о том, что мудрая политика власти уберегла Россію от войны, — населенія, духовно дезоріентированнаго совѣтской внѣшней политикой. Партія, комсомол, руководящіе служилые кадры неизбѣжно должны были засорять свои головы офиціальной идеологіей, согласно которой борьба Германіи с западными демократіями рисовалась как столкновеніе «двух имперіализмов», — из которых англо-французскій варіант имперіализма преподносился, как наиболѣе враждебный и даже наиболѣе агресивный. Потребовалось тяжкое испытаніе нѣсколькихъ мѣсяцев, отступленіе милліонных армій на тысячеверстных пространствах, чтобы, наконец-то, в горнилѣ страданій родилось великое сопротивленіе Россіи, одушевленное осознанным, выстраданным патріотизмом.

Картины лѣта-осени 1941 года еще ждут своего бытописателя. Но без труда можно себѣ представить, какое это было страшное время для страны, и всякій, кто смотрѣл на дѣйствительное положеніе в совѣтской Россіи наканунѣ войны не сквозь розовые очки, — тот может отдать себѣ отчет в чрезвычайно возросших трудностях во всѣх областях русской жизни — перед лицом неимовѣрных требованій, пред'явленных войной и власти, и населенію, и фронту, и тылу. Шли многомилліонныя мобилизаціи. Теперь мы уже знаем, как тяжко отразились эти призывы в армію мужчин, наиболѣе

трудоспособных возрастов, — а затѣм уже и наборы молодежи, — на всем народном хозяйствѣ. Вопрос о рабочих кадрах, — повидимому, даже в оборонной промышленности, — пріобрѣл исключительную остроту, особенно в связи с устройством на новых мѣстах эвакуированной промышленности. В первые мѣсяцы войны, — это можно было об'яснить именно соображеніями обороны, — в совѣтской печати стало принято или умалчивать о наиболѣе острых «узких» мѣстах промышленности, — или в этой плоскости довольствоваться самыми оптимистическими казенными реляціями. В дѣйствительности, повсюду царили хаос и безпорядок. Это было понятно в обстановкѣ отступленія, когда самую эвакуацію промышленности приходилось проводить под канонаду воздушных бомбардировок.

Вот «Правда» (в № от 3 сент. 1942 г.) сейчас разсказывает, как в этих условіях функціонировал транспорт в тылу, — это наиболѣе «узкое» мѣсто совѣтской экономики. «Сколько было случаев остановки поѣздов на перегонах» из-за снабженія их сырым пескомъ? А перебои с водоснабженіем, а задержки с экипировкой, потому что «угольныя эстокады, краны и т. д. находились в запущенном состояніи»... «Плохое отопленіе паровозов приводило к срывам»... «Прошлая зима была тяжелой. Многія желѣзныя дороги лихорадило, работали онѣ рывками, неровно. Немалая часть командиров и политработников транспорта не отдавала себѣ отчета в том, с какими трудностями придется столкнуться, не сумѣла во время подготовиться... Ошибки прошлаго нам дорого обошлись». Но об «ошибках» было принято умалчивать. Самокритика, которой до войны весьма усердно занимались, была по приказу сверху прекращена. Только единственный раз мы наткнулись на проявленіе самокритики, и то это относилась к области мѣстнаго хозяйства.

И точно так же, как за 1941 год, мы не набрели на сколько-нибудь складные разсказы о положеніи народнаго хозяйства, мы еще меньше знаем — по сов. печати — об эвакуаціи промышленности. Тут приходится довольствоваться чудесными описаніями, вышедшими из-под пера такого мастера слова, как Алексѣй Толстой, который разводит... кузьма-крючковщину: «Заводы с десятками тысяч рабочих, с преобладающим числом дѣвушек и женщин, в десять дней, в двѣ недѣли перебрасывались на колесах в глубокій тыл, и через полтора-два мѣсяца из ворот их выѣзжали танки, платформы с орудіями, грузовики со снарядами, выкатывались

самолеты». («Правда», от 4 Апрѣля 1942 г.). «Чудо!» — восклицает автор и ставит точку.

В «Извѣстіях» (28 октября 1941 г.) сообщается, что Бакинскій механическій завод получил срочное заданіе, для выполненія котораго требовалось 190-200 дней. — «Выполнено оно за 35 дней» — пишет с торжеством газета. И невольно возникает вопрос: чудо ли это? Или тут просто несообразность: если выполнено заданіе за 35 дней, слѣдовательно, на выполненіе его и не требовалось 190-200 дней? Одно из двух!

Отступленіе гитлеровских армій от Москвы, начало русскаго контр-удара, наконец, затишье и стабилизація фронтов в зиму 1941-1942 года вернули сов. печати прежнюю свободу самокритики, — в предѣлах, допущенных обстановкой войны. С первых мѣсяцев 1942 года, дѣйствительно, как из рога изобилія посыпались корреспонденціи о царящих в промышленности и торговлѣ непорядках. Началась борьба с «засѣдательской суетней», укоренившейся вмѣсто дѣла на многих предпріятіях («Правда» от 17 янв.), с «безрукостью» доморощенных организаторов производства («Правда» от 11 янв.). 26 дек. 1941 г. Верховный Совѣт издал указ, об'являющій всѣх рабочих и служащих в военной промышленности мобилизованными и прикрѣпленными к своим предпріятіям. Отчасти этот указ был вызван тѣм фактом, что в связи с имѣвшей мѣсто эвакуаціей фабрик и заводов служащіе и рабочіе мѣняли свое мѣстожительство, и для их возвращенія на работу пришлось принять особыя мѣры: прокуратурѣ было поручено привлекать таких «летунов» к отвѣтственности за дезертирство: «дезертиры труда» получают до 8 лѣт тюрьмы. Повидимому, в первое время процессы этого рода были довольно часты. (См. «Правду» от 20 янв. 1942 г.). Но затѣм, такого рода явленія изчезли или перестали отмѣчаться печатью. Напротив, в соотвѣтствіи с ростом патріотизма в странѣ, с возросшим духом сопротивленія, борьба со всякаго рода неполадками на экономическом фронтѣ вступила в новую фазу. Вот примѣрное перечисленіе «выдвиженцев» послѣдняго призыва, о котором сообщают «Извѣстія» (от 24 іюля): «Открытіем богатѣйших мѣсторожденій желѣза и марганца в Казакстанѣ мы обязаны прежде всего трудам выдающагося геолога Каныша Сатпаева. Высокое качество на заводѣ им. Сѣрова — это дѣло мастеров-сталеваров Бетехина, Кучина, Галямина, Пашкова, Лыскова. За 20, за 30 человѣк работает тагильскій рудокоп Иван Завер-

тайло. Много тонн сверх плана дают сталевары Верх-Исетскаго завода и Уралмаша — Базетов, Валѣев, Сидоровскій. За семерых работает свердловская желѣзнодорожница Раиса Кыштымова. Фрезеровщик Дмитрій Босый и горняк Илларіон Янкин выполняют каждый работу цѣлой бригады».

Но несомнѣнное наличіе «патріотов тыла» на хозяйственной работѣ («Извѣстія» пишут: «Тот, кто думает, что любит родину и не выполняет плана, — не патріот») и несомнѣнное наличіе крупных достиженій, особенно в области оборонной промышленности, — нисколько не ослабляет однако той волны самокритики, которая разливается сейчас по совѣтской печати. Стоит прислушаться к этим голосам самокритики и попытаться по ним установить, чѣм болѣет сейчас в обстановкѣ войны народное хозяйство страны. Перебои, недостатки, неумѣнье сказываются и сейчас, послѣ того, как результаты соцсоревнованія были весьма высоко оцѣнены. Так, «Извѣстія» (от 14 августа) пишут: «У нас есть еще предпріятія, которыя пріостановили рост продукціи — качественный и количественный, — не двигаются вперед. Есть и такія фабрики и заводы, которые не выполняют государственнаго производственнаго плана. В іюлѣ, напр., не выполнили плана предпріятія, которыми руководят т. т. Гаврилов, Юрин, Фокин. Чего им не хватало? Сырья, матеріалов, топлива, рабочих рук? Нѣт, все было. Не было лишь «умѣнья», не хватало «священной тревоги» — пишет газета. И «Правда» (от 21 августа) вторит собрату, когда утверждает, что «на рядѣ предпріятій крайне неразумно расходуют сырье, топливо, электроэнергію, инструмент».

В «Правдѣ» (от 11 января) разсказывается, что на Ивановских текстильных фабриках не все благополучно. Мѣстами «руководители используют затрудненія военнаго времени, как ширму для прикрытія своей безпомощности и близорукости». Есть фабрики, которыя опредѣляются, как «безперспективныя». «Большая путаница в планированіи», — констатирует газета и шлет в заключенье упреки «парткомам», которые «занимаются крайне неглубоко» текстильной промышленностью. «Правда» (от 1 марта) сообщает о директорѣ эвакуированной фанерной фабрики Смирновѣ (город не обозначен), который на новом мѣстѣ обвиняется в срывѣ военных заказов. Горком не раз собирался и обсуждал положеніе. Смирнов не раз клялся, что улучшит дѣло. Но воз и понынѣ там, и партія безсильна помочь. Это безсиліе партіи, призванной в конечном счетѣ вязать и рѣшать, служит неоднократно

темой корреспонденцій разоблачительнаго порядка. Так, «Правда» (от 1 апрѣля) сообщает о заводѣ «Вторчермет» из Сталинграда, что с переработкой желѣзнаго лома завод никак не справляется. Бюро горкома партіи слушало доклад директора и вынесло рѣшеніе. Но — оно опять таки «недостаточно глубоко вникло» в лѣло, и — «безобразія творятся по сей день». «Правда» (от 4 апрѣля) пишет о рѣчном флотѣ на Нижней Волгѣ (корреспонденція была из Сталинграда), пишет в нѣсколько издѣвательском стилѣ. «В основном подготовлено» — рапортуют с мѣст. «А на повѣрку что оказывается?» А на повѣрку оказывается: ремонт не закончен, части лежат в разобранном видѣ, грузчиков нѣт и неизвѣстно, откуда их возьмут и т. д. Пора уже начать подвоз грузов, но ничего для этого не готово, и нѣт никакой согласованности между желѣзнодорожным и водным транспортом». Так обстояло дѣло за нѣсколько мѣсяцев до того, как защитники Сталинграда прославили имя Россіи на весь мір.

Но кромѣ безхозяйственности и «безрукости» сказываются и обстоятельства военнаго времени. «Извѣстія» (от 23 апр.) посвящают переловую острому вопросу о новых, невышколенных рабочих, труд которых широко примѣняется повсюду. Завод, эвакуированный из Украйны в Киргизію, напримѣр, не выполняет производственной программы. Почему? «Болѣе четверти состава не выполняет заданій... Это люди — недавно ставшіе за станки, не имѣющіе достаточной квалификаціи». И газета иллюстрирует эти явленія случаем в Горьком, когда токарь-ударник Ворожейкин попал неожиданно в число «невыполняющих норму». Почему? Его на работу поставили, но «не об'яснили процесса обработки новой детали». Порой не используются и квалификація и умѣнье. Из Прокопьевска сообщают, что на шахты поступило 1496 человѣк, окончивших школы: забойщики, крѣпильщики, машинисты. Но далеко не всѣ нашли себѣ примѣненіе по спеціальности, и многіе работают в качествѣ «подсобных рабочих» на «посторонних работах». И вот в результатѣ на шахтѣ имени Кагановича из 57 «выпускников» школ устроился только 1. Разоблачитель опускает руки: комсомол и профсоюзы, — никто не ведет тут никакой работы.

Время от времени производится «чистка» аппарата. В Читинской области («Правда» от 12 марта) в теченіе многих лѣт «бухгалтерскій учет велся на 26 балансах». Рѣшили число балансов уменьшить и сократили: сначала до 17, затѣм до 8 , а теперь до 5. И вмѣсто паразитарнаго аппарата в 177

бухгалтеров теперь удовольствовались 78-ью. Но если в одном мѣстѣ идет сокращеніе штатов, то в другом немедленно же наблюдается их увеличеніе. Перенесемся из Читы в Чкалов или Свердловскую область, из вѣдомства промышленности в санитарное вѣдомство, натыкаемся на гомерическія цифры разбухших до безконечности штатов. Наркомздрав РСФСР рѣшил, за недостатком санитарных врачей, создать институт общественных санитарных инспекторов. В Чкаловѣ немедленно оказалось 800 таких инспекторов, а в Свердловской области — 9 тысяч! («Правда» от 12 марта). Недаром «Крокодил» как-то приводил приказ и. д. завдома Лисянскаго, в котором предписывалось: «прошу заняться умственным трудом по всѣм отраслям хозяйства»)...

2.

Гораздо скупѣе печать на изображеніе деревни. Она попрежнему «загадочный сфинкс», и меньше всего крестьянство, его настроенія, его реакціи поддаются расшифровкѣ совѣтских публицистов. «В дни войны еще выше поднялась политическая активность колхознаго крестьянства», — неопредѣленно пишет «Правда» (в передовой от 4 дек. 1941 г.). Случайные штрихи, проникшіе в прессу, говорят довольно явственно о наличіи недовольства в крестьянской средѣ, о «вредных настороеніях в колхозах». Из Кировской обл., напр., пишут в «Правдѣ» (от 27 марта) и жалуются, что парторганизаціи там «устранились» от задачи подбора и воспитанія кадров в колхозах». В результатѣ, «взамѣн ушедших в армію прошли в рядѣ колхозов предсѣдателями и бригадирами» люди «несоотвѣтствующіе своему назначенію». В других мѣстах на эти посты прошли «жулики, рвачи и бывшіе кулаки». Корреспондент зовет на помощь парторганизацію, политотдѣлы, но выхода в сущности не видит. Этот выход особенно затруднен еще потому, что в нѣкоторых случаях и органы партіи и совѣтов тоже оказываются в плѣну у крестьянских настроеній. В этом смыслѣ любопытно сообщеніе из Горькаго («Правда» от 31 марта) о том, что на пленумѣ обкома выяснилось, что райкомы ВКП и исполкомы «не борются с вредными настроеніями нѣкоторых руководителей колхозов, разсчитывающих на полученіе сѣмян от государства». В этом ли заключаются «вредныя настроенія» крестьянства? Опасаясь голода, они разсчитывают на сѣмянныя ссуды. Неудивительно,

что низовые органы партіи захлестываются такими настроеніями...

Так было к веснѣ. Когда лѣтом началась уборка урожая, запестрѣли газеты извѣстіями отовсюду о том, с какой активностью бросились горожане в деревню. Рѣзко упало количество машин, тракторов, рабочаго скота. Упало число опытных земледѣльцев. И вот на основѣ особаго постановленія Совнаркома и ЦК. партіи потянулись на поля сотни тысяч горожан — в колхозы и совхозы. Читаем типичное для этого времени сообщеніе («Извѣстія» от 12 іюня): «Около 20 тысяч школьников Грузіи во главѣ со своими педагогами приступили к сельскохозяйственным работам на полях республики». Нам, профанам, непонятно, в какой мѣрѣ школьники со шкрабами могут помочь дѣлу. Но передовая «Извѣстій» (от 23 іюля) приводит эпизод, в котором, может быть, содержится отвѣт на наши сомнѣнія: «В совхоз Шульгино Тульской области послали большую группу учащихся старших классов на с.-х. работы. Труд их был очень производительным, а быт совершенно неустроенным. Ребята рѣшили, что это лишь результат первых дней, дальше все наладится. Но проработав нѣкоторое время и увидѣв, что общежитія им не организуют, питанія тоже, они рѣшили обратить вниманіе дирекціи на это ненормальное положеніе. Дирекція же вмѣсто того, чтобы устранить недостатки, откомандировала бригаду учащихся обратно в Тулу».

Но для того, чтобы возсоздать адэкватную картину уборки урожая в колхозах, ограничимся приведеніем корреспонденціи, напечатанной в «Правдѣ» (от 4 сентября). Дѣло происходило в Алтайском краѣ. Директор Зеркальской МТС плохо настроен. Его ругали за то, что в МТС «поддались зеленым настроеніям», и оттого хлѣб, который давно слѣдовало бы убирать, «до сих пор стоит на корню и уже осыпается». «Самосброски, лобогрѣйки скосили почти в восемь раз больше, чѣм всѣ сорок комбайнов МТС». И директор выѣхал в поля провѣрить и выяснить, почему косари обгоняют комбайнеров. Он выѣхал в поле (примѣняя пріем Зощенки), и видит, что работа идет во-всю, но «красавца-комбайна нѣт как нѣт. Гдѣ же он? Оказывается: «машина остановилась: надо слѣлать бумажную прокладку под картером, и Аня Кангурова (комбайнерка) спѣшит за пять километров в деревню, чтобы раздобыть лист газетной бумаги»... Директор ѣдет дальше. Вот поля колхоза имени 18-го партс'ѣзда. Та же картина: ни од-

ного комбайна. А когда потом внезапно появляются комбайны, они тотчас же останавливаются. В чем дѣло? Оказывается, трактористицы впервые работают на комбайнах и никак не могут ими овладѣть. «О них забыли и директор, и механики, и политотдѣл», а «собственным умом» они разрѣшать техническія задачи опасаются. Но — гдѣ же механики, гдѣ инструкторы? — вопрошают корреспонденты. И получают классическій отвѣт: по разным дѣлам они выѣхали в город... «Впрочем, дѣвушки жалуются и на другое: онѣ не знают об оплатѣ их труда на уборкѣ... Начальник политотдѣла Свердель недѣлями сидит и сидит в своей комнатушкѣ или, выйдя на крыльцо, подолгу смотрит на хрюкающих у крыльца поросят». Корреспонденты «Правды» со скорбью заканчивают свое описаніе: «Что уж тут говорить о политической работѣ, и так далѣе? Ничего такого тут нѣт. И вот из 12 тыс. гектаров комбайны убрали всего только 460». Особенно нам представляется характерным в этой репликѣ: «и так далѣе».

Что касается общей полит-пропаганды, то ведется она по меньшей мѣрѣ неосмотрительно. Так, напримѣр, «Правда» (от 10 марта 1942 г.) в слѣдующих выраженіях нападает на политическій строй врага: «Народ был лишен свободы коалиций, свободы слова и собраній... Они мошенническим путем сфабриковали «большинство»... В результатѣ тысячекратной лжи, мошенничеств и голаго насилія была установлена диктатура и порабощен народ». Поистинѣ, для «Правды» неосторожная пропаганда!

Разумѣется, «маленькіе недостатки механизма» (эти ироническія слова Глѣба Успенскаго нашли себѣ право гражданства в совѣтской прессѣ) не являются монополіей СССР. Их можно найти во всѣх воюющих странах. Но нам представляется небезынтересным показать читателям картину совѣтской дѣйствительности, поскольку она раскрывается в «самокритикѣ».

Григорій Аронсон.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА МОСКВЫ

(Статья третья).

1

В государствах идеократическаго типа каждое значительное измѣненіе идеологіи правящаго слоя неизбѣжно приводит, — хотя и с запозданіем, — к измѣненіям в области практической политики. Исторія Совѣтской Россіи, — в том числѣ и исторія ея внѣшней политики, — полна примѣрами, подтверждающими это общее правило.

Періодом наибольшаго вліянія группы Бухарина на политику страны было время с весны 1925 года (XIV партійная конференція) и до лѣта 1928 года (VI конгресс Коминтерна и сопредѣльные с ним пленумы ЦК ВКП). Как мы теперь знаем, вліяніе группы и в этот період далеко не было безраздѣльно полным. Ей приходилось все время оглядываться на другія группировки, дѣлить власть с выразителями иных настроеній (прежде и больше всего со Сталиным). С другой стороны, она сама далеко еще не закончила своего «самоопредѣленія», значеніе пройденнаго ею пути ей самой еще не было ясно, — и потому она очень часто шла почти ощупью, от случая к случаю. Тѣм не менѣе и эта идеологія, еще не завершившая своего формированія, уже начинала накладывать свою печать на всю политику страны: с рядом колебаній, не без зигзагов и рецидивов, но эта политика вполнѣ опредѣленно обнаруживает тенденцію стать политикой, в ея основѣ орієнтирующейся на относительно длительный період относительно мирнаго развитія, — как внутри страны, так и во внѣ ея.

Всѣ основные элементы этой политики прочно увязаны друг с другом на одной общей задачѣ: на общем стремленіи к миру. Это не случайный результат личных настроеній руководящих представителей группы, — это неизбѣжный вывод из основных идей, вокруг которых группа складывалась. Поскольку принята посылка о том, что «путь к соціализму» в Россіи побѣдивших Совѣтов лежит через постепенное и мирное вовлеченіе крестьянства в кооперацію, которая так же постепенно и мирно распространяет свои функціи на всѣ

стороны производственнаго процесса деревни,*) постольку обязательным становится вывод о необходимости обеспечить возможно болѣе длительный період мирнаго (без войн) развитія. С другой стороны, поскольку идея міровой революціи оторвана от войны; поскольку установлена возможность внѣ-военнаго развитія к соціализму, -- постольку обязательным же становится и другой вывод: подобный період мирнаго развитія полностью отвѣчает интересам и международнаго рабочаго движенія. Об'ективныя посылки для такого періода создает хозяйственная стабилизація капиталистическаго міра, -- при всей непрочности и относительности этой стабилизаціи. Правильная внѣшняя политика Сов. Россіи в этих условіях может сыграть в высшей степени положительную роль. Оріентація на международные конфликты, а тѣм болѣе поддержка и обостреніе их должны быть изгнаны из ея практики... Оріентація на мужика неминуемо обязывала к оріентаціи на мир!

И дѣйствительно: внѣшняя политика Сов. Россіи в эти годы по обѣим своим основным линіям, -- и по линіи совѣтской дипломатіи, и по линіи дипломатіи коминтерновской, -- обнаруживает тенденцію к эволюціи в указанном направленіи. Этот «новый курс» был еще очень далек от полной побѣды. Наслѣдіе прошлаго, — эпохи «лобовой атаки» на капиталистическій мір, — висѣло мертвым грузом. Но направленіе развитія было намѣчено вполнѣ ясно.

По линіи совѣтской дипломатіи явно обнаружилось стремленіе к ликвидаціи или во всяком случаѣ ограниченію всѣх тѣх внѣшне-политических соглашеній, которыя были в той или иной мѣрѣ связаны с прежними концепціями использованія войн в интересах міровой революціи. Особенно ясно это сказалось на отношеніях Совѣтской Россіи, с одной сто-

*) В свое время эту теорію Бухарина часто называли «неонароднической». — и в этом опредѣленіи много правильнаго. Россія настолько крестьянская страна и народничество. — в широком значеніи этого слова. — настолько точно отвѣчало настроеніям крестьянства, что было достаточно хотя бы слегка пріоткрыть возможности для проявленія крестьянской самодѣятельности, чтобы элементы народнической идеологіи начали выпирать изо всѣх, часто самых неожиданных, щелей. — с неотвратимостью, как говорил Ленин, химической реакціи.

роны, к Германіи и, с другой, к Японіи*). По существу то же самое значеніе имѣли и попытки «всерьез и надолго» регулировать отношенія между Совѣтской Россіей и странами Прибалтики: в 1922-23 годах совѣтскіе дипломаты открыто грозили этим странам «вырвать с петлями» их двери, если они откажутся пропустить добровольно Красную Армію в случаѣ начала революціи в Германіи**), — а в 1926-27 с ними были начаты переговоры о гарантійных договорах. Совѣтская дипломатія явно дѣлала попытки вырваться из орбиты того «ревизіонистскаго блока» стран, недовольных Версальским миром, над сколачиваніем котораго она сама так много поработала в предшествующіе годы.

С другой стороны, по линіи Коминтерна в это время проводилась политика, для которой характерно стремленіе к извѣстному сглаживанію коммунистической агрессіи против рабочих партій и профессіональных союзов Западной Европы и Америки. Теоріи Сталина-Зиновьева 1924 года о соціал-демократіи, которая является только крылом международнаго фашизма, были из'яты из употребленія. Стала входить в обычай практика больших кампаній, проводимых совмѣстно (в той или иной формѣ, с тѣми или иными ограниченіями) соціалистами и коммунистами. Соціалистов временами трактовали, как заблуждающихся, но все же «братьев по классу».

*) Для русско-японских отношеній этого періода в высшей степени важным моментом является отзыв из Токіо перваго совѣтскаго полпреда В. Коппа: послѣдній несомнѣнно находился под сильным вліяніем внѣшне-политических концепцій нѣмецких геополитиков, а эти послѣдніе были послѣдовательными сторонниками плана русско-японскаго союза для борьбы против Америки и Англіи. Именно поэтому их привел в восторг январьскій русско-японскій договор 1925 года и крайне огорчил отзыв Коппа в концѣ того же года (см., напр., заявленія К. Хаусхофера в «Цайтшрифт фюр Геополитик», 1925 г., стр. 204 и 964 и 1926 г., стр. 66 и 313 и т. д.). — В. Копп свою дипломатическую карьеру начал представителем совѣтскаго Краснаго Креста в Берлинѣ в 1919-21 г.г., когда он был единственным совѣтским дипломатом в Германіи. Повидимому, с К. Хаусхофером он был знаком и лично.

**) См. К. К. Озолс: «Записки дипломата», стр. 163.—Совѣтским дипломатом, который бросил подобную угрозу, был как раз тот же В. Копп.

2.

Выступая в эти годы против политики военных авантюр, Бухарин остріе своих ударов неизмѣнно направлял против оппозиціонеров, — против Зиновьева (рѣчь от 5 мая 1927 г., о которой нам извѣстно по корреспонденціям П. Шеффера), против Раковскаго (на Московской партійной конференціи в ноябрѣ 1927 года) и т. д. Он явно старался политику, оріентирующуюся на войну, связать с политикой оппозиціонаго блока, — чтобы тѣм прочнѣе похоронить их вмѣстѣ. Но на дѣлѣ главная опасность для политики мира была совсѣм не в оппозиціонерах: за указанные годы не было, кажется, ни одного отвѣтственнаго выступленія Бухарина по вопросам внѣшней политики, которое не вызывало бы сдержанных по формѣ, но весьма рѣшительных по существу возраженій со стороны людей, которых никто не заподазривал в крамольной симпатіи к Троцкому или Зиновьеву. И всѣ эти возраженія неизмѣнно ударяли по одному основному пункту: война и проблемы, с нею связанныя.

Уже с осени 1926 года Бухарина открыто упрекают в том, что он недостаточно вниманія удѣляет вопросам, связанным с опасностью войны, что в его докладах фразы об этой послѣдней звучат только как «отдаленная музыка будущаго» (Мануильскій на XV партійной конференціи). То же самое значеніе имѣла и полемика против взглядов Бухарина на характер и причины хозяйственной стабилизаціи, — полемика, начало которой относится приблизительно к этому же времени: в построеніях Бухарина, как уже указано выше, стабилизація выполняла функцію доказательства об'ективной возможности относительно длительнаго періода мирнаго развитія.

Всѣ эти выступленія против Бухарина, — офиціальнаго докладчика Политбюро и Исполкома Коминтерна, — были настолько систематичны и смѣлы (даже по тѣм временам); оппоненты нерѣдко были настолько извѣстны своей близостью к Сталину (Мануильскій, Лозовскій, Гейнц Нейман, Ломинадзе и др.), что трудно ошибиться относительно их значенія: это шла подготовка почвы для открытаго выступленія самаго Сталина.

За кулисами свои «поправки» в политику Бухарина Сталин вносил уже давно. О. Куусинен, — офиціальный исторіограф дѣятельности Сталина по линіи Коминтерна, — «пер-

вые признаки измѣненія курса» послѣдняго относит к лѣту 1926 года: под воздѣйствіем Сталина тогда были «выправлены» тезисы Коминтерна от 8 іюня 1926 года об англійской забастовкѣ («Новый період и поворот в политикѣ Коминтерна», — «Ком. Интерн.» от 24 января 1930 года), — причем в этой выправленной редакціи они стали отправной базой для взрыва англо-русскаго комитета профсоюзов, для взрыва всей политики сотрудничества русских профсоюзов с профсоюзами Запада.

Эта закулисная дѣятельность Сталина, которая по существу была ничѣм нным, как саботажем политики Бухарина, — идет все наростая в теченіи послѣдующих двух лѣт.

Разрыв дипломатических сношеній между Совѣтской Россіей и Англіей (18 марта 1927 г.) привел к офиціальной постановкѣ вопроса о военной опасности в порядок дня и Коминтерна (VIII пленум Исп. Ком., — май 1927 г.), и ВКП (іюльскій пленум ЦК), — причем только в самом началѣ он ставится в качествѣ вопроса исключительно оборонительнаго, как проблема защиты Совѣтской Россіи. Но уже в декабрѣ того же 1927 г., на XV с'ѣздѣ партіи, Сталин вдвигает его в рамки общаго вопроса о тактикѣ Коминтерна для «новаго періода революціоннаго под'ема, как в колоніях, так и в метрополіях» и дает первый набросок того своего анализа международнаго положенія, на базѣ котораго нѣсколько позднѣе он развертывает свою концепцію «второго тура войн и революцій». О. Куусинен вполнѣ прав, когда в цитированной выше статьѣ заявляет, что именно «этим новым анализом мірового положенія собственно и было положено начало крутому повороту в оріентировкѣ Коминтерна».

Именно с этого момента начинается прямая борьба, — пока еще не открытая, — и в рядах ВКП вокруг проблемы международной оріентировки, неразрывно сплетающейся с проблемой оріентировки внутренней. Уже на московской партійной конференціи в февралѣ 1928 года, Угланов, — тогда секретарь Московскаго комитета и один из наиболѣе вліятельных сторонников политической линіи Бухарина, — обрушивается с рѣзкой критикой на партійный аппарат за то, что послѣдній всю кампанію по ознакомленію партіи с рѣшеніями XV с'ѣзда провел под лозунгом военной опасности, которая «во всяком случаѣ не является вопросом ближайших недѣль», совершенно забыв о хлѣбозаготовках. Политическій смысл этого выступленія ясен: перенесеніе центра тяжести на проблемы войны дѣйствительно вносило

разстройство во всю политику внутреннюю, которая была ориентирована на относительно мирное развитіе.

Рѣшающее столкновеніе произошло на VI конгрессѣ Коминтерна (іюль-сентябрь 1928 г.), — вѣрнѣе за его кулисами, на собраніях делегаціи ВКП. Сталин, в то время еще не имѣвшій за собою опредѣленнаго большинства в Политбюро по основным вопросам внутри-россійской политики, одержал здѣсь полную побѣду над Бухариным по основным вопросам политики международной. В проект программы Коминтерна, составленный Бухариным, и в тезисы послѣдняго по международному положенію, эта делегація, по предложенію Сталина, внесла ряд поправок, которыя радикально измѣнили всю схему, намѣченную Бухариным, — как в отношеніи анализа международной обстановки, так и в области практических указаній для работы компартій. Рѣшенія этого конгресса, принятые в результатѣ докладов Бухарина и официально им поддержанные (этого требовала партійная дисциплина), по существу были тезисами анти-бухаринскими (хотя и в смягченных формулировках).

Эта побѣда Сталина была немедленно же закрѣплена в организаціонном порядкѣ: новый Исп. Комитет Коминтерна и его президіум были сотавлены с опредѣленным сталинским большинством. Опираясь на рѣшенія Коминтерна и ставя во главу угла проблемы международныя, в свѣтѣ опредѣленной трактовки их рѣшая всѣ проблемы внутреннія, Сталин повел наступленіе на своих противников и в рядах компартіи Россіи. Именно поэтому он одерживал здѣсь побѣды, — которыя ему едва ли удалось бы одержать, еслибы он не заразил партію настроеніем тревоги перед надвигающейся войной. Представленіе о темпах приближенія послѣдней предопредѣляло исход голосованій по вопросу о темпах пятилѣтки: нѣт времени ждать, — надо строить, чего бы это ни стоило. Оцѣнка характера и исхода войны предопредѣлила и «сплошную коллективизацію». Бухарин тщетно аппелировал к «Политическому завѣщанію Ленина», который проблему обороны страны завѣщал рѣшать на путях политики соглашенія с крестьянством. Доводы Бухарина не доходили до сознанія взбаламученной аудиторіи: в тѣх статьях, на которыя Бухарин ссылался, Ленин, — поскольку рѣчь шла о Россіи, — имѣл в виду войну только оборонительную. В дѣлѣ обороны страны соглашеніе с крестьянством было вполнѣ возможным, — для нее не было нужды перепахивать деревню стальным плугом машинно-тракторных станцій. Сталин же говорил о

совсѣм другой войнѣ. Он держал курс на цѣлый період войн и революцій, из которых должна вырасти революція міровая, — и звал «рѣзать волну» надвигающейся бури, больше: даже искусственно вызывать демона ея. Для т а к о й войны союз с крестьянством не был возможен. Вести ее было можно только взяв крестьянина в желѣза. И мужик был принесен в жертву, — вмѣстѣ с «Политическим завѣщаніем Ленина».

Основные элементы этой концепціи Сталина, — поскольку их возможно установить по заявленіям тѣх лѣт (1928-31 г.г.) его самого и его соратников, — вырисовываются в слѣдующем видѣ.

В центрѣ всѣх проблем стоит война. Стабилизація подходит к концу. Надвигается хозяйственный кризис. В эпоху «загниванія капитализма», на фонѣ общаго кризиса капиталистической системы, этот кризис не будет одним из тѣх хозяйственных кризисов, каких уже много видѣло человѣчество в эпоху промышленнаго капитализма. Есть много шансов, что он может быть п о с л ѣ д н и м кризисом капиталистическаго общества, — нужно приложить всѣ силы, чтобы он дѣйствительно был таковым.

Война для капитализма всегда была средством выхода из кризисов: новый внѣшній рынок, это новыя фабрики в метрополіи. Значеніе войн в наши дни увеличивается еще и потому, что хозяйственный кризис теперь неизбѣжно будет связан с чрезвычайно острыми кризисами политическими. Чтобы уйти от них, чтобы предупредить выступленія пролетаріата, капиталистическія страны будут очертя голову бросаться во внѣшнія авантюры. Если еще на XV с'ѣздѣ (декабрь 1927 года) вопрос о возможности войн Сталин трактовал сравнительно академически, то уже лѣтом 1928 года, при оцѣнкѣ международнаго положенія, он говорит о них так, как будто чувствует их под своими пальцами: повсюду нарастают международные конфликты, — и всѣ они «чреваты войною» (рѣчь 13 іюня 1928 г.). «Вновь ставит имперіализм штык в порядок дня», — под его диктовку пишет VI конгресс Коминтерна в своем манифестѣ.

Порожденныя внутренней механикой капиталистической системы, эти войны неминуемы и неустранимы. Всѣ разговоры о возможности их предупредить — вздорная и вредная болтовня, только отвлекающая вниманіе рабочих от того единственнаго средства, которое способно положить конец всѣм войнам, — от пролетарской революціи. Безпощадная

борьба против всевозможных пацифистских настроеній обязательна для всякаго коммуниста.

Но пролетарская революція для Сталина, это — только синоним Совѣтскаго Союза. Если он готов поставить на дыбы всю Россію, чтобы сдѣлать ее способной для необходимых, — по его мнѣнію, — выступленій в рѣшающій момент, — то от пролетаріев всего міра он требует интересы пролетарской міровой революціи слить с интересами укрѣпленія и развитія совѣтской диктатуры. Старовѣры коммунистической церкви старались добиться смягченія того пункта, который декретировал:

> «пролетарская диктатура в СССР есть в а ж н ѣ й ш а я составная часть в международной соціалистической революціи... база ея развитія».

Сама Клара Цеткин, — тогдашняя икона Коминтерна, — пыталась спорить: «при всем сознаніи огромнаго историческаго значенія диктатуры пролетаріата в СССР», она все же думала, что

> «важнѣйшая часть процесса дальнѣйшаго развертыванія міровой революціи в отдѣльных пока еще капиталистических странах вытекает из крѣпости и созрѣванія об'ективных и суб'ективных сил революціоннаго развитія в самих этих странах» («Ком. Инт.» № 25-26 за 1928 год).

Поправка, которую она предлагала, была крайне скромна: она хотѣла только, чтобы Совѣтскую Россію считали не «важнѣйшей», а «о д н о й и з важнѣйших, рѣшающих, движущих сил» международной революціи. Перед ней почтительно раскланивались, увѣряли ее в своем уваженіи, — но в основном не уступали. И не могли уступить: весь смысл в том и состоял, что необходимо было пріучить не-россійских коммунистов к мысли о необходимости в рѣшающіе моменты итти на жертву интересами «революціоннаго развитія» всѣх этих стран, — во имя интересов «пролетарской диктатуры в СССР». Интересы послѣдней безраздѣльно доминируют над всѣми остальными; не может быть и рѣчи о равноцѣнности с ними каких бы то ни было других интересов. Это основная догма, которую необходимо усвоить, — так так же прочно, как прочно ее усвоили коммунисты французскіе в 1939 г... Только в этом случаѣ Коминтерн становится

достаточно надежной арміей для рискованных маневров в надвигающейся сложной обстановкѣ.

И еще один вопрос игралъ роль узлового пункта в теоретических построеніях Сталина, — как раз на том их мѣстѣ, гдѣ теорія, как средство познанія дѣйствительности, перерастала в теорію, как орудіе преобразованія послѣдней: это былъ вопрос о взаимодѣйствіях между конфликтами внутри отдѣльных стран и конфликтами международными. Сам Сталин этого вопроса открыто почти не затрагивает: он черезчур колюч. Но в закулисных спорах с Бухариным этот вопрос игралъ едва ли не наиболѣе важную роль. Не случайно Куусинен так формулирует свое основное обвиненіе против Бухарина:

> «вмѣсто того, чтобы попытаться охватить в е д и н о м комплексѣ обостреніе внѣшних и внутренних противорѣчій, тов. Бухарин упорно настаивал на ошибочном п р о т и в о п о с т а в л е н і и тѣх и других» («Ком. Инт.» от 24 янв. 1930 г.).

Значеніе и тяжесть этого обвиненія нам станут понятны только тогда, когда мы выясним, какое именно рѣшеніе давало этому вопросу официальное руководство Коминтерна того періода и какіе практическіе выводы оно из этого рѣшенія дѣлало.

Спор по этому вопросу наиболѣе полно развернулся в связи с разногласіями внутри компартіи Соединенных Штатов Америки. К этим разногласіям в Коминтернѣ относились с исключительным вниманіем, — в виду того мѣста, которое занимала Америка в стратегических схемах Сталина. Именно поэтому наиболѣе полную и при том вполнѣ официальную трактовку указанной проблемы мы находим в статьях нѣкоего Мингулина, — в тѣ годы официальнаго теоретика Коминтерна по дѣлам, касающимся Сѣверной Америки, — особенно в его инструктивной статьѣ: «Как не надо понимать и раз'яснять линію VI Всемірнаго конгресса Коминтерна» (№ 3 «Ком. Инт.» за 1929 г.). Так как в это время уже работала комиссія Коминтерна по дѣлам компартіи США, — комиссія, на засѣданіях которой выступал с рѣчами сам Сталин, — то нѣт никакого сомнѣнія что статьи Мингулина могут быть без риска ошибиться разсматриваемы за статьи, излагающія официальную точку зрѣнія руководителей Коминтерна. Схема мыслей, развитых в этих статьях, вкратцѣ такова:

«Капитализм постоянно толкается силой внутренних

противорѣчій к экспансіи»; ему свойственно стремленіе «разрѣшать внутреннія противорѣчія расширеніем внѣшняго поля производства» (рѣчь идет о внѣшних рынках. Б. Н.). Это — «основной закон капитализма и классовой борьбы». Степень остроты внутренних противорѣчій есть величина перемѣнная, но всегда в прямом соотвѣтствіи с нею находится уровень стремленія данной страны к внѣшней экспансіи. Рост противорѣчій и конфликтов внутри каждой данной страны усиливает ея стремленіе к экспансіи, — а сопротивленіе, которое эта страна встрѣчает на пути такой экспансіи, ведет к усиленію и обострению конфликтов внутренних.

Сам по себѣ факт взаимосвязанности конфликтов внутренних с конфликтами внѣшними не является большим открытіем. В литературѣ его отмѣчали много раз, — и при том с болѣе точным опредѣленіем характера этой взаимосвязанности (опредѣленіе Мингулина, конечно, черезчур упрощено). И, конечно, невозможно себѣ представить, чтобы его не видѣл Бухарин, в статьях котораго можно найти много замѣчаній, относящихся к этой группѣ явленій. Его нежеланіе «охватить в едином комплексѣ» эти два вида конфликтов, его «упорное настаиваніе на ошибочном противопоставленіи тѣх и других» станут понятны только в том случаѣ, если мы поймем, что спор шел не о познаніи дѣйствительности, а об использованіи результатов этого познанія для практическаго дѣйствія.

А указанная взаимосвязанность дѣйствительно открывала большія возможности для весьма далеко идущаго дѣйствія. На самом дѣлѣ: если внутренніе конфликты толкают соотвѣтствующія страны на внѣшнюю экспансію, если усиленіе их ведет к соотвѣтствующему усиленію конфликтов международных; если, — с другой стороны, — существует достаточно мощная организація, которая в силах по волѣ своих руководителей обострять и вызывать конфликты внутренніе, — то вывод напрашивается сам собой: подобная организація обладает возможностью в каких то предѣлах содѣйствовать обострению и вызыванію конфликтов международных, способствовать доведенію их до той степени остроты, когда они переходят в войну. Особенно в періоды экономических кризисов, когда почва в соотвѣтствующих странах колеблется, когда массы особенно легко приходят в движеніе.

Нѣт никакого сомнѣнія, что именно такая интерпретація взаимосвязанности конфликтов внѣшних и внутренних и при-

нималась руководителями Коминтерна в тѣ годы, так как только она помогает связать в единое стройное цѣлое всю тактическую линію послѣдняго, об'яснить цѣлый ряд ея моментов, которые иначе остаются совершенно непонятными: достаточно напомнить хотя бы стачечную тактику Профинтерна с ее оріентаціей на неорганизованных, с ее безумным стачечным авантюризмом, с ее «вгоняніем рабочих в стачки дубинками» (так окрестили эту тактику нѣмецкіе коммунисты же — противники политики «взрыва профсоюзов»), с готовностью в дѣлѣ организаціи таких стачек сотрудничать даже с опредѣленно фашистскими элементами.

3.

Стратеги Коминтерна, конечно, превосходно видѣли, какими ухабами усѣян путь, на который они толкали шедшія за ними массы: их можно упрекнуть во многом, — но они, безспорно, все время стремились не терять из вида далекія перспективы, стараясь на долго разсчитывать свою тактику. А здѣсь дѣло шло не только о том, что их тактика переводила отношенія коммунистов с другими рабочими организаціями на рельсы настоящей гражданской войны. Еще болѣе важным было другое: развертываемая в обстановкѣ усиленнаго наступленія фашизма, эта тактика в огромной степени повышала шансы послѣдняго, вплотную подводила к прямой угрозѣ его побѣды. Этого нельзя было не видѣть, — и это, дѣйствительно, многіе видѣли, и из рядов самих же компартій ставили острые вопросы, требуя прямых отвѣтов. Стратеги Коминтерна такіе отвѣты давали, — и притом отвѣты в двух плоскостях: в плоскости національных движеній, с одной стороны, и в плоскости международных отношеній, с другой.

В основу отвѣта в плоскости національной легла уже извѣстная нам старая (от 1924 г.) теорія Сталина о «соціал-фашизмѣ», согласно которой соціал-демократія была ничѣм иным, как фракціей внутри фашизма. В свое время эта теорія была только намѣчена в самых общих чертах, — теперь ее подвергли обстоятельной и всесторонней разработкѣ. Появилась цѣлая литература, которая доказывала, что между Вандервельде и Гильфердингами, между Блюмами и Вельсами, с одной стороны, и между Гитлерами и Муссолини, с другой, — нѣт никакой принципіальной разницы, что первые даже хуже вторых, ибо-об'ективно — они «агентура фашизма»

в рядах рабочаго класса», что фашизм вообще «по своему классовому содержанію не отличается от демократіи в эпоху имперіализма» (Ленц в № 35 «Ком. Инт.» за 1928 год). Это было необходимо для вывда: борьбу против фашизма нельзя вести, как борьбу за сохраненіе демократических форм государства; ее необходимо вести, как «принципіальную борьбу против всякой классовой формы господства буржуазіи», т. е. ее необходимо растворить в общей борьбѣ против капиталистическаго строя. А так как демократическія государства, на которыя вел свое наступленіе фашизм, были государствами капиталистическими, то отсюда слѣдовал вывод: борьба против демократических государств в то время, когда на них ведется атака со стороны фашизма, ни в коем случаѣ не должна быть смягчена; ее необходимо усилить, так как это и есть единственно дѣйствительная, и правильная борьба против фашизма.

А нѣсколько позднѣе, когда фашизм вырос в большую силу и угроза его побѣды стала вполнѣ реальной, на подкрѣпленіе теоріи о «соціал-фашизмѣ» — была послана новая теорія: о фашизмѣ, который должен стать «ледоколом революціи». Фашизму, — согласно этой теоріи, — исторіей суждено сыграть об'ективно положительную роль, разбив прочныя сложившіяся рамки буржуазнаго общества, и расчистить дорогу для коммунистов, которые за это время соберут вокруг себя всѣ силы рабочаго класса, покончив с соціал-демократіей. Сталиным уже раньше было установлено: «невозможно покончить с капитализмом, не покончив с соціал-демократизмом в рабочем движеніи» (7 ноября 1927 г.). Теперь вносилось небольшое дополненіе: с н а ч а л а надо уничтожить соціал-демократизм.

В концепціях Сталина эта мысль — в ея зародышевой формѣ — встрѣчалась и раньше*), — теперь она

*) Еще лѣтом 1923 года, когда шли споры относительно тактики нѣмецких коммунистов, в письмѣ к Зиновьеву, Сталин бросил мысль: «для нас предпочтительнѣе, чтобы первыми выступили фашисты: тогда коммунисты соберут вокруг себя весь рабочій класс». Это письмо Сталина, опубликованное нѣмецкими коммунистами из правой оппозиціи («Против теченія», № от 20 апрѣля, 1929 г., стр. 11), не упомянуто в библіографіи работ Сталина, хотя в ней перечислены даже самые маленькія его записки. Тѣм не менѣе подлинность его несомнѣнна (см. Сталин: Об оппозиціи, стр. 684).

стала играть рѣшающую роль. Особенно значительной была ея роль в Германіи, в 1931-32 годах, когда она усыпляла просыпавшуюся тревогу коммунистических рабочих, начинавших понимать, что это не Гитлер расчищает дорогу для коммунистов, а они для него...

Но всѣ эти теоріи, в той или иной мѣрѣ связанныя с тѣм или иным пониманіем интересов революціоннаго движенія внутри отдѣльных стран внѣ Сов. Россіи, играли роль только подсобных, — по отношенію к одной основной, которая исходила из интернаціональнаго значенія тѣх результатов, к которым могла и должна была привести новая тактика: из ея вліянія на развитіе международных конфликтов.

Разжигать конфликты внутренніе, доводить их до такой степени остроты, до какой их старались доводить повсюду коммунисты, — заранѣе зная, что усиленіе их ведет к обострению конфликтов международных, можно было только в том случаѣ. если эти послѣдніе разсматривались в качествѣ фактора положительнаго. Так и было в дѣйствительности: Сталин всегда свое вниманіе с особенным стараніем концентрировал именно на проблемѣ международных конфликтов, настойчивѣе, чѣм кто бы то ни было другой, подчеркивал, какое положительное значеніе они имѣют с точки зрѣнія міровой революціи.

Еще в 1921 году, в статьѣ: «Партія до и послѣ взятія в. ласти» (она была, повидимому, его первым большим выступленіем в печати по вопросу «о задачах... партіи в области внѣшней политики»), Сталин в слѣдующем порядкѣ расположил тѣ группы мѣропріятій, которые ему казались необходимыми в интересах «международной революціи»:

> «1. Использовать всѣ и всяческіе противорѣчія и конфликты между окружающими капиталистическими группами и правительствами в цѣлях разложенія имперіализма.
>
> 2. Не щадить сил и средств для оказанія помощи пролетарской революціи на Западѣ.
>
> 3. Принять всѣ мѣры к усиленію національно-освободительнаго движенія на Востокѣ.
>
> 4. Укрѣпить Красную Армію»*).

*) «Правда» от 28 авг. 1921 г.

Конфликты между капиталистическими правительствами уже тогда привлекали к себѣ наибольшее вниманіе Сталина, возможность их использованія ему уже тогда казалась особенно заманчивой. И это не было случайностью. К этой высли Сталин не раз возвращался в своих послѣдних статьях и рѣчах, раз'ясняя своей аудиторіи тѣ перспективы, которыя открываются от возможности использовать этого «неуловимаго, безличнаго, но в высшей степени важнаго» союзника, как міровой революціи, так и Сов. Россіи (для Сталина, как мы знаем, не существовало противопоставленія этих двух понятій):

> «Борьба, конфликты и войны, - - подчеркивал он, — между нашими врагами (а таковыми для него были всѣ основныя страны «капиталистическаго окруженія». Б. Н.), — это, повторяю, наш величайшій союзник»*).

Эту мысль Сталин считал настолько важной, что ввел ее и в свои «Основы ленинизма», — в тот их раздѣл, в котором рѣчь идет о «стратегіи и тактикѣ» революціи и знаніе котораго в наше время является обязательным для кажлаго правовѣрнаго коммуниста.

Очень характерно, что по мѣрѣ своего продвиженія вверх по совѣтско-партійной лѣстницѣ, Сталин начинает проявлять все большую сдержанность в открытых высказываніях по этому вопросу. Раннія статьи, гдѣ вопрос трактовался с той откровенностью, какую мы видѣли в приведенных цитатах, в новѣйшіе сборники статей Сталина или вовсе не включаются, или включаются с из'ятіем наиболѣе важных мѣст (именно так обстоит лѣло и с тѣми статьями, которыя цитированы выше). Но это не результат перемѣны им взглядов по данному вопросу, — а исключительно мѣра предосторожности человѣка, начинающаго все болѣе и болѣе взвѣшивать свои открытыя высказыванія: если мы будем внимательно разбираться во всѣх позднѣйших выступленіях Сталина, то мы легко убѣдимся, что его анализ международной обстановки неизмѣнно бывает построен под углом все тѣх же поисков конфликтов между основными странами капиталистическаго міра...

Поиски такого рода конфликтов стоят в центрѣ вниманія

---

*) Рѣчь на Моск. губ. парт. конференціи, — «Правда» от 30 января 1925 года.

Сталина и в тѣ годы, о которых сейчас идет рѣчь, — в 1928 и слѣдующих годах. Теперь этот интерес даже особенно заострен, — причем Сталин с особенной настойчивостью подводит вниманіе слушателя как раз к той сторонѣ событій, упорное нежеланіе охватить которую «в едином комплексѣ» Куусинен ставил в особую вину Бухарину: к взаимосвязанности конфликтов внутренних, соціальных с конфликтами внѣшними, международными.

4.

Только на этом фонѣ и становится понятным все значеніе «крутого поворота» внѣшней политики, произведеннаго Сталиным в 1927-28 г.г., — и дѣйствительный смысл его спора с Бухариным, и поведеніе послѣдняго.

В своей рѣчи на засѣданіи Политбюро от 29 апрѣля 1929 г., — в этом настоящем обвинительном актѣ против Бухарина, — Сталин сравнил послѣдняго с опредѣленным типом енисейских рыбаков, которых ему пришлось наблюдать во время своей сибирской ссылки:

> «Видали ли вы, — говорил он, — рыбаков перед бурей на большой рѣкѣ, вродѣ Енисея? Я видѣл их не раз. Бывает, что одна группа рыбаков перед лицом наступившей бури мобилизует всѣ свои силы, воодушевляет своих людей и смѣло ведет лодку навстрѣчу бурѣ: «Держись, ребята, крѣпче за руль, рѣжь волны, наша возьмет! Но бывает и другой сорт рыбаков, которые, чуя бурю, падают духом, начинают хныкать и деморализуют свои же ряды: «Вот бѣда, буря наступает, ложись ребята на дно лодки, закрой глаза, авось как нибудь вынесет на берег». Нужно ли доказывать, что установка и поведеніе группы Бухарина, как двѣ капли воды, похожа на установку и поведеніе второй группы рыбаков, в паникѣ отступающих перед трудностями?»

Себя Сталин считал рыбаком перваго типа, который безстрашно «рѣжет волну» надвигавшейся бури. Эта оцѣнка нѣсколько скромна: рыбаки, даже на Енисеѣ, демона бури по доброй волѣ не вызывают. Но она вѣрна в том смыслѣ, что курс на бурю, — и притом бурю внѣшне-политическую, бурю военную, — Сталиным в 1928-29 г.г. был взят вполнѣ опредѣленно. «Рѣжь волну!»

Офиціальная линія внѣшней политики осталась прежней,

—как она начала намѣчаться в 1926-27 г.г. Всегда и повсюду, гдѣ только имѣлся удобный предлог, совѣтская дипломатія выступала с заявленіями, что ея основной задачей является поддержаніе мира и предотвращеніе опасности войн. Эта нота стала звучать даже болѣе подчеркнуто, чѣм когда либо прежде. Со всѣми своими сосѣдями по западной границѣ Сов. Россія подписала пакт Келлога, — о ненападеніи, об обязательном арбитражѣ. В Женевѣ, на засѣданіях комиссіи Лиги Наций, Литвинов неизмѣнно выступал в роли наиболѣе послѣдовательнаго, наиболѣе далеко идущаго сторонника разоруженій...

В этом не было никакого противорѣчія с основным курсом внѣшней политики Сталина, — с оріентаціей на бурю. Сам Сталин дал ключ для пониманія, в какой плоскости происходило согласованіе:

> «Задачей нашей внѣшней политики, — заявил он на пленумѣ ЦК еще 23 октября 1927 года, — е с л и и м ѣ т ь в в и д у д и п л о м а т и ч е с к і я о т н о ш е н і я с б у р ж у а з н ы м и г о с у д а р с т в а м и, является сохраненіе мира».

Вся суть в этом: «если». Сам Сталин вполнѣ опредѣленно подчеркивает, что «сохраненіе мира» может быть признано «задачей нашей внѣшней политики» только в том случаѣ, «если имѣть в виду» т о л ь к о дипломатическія отношенія и притом т о л ь к о с буржуазными государствами*). Совѣтская внѣшняя политика проводится в жизнь огромной и сложной машиной, с цѣлым рядом рычагов и приводов, из которых каждый выполняет вполнѣ опредѣленную частную работу, имѣет свое вполнѣ опредѣленное частное заданіе. Согласованіе их частных работ производится в кабинетѣ Сталина, откуда идут указанія и директивы. Только там творится внѣшняя политика в ее цѣлом.

Совѣтская дипломатія в области своих отношеній с буржуазными государствами имѣла заданіе, выступая под лозунгом сохраненія мира, добиться нормализаціи отношеній, — в особенности с непосредственными сосѣдями Сов. Россіи по западной границѣ. Эти отношенія были далеки от идеала.

*) Как извѣстно, в большевистской неменклатурѣ имѣются страны и других типов, напр., колоніальныя и полу-колоніальныя. О них Сталин не упоминает, — конечно, вполнѣ сознательно.

Политика авантюр (типа эстонскаго возстанія в 1924 г.) привела к тому, что «лимитрофы» были на грани того, чтобы стать на путь поддержки таких же авантюр, но на этот раз направленных против Россіи. (Это вскрылось зимою 1927-28 г.г., в связи с дѣлом эстонскаго посланника в Москвѣ, Бирка). Необходимо было продолжить и закрѣпить тѣ перемѣны, которые ввела совѣтская дипломатія в 1926-27 г.г. в свои отношенія к «лимитрофам»: в таком случаѣ была возможность из врагов превратить их, если не в союзников, то во всяком случаѣ в своего рода буфер между Сов. Россіей и возможными агрессорами. Войны, направленной против Россіи, Сталин дѣйствительно не хотѣл, — и руководимая им дипломатія умѣло и быстро работала над тѣм, чтобы предупредить возможность созданія такой международной ситуаціи, при которой стала бы возможной подобная агрессія.

Но эта работа совѣтской дипломатіи была только одной из составных частей той внѣшней политики страны, сложная сѣть которой, — тоже умѣло и быстро, — плелась из кабинета Сталина. В ея цѣлом она носила отнюдь не оборонительный характер: это была новая редакція стараго плана міровой революціи, — стратегическая и тактическая намѣтка путей «второго тура войн и революцій».

5.

С внѣшней стороны стратегія «второго тура» у Сталина очень сильно напоминала стратегію ленинскаго плана міровой революціи эпохи «прямой атаки» на капиталистическое общество в 1919-21 г.г.: тѣ же самые «щипцы», которые должны были «взять в охват» основныя страны финансоваго капитала, — как с Востока, так и с Запада; то же самое стремленіе сочетать пролетарское движеніе в капиталистических странах с движеніем національно-освободительным в странах колоніальных и полу-колоніальных; тот же самый разсчет на комбинированное дѣйствіе «войн и революцій». На этом сходствѣ с планом Ленина Сталин и тѣ «теоретики», которые состояли при нем для подобнаго рода порученій, усиленно настаивали, старательно подчеркивая при всѣх удобных и неудобных случаях моменты сходства*).

*) Небольшая, но, быть может, наиболѣе характерная иллюстрація: в 1921 году, в статьѣ «О значеніи золота», Ленин бросил мимоходом замѣчаніе о том, что ближайшая война разразится «не

Сходство между этими двумя планами несомнѣнно имѣлось. План Сталина, конечно, был развитіем плана Ленина, — но развитіем односторонним, впо. лнѣ отвѣчавшим той односторонности развитія общих идей Ленина, которое характерно для Сталина: все болѣе и болѣе перенося центр вниманія с революціоннаго движенія организованных, но свободных масс, на несвободное движеніе хорошо дисциплинированных войсковых единиц, Сталин должен был совсѣм по иному, чѣм Ленин, решать цѣлый ряд основных вопросов, — и в первую очередь вопрос о союзниках, — о том, каким критеріем нужно руководствоваться при их выборѣ. Здѣсь основа, на которой выростают наиболѣе важныя особенности плана Сталина.

Наиболѣе ясно онѣ проступают в отношеніи Дальняго Востока, — т. наз. «тихо-океанскаго пространства». В концепціях Сталина этот театр дѣйствій вообще занимает много больше мѣста, чѣм в планѣ Ленина. Это об'яснялось не только ростом международнаго значенія «тихо-океанскаго пространства» в связи с большими соціально-политическими сдвигами, ареной которых стали страны по берегам Тихаго Океана*), но и личными интересами Сталина, который внѣшне-политическими проблемами Средней и Дальней Азіи занимался еще с 1918 года, — в связи с своей дѣятельностью в

то около 1925, не то около 1928 года, не то между Японіей и Америкой, не то между Англіей и Америкой или как нибудь в этом родѣ» (Соч., XXV, 83). Эти случайно брошенныя слова, повидимому, сыграли свою роль в том, что Сталин свой «крутой поворот в орієнтировкѣ Коминтерна» пріурочил именно к 1928 году. В литературѣ Коминтерна тѣх лѣт эти слова во всяком случаѣ цитировались как аргумент в подтвержденіе прогнозов Сталина (см., напр., статью П. Шубина в № 14 «Ком. Инт.» за 1927 г., стр 13. — П. Шубин, быв. сотрудник «Рѣчи», автором политически руководящих статей «Ком. Инт.» стал только потому, что всегда был послушным выполнителем заказов, которые ему давали из секретаріата Ц. К.).

*) По схемам Коминтерна, отличительным признаком «второго тура войн и революцій» вообще должен был быть тот факт, что он «введет трудящихся в конфликты міроваго значенія, а не только европейскаго значенія» (Мануильскій: «О концѣ капиталистической стабилизаціи». — доклад на XII пленумѣ Исп. Ком. Коминтерна, — в сб. «Мировой экономическій кризис и конец стабилизаціи капитализма», Москва, изд. ЦК ВКП, 1933 г., стр. 4).

качествѣ Народнаго Комиссара по дѣламъ національностей. Тѣмъ показательнѣе эти измѣненія.

По старой концепціи Ленина, силой, которая будетъ играть ведущую роль въ анти-имперіалистическомъ движеніи колоніальныхъ странъ Дальняго Востока, являлась Индія. Нѣсколько позднѣе, на это мѣсто выдвинулся Китай. И въ первомъ, и во второмъ случаѣ рѣчь шла о національно-освободительномъ движеніи колоніальныхъ и полу-колоніальныхъ народовъ. Японія въ спискѣ таковыхъ для Ленина никогда не стояла. Онъ трактуетъ ее, какъ страну имперіалистическую, — быть можетъ, менѣе устойчивую, чѣмъ основныя страны финансоваго капитала; экономически болѣе слабую, чѣмъ послѣднія, а потому не могущую играть самостоятельной роли безъ финансовой и военной поддержки другихъ имперіалистическихъ странъ (Соч., XXV, 340) и т. д., — но въ то же время, какъ страну, которая для своихъ колоній выдѣляется «неслыханнымъ звѣрствомъ, соединяющимъ всѣ новѣйшія изобрѣтенія техники и пытокъ чисто азіатскихъ» (XXV, 502). Именно эта сторона для Ленина стоитъ на первомъ мѣстѣ, — и именно поэтому въ его высказываніяхъ объ Японіи нѣтъ и намека, который позволилъ бы говорить о признаніи имъ об'ективной прогрессивности той роли, которую Японія играетъ на Тихомъ Океанѣ.

Иное отношеніе Ленина къ Америкѣ. Онъ не питаетъ никакихъ симпатій ни къ ея политическому устройству, ни къ ея соціальному укладу, — хотя ему явно импонируетъ ея колоссальная хозяйственная и техническая мощь. Но въ томъ конкретномъ вопросѣ, который насъ теперь интересуетъ, онъ исходитъ изъ совершенно конкретной же оцѣнки роли Америки въ колоніальномъ вопросѣ и, — опять таки не отказываясь отъ своей оцѣнки мотивовъ поведенія Америки, — отмѣчаетъ тѣ особенности ея внѣшней политики, которыя ставятъ ее въ оппозицію ко всѣмъ странамъ, имѣющимъ колоніи:

> «Америка, — говоритъ онъ, — неизбѣжно стоитъ въ противорѣчіи съ колоніями (по смыслу всего предыдущаго здѣсь неточная запись стенографовъ, надо читать: въ противорѣчіи со всѣми странами, обладающими колоніями. Б. Н.), а если она попробуетъ глубже тронуть, она вдесятеро поможетъ намъ» (Соч., XXV, 506).

Иными словами: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ Ленинъ на колоніальные народы и на ихъ движеніе смотритъ какъ на явленіе, которое цѣнно само по себѣ, по тѣмъ результатамъ, которые оно приноситъ для этихъ народовъ. Отношеніе «колонизаторовъ»

к послѣднимъ играетъ опредѣляющую роль в его отношеніи к этим «колонизаторам». Конечно, на позицію, которую он занимает в тогдашнем спорѣ Америки с Японіей, рѣшающее вліяніе оказывали соображенія и другого порядка (Японія тогда вела войну против Сов. Россіи; всякій удар по Японіи был прямой помощью Россіи). Тѣм болѣе важно, что и в этой обстановкѣ он считал необходимым в свое отношеніе к обѣим указанным странам ввести элемент оцѣнки их отношенія к колоніям.

Совсѣм по иному обстоит дѣло у Сталина. В своем интервью, которое лѣтом 1925 г. он дал японскому журналисту Фусе (послѣдній принадлежал к опредѣленно націоналистическому лагерю), Сталин не только заявил, что «японскій народ является самым передовым из народов Востока» (почему японскій народ с точки зрѣнія коммуниста Сталина в 1925 г. был болѣе передовым, чѣм народ, напр., китайскій?), но и высказался (хотя и с оговорками) за желательность совмѣстных дѣйствій Сов. Союза с японскими націоналистами, руководителями пан-азіатскаго движенія. Это послѣднее носило (и продолжает носить) опредѣленно реакціонный характер, — и с точки зрѣнія политической, и с точки зрѣнія соціальной. Сталина это не остановило. С его точки зрѣнія явно наиболѣе важным был тот факт, что японскіе пан-азійцы готовы были вести борьбу против «мірового имперіализма»:

> «Союз японскаго народа, — заявил Сталин, — с народами Совѣтскаго Союза был бы рѣшающим шагом в дѣлѣ освобожденія народов Востока. Такой союз означал бы начало конца великих колоніальных имперій, начало конца мірового имперіализма. Этот союз был бы непобѣдим.

Это было формальное предложеніе союза, — и притом союза не оборонительнаго, а союза наступательнаго, разсчитаннаго на длительную совмѣстную акцію, — «до полной побѣды» над «великими колоніальными имперіями». Тот факт, что союзница сама была колоніальной имперіей и выдѣлялась «неслыханным звѣрством, соединяющим всѣ новѣйшія изобрѣтенія техники и пыток чисто азіатских»; что она отнюдь не собиралась от своих колоній отказываться (Сталин этого и не требовал), а, наоборот, явно стремилась их пріумножить, — для Сталина не являлся препятствіем. С его точки зрѣнія значеніе имѣло только одно: Японія располагала большими арміями и флотом и казалась склонной пустить их

в дѣйствіе против основных стран финансоваго капитала, — против Америки, Англіи и Франціи...

Таким образом первым и основным «исправленіем», которое Сталин вносил в тихо-океанскую часть ленинскаго стратегическаго плана «міровой революціи» было установленіе принципіально новаго критерія при опредѣленіи силы, которая должна играть ведущую роль на данном театрѣ дѣйствій: вмѣсто демократических слоев тѣх колоніальных и полу-колоніальных стран, которые во имя своих интересов готовят или проводят національно-освободительныя революціи, как это было при Ленинѣ, Сталин начинает оріентироваться на опредѣленно имперіалистическія группировки опредѣленно имперіалистических стран, которыя считали себя обдѣленными в дни версальскаго подведенія итогов первой міровой войны. Конечно, это ни в коем случаѣ не исключало ни возможности выступать под наиболѣе крайними національно-освободительными лозунгами (японскіе пан-азійцы ими тоже пользовались), ни стремленія использовать наиболѣе непримиримыя національно-освободительныя движенія... Как легко понять, это «исправленіе» было неизбѣжным результатом того самого измѣненія отношенія к самоцѣнности движенія демократических слоев населенія, которое привело Сталина к общему перенесенію центра вниманія на войну.

6.

Исторія «сталинскаго періода» Коминтерна показывает, что мысли, высказанныя Сталиным в его бесѣдѣ с Фусе, отнюдь не были случайной обмолвкой, а выражали дѣйствительное существо взглядов Сталина. Мы, правда, нигдѣ не находим таких же прямых заявленій, как тѣ, которыя Сталин сдѣлал в этой бесѣдѣ. Но за то мы находим, с одной стороны, заявленія, комментирующія и дополняющія бесѣду с Фусе, и, с другой, цѣлый ряд конкретных мѣропріятій, смысл которых становится понятным только в свѣтѣ цитированных заявленій.

С первой точки зрѣнія особенно интересен доклад Мануильскаго: «Тихо-океанскія противорѣчія и Китай», сдѣланный на VII пленумѣ Исп. Ком. Коминтерна (ноябрь 1926 г.*).

*) В основном этот доклад был направлен против Бухарина, который выступал на пленумѣ с основным докладом о международном положеніи. Карьера, которую М. сдѣлал послѣ «снятія с

Свой анализ Тихо-Океанской обстановки Мануильскій начинает с опредѣленія основной ошибки, которая, — по его мнѣнію, — была обычна для трактовки Коминтерном проблемы китайской революціи:

> «Китайскую революцію, — устанавливает он, — мы разсматривали до сих пор с точки зрѣнія в н у т р е н н и х перспектив ея развитія; мы недостаточно учитываем значеніе ея, как фактора, революціонизирующаго тихо-океанскія отношенія» (стр. 422).

М. приглашает, наоборот, отношенія к внутренним процессам развитія китайской революціи устанавливать, исходя прежде всего из оцѣнки вліянія этих процессов на общее развитіе тихо-океанских противорѣчій.

Изученіе этих послѣдних приводит М. к слѣдующим основным выводам:

В той борьбѣ имперіалистических сил, которая развертывается на Тихом Океанѣ, «об'ективно наступательную роль играют Сѣв.-Амер. Соед. Штаты, об'ективно оборонительную — Японія и Великобританія». Это связано с общим характером «американскаго имперіализма»:

> «Американскій имперіализм — самый опасный для трудящихся масс всего міра. Это — имперіализм, связанный с борьбою за міровую гегемонію. Ему в будущей міровой войнѣ, — если судьбы человѣчества не будут измѣнены пролетарской революціей до т о г о времени, — будет принадлежать главенствующая роль» (стр. 424).

поста» Бухарина (М. занял мѣсто последняго в Коминтернѣ), свидѣтельствует, что линія, которую он вел в своей борьбѣ с Бухариным, была одобрена Сталиным. Тѣ же взгляды М. развивал и позднѣе (конечно, с дополненіями и поправками, обусловленными измѣненіями обстановки), — в період, когда он стал офиціальным руководителем Коминтерна. Далѣе: основной подход к китайской проблемѣ который мы встрѣчаем у М., полностью совпадает с основным подходом тогдашних статей и рѣчей Сталина (см., напр. рѣчь Сталина 30 ноября 1926 г., в китайской комиссіи того же пленума Исп. Ком., — «Вопросы китайской революціи», М., стр. 42-51. 1928 г.). Все это позволяет высказыванія М. в 1926 г. брать в качествѣ комментаріев к позиціи Сталина.

Америка систематически готовит войну против Японіи. Ей удалось вбить клин между послѣдней и Великобританіей, которая раньше была союзницей Японіи. Вашингтонская конференція, которую «пацифистскіе болтуны» об'явили началом новой «мирной эры», в дѣйствительности «не только не устранила опасность войны» между Америкой и Японіей, но, наоборот, «сдѣлала ее еще бо. лѣе возможной». Именно эта подготовка к войнѣ против Японіи опредѣляет позицію Америки и в отношеніи Китая:

> «Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы в Вост. Азіи создалось болѣе или менѣе сильное государство, могущее оспаривать господство среди азіатских народов на Дальнем Востокѣ у Японіи. Это государство должно быть достаточно сильно, чтобы угрожать Японіи с тыла, но в то же время оно должно быть настолько слабо, чтобы плыть в фарватерѣ американскаго имперіализма» (429).

Под этим угломъ Америка смотрит и на внутреннюю борьбу в Китаѣ. Она сочувствует опредѣленно капиталистическим групировкам, — но

> «на худой конец Соед. Штаты готовы даже примириться с побѣдой кантонскаго правительства, ибо практическіе янки чисто по-дѣлечески оцѣнивают перспективы китайской революціи. Когда кончится вооруженная борьба, произойдет об'единеніе Китая, и он вступит в полосу экономическаго строительства... Американскіе имперіалисты считают, что тогда именно придет их подлинный час. Рабоче-крестьянскій Китай вынужден будет силой обстоятельств ввести у себя «американскій НЭП». И Китай удастся взять голыми руками. Но, укрѣпившись в Китаѣ, американскій имперіализм легче сможет сломить господство Японіи и ея претензіи на господство на дальне-восточном побережьи Тихаго океана. Только при этом экономическом закабаленіи Китай может стать плацдармом для Соед. Штатов в войнѣ против Японіи» (429).

Именно эти соображенія заставляют «американских имперіалистов» выступать теперь в Китаѣ «в бѣлых перчатках»: вести культурно-просвѣтительную работу, привлекать на

свою сторону учащуюся молодежь и т. д. Тѣм болѣе Америка опасна для китайской революціи:

> «Американскій имперіализм — самый страшный, самый хитрый, самый сильный врагъ трудящихся масс Китая. С ним была бы связана та «буржуазная демократія», которая пришла бы в итогѣ національной революціи, если бы эта революція пошла по буржуазному пути» (430).

Но «американскіе имперіалисты просчитаются», так как китайская революція пойдет по иному пути:

> «То смутное, пан-азіатское движеніе, которое до сих пор пыталась взять в свои руки Японія, придав ему узко расовый характер, сдѣлав его инструментом своего имперіализма, при побѣдѣ рабоче-крестьянскаго пути китайской революціи измѣнит неизбѣжно свой облик. Оно превратится в величайшее движеніе угнетенных міровым имперіализмом азіатских стран за свое освобожденіе от имперіалистическаго ига... Освобожденный Китай станет центром притяженія всѣх народов желтой расы, населяющих Филиппины, Индонезію и многочисленные острова Тихаго океана. Китай будет великой тихо-океанской державой, несущей угрозу капиталистическому міру трех материков. Его пути неизбѣжно столкнутся с путями американскаго имперіализма, ибо перед ним еще болѣе остро, чѣм перед Японіей, стоит вопрос о разселеніи своего огромнаго населенія на Тихом океанѣ» (430).

Сопоставленіе этого доклада Мануильскаго с заявленіями Сталина позволяет не только составить общее представленіе о стратегической концепціи Сталина для «тихо-океанскаго пространства» в его цѣлом; не только помогает выяснить основы его политики в китайской революціи, — но и вплотную подводит нас к самому существу движущих мотивов внѣшней политики Сталина вообще.

Троцкій, который тогда и позднѣе много писал о китайской политикѣ Сталина, нашел в ней массу противорѣчій, колебаній, измѣн. Если брать его замѣчанія порознь, Троцкій часто кажется правым. Но он не замѣтил основного, что превращает наиболѣе важныя из этих противорѣчій в противорѣчія кажущіяся и вносит элемент внутренняго единства в

китайскую политику Сталина, — при всѣх ея видимых зигзагах. Замѣчу в скобках: Троцкій и не мог замѣтить это основное, так как он мыслил совсѣм в иной плоскости, даже тогда, когда сам стоял во главѣ Красной Арміи*).

7.

Для Сталина китайская революція никогда не была «вещью в себѣ», - - чѣм-то, имѣющим цѣнность по тѣм результатам, которые она несет для китайскаго народа. Для него она всегда была только с р е д с т в о м, ведущим к цѣли, — а цѣлью было созданіе на берегах Тихаго океана мощной силы, которая могла бы «нести угрозу капиталистическому міру трех материков». Именно под этим углом он расцѣнивал и китайскую революцію в ея цѣлом, и отдѣльные этапы ея развитія, и отдѣльныя силы, которыя оказывали на нее свое воздѣйствіе. «Кантонское правительство, — стоит в резолюціи того самаго пленума Исп. Ком. Коминтерна, на котором дѣлал свой доклад Мануильскій, — является революціонным прежде всего благодаря своему анти-имперіалистическому характеру»*).

В интересах именно этой основной задачи Сталин был готов на весьма далеко идущіе компромиссы с самыми разнообразными группами, дѣйствовавшими в Китаѣ. Но очень скоро выяснилось, что контр-агентов для т а к о г о союза в Китаѣ меньше, чѣм мало. Китай стоял перед проблемой національнаго освобожденія и потому выдвигал программу уничтоженія неравных договоров, возстановленія суверенной власти китайскаго правительства над всѣми частями китайской территоріи, об'единенія всѣх частей этой послѣдней в единое государственное цѣлое и т. д. в области политики внѣшней, — и устраненія пережитков феодализма, ликвидаціи сепаратистких групп «милитаристов» и т. д. стоявших на пути хозяйственаго развитія страны, в области отношеній внутренних. В ея основѣ внѣшняя политика китайской революціи, — всѣх групп, игравших ведущую роль в послѣдней, — была

*) См. его спор с Фрунзе по вопросу об «единой военной доктринѣ». Л. Троцкій: «Как вооружалась революція», т. 3, и М. Фрунзе: «Собраніе сочиненій» под ред. А. Бубнова. т. 1.

*) Из цит. выше статьи Куусинена мы знаем, что эта резолюція была первым показателем перемѣн в позиціи Коминтерна по китайскому вопросу, произведенных под прямым воздѣйствіем Сталина.

чисто оборонительной. Элементов внѣшней агрессіи в настреніях китайскаго народа не имѣлось, — а тѣм болѣе элементов агрессіи, ставящей своей задачей разрушеніе «капиталистическаго міра трех материков».

Это был результат не только своеобразія развитія многовѣковой національной культуры Китая: того же требовали и насущнѣйшія потребности всѣх тѣх соціальных групп страны, которыя играли активную роль в ея производственном процессѣ. Построенный на частно-хозяйственных отношеніях, этот послѣдній для своего развитія нуждался в свободѣ хозяйственнаго соревнованія и толкал страну на путь «буржуазной демократіи», а эта послѣдняя вынуждала считаться с интересами и настроеніями широких слоев народных масс, которые жаждали мира и возможности спокойнаго развитія. Именно поэтому революціонный Китай охотно шел на политику сотрудничества со всѣми тѣми странами, которыя были готовы поставить себя на равную с ними ногу и считаться с потребностями его хозяйственнаго и политическаго развитія.

Такова была взаимосвязанность реально существовавших в Китаѣ политики и экономики: интересы частно-хозяйственных, — в том числѣ и капиталистических, — отношеній толкали на путь «буржуазной демократіи», а послѣдняя приводила к политикѣ мира.

Внѣшне-политически активным Китай дѣлала только неуступчивость тѣх держав, которыя стремились и в новой обстановкѣ, при наличіи проснувшагося національнаго самосознанія 450-милліонной страны, продолжать свою захватническую политику, сохранять в силѣ старые «неравные договоры», экстерриторіальныя «концессіи» и т. д. Наоборот: всякая уступчивость в этих вопросах, даже всякій признак серьезнаго желанія итти на встрѣчу національно-освободительным стремленіям китайскаго народа, вызывали в послѣднем встрѣчную готовность итти на соглашенія, встрѣчныя дружественныя настроенія.. В конечном итогѣ, вся огромная симпатія тѣх лѣт (1923-27г.г.) к Сов. Россіи на том и была основана, что Россія первой порвала всѣ неравные договоры, первой провозгласила полное равенство в отношеніях с Китаем.

Соед. Штаты Сѣв. Америки были той страной, которая среди «капиталистических» держав больше других обнаруживала готовность итти на встрѣчу настроеніям китайской революціи. В силу тѣх особенностей своей экономики, которыя,

как указано выше, отмѣчал и Ленин, она не нуждалась в «неравных договорах» и была готова всѣ отношенія с Китаем строить на базѣ «свободнаго соревнованія». Именно поэтому она пользовалась широкими симпатіями в тѣх слоях китайскаго народа, которые во имя своих собственных интересов стремились выйти на путь «буржуазной демократіи». Но именно это и дѣлало ее в глазах Сталина «самым страшным, самым хитрым» врагом китайской революціи: соглашеніе Китая с Америкой, а затѣм, при помощи послѣдней, с остальными ведущими странами «капиталистическаго міра», устраняло основныя причины конфликтов между этими группами держав, переводило их отношенія на путь мирнаго, эволюціоннаго развитія.

Непримиримая ожесточенная борьба против Америки становилась необходимой с точки зрѣнія той самой, основной задачи, которая опредѣляла весь подход Сталина к китайской революціи. Но логика вещей в подобной обстановкѣ, борьбу против соглашенія Китая с Америкой превращала в борьбу против всѣх тѣх слоев китайскаго народа, которые были заинтересованы в «буржуазной демократіи», и свое будущее строили на базѣ частно-хозяйственных отношеній, т.е. в конечном итогѣ против самих этих частно-хозяйственных отношеній.

Таким образом выяснялось, что осуществить ту задачу, которая для Сталина была основной, китайская революція сможет только в том случаѣ, если во главѣ ея будут стоять элементы, отказывающіеся считаться с нормальными потребностями развитія страны, — готовые во имя интересов внѣшне-политической агрессіи методами насилія принудить страну итти по иному пути развитія, - не по частно-хозяйственному.

Теоретическое рѣшеніе этой проблемы дала теорія т. наз. «не-капиталистическаго пути развитія отсталых народов», которая доказывала возможность «перерастанія буржуазно-демократических революцій» таких народов непосредственно в революціи соціалистическія, — минуя капиталистическую фазу развитія. Авторы, обосновавшіе эту теорію, устанавливали свою «взаимосвязанность» экономики с внѣ-экономическим насиліем:

> «Заостряя свою борьбу против имперіализма, колоніальная революція уже тѣм самым смыкается с революціей пролетаріата, становясь частью міровой соціа-

листической революціи и через это в первую очередь обрѣтая возможность соціалистическаго переростанія и в дальнѣйшем не-капиталистическаго пути развитія*).

В примѣненіи к Китаю сам Сталин (в комиссіи того же пленума Исп. Ком. Коминтерна, на котором дѣлал доклад Мануильскій) нѣсколько болѣе опредѣленно обозначил тѣ силы, которыя обезпечивают возможность такого «переростанія»: это были, с одной стороны, слабость китайской національной буржуазіи и, с другой, возможная поддержка со стороны Сов. Россіи*).

Внутреннія силы, на которыя могла опереться подобная программа, в Китаѣ были ничтожны. Численность промышленнаго пролетаріата в Китаѣ в 1925 г., по подсчетам вост. отдѣла Коминтерна, была равна 2,7 мил. чел., — при населеніи в 440 мил., т. е. немногим больше половины процента. При чем, конечно, отнюдь не доказано, что всѣ китайскіе рабочіе поддерживали эту программу. С другими соціальными группами дѣло обстояло, конечно, еще хуже. Но Сталин, при его общем отношеніи к массовым движеніям, основную свою опору искал совсѣм не в них. В его выступленіях тѣх лѣт часто мелькают замѣчанія, которыя позволяют совершенно точно установить, в каком именно направленіи шли его поиски:

> «В Китаѣ вооруженная революція борется против вооруженной контр-революціи. В этом одна из особенностей и одно из преимуществ китайской революціи» («Вопросы китайской революціи», 46).

Необходимо напомнить, что в Китаѣ в теченіи многих десятилѣтій шла гражданская война, в результатѣ чего в в странѣ создалась огромная масса солдат-наемников, служивших в арміях разных генералов и губернаторов, и готовых

*) М. Иоэльсон и Г. Кара-Мурза: «Колоніальная проблема», — в сборникѣ «Общій кризис капитализма» под ред. Е. Варга и Л. Мендельсона, изд. Института міроваго хозяйства и міровой политики Комакадеміи. 1933 г., т. 1, стр. 206. — Этот сборник составлен по порученію ЦК ВКП и является попыткой дать офиціальную версію научнаго обоснованія теорій, которыя положены в основу дѣятельности Коминтерна за період 1928-33 г.г.

*) См. Сталин: «Об оппозиціи», стр. 429 и «Вопросы китайской революціи», 42-43.

за деньги участвовать в любых войнах. Численность такого рода армій англійскіе источники в 1925 году опредѣляли в 1,8 милл. человѣк, — т. е. в двѣ трети той цифры, которую Коминтерн давал для численности пролетаріата. Позднѣе, когда сложилась революціонная армія Кантона, цифра эта еще больше выросла, — а роль этого слоя профессіоналов-солдат в общей жизни страны всегда была болѣе значительной, чѣм его арифметическая значимость. Именно на этой почвѣ в коммунистических кругах появились попытки своего рода теоретическаго осознанія этой особенности с общими выводами о роли армій в революціях отсталых стран*). Интересовали ли Сталина лично эти теоріи, прямых указаній не имѣется, но что он на практикѣ поступал именно так, как должен был бы поступать, если б эти теоріи были его теоріями, — за это говорит вся его китайская политика. Он несомнѣнно считал, что именно арміи могут стать силой, которая увлечется задачей борьбы против «капиталистическаго міра трех материков» и подчинит нуждам этой войны всю экономику страны, методами военной диктатуры направив ее на путь «некапиталистическаго развитія».

В том, что «перерастаніе» в этом случаѣ будет весьма своеобразным, никого не останавливало. «Теоретики» этого періода уже доказали, что это «перерастаніе» будет длительным процессом и что в теченіи многих лѣт в странѣ должен господствовать «государственный капитализм»**), т. е. на дѣлѣ прямая диктатура военно-полицейскаго аппарата над экономикой страны.

Важно было только одно: поведет ли эта армія страну на борьбу против Америки и Англіи? Пока Сталин считал Чан-Кай-Шека способным на эту роль, он не останавливался ни перед чѣм: об'являл арміи послѣдняго «важнѣйшим фактором китайской революціи»; ввел его представителя в Коминтерн (правда, с совѣщательным голосом); послал ему свой

*) См. М. Рафес: «Китайская революція на переломѣ». Москва. 1927 г. (3 изд.), стр. 159 и сл. — В тѣ годы Рафес был одним из наиболѣе отвѣтственных представителей Коминтерна в Китаѣ и в полемикѣ тѣх лѣт его часто трактуют, как довѣренное лицо Сталина (см., напр., Л. Троцкій: «Сталин и китайская революція» в № 15-16 «Бюллетеня Оппозиціи»).

**) См., напр., Прагер: «О капиталистическом пути развитія отсталых народов» в №№ 5 и 6 «Пролет. Револ.» за 1930 г.

портрет с дружеской надписью; требовал от китайских коммунистов полнѣйшаго подчиненія командованію арміями и т. д. И только послѣ того, как выяснилась «измѣна» Чан-Кай-Шека, т. е. его сговор с Америкой и Англіей, фронт был круто повернут и было об'явлено о началѣ новаго періода китайской революціи, — періода совѣтскаго, когда возможна только чистая «диктатура пролетаріата» с самостоятельными «совѣтскими китайскими арміями», организованными в тылу Чан-Кай-Шека и наносящими послѣднему удары в спину, — в самые трудные для него моменты...

Б. Николаевскій

ЕЩЕ О ЧЕХОВѢ

Мнѣ приходилось уже дѣлиться отрывками своих воспоминаній о Чеховѣ; в печати в послѣдній раз в 1930 г. по случаю исполнившагося 25-лѣтія со дня его смерти. Сестра Чехова, Марія Павловна, писала мнѣ тогда: «воспоминанія о братѣ пишите обязательно; вы д о л ж н ы (подчеркнуто ею) это сдѣлать». Как единственный в сущности врач, наблюдавшій в послѣдніе 5-6 лѣт (а раньше вѣдь он вообще не лѣчился) теченіе его болѣзни, как человѣк, имѣвшій при этом возможность наблюдать многое, обычно от посторонняго глаза скрытое, я и сам чувствовал, что на мнѣ лежит долг разсказать об этой части моих воспоминаній, но тогда, в 1930 г., я по разным соображеніям считал неудобным подробно на этом останавливаться. В настоящее время я хочу это сдѣлать, изложить исторію его болѣзни и ея связь с событіями послѣдних лѣт его жизни. Позволю себѣ и здѣсь разсказать о началѣ нашего с ним знакомства, т. к. оно наложило извѣстный отпечаток и на наши дальнѣйшія отношенія.

В концѣ сентября 1898 г. я, спасаясь от гнилой сѣверной осени, пріѣхал на короткое время в Ялту, которой раньше не знал. Здѣсь я познакомился с д-ром С. Я. Елпатьевским, который только незадолго перед этим переселился окончательно из Н.-Новгорода в Ялту, строил себѣ, как говорил Чехов, «с аппетитом» дачу и был влюблен в южный берег Крыма. Он очень краснорѣчиво и настойчиво доказывал необходимость и мнѣ покинуть сѣвер и в подкрѣпленіе своих доводов сообщил, что вот и Чехов пріѣхал недавно и уже рѣшил перекочевать сюда. И вот как-то, когда мы проходили через городской сад, Елпатьевскій увидѣл на одной из скамеек Чехова, подошел к нему, познакомил нас, затѣм вскорѣ ушел и мы остались вдвоем. Разговорились и выяснилось, что мы в нѣкотором родѣ товарищи по несчастью. У Чехова, как извѣстно, туберкулез легких был, так сказать, оффиціально констатирован весной 1897 г. и слѣдующую осень и зиму он провел в Ниццѣ. Поздней весной того же 1897 г. заболѣл остро и я, продолжал работать, но осенью был в довольно скверном состояніи отвезен в Ментону. Значительно уже поправившись, я познакомился с наѣзжавшим в Ментону из Ниццы

вице-консулом Юрасовым, питавшим большую слабость к литературѣ и литераторам, необыкновенно сердечным и милым старичком; и вот он меня все уговаривал переѣхать из скучной Ментоны в Ниццу, гдѣ имѣется Pension russe «с настоящим русским самоваром и настоящей кулебякой», а главное в этом пансіонѣ проживает и необыкновенно интересный, веселый и прекрасный писатель А. П. Чехов. Бело это очень соблазнительно, но не укладывалось в намѣченный мною план лѣченія и занятій, и видѣть Чехова тогда мнѣ так и не пришлось. И вот теперь, оба опять спасаясь от сѣверной осени, мы встрѣтились. Выяснилось также, что у нас много общих пріятелей и друзей среди земских гл. обр. московских врачей. Случилось так, что на слѣдующій же день пріѣхал в отпуск один из них, извѣстный земскій врач И. И. Орлов, и как то вышло, что ничѣм не занятые стали мы втроем проводить значительную часть дня вмѣстѣ. Осень в тот год выдалась исключительная даже для Крыма. Чехов был в прекрасном настроеніи, в каком никогда потом я его уже не видѣл. Ему было 38 лѣт; он тогда имѣл еще довольно бодрый вид и, несмотря на то, что ходил нѣсколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намѣчавшіяся уже складки у глаз и углов рта, порой утомленный взгляд, и, главное, на наш врачебный глаз замѣтная одышка, особенно при небольших даже под'емах, обусловленная этой одышкой степенная мелленная походка и предательскій кашель, говорили о наличности недуга. Тщательно избѣгал говорить о послѣднем только сам больной. Он тогда очень много разсказывал о своем дѣтствѣ; вспоминал гимназическіе и студенческіе годы, жизнь в Таганрогѣ, особенно тепло говорил про покойнаго брата художника Николая. Разсказывал про начало своего писательства, и как тогда вначалѣ легко писалось: «бывало, пока стынешь на лѣстницѣ в купальнѣ, разсказец и напишешь, а потом по дорогѣ его и в почтовый ящик опустишь». Разсказы о встрѣчах с разными писателями, о жизни в его усадьбѣ Мелиховѣ и т. д. При этом воодушевлялся, лучистые глаза весело искрились, правый указательный палец безпрерывно расправлял правый ус и разсказ часто прерывался его характерным смѣхом. Время от времени дѣлалась пауза, чтобы сдѣлать 2-3 глотательных движенія для подавленія позывов на кашель, так как кашлять и при нас не полагалось.

Приняв рѣшеніе переселиться в Ялту окончательно, он приступил к постройкѣ дачи на пріобрѣтенном участкѣ. В

значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ Чехова придя в концѣ концов также к заключенію о необходимости покинуть сѣвер, я снял в Ялтѣ квартиру, и так как раньше конца года семья моя не могла переѣхать, то Чехов перебрался на время ко мнѣ.

С перваго же дня нашего знакомства я поддался его обаянію и крѣпко к нему привязался. Когда по пріѣздѣ в Торжок для ликвидаціи своих дѣл я разсказывал о нем моим товарищам и друзьям, то они, смѣясь, утверждали, что это у меня «курортное увлеченіе». Помню я и сам вначалѣ старался разобраться, не играет ли в этом увлеченіи роль нѣкоторый гипноз от близкаго общенія с писателем, популярность котораго тогда была уже велика и все возрастала, однако вскорѣ убѣдился, что обаяніе его личности основано было исключительно на рѣдких качествах души и оригинальнаго блестящаго ума. И в послѣдующіе 6 лѣт, до самой его смерти, находясь в постоянном близком общеніи с ним, я ни разу не имѣл повода усомниться в правильности этого заключенія.

Я имѣл возможность в разное время близко наблюдать отношеніе к Чехову многих тогдашних и уже извѣстных и только начинавших писателей. Я уже в другом мѣстѣ отмѣтил совершенно исключительное, я бы сказал, нѣжное отношеніе Л. Н. Толстого к А. П-чу, как ни к кому другому из писателей, притом не только, как к художнику, но и как к человѣку. Но и старый, хворый, сильно сдавшій и раздражительный Станюкович, с нескрываемым пренебреженіем и даже враждебностью относившійся к младшему поколѣнію писателей; и оригинальный, красочный Мамин-Сибиряк, тоже очень критически относившійся к нѣкоторым выдвинувшимся молодым «мелкопитающим міазмам»; и Короленко, и народник, врач, писатель и публицист, деликатный, но очень строгій и принципіальный в вопросах общественных и моральных Елпатьевскій; и только что из Н.-Новгорода в большой свѣт пустившійся и сразу вознесенный Горькій; и Бунин; и жизнерадостный Потапенко, и только что появившійся и жадно упивавшійся новой жизнью Куприн; и желѣзнодорожный инженер, очаровательныъ разсказчик и собесѣдник Гарин-Михайловскій, и Чириков, и Скиталец и Вересаев — всѣ эти столь различные по духовному облику и по политическим тяготѣніям люди поддавались обаянію личности Чехова и как то особенно почтительно и бережно держались по отношенію к нему. Конечно, тут играли роль и его уже всѣми признанный талант (хотя вѣдь и среди писателей профессіональная ревность явленіе

не рѣлкое) и в извѣстной степени и его болѣзнь, но прежде всего это была невольная дань его моральному облику человѣка необыкновенно добраго, тонкаго, чуткаго с грустью и незлобивым юмором, неотразимо к себѣ привлекавшаго. Доброта его, желаніе быть чѣм-нибудь полезным, помочь в мелочах и в крупном были совершенно исключительны. В годы нашего общенія Чехов был вообще, особенно с людьми мало знакомыми, мало разговорчив; замѣчалась какая-то особенная сдержанность в его манерѣ, какая-то настороженность. Но ко всѣм одолѣвавшим его посѣтителям относился он одинаково внимательно, и я часто поражался его выдержкѣ и терпѣнію. Он одинаково терпѣл и от незадачливаго сочинителя в лицѣ захолустнаго фельдшера, спеціально пріѣхавшаго посовѣтоваться с ним, так как «вы вѣдь нашего медицинскаго персонала», и от вновь назначеннáго начальника гл. тюремнаго управленія Саломона, посѣтившаго его для обмѣна мнѣніями по поводу предположенной им реформы Сахалинской каторги, просидѣвшаго полдня, но о каторгѣ только вскользь упомянувшаго, а с увлеченіем говорившаго о литературѣ, читавшаго наизусть стихи, в том числѣ и латинскіе из Энеиды. А у Чехова в это время была очень срочная работа. Ему приходилось много времени тратить на прочтеніе присылаемых рукописей; и к этому он относился чрезвычайно добросовѣстно и всегда отвѣчал авторам. Я не знал ни одного писателя, который бы так сердечно и доброжелательно относился к товарищам по перу, как Чехов, и искренне привѣтствовал появленіе всякаго новаго таланта, всякой новой талантливой, по его мнѣнію, вещи, и всегда спѣшил подѣлиться своим открытіем. Извѣстно, как он сразу высоко оцѣнил Горькаго, и еще до личнаго знакомства вступил с ним в переписку, хотя и отмѣтил, что это «залихватскій, несдержанный талант, что в нем нѣт граціи и что он нѣкоторых своих героев никогда в жизни не видал», но был увѣрен, что это пройдет, что он от этого отдѣлается. Извѣстно, как он уговаривал его писать пьесы, как давал ему практическія в этом отношеніи указанія и совѣты и какое участіе принимал в устройствѣ его пьес в Художественном Театрѣ.

Он любил дѣлиться впечатлѣніями от прочитаннаго. Опредѣленія его часто заканчивались мѣткой, образной характеристикой. Как то я застал его за чтеніем новаго разсказа Елпатьевскаго, к которому он вообще относился очень хорошо. «Ну что нравится Вам?» — «Хорошо, это вообще хорошо, что он пишет, тяжеленько и все таки хорошо. Знаете, как

тарантас: тряско и неудобно, а по нашим дорогам без него никак нельзя». Потом, помолчав немного, прибавил: «вот только жаль, что про любовь ему писать нельзя, а без любви писать разсказы трудно». И на мой вопросительный взгляд докончил: «жена про любовь не позволит» (конечно, не в женѣ тут было дѣло). И в литературных произведеніях, как и в жизни, он не выносил фальши и иногда говорил: «очень хорошо написано, только выдумано; не видѣл он этого никогда».

Только оставаясь в кругу близких, людей ему пріятных, и когда он бывал в хорошем настроеніи и в періоды лучшаго физическаго самочувствія, он выходил из своей замкнутости, вел длинныя оживленныя бесѣды на самыя разнообразныя темы, шутил, смѣялся своим особым Чеховским заразительным смѣхом. Но и тут всегда чувствовалось, что всѣх даже близких людей он держал на нѣкотором разстояніи от себя, за нѣкоторым барьером, куда никто не допускался. И в этом смыслѣ я согласен с И. А. Буниным, что «никогда ни с кѣм не был он дружен по настоящему». Поэтому, когда читаю о его особенной «крѣпкой и нѣжной» любви к кому-нибудь, то думаю, что это понимать нужно очень условно.

При всем его добродушіи были однако категоріи людей, которых он выносил с трудом; сюда прежде всего относились репортеры. Во время моей отлучки на сѣвер для ликвидаціи своих дѣл, я в московской газетѣ прочитал о тяжком заболѣваніи Чехова, очень встревожился, но, пріѣхав в Ялту, нашел его в прежнем состояніи. Он, негодуя, разсказал мнѣ слѣдующее. За недѣлю до моего отъѣзда, когда он еще жил у меня, как то раз рано утром, когда мы еще не вставали, раздался стук в дверь (прислуга куда-то ушла) и на наш вопрос выяснилось, что пришли двѣ дамы приглашать Чехова участвовать в благотворительном литературном вечерѣ. Он чтобы отвязаться в щелку двери об'яснил что должен отказаться из-за недавно бывшаго у него кровохарканья. «И вот», продолжал Чехов, «барыня разсказала знакомому, прибавив «частыя» кровохарканья; знакомый телеграфировал в одесскую газету, гдѣ прибавили кашель; Петербургскія «Новости» перепечатали телеграмму, прибавив лихорадку; московскія «Новости Дня» «мучительный кашель» и т. д., и вот представьте себѣ дома встревожились и вышло безобразіе. Говорил же я вам, что одесскіе репортеры ужасные люди». — «Но позвольте, причем же одесскіе репортеры в прибавках столичных газет?» — «Вы уж повѣрьте мнѣ, я их знаю, это

все одесскіе репортеры». «Одесскіе репортеры» имѣли, повидимому, в его устах особый символическій смысл.

Очень много писалось о равнодушіи Чехова к общественным вопросам, о его «холодной крови». Как-то, разсказав о прочитанной статьѣ Михайловскаго, гдѣ указывалось, что он Чехов, вступил в новый, третій період, он комически развел руками и прибавил: «да, то совсѣм не было періодов, а теперь вдруг три». Но даже и в этом третьем періодѣ, когда самые строгіе критики не находили уже, что «даром (понимать надо в общественном смыслѣ) пропадает такой талант», в эти послѣдніе годы его жизни приходилось иногда наблюдать в отношеніях к нему нѣкоторых лѣвых писателей и общественников какую-то, правда очень сдержанную, но все таки снисходительность. Если это было курьезно и тогда, то совсѣм непонятно через 25 лѣт послѣ его смерти в посвященной ему очень теплой статьѣ П. Б. Струве читать, как основное положеніе, что «міросозерцаніе Чехову не было дано». Я Чехова знал в его «третьем періодѣ», как человѣка с очень опредѣленным міросозерцаніем, но оно не родилось в этот третій період. Конечно, Чехов, по натурѣ своей совершенно не был активным борцом, он сам неоднократно это повторял, и я не могу себѣ никак представить его, напримѣр, активным членом какой-нибудь политической партіи. Он был для этого между прочим и слишком большим скептиком. Чехов и не принадлежал также к тѣм, которые уже с гимназической скамьи пріобщаются к общественным интересам. Этому не способствовала и среда, в которой он вырос и условія жизни. Дѣтскіе и юношескіе годы он провел в Таганрогѣ. Домашняя его обстановка была во многом тяжелая; отец заставлял сыновей, в том числѣ и Антона, пѣть на клиросѣ, замѣнять его в мелочной лавкѣ, и главное, бил и часто порол их, и этого послѣдняго А. П. никогда не мог забыть и простить. В концѣ концов отец разорился, семья переѣхала в Москву, а А. П. остался в Таганрогѣ репетитором у новаго владѣльца их дома. Когда по окончаніи гимназіи он пріѣхал в Москву и, благодаря Таганрогской стипендіи, поступил в университет, то застал семью в крайней бѣдности. И он и его брат, художник Николай своими грошевыми гонорарами в «Стрекозѣ», «Будильникѣ», «Зрителѣ» должны были ее содержать. В редакціях этих тогдашних юмористических журналов, гдѣ он проводил и все свое свободное от занятій время, менѣе всего занимались общественными вопросами. Но вот, будучи уже на послѣднем курсѣ, он проводит лѣтніе каникулы у брата

Ивана в Воскресенскѣ Звениг. уѣзда, гдѣ тот учительствует, соприкасается здѣсь впервые с незнакомой до того средой, преимущественно земской, и в частности земско-медицинской, и его общественные интересы и симпатіи получают совершенно опредѣленный уклон. Этими новыми настроеніями вызвана была несомнѣнно в значительной степени и его поѣздка в 1890 г. на Сахалин, по его опредѣленію, «мѣсто невыносимых страданій, гдѣ мы сгноили в тюрьмах милліоны людей». А в Мелиховскій період (Мелихово пріобрѣтено было в 1892 г.) он принимает дѣятельное участіе в мѣстной земской и общественной жизни. Ѣдет на голод в Ворон. и Нижегор. губерніи; с появленіем холеры в 1892 г. берет на себя завѣдываніе холерным участком. Завѣдует постройкой нѣскольких школ в Серпух. у. и одну из них, в Мелиховѣ, строит на свои собственныя средства. Состоит членом земскаго санитарнаго совѣта в своем уѣздѣ, попечителем 2 земских школ, а затѣм и гласным Земскаго Собранія; служит посредником между крестьянами и земством по страхованію скота; очень серьезно относится к принятой на себя обязанности помогать по наблюденію за народным образованіем в уѣздѣ. Устраивает у себя в усадьбѣ безплатный пріем больных крестьян, причем они по возможности и лѣкарствами снабжались, тоже, конечно, даром. Принимает на себя завѣдываніе участком во время народной переписи 1896 г. Нужно помнить, что все это относится к 90-м годам, когда земство было одним из немногих мѣст, гдѣ могла проявляться, да и то со всякими препятствіями, прогрессивная общественная работа. Извѣстно также, сколько вниманія, забот и труда он посвятил просвѣтительным учрежденіям своего Таганрога. О том, что Чехов во всѣх этих «малых дѣлах», значеніе которых для того времени было неизмѣримо больше, чѣм это может казаться теперь, держал себя безукоризненно с точки зрѣнія общественной, м. б., лучшим докаательством может служить отношеніе к нему передовых московских земцев и в особенности московских земских врачей, организаціи в общественных вопросах очень строгой. А они окружали его необыкновенным уваженіем и любовью и связь его с ними никогда не прерывалась. В 1902 г. в Москвѣ собрался очередной Пироговскій с'ѣзд. В Татьянин день Худож. Театр устроил для участников с'ѣзда торжественный спектакль «Дяди Вани» и с'ѣзд привѣтствовал Чехова трогательной товарищеской телеграммой; отдѣльно послали телеграмму земскіе врачи. Театру кромѣ того поднесен был портрет Чехова.

Много ему попадало за Суворина и «Нов. Время». Он навсегда запомнил, как Суворин вмѣстѣ с Григоровичем, Плещеевым и Полонским помогли ему выбраться из «Осколок» и «Будильника» и сохранил к Суворину благодарность, как за это, так и за его личныя неизмѣнно до конца дружескія отношенія. И, однако, при всем этом он, который когда-то утверждал, что «будет печатать там, куда занесет вѣтер и свобода», уже с начала 90-х годов перестает печататься в «Нов. Времени» а послѣ процесса Дрейфуса, возмущенный отвратительным поведеніем «Новаго Времени», он рѣзко и навсегда порвал с редакціей и не мог потом хладнокровно говорить о ней. Он стал, как извѣстно, своим человѣком в «Русской Мысли» и «Русских Вѣдомостях». Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и нѣсколько охладѣвшія, отношенія до конца. Об'ясняется это в значительной степени тѣм, что в своей интимной перепискѣ с Чеховым, Суворин бывал часто не Сувориным «Новаго Времени». И о студенческих безпорядках и даже о процессѣ Дрейфуса и о многих других тогдашних явленіях русской жизни он в своих письмах писал так, что когда Чехов передавал их содержаніе или изрѣдка читал нѣкоторые отрывки из этих писем, то не вѣрилось, что автором был Суворин. Вообще обнародованіе писем этих представляло бы громандый общественный интерес. К сожалѣнію, этого никогда не случится. Вскорѣ послѣ смерти Чехова я раз срочно был вызван Маріей Павловной, и она разсказала мнѣ, что утром прямо с парохода явился к ней Суворин, спеціально для этого пріѣхавшій из Феодосіи, и долго убѣждал ее вернуть ему его переписку с А. П-чом. Она этим уговорам поддалась, о чем потом очень жалѣла, а Суворин письма, конечно, уничтожил. Между прочим Суворин аккуратно снабжал Чехова нелегальным «Освобожденіем».

В Ялтинскій період интерес Чехова к общественным вопросам был велик и, я сказал бы, все возрастал. Кажется не было ни одного относящагося сюда явленія, на котором он не остановился бы в наших бесѣдах, и «міросозерцаніе» его было часто много лѣвѣе средне прогрессивнаго. При этом я замѣтил, как много своих мыслей он вкладывал в уста нѣкоторых своих героев, а впослѣдствіи из обнародованной его переписки увидал, что развитіе его міросозерцанія и «выдавливаніе из себя по каплям раба» шло в неизмѣнном направленіи задолго до «третьяго періода». В дневникѣ Чехова мы находим запись по поводу банкета в годовщину освобожденія крестьян, что «скучно и нелѣпо обѣдать, пить шампанское,

говорить рѣчи на тему о народном самосознаніи, о народной совѣсти, свободѣ и т. п. в то время, когда кругом стола стоят рабы во фраках, тѣ же крѣпостные, а на улицах на морозѣ ждут кучера — это значит лгать Святому Духу»; и этих же тем, почти в тѣх же выраженіях он неоднократно касался и в разговорах. И. А. Бунин приводит слова А. П-ча: «я терпѣть не могу русских студентов». Это были, конечно, слова, брошенныя в пылу полушуточнаго разговора. Я помню его горячій спор с академиком Н. П. Кондаковым, который по поводу петербургских студенческих безпорядков осуждал и власть и профессуру, но очень бранил и студентов, и как Чехов защищал послѣдних; а когда Кондаков ушел, замѣтил: «вот оттого и бунтуют молодые, что такіе старики». Он особенно горячо всегда хлопотал о помощи учащимся, и сам оказывал им посильную матеріальную поддержку. Он только и тут не допускал фальши и не закрывал глаз на то, что и в их средѣ попадаются всякіе, и что случается, что радикальный студент потом дѣлает в качествѣ прокурора карьеру на политических процессах. . Между прочим того же Кондакова он однажды долго и серьезно убѣждал провести в академики Михайловскаго. Когда в 1902 были отмѣнены выборы Горькаго в Академію, он, как извѣстно, послал свой мотивированный отказ от этого почетнаго званія. А чтобы оцѣнить этот поступок нужно между прочим вспомнить, с каким отвращеніем он относился ко всякаго рода публичным выступленіям и демонстраціям.

Чехов говорил, как и писал, необыкновенно просто, и не выносил пышных, надуманных, искусственных фраз. Как то сидѣла у него передовая дама, говорила долго обо всяких высоких матеріях. Он молча слушал ее, а когда она вышла расхохотался и опредѣлил: «ну и шарманка», и так шарманко йона и осталась. И с каким юмором он разсказывал, как одна наша общая знакомая, тогд убѣжденная с-дечка, доказывала ему, что послѣ «Мужиков» и «Оврага» и участія его в журналѣ «Жизнь» он вѣдь уж стал настоящим марксистом, но только еще сам этого не осознал.

Во всей біографіи Чехова нельзя найти и намека на какой-нибудь антиобщественный или некорректный поступок. И когда в послѣдній год своей жизни он не раз убѣжденно кончал разговор словами: «вот увидите, скоро у нас будет конституція», то это была не фраза, а выраженіе искренняго убѣжденія.

Чехова отличало, я бы сказал, благоговѣйное отношеніе

к наукѣ. О Горьком и других вышедших из народа писателях-самоучках (их называли «подмаксимками») он говорил: «вот бы им только поучиться, а то без образованія нельзя». Он вѣрил, что безостановочный прогрес науки облагородит человѣчество. И тут он, глубокій скептик во всем остальном, становился энтузіастом.

Антон Павлович был, как извѣстно, врачем и очень любил медицину. Студентом и первое время по окончаніи и не собирался бросать ее. Еще во второй половинѣ 80-х годов он писал, что «медицина моя законная жена, а литература любовница», или «я врач и по уши втянулся в свою медицину». По окончаніи курса он замѣнял одно время врача Звенигородской земской больницы и уѣзднаго врача. И в Москвѣ занимался частной практикой. Повидимому, собирался писать и какую-то спеціальную работу. Надо думать, он и на свой Сахалин смотрѣл, как на медико-статистическую работу. Готовясь к поѣздкѣ, очень серьезно, тщательно сам разработал регистраціонную карточку, и там, на Сахалинѣ, продѣлал громадную статистическую работу, в теченіи 3-х мѣсяцев обошел всю каторгу с сѣвера на юг, лично опросил всѣх каторжан и заполнил 10.000 индивидуальных карточек. В Мелиховѣ до перехода своего на положеніе больного, т. е. в теченіи 5-6 лѣт, он принимал до 1000 обращавшихся к нему больных крестьян в год. Гдѣ-то я даже читал, что Чехов выражал желаніе, уже послѣ поѣздки на Сахалин, «взять» приват-доцентуру по внутренним болѣзням; но это, конечно, вздор, как и заявленіе, что в его книжном шкапу в Ялтѣ был значительный отдѣл медицинских книг. Там было нѣсколько старых учебников и лекціи Захарьина, и никогда я не видѣл и не слышал от него, чтобы он в эти книги заглядывал. С 97-го года он от медицины совсѣм отошел. Правда, из редакціи «Русской Мысли» ему аккуратно пересылали еженедѣльник «Русскій врач», но он в нем просматривал только хронику и иногда мелкія «замѣтки из практики» и любил поражать вычитанными «новыми средствами». И на письменном столѣ на опредѣленном мѣстѣ, как впрочем все на этом столѣ, всегда лежали молоточек, трубочка и медицинскій календарь Риккера за текущій год. Он принимал всегда дѣятельное консультативное участіе в лѣченіи своих домашних, любил давать совѣты пріятелям. Но обычно это оканчивалось указаніем, что надо серьезно лѣчиться и обратиться к врачу.. Любил писать рецепты. О своей работѣ в земской средѣ он всегда вспоминал и разсказывал с теплым чувством. Связь с ней он

не порывал до конца жизни. Он не раз повторял, что медицина не только начительно продвинула область его наблюденій ,обогатила знаніем, но и считал, что в частности она имѣла серьезное вліяніе и на его литературную дѣятельность. Естественно, что он хорошо знал врачебную среду и — ни у одного автора не было выведено столько типов врачей, как у Чехова. Тема о врачах в произведеніях Чехова может служить темой интереснаго изслѣдованія.

Тѣм обстоятельством, что Чехов был врач об'ясняются и нѣкоторыя особенности исторіи его болѣзни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в двѣ возможныя крайности: или они переоцѣнивают свои болѣзненныя ощущенія и симптомы и относят к себѣ все наиболѣе неблагопріятное, что знают из книг или практики про свою болѣзнь, или, наоборот ,недооцѣнивают того, что есть, отмахиваются от самых, казалось бы, убѣдительным симптомов, опять таки стараясь обосновать свое отношеніе спеціально медициискими доводами и соображеніями. Много пісалось и о спеціальной психикѣ туберкулезных. Но и среди послѣдних можно наблюдать такіе же разнообразные характеры и типы, как и среди страдающих другими болѣзнями. Только здѣсь под вліяніем нѣкоторых особенностей теченія болѣзни, ея часто медленнаго развитія и длительности и созданных этим особенностями особых условій, указанное выше ненормальное отношеніе к болѣзни сказывается особенно рѣзко. Чехов является ярким примѣром длительнаго и упорнаго игнорированія, казалось бы ясных и безспорных явленій.

Я уже указывал, что в первое время нашего знакомства о его болѣзни разговора не было, и осторожныя мои и д-ра Орлова попытки коснуться этого вопроса успѣха не имѣли; и во время нашей короткой совмѣстной жизни он нерѣдко обращал вниманіе на мой кашель и серьезно совѣтовал мнѣ серьезно заняться своим здоровьем, но тщательно избѣгал касаться своего недуга. 27-го ноября, вскорѣ послѣ моего возвращенія из краткой отлучки на сѣвер, мнѣ рано утром подали доставленную от Чехова в запечатанном конвертѣ записку: cher monsieur, auriez vous l'obligeance de venir chez moi. Je garde le lit. Votre dévoué A. Tsch." и послѣ этих изысканных французских строк по русски: «захватите с собой, товарищ, стетоскопчик и ларингоскопчик». Ларингоскопчика я не захватил, поняв, что это лишнее, но поспѣшил к нему и застал его в постели с порядочным кровохарканьем. И с этого дня он становится уже моим пацієнтом. Когда через

нѣсколько дней, послѣ остановки кровохарканья, я мог детально его изслѣдовать, то был поражен найденным. Я нашел распространенное пораженіе обоих легких, особенно праваго, с явленіями распада легочнюй ткани, слѣды плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мѣшавшій поддерживать должное питаніе. Приходилось читать, что Чехов заболѣл, блуждая осенью 1896 г. цѣлую ночь по Петербургу, послѣ провала «Чайки». Это одна из легенд. При этом нашем первом медицинском разговорѣ он начал лѣтоисчисленіе с года поѣздки на Сахалин (1890), когда у него еще по дорогѣ туда случилось кровохарканье, но впослѣдствіи выяснилось, что оно появлялось уже в 1884 г. и потом нерѣдко, иногда по нѣсколько раз в год повторялось. 15-ти лѣт от роду он перенес какое-то острое длительное лихорадочное заболѣваніе, послѣ того как выкупался в ледяной водѣ, и провалялся тогда нѣкоторое время в еврейской корчмѣ в степи (впослѣдствіи им описанной) и затѣм еще довольно долго и дома. И в студенческіе годы, как я узнал потом от товарища его, студентом проживавшаго у Чеховых, он много кашлял, нерѣдко лихорадил, об'ясняя это простудой, никогда не лѣчился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего нибудь там не нашли». Суворин, имѣвшій возможность близко наблюдать Чехова во время их совмѣстных путешествій и частых встрѣч, настаивал на необходимости лѣчиться и Чехов в своих письмах к нему, хотя и подтверждает наличность кашля и кровохарканій, и признает, что послѣднія пугают его, так как «в крови, текущей изо рта есть что-то зловѣщее, как в заревѣ», но тут же наставительно, как врач, поучает, что «чахотка или иное серьезное легочное страданіе узнается только по совокупности признаков, а у меня то именно нѣт этой совокупности». И в другом письмѣ: «если бы кровотеченіе, какое у меня случилось в окружном судѣ (в 1885 г. на знаменитом процессѣ скопинскаго банка), было симптомом чахотки, то я давно уже былбы на том свѣтѣ; вот моя логика». В 1889 г. умер от туберкулеза брат его Николай, художник; но и это не подѣйствовало и в 1891 г. он пишет: «я продолжаю тупѣть, чахнуть и кашлять. Впрочем, все это от Бога. Лѣченіе и забота о своем физическом существованіи внушает мнѣ что-то близкое к отвращенію. Лѣчиться не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя какому нибудь врачу не позволю». И не позволял себя выслушивать и не обращался к врачам до весны 1897 г. (почти 15 лѣт!), когда хлынувшая за обѣдом с Сувориным в «Славянском Ба-

зарѣ» обильная кровь и вмѣшательство Суворина и врача заставили его лечь в клинику проф. Остроумова, гдѣ был діагносцирован активный процесс в обоих легких. На этот раз Чехов понял и уже на слѣдующій день из клиники писал: «для успокоенія больных им говорят, что кашель желудочный, а кровь геморроидальная. У меня кровь идет из праваго легкаго, как у брата и другой родственницы, тоже умершей от чахотки». Затѣм лѣто в деревнѣ, осень и зима на Ривьерѣ, гдѣ он живет, но не лѣчится, и уѣхал оттуда в Парiж уже в серединѣ марта, в самое неподходящее время, когда многіе как раз спасаются на Ривьеру. Сестра и брат его отмѣчают, что по возвращеніи его из за-границы лѣтом в Мелиховѣ по обыкновенію было много гостей, друзей, но он уже не шутил, был задумчив и стал мало разговаривать. И вот теперь в Ялтѣ ему опять пришлось обратиться к врачу. Однако, мои тогдашнія старанія убѣдить Чехова в необходимости приняться серьезно за лѣченіе сначала опять оставались без особаго результата. Он упорно повторял, что лѣчиться, заботиться о здоровьѣ внушает ему отвращеніе. И ничто не должно было напоминать о болѣзни и никто не должен был ее замѣчать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, и если уж приходилось кашлять, то мокрота по возможности незамѣтно отплевывалась в маленькій заранѣе приготовленный бумажный фунтик, тут же спрятанный гдѣ-нибудь за книгами и отправляемый потом в камин. И не только с посторонними не любил он говорить о своей болѣзни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался и на вопрос: «как себя чувствуешь? отвѣчал: «сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель».

Так как, пользуясь современной терминологіей, мой блицкриг не удался, то я повел медленное наступленіе, и постепенно, с трудом, но добился относительных успѣхов, так что к 1901 году он перешел уже на положеніе настоящаго пацієнта и сам иногда уже предлагал: «давайте, послушаемтесь». Трудно было ему привыкнуть к Ялтѣ, к «теплой Сибири», как он ее называл, или послѣ процесса Дрейфуса еще «Чертовым Островом». Трудно ему было примириться с оторванностью от привычной литературной среды, привычной обстановки, скучно «без культуры, без московскаго звона», послѣднее особенно. Его привязанность к Москвѣ была исключительной и иногда выражалась в курьезных формах. Так он аккуратно выписывал из Москвы почтовую бумагу, конверты, W-бу-

магу, калоши, колбасу, утверждая, что только в Москвѣ можно найти такія, как ему требуются, хотя само собой все это можно было получить и в ялтинских магазинах того же качества и даже тѣх же фирм. Но переубѣдить его в этом не было никакой возможности.

В Ялтѣ он себя в первое время чувствовал, как «заштатный поп». Но в извѣстной степени так себя чувствовали в первое время многіе из вынужденных обитателей Ялты, тоже вырванные из привычной среды. Большинство из них однако через болѣе или менѣе короткое время приспособлялись к новым условіям жизни, вживались. Привык бы и Чехов. Да он и писал впослѣдствіи женѣ (осенью 1903 г.), когда это вовсе уж не могло вызвать радостной реакціи у адресата, что «к Ялтѣ уже начинаю привыкать, пожалуй, научусь здѣсь работать». Да он вѣдь и не переставал в сущности работать. За первые полтора-два года его Ялтинской жизни многое как будто и облегчало это приспособленіе к новому мѣсту. Постройка собственной уютной дачи, переѣзд матери и частые наѣзды сестры; продажа сочиненій Марксу на условіях, тогда казавшихся очень выгодными и во всяком случаѣ обезпечивавших его матеріальное положеніе; выборы в почетные академики в началѣ 1900 г. Среди примѣчаній Дермана к изданію переписки А. П-ча с О. Л. Книппер, вообще очень цѣнных и внимательно составленных, есть одно, гдѣ он говорит о том, что к выборам в академію Чехов отнесся « в лучшем случаѣ безразлично, вѣрнѣе отрицательно». Это невѣрно. Чехов, правда, отмѣтил, что просто в равноправные члены академіи ученые не рѣшились избирать людей не из своей среды, но все таки был очень доволен, и не только потому, что «врачи Московскіе радуются», но главным образом потому, что видѣл в этом признаніе русскаго писателя. Он был в хорошем настроеніи, читал из присланной книжки описаніе параднаго академическаго мундира и, смѣясь, рисовал картину, как в солнечный яркій день по Ялтинской набережной понесут открытый гроб с ним в бѣлых штанах и парадном мундирѣ, спереди крышка гроба со шпагой и треуголкой, а еще впереди торжественно буду шествовать я, неся подушку со всѣми его орденами: медалью за перепись и Станиславом 3-ей ст., полученным им, как попечителем школы. — Далѣе весной того же 1900 года в Ялту спеціально для него пріѣзжала труппа Художественнаго Театра. Наконец это время совпало как раз с періодом расцвѣта Ялты и южнаго берега Крыма, который все больше начинал играть роль русской Ривьеры, и сюда

пріѣзжали в большом числѣ представители и литературы и науки и искусств. Среди них было много «безпокойщиков», но было и много лиц ему пріятных, как раз хоть отчасти замѣнявших пробѣлы в привычной средѣ. И я начинал надѣяться, что понемногу он займется и правильным лѣченіем и здоровье его наладится. Правда, как это ни странно, было много обстоятельств, зависѣвших от окружавшей его дома обстановки, мѣшавших правильному его лѣченію. Для таких больных одним из главных условій послѣдняго является правильный режим, в частности и пищевой. Чехов был очень привязан к семьѣ, но особенно нѣжно любил свою мать, окружая ее трогательной заботливостью, и послѣднія слова в его письмѣ-завѣщаніи на имя сестры были: «береги мать». И Евгенія Яковлевна платила своему Антошѣ той же исключительной нѣжностью. Но что могла сдѣлать эта милая всѣми любимая старушка! Развѣ могла она что нибудь провести или на чем нибудь настоять! Кухней завѣдывала древняя древняя старушка Марьюшка, привезенная из Мелихова. И выходило так, что несмотря на всѣ предписанія, пищу давали ему часто совершенно неподходящую, а компрессы ставила неумѣлая горничная, и о тысячѣ мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его, Марія Павловна, очень всегда заботившаяся о матери и о братѣ Антонѣ и духовно больше всѣх близкая ему, когда выяснилось положеніе, была совсѣм уже готова покинуть Москву, гдѣ она учительствовала в частной женской гимназіи, и переѣхать совсѣм в Ялту, и я не сомнѣваюсь, что вдвоем мы в концѣ концов поборoли бы сопротивленіе А. П-а, но послѣ его женитьбы план этот по психологически понятным причинам отпал. С этого времени условія его жизни рѣзко измѣнились и, исключительно с чисто врачебной точки зрѣнія, я должен сказать, что измѣненія эти к сожалѣнію не могли способствовать ни лѣченію, ни улучшенію его здоровья.

Одному извѣстному французскому спеціалисту по туберкулезу принадлежит афоризм: «чахоточные должны забыть о лаврах». И судьба Чехова этот афоризм как будто подтверждает. Его несчастьем было счастье выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него: женитьба и Художественный Театр. Я помню, как волновался Чехов перед первой постановкой его «Чайки» в Худож. театрѣ, как этого волненія он не мог скрыть и как оно выражалось между прочим в подробных разсказах о провалѣ этой пьесы в Александринкѣ; и помню, в каком длительном ра-

достном возбужденіи он находился послѣ торжества и одержанной в Москвѣ побѣды. И он, давшій себѣ раньше слово порвать с театром и не писать больше пьес, пишет новыя пьесы уже спеціально для этого театра и Худож. театр становится театром Чехова, и очень много содѣйствует увеличенію его популярности. И затѣм женитьба. Когда я лѣтом 1901 г. в Лозаннѣ из «Русск. Вѣдом.» узнал об их бракѣ, это не явилось полной неожиданностью, так как о их близости окружающіе догадывались давно. Но мнѣ почему-то вспомнилось тогда, как в пріѣзд Ольги Леонардовны к Чеховым в Ялту весной 1900 г. я как то застал группу: она с М. П-ой на верху лѣстницы, а внизу, бесѣдуя с ними, стоял А. П. Она в бѣлом платьѣ, радостная, сіяющая здоровьем и счастьем, в началѣ блестящей карьеры, первая актриса Худож. театра, в центрѣ вниманія не одной только Москвы, с огромными возможностями в будущем, и он, всего лѣт на 10 старше ея, но осунувшійся, худой, пожелтѣвшій, быстро старѣющій, безнадежно больной.

От Чехова, когда он бывал в особенно хорошем настроеніи, приходилось иногда слышать, как он с пріятелями, случалось, в молодости веселился. У него были пріятельницы среди писательниц, артисток, художниц, но я никогда ни от него самого ни от других, его близких, не слышал ни про одно его серьезное увлеченіе. С Ольгой Леонардовной он познакомился осенью 1898 г., когда по дорогѣ в Крым бывал в Москвѣ на репетиціях «Царя Феодора» и «Чайки» в только что организовавшемся Худ. театрѣ; и с первой же встрѣчи их потянуло друг к другу. О. Л. вскорѣ затѣм знакомится с его сестрой и между ними установились очень дружескія отношенія. Весной 1899 г. Чехов, по горло ушедшій в постройку дачи, уѣзжает неожиданно на сѣвер, как будто в Мелихово «по всяким дѣлам»; но я тогда не догадался, по какому главному дѣлу; он обѣщал вести себя там разумно, но застрял в Москвѣ и писал мнѣ: «посѣтителей тьма тьмущая, разговоры безконечные, и на второй день праздника (Пасхи) от утомленія я едва двигался у чувствовал себя бездыханным трупом. Вчера бы лу Федотовой на ужинѣ, который продолжался до 2-х часов ночи. Это я на зло Вам». Затѣм О. Л. ѣдет в Мелихово; затѣм случайная встрѣча в Батумѣ и совмѣстная поѣздка морем в Ялту. В Ялтѣ она гостит в семьѣ знакомаго доктора. Весной слѣдующаго 1900 г. Худ. театр пріѣзжает в Ялту, спеціально чтобы показать Чехову свои новыя постановки. Но О. Л. пріѣзжает раньше и живет у Че-

ховых, а послѣ спектаклей А. П. провожает ее в Москву. В іюлѣ О. Л. гостит опять у Чеховых в Ялтѣ и в августѣ уѣзжает в Москву уже его невѣстой (тайно для всѣх). Поздно осенью в самую скверную погоду он опять в Москвѣ (кончает «Трех сестер»); затѣм зимой в декабрѣ уѣзжает заграницу, в Ниццу, Рим, собирался с М. М. Ковалевским в Африку, но эта поѣздка не состоялась, так как в февралѣ от скверной тамошней погоды он поспѣшил обратно в Ялту. В Римѣ он между прочим говорит Ковалевскому: «как врач знаю, что жизнь моя будет коротка». Трудно представить себѣ образ жизни менѣе подходящій для лѣченія туберкулезнаго больного. Всѣ эти поѣздки, связанныя с ними переутомленіе, переживанія совершенно не вяжутся с его лѣченіем и замѣтно отражаются на его здоровьѣ, которое быстро ухудшается. В началѣ лѣта 1901 года он опять в Москвѣ, здѣсь из-за обострения показывается д-ру Щуровскому и тот совѣтует ему ѣхать на кумыс. Назначеніе, тогда очень меня удивившее, так как ни кумыс ни вся тамошняя обстановка совершенно Чехову не подходили. Щуровскій потом мнѣ об'яснил свое назначеніе тѣм, что Чехов многое от него скрыл, в частности и состояніе своего кишечника. «На кумыс ѣхать одному скучно. Женился бы, да документов нѣт; они в Ялтѣ в столѣ», пишет он сестрѣ 24 мая, а на слѣдующій день они вѣнчаются, не предупредив никого из родных, и из под вѣнца уѣзжают на кумыс. Я никогда не сомнѣвался и не сомнѣваюсь в настоящей глубокой любви О. Л. к Чехову, как убѣжден, что и А. П. переживал первое в жизни серьезное чувство, по своему, по чеховски и здѣсь, как увидим, сохраняя барьер между собой и, казалось бы, самым близким человѣком. Но фатальныя послѣдствія этого брака для его здоровья не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москвѣ; он без риска и вредных послѣдствій не мог покидать своей «теплой Сибири», и, зная Чехова, можно было вперед сказать, чѣм это кончится. У меня сохранилось письмо Ольги Леонардовны от 9 янв. 1902 г., когда у Чехова было обострѣніе с значительным кровохарканьем, гдѣ она между прочим пишет: «меня все время сильно безпокоит здоровье А. П-а, и хотя я знаю все, что с ним было, так как и он мнѣ пишет каждый день и М. П. писала, то я все таки обращаюсь к Вам с большой просьбой. Разскажите мнѣ все, все о здоровьѣ А. П. Я должна все знать.. Только об одном прошу, говорите мнѣ все, как человѣку, а не как женщинѣ, не снисходите якобы до моего пониманія. Вы меня мало знаете, но не примѣри-

вайтесь ко мнѣ, пишите все просто и ясно, не преувеличивая и не скрывая ничего... Мнѣ очень тяжело этой зимой. Только что занята очень; много это помогает. Такая разлука немыслима. Я все таки думала, что здоровье А. П. в лучшем состояніи, чѣм оно есть, и думала, что ему возможно будет провести хотя бы 3 зимних мѣсяца в Москвѣ. — Вѣдь январь и февраль плохи в Ялтѣ. Но теперь об этом, конечно, и не заикаюсь в своих письмах... В таком одиночествѣ я еще никогда не жила, да еще вѣчныя душевныя терзанія». Я в своем отвѣтѣ просто и ясно обрисовал положеніе вещей. Она впослѣдствіи и мнѣ и Чехову говорила, что если это необходимо, она бросит сцену и переселится совсѣм в Ялту, но, конечно, это было бы несчастьем для обоих, если бы осуществилось. В письмах он ей по этому поводу писал: «занимайся своим дѣлом, а пожить вмѣстѣ еще успѣем», и «не твоя вина, что Бог вложил в тебя любовь к искусству а в меня бациллы». И О. Л. писала ему, что «привязана к сценѣ, как дура», и в другой раз: «без дѣла я совсѣм надоѣм тебѣ. Я не такая уж молодая, чтобы в одну секунду сломать то, что мнѣ досталось так трудно». И вот начинаются постоянные переѣзды А. П-а из Ялты в Москву и обратно. Почти послѣ каждой поѣздки в Москву он расплачивается либо плевритом, либо кровохарканьем, либо длительными повышеніями температуры. И иногда сознательно обманывает себя, но чаще просто не говорит того, что думает, когда, принимая слѣдствіе за причину, указывает, что «вот в Москвѣ было недурно, а как в Ялту вернулся, так опять расхворался». Или пишет: «мое здоровье в Москвѣ было лучше, т. е. не здоровье, а желудок». Зимы 1901-1902 и 1902-1903 гг. он почти все время плохо себя чувствует, продѣлывая тѣ или другія обостренія. К концу этого періода он очень измѣнился и внѣшне. Цвѣт лица пріобрѣл сѣроватый оттѣнок, губы стали безкровны, он еше больше похудѣл и замѣтно посдѣл. Дѣятельность сердца все ухудшалась, процесс в легких все расползался. В соотвѣтствіи с этим стала все рѣзче проявляться одышка, появились симптомы и туберкулезнаго пораженія кишек.

Сознавал ли сам А. П. в глубинѣ души свое положеніе? Я уже приводил выше слова, сказанныя им М. М. Ковалевскому в началѣ 1901 г. В мартѣ этого же года т. е. еще до вѣнчанія, А. П. писал О. Л-ѣ: «да и здоровье мое становится, повидимому, совсѣм стариковским, так что ты в моей особѣ получишь не супруга, а дѣдушку, так сказать». Старый

друг Чеховской семьи, прекрасно всѣх их знавшая, Т. Л. Щепкина-Куперник в своих воспоминаніях описывает свое посѣщеніе в Москвѣ, относящееся к осени 1902 г.: «я изумилась происшедшей в нем перемѣнѣ. Он горбился; зябко кутался в какой то плед и то и дѣло подносил к губам баночку для сплевыванія мокроты... В этот вечер О. Л. участвовала в каком то концертѣ. За ней пріѣхал корректный В. И. Немирович во фракѣ с безупречным пластрóном. О. Л. вышла в нарядном туалетѣ, повѣяло тонкими духами. Ласково и нѣжно простилась с А. П., сказала ему какую то шутливую фразу, чтобы он «не скучал и был умником» и исчезла. А. П. поглядѣл ей вслѣд, сильно закашлялся и долго кашлял, и когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертѣвшимся около воспоминаній прошлаго, общих знакомых и пр.: «да, кума, помирать пора».

Эти послѣдніе годы мое положеніе, как врача, очень затруднилось. Мнѣ приходилось бороться не только с бациллами, но и с Москвой. И силы были неравны.

Весной 1902 г. О. Л. из Петербурга, гдѣ гастролировал Худож. театр, пріѣхала в Ялту серьезно больной, и спустя нѣсколько недѣль поѣхала долѣчиваться в Москвѣ у спеціалиста гинеколога. Она стала в это время очень нервной, болѣзненно подозрительной, ревновала А. П. к его семьѣ, особенно к сестрѣ М. П-ѣ. Все это, о чем тогда можно было частично догадываться, стало общеизвѣстным послѣ обнародованія переписки А. П-а с О. Л-ой. В 1922 г. я, пріѣхав в Берлин, застал там Худ. театр, часто видѣлся с О. Л-ой. И вот однажды она сообщила мнѣ, что в издательствѣ «Слово» находятся в печати письма к ней А. П-а, и дала мнѣ для просмотра нѣсколько присланных ей корректурных листов, прибавив: «напрасно вам даю; вам будет непріятно кое что читать». Познакомившись с содержаніем, я ей совѣтовал их пока не печатать, хотя бы потому, что многіе из лиц, там поименованных, еще живы. Она отвѣтила, что уже поздно, что она и деньги от издательства уже получила. Много позже, всего нѣсколько лѣт тому назад эти письма вышли в Москвѣ вмѣстѣ с письмами к нему О. Л-ы в прекрасном изданіи под редакціей и с примѣчаніями Дермана.

Письма Чехова к женѣ стоят совершенно особняком в его богатом эпистолярном наслѣдствѣ. Насколько вообще письма его исключительно интересны по содержанію, блещут умом, стилем, остроуміем, настолько эти безцвѣтны и, за исключеніем всего относящагося к театру и постановкам, сѣры

и неинтересны и могут дать совершенно ложное представленіе об их авторѣ, значительно уступая в интересѣ письмам О. Л-ы, дающим не только богатый матеріал по исторіи Худ. театра первых лѣт его существованія, но и касающимся часто разных сторон Московской и Петербургской жизни. В одном из своих писем ей он замѣчает: «женѣ своей пишу только о касторкѣ» пусть она простит своего стараго мужа». И это почти вѣрно. Читая эти письма, я часто задавал себѣ вопрос, почему он вних так скучен, так неинтересен, явно и упорно избѣгая касаться вопросов общих, даже литературных. Это особенно непонятно потому, что его корреспонденткой являлась женщина очень умная с многообразными интересами, исключительно занимательная собесѣдница. И для меня так и осталось непонятным и неразрѣшенным, почему барьер как раз в этом случаѣ оказался особенно высоким и непроницаемым.

Он много пишет об умываніи, о чисткѣ зубов, мытьѣ головы, шеи, о перемѣнѣ бѣлья, чисткѣ платья и можно подумать, что это неопрятный замухрыжка, котораго обучают хорошим манерам и приводят в благопристойный вид. Конечно, у него было вѣроятно не мало привычек стараго холостяка, и О. Л. вѣроятно вносила в обиход много своего женскаго, но я знал его, как щепетильно опрятнаго, необыкновенно аккуратнаго даже в мелочах и у него всегда во всем царил образцовый порядок. Я никогда не видѣл у него кабинет неубранным, или разбросанныя части туалета в спальнѣ; и сам он был всегда просто, но аккуратно одѣт; ни утром ни поздно вечером я никогда не заставал его по домашнему, без воротничка, галстуха. В этом сынѣ мелкаго лавочника, выросшем в крайней нуждѣ, было много природнаго аристократизма, не только душевнаго, но даже и внѣшняго, и от всей его фигуры вѣяло благородством и изяществом.

О. Л. в своих письмах все время звала его в Москву. Я всячески старался этому противодѣйствовать. Отсюда ея старанія по возможности мое вліяніе устранить. И А. П. в письмах старается ее в этом отношеніи успокоить, жертвуя часто правдой. Он скрывает мои посѣщенія, пишет иногда, что я стал рѣдко бывать, хотя за послѣдніе годы вряд ли проходило 2-3 дня без того, чтобы я не заѣхал к нему. Пишет, что я не лѣчу его, а пріѣзжал так, посидѣть. И часто себѣ в этом отношеніи противорѣчит. В другой раз пишет: «приходил А., требует от меня послушанія; требует настойчиво и завтра явится выслушивать меня; опротивѣло мнѣ все это». Она от-

вѣчает: «Если тебѣ нужно, если тебѣ хорошо, умоляю, оставайся в Ялтѣ; а что дальше будет, увидим». Он ей сообщает: «Кровохаркань здѣсь в Ялтѣ не было ни разу, а в Любимовѣ (дача Алексѣевых под Москвой, гдѣ они жили лѣтом, и откуда он, чувствуя себя плохо, пріѣхал один) оно было почти каждый день». На это О. Л. отвѣчает: «Оставайся в Ялтѣ совсѣм на всю осень; это тебѣ будет очень хорошо и А. будет доволен. Напиши, что он тебѣ сказал». «Третьяго дня явился ко мнѣ твой, как ты его называешь, враг А.». «Вчера А. был у меня и все поддразнивал, и я подозрѣваю, что ты подкупила его, чтобы он подольше удерживал меня в Ялтѣ». Пишет, что я был, но выслушать он не позволил. Но я вѣдь вообще выслушивал его, только когда это требовалось. И О. Л. это знала. В 1929 г. она в статьѣ «Послѣдніе дни А. П. Чехова» (в «Литер. Газетѣ») пишет: «А. П. обыкновенно тяготился визитами врачей настолько, что даже наш постоянный врач и друг И. Н. А. всегда старался, и это ему удавалось, маскировать свои врачебные визиты к А. П-у».

Как я указал выше, во время и послѣ своей болѣзни она в письмах, иногда в очень обидной фромѣ нападает и на М. П-у, единственную мою союзницу; негодует, почему только когда ея нѣт в Ялтѣ, А. П. лѣчится, чувствует себя хорошо, настроен хорошо; почему от М. П-ы он принимает уход, заботы, а ее не допускает.

Отвѣчая в 1929 г. на мой вопрос, читала ли она письма Чехова к О. Л. (Берлинское изданіе) М. П. мнѣ писала: «письма к О. Л. я не читала и даже книги у меня нѣт. Это изданіе заграничное и у нас в СССР его не имѣется. Я думаю, это хорошій такт со стороны Ольги не давать мнѣ читать этих писем. Я боюсь их читать; тяжело».

Думаю, что в письмах и настроеніях О. Л. за это время играли роль не одна только болѣзнь и вызванная ею нервозность. Как женщина умная, она прекрасно понимала ненормальность создавшихся отношеній. О. Л. вышла из совсѣм другой среды, из чопорной нѣмецкой семьи, и она очень скоро и крѣпко вошла в Чеховскую, слилась с ней, в частности полюбила и подружилась с М. П-ой. Еще в 1900 г. она писала Чехову: «Я совсѣм отвыкла от своих; это ужасно, но это так». И поэтому она особенно болѣзненно чувствовала и переживала сдержанность, замкнутость Чехова. Еще до их брака она ему пишет: «Поболтай со мной попроще, пооткровеннѣй; право будет лучше, чѣм играть в молчанку». И уж в 1902 г. опять: «Ты со мной рѣшительно ни о чем не дѣлишь-

ся; а еще называешь подругой». «Ты разсказал Машѣ о пьесѣ, которую задумал («Вишневый сад»), а мнѣ даже не намекнул». «Отчего мы не встрѣтились молодыми, иными? Эх, Антон, Антон!» Под вліяніем болѣзни и вынужденной невозможности совмѣстной жизни, как ей хотѣлось, это только все обострилось.

Должен сказать, что всѣ эти настроенія оказались преходящими и были забыты, и дружба, связывавшая М. П-у с О. Л-ой осталась такой же крѣпкой, и связь О. Л. с семьей А. П. послѣ его смерти стала, пожалуй, еще крѣпче. Насколько мнѣ извѣстно, вдова его брата Ивана послѣ смерти мужа совсѣм переѣхала к ней. Точно так же и мои дружескія отношенія с О. Л-ой ничѣм не нарушались за многіе годы прошедшіе послѣ смерти А. П-а. В свои частые, хотя бы и краткіе, наѣзды в Москву, я всегда старался повидать ее, у нея дома или в Худож. Театрѣ, и потом заграницей мы всегда встрѣчались, как старые друзья. Только часто вспоминая в наших бесѣдах А. П-а, мы как то никогда не касались его болѣзни и леченія.

Лѣтом 1903 г. во время пребыванія Чехова в Москвѣ он показался проф. Остроумову, в клиникѣ котораго лежал в 1897 г. И Остроумов, который, как извѣстно было, не одобрял Ялтинскаго климата зимой, высказался за переѣзд его на зимніе мѣсяцы куда нибудь в окрестности Москвы. Только строго запретил всякія заграничныя поѣздки: «так как ты калѣка». Когда по возвращеніи в Ялту, Чехов мнѣ об этом разсказал, я всячески запротестовал, и он пишет О. Л-ѣ: «Вчера А. долго говорил со мной о моей болѣзни и весьма неодобрительно отзывался об Остроумовѣ, который позволил мнѣ жить зимой в Москвѣ. Говорил, что Остроумов был выпивши». Послѣднія слова А. П. прибавил от себя, вѣроятно для крѣпости, потому что, я увѣрен, сам понимал нецѣлесообразность этого совѣта, не только и не столько с точки зрѣнія климатической, сколько принимая во вниманіе условія его Московской жизни. Он писал тогда Вересаеву: «Не знаю, кого мнѣ теперь слушать, что дѣлать». Осенью 1903 г. он не перестает лихорадить, один плеврит слѣдует за другим; трудно поддающіяся лѣченію разстройства кишечника. Он уже не скрывает своего плохого самочувствія. Впервые не избѣгает говорить о своей работѣ, как трудно ему дописывать и переписывать пьесу «Вишневый Сад». Он мог дѣлать это только урывками. А Худож. театр, увлеченный своими задачами, связанный планом, все торопит скорѣйшей присылкой

пьесы. И О. Л. почти в каждом письмѣ пишет о том же. Он ей отвѣчает: «За пьесу не сердись; медленно переписываю, потому что не могу писать скорѣе»; и в другой раз: «Ты дѣлаешь мнѣ выговор за то, что у меня еще не готова пьеса. Моя лѣнь тут ни причем. Если бы был в силах, то написал бы не одну, а 25 пьес».

И в отношеніях Худож. театра к Чехову менѣе всего можно, конечно, допустить пренебрежительность, недостаточно внимательное отношеніе к его здоровью. Всѣ участники труппы, начиная с главных персонажей, любовно относились к Чехову, который по их настоянію стал и пайщиком товарищества Худ. театра, и котораго они считали своим близким человѣком. В надписи на фотографіи, подаренной мнѣ в 1922 г. в Берлинѣ К. С. Станиславским, имѣются между прочим и слѣдующія слова: «мы вмѣстѣ любили Чехова, радовались ему и оплакивали его» и это несомнѣнно очень искреннія слова. Но увлеченные созданіем новаго, непохожаго на другіе театра, цѣликом отдавшіеся этой задачѣ, горѣвшіе ею, они, считая новую пьесу чрезвычайно важной частью их намѣченнаго плана, не замѣчали остального.

Повторяю, то, что случилось, при сложившихся обстоятельствах стало неизбѣжным, фатальным. Но, когда в одном из писем Чехова к женѣ мы читаем: «Рѣши ты (дѣло идет о его поѣздкѣ в Москву), ибо ты человѣк занятой, рабочій, а я болтаюсь на этом свѣтѣ, как фитюлька», то мы, читатели и почитатели Чехова, согласиться с этим никак не можем. И когда в другом письмѣ, указывая на то, что во вновь снятой в Москвѣ квартирѣ на третьем этажѣ лѣстница высокая и лифта нѣту, и что ему трудно будет с его одышкой подниматься, он кончает словами: «ну да ничего, как нибудь взберусь», то я, врач, не могу не думать о том, какое роковое вліяніе эта лѣстница должна была оказать на его и так уже ослабѣвшее сердце.

В концѣ 1903 г. он везет наконец законченный и переписанный «Вишневый Сад» в Москву. Здѣсь по 3-4 часа в день он, волнуясь, принимает живое участіе во всѣх репетиціях пьесы. Это как раз разгар сезона, и по вечерам он нерѣдко опять в театрѣ на спектаклях. Все же свободное от театра время толкутся посѣтители; совершаются прогулки по Москвѣ; был и в банѣ... 17 января, в день его рожденія и именин, премьера «Вишневаго Сада» и чествованіе Чехова на открытой сценѣ послѣ 3 акта. «А он», пишет в своих воспоминаніях К. С. Станиславскій, «мертвенно блѣдный и худой,

стоя на авансценѣ, не мог унять кашля... Из зрительнаго зала ему крикнули, чтобы он сѣл», и прибавляет: «от юбилея отдавало похоронами». И О. Л. в 1929 г., вспоминая этот день, пишет («Прожектор», № 28): «было безпокойно» в воздухѣ висѣло что-то зловѣщее. Не было поры чистой радости в этот вечер 17 января; это вѣрно».

В началѣ февраля О. Л. везет его в Царицыно под Москвой осматривать усадьбу. На обратном пути опоздали к поѣзду и верст 30 проѣхали на лошадях в довольно сильный мороз. **И О. Л.**, говоря об этой поѣздкѣ в предисловіи к перепискѣ, итмѣчает: А. П. наслаждался. Точно судьба рѣшила его побаловать и дала ему в послѣдній год жизни всѣ тѣ радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму и постановку «Вишневаго Сада», и людей, которых он любил». Послѣ вышеприведенных замѣчаній о чествованіи эти слова являются нѣсколько неожиданными.

В серединѣ февраля А. П. вернулся в Ялту в значительно худшем состояніи, чѣм уѣхал, но оживленно разсказывал про чествованіе, рѣчи, показывал многочисленные поднесенные ему в этот вечер подарки, и комически жаловался, что кто то, должно быть, нарочно,, чтобы досадить ему, распустил слух о том, что он любитель древностей, а он их терпѣть не может. Среди подношеній дѣйствительно были модель древняго русскаго городка, старинный ларчик и между прочим чернильница XVIII в. На мое замѣчаніе, что все это красиво и что в частности чернильница мнѣ очень нравится, он отвѣтил: «да, что вы, вѣдь теперь песочком не посыпают, есть пропускная бумага и гусиных перьев тоже нѣт». Потом с милой улыбкой прибавил: «ну вот, если очень нравится, я распоряжусь, чтобы в наказаніе вам эту чернильницу послѣ моей смерти и вручили». Как он ни был плох, я тогда все таки не мог предполагать, что чернильница уже через нѣсколько мѣсяцев дѣйствительно перейдет ко мнѣ. Он пробыл в Ялтѣ до конца апрѣля; здоровье, если и стало чуть лучше, то во всяком случаѣ внушало мало надежды. Временами он оживлялся, строил всякіе планы на будущее, мечтал засѣсть за работу, говоря, что в головѣ многое уже созрѣло. Собирался, если поправится, как слѣдует, с наступленіем тепла поѣхать на войну, из за которой очень волновался, и поѣхать именно врачем, «так как врач может больше видѣть». Но чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив и он, никогда раньше не жаловавшійся на здоровье, говорил, что устал, что хочет по настоящему отдохнуть, набраться сил. Все чаще заставал

я его сидящим в креслѣ или в нишѣ на диванѣ без газеты, без книги в руках. О чем он думал? Я увѣрен, что не только о литературѣ и житейском.

В концѣ апреля в довольно скверном общем состояніи он, как было условлено, уѣхал в Москву, куда должен был вернуться из Петербурга и Худож. театр. В дорогѣ простудился, получил рѣзкое обостреніе, плеврит с необычно высокой для него температурой, и немедленно по пріѣздѣ слег и не вставал до самой поѣздки в Баденвейлер, куда направил пользовавшій его в это время в Москвѣ д-р Таубе, врач семьи Книппер. Ни один из знавших и лѣчивших его раньше врачей не был привлечен, ни д-р Щуровскій ни проф. Остроумов. Послѣдній вѣдь еще раньше рѣшительно высказался против всяких заграничных поѣздок.

Перед отъѣздом А. П. уговаривал меня в началѣ моего отпуска в концѣ мая заѣхать в Москву, чтобы, шутя прибавил он, «спасти его от нѣмцев». Но я в тот год не мог оставить Ялту раньше середины іюня, да и все равно считал свою поѣздку безполезной. В послѣднем полученном мною от него из Москвы письмѣ от 26 мая, он пишет, что, как пріѣхал в Москву, так ни разу еще не одѣвался; что 3 іюня уѣзжает за границу, а в августѣ будет в Ялтѣ. «Теперь лежу на диванѣ и по цѣлым дням от нечего дѣлать все браню Остроумова и Щуровскаго. Большое удовольствіе».

О. Л. впослѣдствіи с возмущеніем мнѣ разсказывала, как в Берлинѣ в Савой-отель к Чехову пріѣхал приглашенный извѣстный клиницист проф. Эвальд. Внимательно изслѣдовав больного, он развел руками и, ничего не сказав, вышел. Это, конечно, было жестоко, но развел он руками навѣрно в справедливом недоумѣніи, зачѣм и куда такого больного везут.

Когда 3 іюля в пасмурное дождливое утро на Рижском взморьѣ мнѣ подали телеграмму с извѣщеніем о смерти А. П-а, я не о том подумал, что Россія потеряла любимаго своего писателя в самом расцвѣтѣ его творческаго дара, а остро и болѣзненно почувствовал, что ушел из жизни человѣк большой душевной красоты и исключительнаго обаянія. Чуткій к чужой бѣдѣ и чужому горю и всегда всѣм старавшійся помочь, он сам кротко, безропотно и молча переносил свои недуги и печали. И больно угнетало сознаніе, что эта преждевременная смерть не была неизбѣжной, а в значительной мѣрѣ явилась слѣдствіем неблагопріятно сложившихся обстоятельств.

И. Альтшуллер.

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ОСОРГИН.

Памяти дрУга.

М. А. Осоргин был большим русским писателем. Его первостепенная роль в исторіи современной русской литературы еще недостаточно оцѣнена. Его замѣчательное произведеніе — Сивцев Вражек — (вышедшее в переводѣ в Америкѣ с многозначительным аншлагом: «ни красный, ни бѣлый, просто русскій») рано или поздно станет классическим. Не автору этих строк, обладающему в литературной области лишь компетенціей благодарнаго читателя оцѣнивать и оплакивать Осоргина как писателя.

Но Осоргин был не только крупнѣйшим писателем. Он был замечательным человѣком, личность котораго обладала полнокровной метафизической сущностью и могла служить и служила ярким примѣром для многих.

Осоргин-человѣк был равен по силѣ и по значительности Осоргину-писателю. Осоргин был послѣдним рыцарем духовнаго ордена русской интеллигенціи. Служеніе этому ордену было его призваніем не менѣе важным и нужным, чѣм его писательская дѣятельность. Наконец, Осоргин был самым молодым по духу представителем русской эмиграціи, и эта вѣчная его молодость дѣлала из него вождя, не только всей русской литературной молодежи заграницей, но и всей вообще русской молодежи в эмиграціи, посколько она оставалась вѣрной русской культурной традиціи.

Всякій значительный человѣк всегда обладает своей собственной духовно-метафизической установкой. Эта установка была очень ярко выражена у Осоргина: он отвергал всякую внѣшне установленную іерархію, гдѣ бы она не проявлялась, в области ли цѣнностей, в области ли репутаціи и престижей, в области ли соціальных отношеній или политических властей. Это не было просто традиціонное русское бунтарство или простое продолженіе Бакунина, Кропоткина и Толстого. Осоргин возставал не только против вѣры в магическую силу государственных форм и во всесиліе политических лозунгов Он боролся не только с культом «всѣх властей предержащих». Осоргин, вмѣстѣ со всей современной философіей («philosophie de l'existence») и независимо от нея,

возставал против абстрактнаго идеализма, во имя конкретнаго человѣка и конкретной соборности. Конкретный, живой человѣк, и конкретныя, непосредственныя общенія между людьми, нуждаются в реабилитаціи по отношенію к замороженным, часто чисто словесным формулам. Реальный человѣк и непосредственная людская соборность, согласно Осоргину несонзмѣримо богаче абстрактных идеалов и лозунгов. Нужно прежде всего любить не формулы и не знамена, а людей, сближеніе между которыми есть благо. И Осоргин умѣл как никто активно любить людей и активно общаться с ними, всѣх тѣх людей, которых он считал «настоящими» или, по крайней мѣрѣ, способнымн стать таковыми...

Любовь Осоргина к природѣ, его сильная и постоянная тяга к землѣ, не были простым проявленіем его глубокой русскости, онѣ не носили также характера наивнаго «Руссоизма», с его «возвратом в природу». Онѣ были скорѣе методом очищенія от внѣшней мишуры и искусственности, для лучшаго пониманія себя самаго и других. Осоргин глубоко переживал тот факт, что всѣ мы, вольно или невольно, «играем роли» в нашей жизни и что роли эти часто порабощают нас и мѣшают нашему непосредственному сближенію. Освобожденіе от этого невольнаго рабства по отношенію к нашему внѣшне-зафиксированному выраженію, чаще всего несоотвѣтствующему нашему истнинному существу, было одной из любимых тем творчества Осоргина и его жизни.

Тѣм же устремленіем об'ясняется кажущійся парадокс в личности Осоргина, часто поражавшій его друзей. Этот вѣчно-юный бунтарь и «антиконформист» был глубоко привязан к культурной традиціи, обожал рыться в пыли исторических источников, и был страстным библіофилом. Эти вкусы однако не имѣли ничего общаго с традиціонализмом, как это могло казаться непосвященным. Они были связаны с любовными поисками тѣх же конкретных живого человѣка и человѣчества, которых Осоргин всюду стремился разыскать под мишурой установленных репутацій сыгранных ролей и сложившихся судеб.

Осоргин был всюду вѣрен себѣ и личность его была гармоничной. Нѣт силы повѣрить, что Михаил Андреевич, сохранившій в 60 лѣт не только юношескій облик, но и молодую душу, угас. Идея смерти абсолютно не вяжется с личностью Осоргина. И память о нем останется неугасимой.

Г. Д. Гурвич.

В. Л. БУРЦЕВ.

Некрологи и воспоминанія об умершихъ принято писать по старинному правилу — aut bene aut nihil. Не думаю, чтобы это было правильно. Во всякомъ случаѣ, въ этой краткой замѣткѣ о скончавшемся въ Парижѣ Владимірѣ Львовичѣ Бурцевѣ я не хочу себя этимъ обычаемъ связывать — увѣренъ, что и самъ В. Л. со мной бы согласился: онъ любилъ свободу во всемъ.

Начну поэтому сразу съ критическихъ замѣчаній: писалъ В. Л. Бурцевъ неважно и политикомъ былъ плохимъ. В своей книгѣ воспоминаній, вышедшей въ Берлинѣ, в 1923 году, В. Л. о самомъ себѣ съ исчерпывающей искренностью — онъ самъ свои воспоминанія называетъ «исповѣлью» — пишетъ:

«Я почти никогда не входилъ ни въ какія политическія организаціи и очень рѣдко дѣлалъ какія-нибудь публичныя выступленія. Я — человѣкъ кабинета, литераторъ и журналистъ. Моя жизнь была связана главнымъ образомъ съ борьбой за созданіе газетъ и журналовъ. Ея сущность заключалась въ журналистической дѣятельности. Это было такъ даже и тогда, когда я былъ занятъ борьбой съ провокаторами. В своей многолѣтней журналистической дѣятельности я никогда не писалъ анонимныхъ статей и никогда не выступалъ подъ псевдонимами. Во всемъ томъ, что я дѣлалъ, я всегда бралъ на себя полную отвѣтственность и никогда не перелагалъ ее ни на партію, ни на другихъ лицъ. Вспоминая всю свою жизнь, я вижу, что мнѣ нечего отказываться отъ того, что раньше я признавалъ, и нечего признавать, отъ чего я раньше отказывался. За всю мою дѣятельность я ни разу не смѣнилъ вѣхъ, и в настоящее время (1923 г.) я живу с той же самой вѣрой в Россію и в идеи свободы, права и демократіи, с какой тридцать пять лѣтъ тому назадъ я начиналъ свою отвѣтственную политическую дѣятельность».

Все это с полнымъ правомъ, В. Л. могъ бы повторить и передъ самой своей смертью.

Родился В. Л. Бурцевъ в 1862 году, в Уфимской губерніи, воспитанъ былъ дядей. Когда онъ мальчикомъ, в молитвенномъ настроеніи, посѣщалъ московскія святыни в Кремлѣ, его воображеніе поразилъ «гвоздь с креста Господня», к которому онъ прикладывался в Успенскомъ соборѣ — на этомъ гвоздѣ виднѣлась еще запекшаяся кровь... Его это такъ поразило, что, какъ онъ неуклюже говорилъ в своихъ воспоминаніяхъ, «гвоздь этотъ гвоздемъ засѣлъ в моемъ мозгу».

Владимиру Львовичу было 19 лѣт, когда был убит народовольцами Александр II — это произвело на него сильное впечатлѣніе. И народовольцы — именно народовольцы — сдѣлались его героями на всю жизнь. В тюрьмѣ он попал в концѣ 1882 года — «за участіе в студенческой сходкѣ», когда был студентом Петербургскаго университета. Вторично («за связь с народовольцами») он был арестован в 1885 г., затѣм сослан в Иркутскую губернію, откуда вскорѣ и бѣжал за-границу. В 1889 году, в Женевѣ, приступил к изданію газеты «Свободная Россія», в редакцію которой, кромѣ него, входили М. Драгоманов и В. Дебагорій-Мокріевич. В газетѣ этой проводилась программа: террор для завоеванія политической свободы и тактика: об'единеніе либералов и революціонеров. В сущности — это осталось программой и тактикой В. Л. Бурцева на всю жизнь.

За связи с бомбистами-русскими эмигрантами. В. Л. Бурцева высылали то из Швейцаріи, то из Франціи. Он переселился в Лондон и там, не имѣя ни гроша за душой, приступил в 1897 году к изданію «Народовольца», в котором упорно призывал к убійству русскаго царя. Англійскій суд не мог с этим примириться — за призывы к убійству «лица, не состоящаго в подданствѣ Ея Величества», — В. Л. Бурцев был приговорен к 1½ годам каторги.

Мое знакомство с В. Л. Бурцевым началось с его брошюры «Долой Царя!», в которой он в 1901 году с упорством перепечатал свои террористическія статьи из «Народовольца» — уже в Европѣ. Дал мнѣ эту брошюру прочитать М. Р. Гоц в Женевѣ, с которым я тогда, молодым студентом, только что познакомился. Отнесся он к ней пренебрежительно, хотя сам был террористом.

Самой яркой и, вѣроятно, самой счастливой главой жизни В. Л-а было разоблаченіе им Евгенія Азева (кстати сказать, фамилія эта пишется именно так — Азев, хотя вообще принято писать «Азеф»; как это ни странно, послѣднюю транскрипцію принял и сам Азев послѣ его разоблаченія, когда сдѣлался знаменитостью).

Мы, знавшіе всѣ подробности этого разоблаченія, знаем также, что помогла Бурцеву разоблачать Азева не столько его «шерлок-холмовская геніальность сколько тѣ свѣдѣнія, которыя он получил от бывших секретных агентов департамента полиціи, Бакая и Л. Менщикова. Но упорству В. Л-а в этом дѣлѣ нужно отдать все должное — он побѣдил и

добился разоблаченія именно благодаря этому упорству. Немногіе знают, что во время суда над ним (Бурцев был привлечен эсерами к суду за распространеніе позорящих «честь» Азева свѣдѣній — судьями в этом дѣлѣ были В. Н. Фигнер, П. А. Кропоткин и Г. А. Лопатин), он был совсѣм близок к смерти. ДОКАЗАТЬ виновность Азева Бурцев никакими фактами не мог, хотя и был в ней убѣжден, и рѣшил покончить с собой, если ему не удастся убѣдить суд, который был склонен Азева обѣлить. Тогда он пошел с послѣдней своей карты: узнав, что бывшій директор департамента полиціи Лопухин находится за-границей и возвращается в Россію, Бурцев стал его караулить в Кельнѣ, дождался Лопухина, с которым был знаком по изданію своего «Былого» в Петербургѣ, забрался в его купе и в теченіи четырех часов разсказывал Лопухину революціонную біографію Азева и его участіе в террористических предпріятіях, не называя, однако, его имени. Измученный этим разсказом Лопухин, наконец, не выдержал и воскликнул: — «Никакого Раскина (один из полицейских псевдонимов Азева) я не знаю, но инженера Азева знаю — он был нашим освѣдомителем!»

Бурцев выиграл.

Послѣ разоблаченія Азева к Бурцеву пришла — без преувеличенія — міровая слава. Во всѣх газетах его называли «Шерлоком Холмсом русской революціи», заказывали ему статьи по телеграфу. Он получал сказочные гонорары, через его руки тогда прошли милліоны — в буквальном смыслѣ слова. Прошли — но не задержались, он деньгами не интересовался и в них ничего не понимал. Однако, голова у него немного закружилась — разоблаченіе провокаторов он сдѣлал своей спеціальностью. Одно время он даже печатал списки провокаторов во всѣх революціонных партіях — что то вродѣ бюллетеня. И не всегда был в обвиненіях разборчив. К бывшим сыщикам и провокаторам — ко всѣм этим Гартингам-Ландейзенам и Рачковским — относился даже с какой то любовью, а к Бакаю даже с нѣжностью. На одном из парижских бульваров — кажется, Бульвар Сен-Жак возлѣ площади Данфер-Рошро — снял большую квартиру, в которой поселился с Г. А. Лопатиным (который очень дружески к нему относился и ласково называл его — «Львович»). Там у него было нѣчто в роде оффиса или конторы для раскаявшихся провокаторов — как, бывало, к нему не придешь, в каждой комнатѣ сидит по такому раскаявшемуся. Герман

Александрович жаловался: — «Покоя не дают — пристают. На днях звонит кто то по телефону. Подхожу. — Кто говорит? — Раскаявшійся провокатор. Можно придти? — А потом молчаніе и тот же голос боязливо добавляет: — А в морду не дадите?» — Что же Вы отвѣтили, Герман Александрович? — Что отвѣтил? Конечно, велѣл придти. Чего уж там!» — Это была пора наибольшаго успѣха В. Л. Бурцева. Послѣ разоблаченія Азева во всѣх революціонных партіях относились к Бурцеву с уваженіем, нерѣдко обращались к нему, как к эксперту, но вмѣстѣ с тѣм смотрѣли на него также и насмѣшливо называя «ассенизатором революціи». Когда уже при большевиках В. Л. попал в тюрьму, судьба свела его с Бѣлецким, бывшим директором департамента полиціи — Бурцева нельзя было от него оторвать, они даже спали, кажется, на одной кровати.

Во время первой мировой войны Бурцев неожиданно для всѣх поѣхал в Россію. На границѣ (в Финляндіи) назвал себя и тѣм поставил правительство в затруднительное положеніе — он любил такія штуки. Его куда-то недалеко сослали и, кажется, потом разрѣшили жить в Россіи. Такую же вещь он позднѣе хотѣл продѣлать и с большевиками — неожиданно вернуться в Совѣтскую Россію. Друзья его отговорили. Большевики расправились бы с ним, вѣроятно, болѣе рѣшительно.

О борьбѣ В. Л. Бурцева с большевиками всѣм извѣстно — он боролся с ними в 1917 году, в 1918 и всѣ годы позднѣе. Всѣх их открыто называл «нѣмецкими агентами» и періодически печатал в своей газетѣ «списки нѣмецких агентов», гдѣ кромѣ Ленина, Зиновьева, Литвинова и других неизмѣнно помѣщал и Максима Горькаго. Его газета Временным Правительством была закрыта, чего он не мог простить А. Ф. Керенскому всю жизнь. Как раз недавно А. Ф. Керенскій мнѣ разсказывал, почему газета Бурцева тогда была закрыта. На спеціальное совѣщаніе были вызваны редакторы всѣх петербургских газет и им был сообщен какой то секрет, который правительство просило газеты нѣсколько дней держать в тайнѣ и затѣм опубликовать одновременно. Всѣ газеты секрет сохранили, кромѣ — Бурцева, который на слѣдующій же день его опубликовал и тѣм сорвал всю кампанію. За это именно его газета и была закрыта. У В. Л. Бурцева на обязанности печати были свои взгляды.

За-границей, в эмигрантскіе годы, В. Л. Бурцев упорно

ратовал за созданіе «Національнаго Комитета», куда, по его проекту должны были входить — Колчак, Деникин (а послѣ него — Врангель), Керенскій, Карташов, Авксентьев, Савинков... Болѣе фантастической комбинаціи трудно было себѣ представить, но Бурцев настойчиво пропагандировал свой проект в теченіе нѣсколькихъ лѣт.

В этом, в сущности говоря, всегда и состояла его программа: соединить всѣх людей, любящих Россію — независимо от их партійной принадлежности и политических взглядов. Всю жизнь он был — либерал с террористической тактикой. Либерал он был очень умѣренный — нападал в свое время даже на Выборгское воззваніе, находя его слишком революціонным. Но всегда был сторонником права, свободы и демократіи. Впрочем, я не убѣжден, что он в концѣ жизни сохранил свою приверженность (всегда платоническую) к террору — в этом отношеніи он, может быть, и смѣнил вѣхи.

Всю свою жизнь Бурцев был enfant terrible и Дон-Кихотом. Кстати сказать, на Рыцаря Печальнаго Образа он внѣшне походил сам настолько, что мог бы изображать его без грима — достаточно было снять очки. Было во всем его обликѣ также немало и дѣтскаго, что подкупало в его пользу рѣшительно всѣх. Припоминаю такой эпизод. Лѣт 15 тому назад пріѣзжает в Париж из Нью-Іорка Ф. Ф. Баранова, старинная пріятельница В. Л. Бурцева. Желая доставить ему и мнѣ удовольствіе, Ф. Ф. пригласила Бурцева и меня в оперу. Давали «Кармен». Бурцев по секрету на ухо мнѣ признался, что не был в театрѣ уже лѣт 20 и никогда в жизни не видал «Кармен». И удивлялся, что, оказывается, мотивы всѣ ему знакомы! Но в концѣ концов не выдержал и заявил, что больше оставаться не может и уходит — слушать оперу представлялось ему занятіем слишком несерьезным. И остался до конца только потому, что мы ему пригрозили, что уйдем вмѣстѣ с ним. Впрочем, дослушал он «Кармен» до самаго конца, кажется, не без удовольствія.

Послѣдній раз я видѣл В. Л-а зимой, в началѣ 1939 года — неожиданно встрѣтил его в Парижѣ, на одной из маленьких улочек Латинскаго квартала, — Как поживаете, В. Л.? — Прекрасно! Набрал мнѣ Зелюк (типограф) цѣлую брошюру об «Евгеніи Онѣгинѣ» бесплатно — надѣюсь скоро выпустить, и Вам пришлю. Обязательно раскритикуйте». — А теперь куда идете? — В. Л. вдруг широко улыбнулся и

разжал лѣвый кулак, который все время держал перед собой — в нем оказалось 40 сантимов, я пересчитал. — Вот, иду тут поблизости, в знакомую колбасную — мнѣ там за это двѣ сосиски дадут. — Это было все его дневное пропитаніе. С тѣх пор Бурцева я больше не видѣл.

Уже здѣсь, в Нью-Іоркѣ через третьих лиц, узнал, что послѣ прихода нѣмцев Бурцев оставался в Парижѣ, гдѣ голодал по-прежнему. Нѣмцы его не тронули. Он просил через знакомых передать друзьям в Нью-Іоркѣ, что остался «все тѣм-же — ни в чем рѣшительно не измѣнился».

А был он больше всего и прежде всего — большим и горячим, настоящим русским патріотом и всю жизнь свою боролся за Свободную Россію.

В. Зензинов.

ГРИГОРІЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛОЗИНСКІЙ

11 мая 1942 г., в оккупированном нѣмцами Парижѣ, послѣ долгой и тяжкой болѣзни скончался Григорій Леонидович Лозинскій, мой самый близкій русскій друг в Парижѣ. Вся жизнь его прошла на моих глазах. В началѣ девятисотых годов я его учил исторіи в Первой Классической Гимназіи в Петербургѣ, гдѣ он был одним из лучших учеников. В петербургском Университетѣ, в теченіе года, я учил его и К. В. Мочульскаго элементарному арабскому языку. Позднѣе, мы одновременно преподавали в Женском Педагогическом Институтѣ, гдѣ я был его деканом. Его отъѣзд заграницу разлучил нас на нѣсколько лѣт. В 1924 году я его встрѣтил снова, но уже заграницей, в Парижѣ, и послѣ того, почти каждый год, мы видались на берегах Сены, и там установилась наша прочная дружба, которая продолжалась до самой его смерти. В послѣдній раз я его видѣл в маѣ и іюнѣ 1939 года, когда я читал лекціи в Collège de France. Как сейчас вижу его в аудиторіи.

Г. Л. был человѣком необычайной энергіи и всею душою преданным своим научным интересам. Судьба не дала ему возможности стать настоящим профессором университета, для чего он был превосходно подготовлен. Спеціальность его была иностранные языки. Я не помню, встрѣчал ли я на своем долгом жизненном пути кого-либо кто бы владѣл таким количеством языков. Его знаніе старо-французскаго и современнаго французскаго языка было поразительно, и сами францу-

зы· спеціалисты это признавали. Помню, как на одном банкетѣ онъ произнесъ рѣчь по румынски. В послѣдніе годы онъ усердно занимался финскимъ языкомъ и незадолго до смерти выдержалъ по этому языку экзаменъ. Много лѣтъ своей жизни посвятилъ Г. Л. преподаванію въ русской гимназіи въ Парижѣ и изданію французскаго журнала «Le Mois».

В 1930 г. я совершилъ свою первую поѣздку въ Аляску и, по возвращеніи, уже в 1931 г., разсказалъ Г. Л. в Парижѣ о тѣх коренныхъ аляскинскихъ русскихъ, которыхъ я встрѣтилъ тамъ, которые никогда не бывали в Россіи и продолжали говорить по русски. Помню, как Г. Л. сразу заинтересовался этимъ новымъ для него вопросомъ, вступилъ в переписку с протоіереемъ отцомъ Кашеваровымъ, котораго я встрѣчалъ не раз в современной столицѣ Аляски Juneau, гдѣ онъ былъ кураторомъ музея[1]), с епископомъ Алеутскимъ и Аляскинскимъ Алексѣемъ и с нѣкоторыми другими лицами. Результатомъ этого новаго интереса явились двѣ превосходныя и свѣжія статьи «Русская печать в Аляскѣ и для Аляски» (по русски) и "Encore une minorité ethnique. La vie et la survie d'une colonie russe en Alaska".

Я их читалъ и перечитывалъ с увлеченьемъ. Этими статьями Г. Л. открылъ забытыя страницы русской культуры в бывшей русской далекой колоніи.

Главные печатные труды Г. Л. касаются средневѣковой французской литературы.

Говоря о печатныхъ трудах Г. Л., я не отвѣчаю за их полный списокъ. Скажу лишь нѣсколько слов о тѣх из них, с которыми я знакомъ с 1929 года. В этом году появились его двѣ статьи под заглавіем "La Russie dans la littérature française du moyen âge. I. Le pays. II. La population et ses richesses" (Revue des études slaves. IX. 1929. pp. 71-88; 253-269).

Эти статьи сообщаютъ драгоцѣнный матеріалъ по вопросу, как представляла себѣ Россію средневѣковая французская литература, и особенно chansons de geste. В 1930 г. вышла большая статья "Recherches sur les sources du credo de Joinville", напечатанная в Neuphilologische Mitteilungen, XXXI (1930), 170-231. Здѣсь Г. Л., на основаніи рукописи Парижской Національной Библіотеки дает и комментирует небольшой трактат в прозѣ Joinville'a, который об'ясняет апостольскій символъ вѣры. В 1933 г. вышла самая крупная

[1]) Когда мнѣ пришлось быть снова в Аляскѣ в іюнѣ 1941 г., о. Кашеварова уже не было в живых, и я посѣтилъ его могилу.

работа Г. Л. "La bataille de Caresme et de Charnage (Paris, pp. 218). В этой работѣ Г. Л. дает критическое изданіе стихотворнаго средневѣковаго текста, представляющаго собой пародію на chansons de geste, гдѣ авторъ нападаетъ на постъ и прославляетъ пріятность жизни. Изданіе текста сопровождается обширнымъ ученымъ комментаріемъ и глоссаріемъ. В 1936 г. появилась интересная статья Г. Л. "La première littérature russe: Histoire d'un plagiat", касающаяся анонимнаго нѣмецкаго сочиненія о русскихъ писателяхъ, напечатаннаго в Лейпцигѣ в 1768 г. (Revue des études slaves, XVI, 5-17). В 1937 г. Г. Л. напечатал увлекательную статью "La littérature française et Pouchkine" (Revue de littérature comparée, janvier-mars 1937, 37-63). В этой статьѣ онъ говоритъ о вліяніи французской литературы на начальный періодъ творчества Пушкина; не лишены юмора и даже нѣкоторой пикантности страницы, гдѣ Г. Л. опровергаетъ тезисъ профессора В. Сиповскаго, что La Nouvelle Héloïse Руссо послужила образцомъ для письма Татьяны. В том же 1937 г. Г. Л. напечатал обстоятельную рецензію на книгу Emilie Dahuk "L'Hérésie de Faurel" (Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 1937, nos 11-12, sp. 400-403).

В 1938 г. Г. Л. выпустил книгу „De Saint Bon évêque de Clermont. Miracle vérifié par Gautier de Coinci" (Annales Academiae Scientiarum Feunicae, XI, I. Helsinki, 1938, pp. 133).

В этой книгѣ Г. Л. далъ критическое изданіе легенды о Клермонтскомъ епископѣ Бонѣ и снабдилъ его подробнымъ комментаріемъ. В 1938 г. появились статьи Г. Л. об Аляскѣ, о которыхъ я говорилъ выше. Послѣдняя статья Г. Л., которую я знаю, была "La légende de Valdaj" (Mélanges en l'honneur de Jules Legras, pp. 6). Она в игривом тонѣ рисуетъ фривольное поведеніе продавщицы баранок в городкѣ Валдай, на дорогѣ из Петербурга в Москву, в XVIII вѣкѣ и началѣ XIX-го, о чемъ в свое время писалъ Радищев в своем знаменитом «Путешествіи из Петербурга в Москву».

Безвременно угасъ Г. Л. Сошла в могилу крупная талантливая личность. Русскіе люди и русская наука потеряли в его лицѣ одного из своихъ выдающихся представителей. Я же лично потерялъ и близкаго, дорогого друга. Вѣчная тебѣ память!

А. А. Васильев.

Сентябрь, 1942.

О ШОСТАКОВИЧѢ

(Вокруг 7-ой симфоніи).

1. Своей необычной «біографіей» симфонія эта немедленно же стала центром вниманія. Она попала в Америку в дни огромнаго нервнаго напряженія, созданнаго героическим русским сопротивленіем и страшным одиночеством Россіи в этом сопротивленіи. Первое исполненіе ея в Нью-Іоркѣ было как бы музыкальным разрядом этого напряженія в общественном сознаніи, факт знаменательный, т. к. за эти страшные годы не было в искусствѣ еще ни единаго событія большого значенія, связаннаго с войной. Но такая «символическая» окраска симфоніи была скорѣе во вред Шостаковичу. Критика внѣ Россіи сбивалась на сужденія к данному сочиненію прямаго отношенія не имѣющія. Воздух, создавшійся вокруг этой вещи в концертном залѣ, явно раздражал тѣх, кто хотѣл судить об этой музыкѣ только «профессіонально», и взвинчивал других, наэлектризованных политикой. Прошло полгода, и теперь хотѣлось бы говорить о ней в болѣе об'ективных тонах. Сочиненіе это само по себѣ ясное, простое и опредѣленное. Но не смотря на событія послѣдних лѣт, о произведеніях продолжают судить с отвлеченной точки зрѣнія, а жизнь идет сама по себѣ. Симфонія Шостаковича свалилась на голову критикам, как еслибы она пришла из «иного міра». Главное затрудненіе для правильной оцѣнки создалось в порядкѣ идеологическаго подхода к ней, который здѣсь не могут до сих пор ни понять, ни принять, и ко всей музыкѣ Шостаковича с момента его переключенія на оффиціальную совѣтскую идеологію. Спорной считается и музыка, и ея идеологическій принцип. А в то же время Шостакович стал сейчас самым популярным автором в Америкѣ послѣ Чайковскаго. Концертныя программы пестрят его именем. Какой странный парадокс.

2. Наиболѣе культурный и серьезный из американских критиков, послѣ перваго же представленія 7-й симфоніи отнесся к ней враждебно. Смысл его утвержденій был в том, что «никакой патріотизм» этой симфоніи не заставит признать ея значительность, что она будет сброшена с вѣсов исторіи и т. д. Но частое повтореніе того же мнѣнія, под разными варіантами, звучало тревожной неувѣренностью.

Доводы его сводятся к тому, что эта музыка хороша «для совѣтской массы, но не для 'знатоков'». Со своей точки зрѣнія критик был, быть может, прав, и нужно было мужество, чтобы пойти против теченія. Но оцѣнка была заблужденіем, именно в силу ея идеологической ошибки. То, к чему он аппеллирует, называлось когда-то «искусством для искусства». Но критерій этот уже давно устарѣл. На основѣ его давно уже ничего цѣннаго не создается. Мы присутствуем теперь при окончательной ликвидаціи эстетики, которую можно было бы называть «искусством **без** искусства». Что придет на смѣну? Неизвѣстно. Мы сейчас на переломѣ. В Россіи идет процесс новой идеологической установки. Мы привыкли думать, что искусство с идеологическим содержаніем есть низшій род искусства, но когда первичные этапы будут пройдены, возможно, что и самая идеологія окажется переработанной и углубленной. В данный момент она находится в первоначальной стадіи, и 7-ая симфонія Шостаковича есть только один из отрѣзков музыкальнаго процесса, еще находящагося в развитіи.

3. Програмная связь симфоніи Шостаковича с событіями войны — прямолинейная. Для музыки сюжеты экстрамузыкальнаго порядка никогда не имѣли серьезнаго значенія. Важно лишь чисто музыкальное рѣшеніе сюжета внутренним, творческим путем. Не внѣшнюю сюжетность я имѣю в виду, когда говорю об идеологической основѣ музыки, а нѣкую иную связь, болѣе органическую и глубинную, опредѣляющую самую природу языка и звуковую матерію в ея кристаллизаціи. Разрѣшен ли сюжет 7-ой симфоніи Шостаковича не в видѣ только батальной композиціи, а в порядкѣ чисто музыкальном? С моей точки зрѣнія — несомнѣнно, и в этом ея цѣнность. Иначе не о чем было бы и говорить. Связь с войной в симфоніи существует, и сочиненіе тѣм самым принадлежит к разряду програмных. Тип этого рода сочиненій давно вышел из моды и Шостакович нас к нему возвращает. При поверхностном слушаньи, это «батальное полотно», с лирическими отступленіями. Можно предположить, что его симфонія была начата до нашествія нѣмцев на Россію, а затѣм она с событіями войны срослась внутренне. Вѣроятно, и форма ея опредѣлилась событіями войны. Но за этим первым планом есть другой, болѣе значительный. Послѣ кризиса, через который он прошел, о котором много в свое время говорилось, послѣ обвиненій в «лѣвацких загибах», «формализмѣ», связи с европейской «упадочной идео-

логіей» и пр. он был выбит из обычной колеи типичнаго для того времени модерниста. У него мог бы создаться протест против насилія и давленія офиціальной доктрины, и тогда ему оставалось бы замкнуться в себѣ и замолчать. Но он не пошел по этому пути, а подчинился, что гораздо любопытнѣе. С этого момента начинался для него новый эксперимент. Офиціальная эстетика была принята им, как догма, не подлежащая обсужденію. На этой догматикѣ с тѣх пор идет развитіе его музыкальнаго мышленія, и ей же подчинена категорія его личных чувствованій. Индивидуальное, свободное сознаніе и капризную волю артиста он хочет замѣнить сознаніем коллективным. Но Шостакович не мог ограничиться слѣпым подчиненіем. Перед ним, как музыкантом встали задачи, возникающія в связи с этим коллективным опытом, и он разрѣшал их самостоятельно. Первая из них, предѣльное упрощеніе техники, с тѣм, чтобы сдѣлать музыкальный язык общедоступным и выразительным. Вторая, добываніе новаго звукового матеріала, близкаго массам слушателей, найденнаго в самой толщѣ этой массы, и являющагося ея собственным достояніем.

4. Вопросы об измѣненіи принципов музыкальнаго творчества и формы в связи с измѣненіем идеологіи народов и общих процессов культуры сложны. Упрощенныя рѣшенія их ни к чему не приводят, кромѣ как к измѣненію названій сочиненій. Нужны поколѣнія, чтобы измѣнить хотя бы только интонаціонное начало музыкальной рѣчи. В мадригалах итальянскаго и испанскаго ренессанса все же звучат церковные гимны. В революціонных гимнах звучат порой протестантскіе хоры, если композиторы, сочинявшіе их на революціонныя слова, не умѣли отдѣлаться от 4-х голоснаго протестантскаго хорала. Органически новое приходит на смѣну прошлому с большим трудом, и через большіе періоды времени. В Россіи этот процесс измѣненія становится едва замѣтен только теперь. До сих пор задача русских музыкантов сводилась к тому, что они музыкальное наслѣдство прошлаго стремились перевоплотить, сдѣлав его достояніем новой публики. Но вмѣсто органической переработки, обычно получалась упрощенная популяризація. Таковы были и 5-ая и 6-ая симфоніи Шостаковича. Насыщенность дарованіем чувствуется и в них, но сквозь насиліе автора над самим собою. В 5-ой есть моменты очень красивой музыки. Есть они и в 6-ой, но это только отдѣльныя вспышки, перемежающіяся с длинными періодами реторики.

Поскольку звуковая интонація есть первооснова музыкальнаго языка, Шостаковичу пришлось заняться добываніем новых интонацій для выраженій своих музыкальных идей. В 7-ой симфоніи есть уже не только поиски, но и достиженія в области таких интонацій, и онѣ уже гораздо меньше сбиваются на эклектику общеевропейскаго типа звучностей. Мелос Шостаковича все больше совѣтизируется. В тѣх моментах, гдѣ он оригинален, его интонаціонная система основана на элементарной простецкой мелодикѣ. Его мелос не народно-русскій, крестьянскій, а совѣтско-городской, рабочій и пролетарскій. Его русскіе корни в частушках, а не запѣваніях-распѣвах древней Руси.

Шостакович очень элементарен. Он ставит перед собой цѣли, предѣльно упрощая пути к ним. Если его музыка не понятна массам, значит она плоха. Прежде, композитор считал, что если публика его не понимает, значит плоха публика. Художник обязан быть доступным и понятным. Он на службѣ у народа и подчинен ему. В Россіи существует **живая связь** между артистом и аудиторіей. Шостакович правдив, когда говорит, что пишет для рядоваго совѣтскаго слушателя.

Проблема упрощенія техники и «приближенія к массам» — не нова. Она періодически возникала в музыкѣ. Бетховен в свое время казался грубым упрощеніем в сравненіи с Моцартом. Лапидарный Стравинскій «Весны священной» казался «грубой реакціей» послѣ Скрябина и Дебюсси... Бетховен искал «сближенія с массами» — Моцарт об этом не думал. В его время даже и понятія такого не существовало. Но Моцарт думал о публикѣ и связь с публикой осуществлялась для него через театр. С паденіем театра теряется послѣдняя связь в музыкѣ с большой аудиторіей. Симфонія 19-го ст. пытается стать чѣм-то вродѣ театральнаго дѣйствія. Создается комплекс симфоніи, связанный с личностью автора почти автобіографической связью. Технически изощряясь, симфоническая музыка замыкается в узко профессіональную сферу. Возникает благопріятная почва для опустошеннаго искусства. Музыка мѣшает «работѣ» композитора, мѣшает «конструкціи». Значеніе Шостаковича в том, что он рѣшительно «повернулся лицом к массам». Но если 5-ая и 6-ая симфоніи шли к массам путем популяризаціи, то в 7-ой есть двойная тенденція: и приближеніе к массам, и стремленіе приблизить их к музыкѣ. Тенденція в сторону чистой музыки проявляется пока еще как бы в замаскированном видѣ: там, гдѣ Шостакович дает волю своему музыкальному вообра-

женію, это моменты самые цѣнные. В них есть и ряд формальных исканій, и острая, чисто музыкальная изобрѣтательность.

5. Безусловно цѣнна вся экспозиція главной темы 1-ой части симфоніи. Затѣм почти вся вторая часть. Очень красив в ней лирическій эпизод, в котором любопытно то, что аккомпанимент звучит значительнѣе, чѣм сама мелодическая линія солирующих деревянных. Очень занятен эпизод вальсообразной музыки, с «фальшивыми» нотами терпко оттѣняющими ритмическіе акценты. Наконец, в той же части прелестен заключительный період, когда в низком регистрѣ басов неожиданно появляется тембр контрбасового кларнета, в сочетаніи с арфами, взятыми в высоком регистрѣ и связанными терціями флейт. Очень красива слегка архаизированная музыка вступительных тактов 3-ей части, и в особенности эпизод траурной пѣсни, изложенный в формѣ свободнаго хорала в широком движеніи гармонических вертикалей. Значительно слабѣе вступленіе одних струнных, откровенно напоминая типичную музыку итальянских concerto grosso. Странно, что Шостакович к концу этой части дает буквально репризу всего періода, в то время, как нигдѣ в симфоніи буквальныя повторенія не встрѣчаются. Повидимому эта струнная музыка настолько ему понравилась, что он не смог отказать себѣ в удовольствіи повторить ее. Все изложеніе главной темы 1-ой части ряд критиков считают прямой копіей «Болеро» Равеля. Но Шостакович взял у Равеля не музыку его Болеро, и даже не форму пьесы, а только форму повторенія все время одного и того же музыкальнаго періода, развивающагося в динамической прогрессіи. Все время повторяется тот же мотив, который непрерывно нарастает. Но тогда и Равеля можно было бы обвинить в том, что он эту форму взял у Грига (Gnomen-reigen), да и у других. Шостакович не повторяет механически свой мотив, как Равель в «Болеро». Он видоизмѣняет строфу ассиметрическим ея повторенiем, и ролью в ней мелодическаго каданса. Пошленькій, нарочито глупый мотив появляется как бы насвистанный сквозь зубы, на фонѣ мелкой дроби барабанчика. Мотив этот звучит иронически, является как бы маской. Шостакович берет «первое попавшееся». Такой мотивчик может насвистывать любой совѣтскій прохожій, в нем есть нѣчто от Зощенковских персонажей. А разрѣшается этот мотив в грозовые раскаты, пріобрѣтающіе характер драматическій и угрожающій... Отдаленное сходство скорѣе

можно найти с мотивом Берліозовской симфоніи («шествіе на казнь»). Наименѣе удачна вступительная тема 1-ой части, мало выразительная и слишком длинная. Coda симфоніи, с ея заключительным нарастаніем звучностей, кажется мнѣ данью оффиціальному оптимизму. Внутреннее напряженіе в музыкѣ падает, несмотря на огромный шум в оркестрѣ.

6. Музыка Шостаковича дает большой простор произволу дирижера. Ее можно сжимать или же расширять в зависимости от ритмическаго истолкованія и насыщенія экспрессіей, так как динамика у Шостаковича чаще всего не конструктивна, а эмоціональна. Но вѣдь то же самое можно сказать и о Чайковском, с которым у Шостаковича несомнѣнно большая близость. Шостакович это почти Чайковскій, на совѣтскій лад. Оба склонны к эклектизму, у обоих музыка не первозданная, а взятая отовсюду. Чайковскій суб'ективен со склонностью к надрыву, Шостакович — безлично об'ективен и внутренне уравновѣшен совѣтской дисциплиной. Прямого сходства в самой музыкѣ у них нѣт. Чайковскаго в свое время тоже обвиняли в вульгарности, подражательности и пр. Есть у них общее и в принципах оркестроваго колорита, у обоих почти безкрасочнаго, и основаннаго больше на экспрессіи, чѣм на цвѣтѣ. В частности 7-я Шостаковича мнѣ кажется ближе всего к 6-ой Чайковскаго. Их сближает импровизаціонный пафос и свободная, разомкнутая форма. Прежде у Шостаковича было много озорства. При помощи темпераментной разнузданности и ухарства он хотѣл выразить совѣтскую народность. 7-ая симфоня подкупает искренностью, взволнованностью и внутренней скромностью, что ставит ее в разряд значительных произведеній времени. Не будем гадать о ея будущем, но для даннаго момента она является музыкальным портретом нашей многострадальной Родины.

Артур Лурье.

БИБЛІОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ

THE TRUTH ABOUT SOVIET RUSSIA, by **Sidney and Beatrice Webb.** Longmans, Green and Co., New York, 1942

Эта небольшая книжка, пожалуй, не заслуживала бы отзыва, если бы не прославленныя имена ея авторов. Вѣрнѣе — автора, так как она написана Беатрисой Уэбб, «с вѣдома и одобренія» ея «жизненнаго спутника». В ней мало новаго для тѣх, кто читал двухтомную книгу Уэббов о совѣтской Россіи, вышедшую нѣсколько лѣт тому назад. Но оттого, что основные выводы большой книги повторены здѣсь в сжатой и болѣе категорической формѣ, они принимают еще болѣе разительный характер. Прежнее утвержденіе о том, что в Россіи нѣт диктатуры, дополняется теперь ссылкой на «строго-конституціонное» положеніе Сталина как «премьера» совѣтскаго правительства. Болѣе того, по убѣжденію Беатрисы Уэбб, власть Сталина куда болѣе ограничена чѣм власть Рузвельта в Америкѣ и Черчилля в Англіи. И вообще, на основаніи конституціи 1936 года, совѣтскій строй является сейчас «наиболѣе всеоб'емлющей и уравнительной (most inclusive and equalized) демократіей в мірѣ». К тому же демократія эта не узко-политическая, а «многосторонняя (multiform)». Она проявляется и в профессіональных союзах, и в кооперативах (и тѣ и другіе именно с этой цѣлью и были «созданы» Лениным и Сталиным) и, наконец, в колхозах. Даже сама коммунистическая партія, по своей структурѣ, является образцом демократичности. В этом отношеніи ее можно сравнить с ассоціаціями адвокатов или врачей в Англіи, но отнюдь не с такими «олигархіями» как англиканская или католическая церкви.

Автор понимает, что однопартійная система может смущать западных либералов и демократов. Но как иначе могла бы большевицкая партія (по историческим изысканіям Беатрисы Уэбб образовавшаяся в 1898 году и до Ленина возглавлявшаяся Плехановым) выполнять свою миссію культурнаго и политическаго воспитанія многомилліоннаго, разноплеменнаго, в большинствѣ своем безграмотнаго населенія Россіи? Вѣдь вот же пришлось и Кемалю в Турціи перейти к однопартійной системѣ. И развѣ не показательно, что только Россія и Турція уцѣлѣли в переживаемом Европой кризисѣ в то время, как страны, в которых было много партій, всѣ были сокрушены Гитлером? Для вящей убѣдительности имѣется и ученая ссылка на проф. Макмиллана, неопровержимо доказавшаго в

своих трудах, посвященных туземному населенію Южной Африки и Вест Индіи, что «безграмотные и нецивилизованные народы должны пройти через періодъ политическаго воспитанія, прежде чѣм имъ можетъ быть предоставлено самоуправленіе.»

Беатрису Уэбб смущают и нѣкоторыя другія стороны совѣтскаго режима, но она успокаиваетъ себя и читателей тѣм, что это все, по словам Ленина, «дѣтскія болѣзни». Сюда относятся, между прочим, и знаменитыя «чистки»! Совершенно очаровательно об'ясненіе, которое дается слегка шокирующему нашего автора культу Сталина (the idolization of the leader). Оказывается, что послѣ смерти Ленина надо было создать какой-нибудь новый личный символъ для ста шестидесяти милліонов жителей Совѣтскаго Союза, «в большинствѣ своем безграмотных, плачевно суевѣрных, и неспособных понять новую коммунистическую философію». И вот между лидерами коммунистической партіи «состоялось м о л ч а л и в о е с о г л а ш е н і е» о том, чтобы в глазах народа Сталин был «раздут» (boosted) до размѣров такого верховнаго вождя.

Такова Уэббовская «правда о совѣтской Россіи». Поневолѣ приходится еще раз задуматься над вопросом о том, как могли дойти до такой степени потери чувства реальности люди, за которыми в прошлом числятся не только многіе годы блестящей и плодотворной общественной работы, но и внушительные тома разных изслѣдованій, отличающихся прежде всего стремленіем к практической обоснованности? Какіе соблазны привели этих нѣкогда выдающихся представителей эволюціоннаго соціализма к преклоненію перед режимом Сталинской диктатуры? Это, конечно, большая и сложная тема, и обсуждать ее в предѣлах настоящей замѣтки было бы невозможно. Но мнѣ хотѣлось бы сдѣлать лишь одно замѣчаніе насчет того направленія, в котором можно было бы искать отвѣта на поставленный мною вопрос.

Не лежат ли корни теперешняго грѣхопаденія Уэббов в нѣкоторых изначальных чертах созданнаго ими Фабіанскаго движенія? Многіе из нас привыкли думать о Фабіанствѣ, как об одной из разновидностей д е м о к р а т и ч е с к а г о соціализма. Но так ли это? Были ли в Фабіанствѣ эти демократическіе мотивы? Не было ли для него характерно, скорѣе политическое безразличіе, заставлявшее Уэббов не только относиться равнодушно или даже недоброжелательно к первым попыткам созданія Рабочей Партіи в Англіи, но и опредѣленно стремиться к сотрудничеству с консервативным правительством Джозефа Чемберлена, в самый разгар имперіалистической политики послѣняго? В замѣчательной «Исторіи Англійскаго Народа» Галеви два этих явленія — Чемберленовскій

тип имперіализма и Фабіанство Уэббов — одинаково выводятся из одного и того же источника: распространившагося в то время в Англіи преклоненія перед мощью и успѣхами созданной Бисмарком германской имперіи. И самый соціализм Фабіанцев, по этому толкованію, вдохновлялся главным образом государственным соціализмом прусскаго образца. Сильная власть, регулирующая экономическую жизнь по указаніям экспертов, — вот как может быть формулированъ политическій идеал Уэббов уже в ранній період их дѣятельности.

В совѣтском режимѣ их и соблазнили, очевидно, неограниченныя возможности экономическаго планированія. А что при этом создан режим политической диктатуры и уничтожена личная свобода, этого Уэббы в своем «организаціонном фетишизмѣ» стараются не замѣчать. В крайнем случаѣ эти «частности» можно об'яснить, как преходящія и мало-опасныя «дѣтскія болѣзни».

М. Карповичъ.

ГЕРМАНСКІЙ ВОПРОС И НѢМЕЦКІЕ СОЦІАЛИСТЫ

«Германскій вопрос» — вопрос о том, как послѣ побѣды союзников должны поступить с Германіей побѣдители волнует умы политических дѣятелей всего міра, включая и нѣмецких соціалистов и демократов. Авторы ниже названных трех брошюр — виднѣйшіе представители германской соціал-демократіи, живущіе сейчас в эмиграціи, являются «пораженцами». Но в вопросѣ о том, как союзники должны поступить с Германіей послѣ побѣды, между ними существуют глубокія разногласія.

Автор первой брошюры — Вильгельм Зольман, в прошлом видный член с.-д. фракціи рейхстага, занимавшій пост министра внутренних дѣл в коалиціонном кабинетѣ Штреземана, — считает, что причиной настоящей войны является нѣмецкій націонализм, поддержанный представителями германской тяжелой индустріи, юнкерством, значительной частью интеллигенціи и нѣкоторыми слоями крестьянства, и средних классов, издавна стремившійся к господ-

HOW TO DEAL WITH GERMANY by **F. Wilhelm Sollmann** American Peace Society, Washington, D. C.

GOLLANCZ IN GERMAN WONDERLAND by **Curt Geyer & Walter Loeb** Hutchinson & Co., Ltd., London, New York, Melbourne

THE GERMAN WORKERS MOVEMENT AND GERMAN NATIONALISM by the **Executive Committee of the Social Democratic Party of Germany, London**

ству над всей Европой. Зольман полагает, что если бы союзники твердо и ясно заявили нѣмцам, что цѣлью их в этой войнѣ является лишь уничтоженіе гитлеризма и германскаго милитаризма, а не расчлененіе Германіи и сокрушеніе ея хозяйственной мощи, то это могло бы ускорить побѣду над Гитлером. Он протестует против широко распространеннаго мнѣнія, что весь нѣмецкій народ отвѣтственен за имперіалистическую политику германских націоналистов. Даже во время Вильгельма II, — говорит он, — почти половина нѣмецких граждан голосовала против его имперіалистической политики, а цѣлая треть избирателей отдавала голоса соціал-демократам. Нѣт никаких данных утверждать, что большинство нѣмецкаго народа одобряло или одобряет агрессивную политику Гитлера. На послѣдних свободных выборах в рейхстаг, 6-го ноября 1932 года, наци вмѣстѣ со своими союзниками, т. н. «Дейтш-Націонале», получили лишь 14.700.000 голосов, против 20 милліонов поданных за их противников. Гитлер потому именно так жестоко и преслѣдовал всю политическую и религіозную оппозицію, что эти элементы были сторонниками интернаціональнаго соглашенія и мирнаго сотрудничества со всѣми народами. Но революція в Германіи, по мнѣнію Зольмана, невозможна пока мощь Гитлера не будет сломлена, а это может произойти только в результатѣ военнаго пораженія. Всякая попытка созданія новаго строя в Европѣ заранѣе будет осуждена на неудачу, если побѣдители, при выработкѣ плана новой Европы не будут считаться со страхом перед Германіей, который испытывают всѣ европейскіе народы. Этот страх все время существовал с перваго же дня провозглашенія Германской Имперіи в 1871 году в Версалѣ. Версаль 1920 года был лишь результатом страха перед Германіей. Германскій милитаризм должен быть уничтожен, но Германіи должно быть предоставлено мѣсто в Европѣ, которое дало бы ей возможность экономически дальше развиваться и в то же время лишило бы ее возможности когда-лнбо в будущем нарушить мир в Европѣ. Зольман рѣшительно выступает как против планов расчлененія Германіи на ея составные части, так и против предложенія о том, чтобы Германія было поставлена под постоянный международный контроль. По его мнѣнію, это самый утопическій из всѣх утопических планов. Германія существовала как единая политическая и хозяйственная сила в теченіе цѣлых семндесяти лѣт. Чувство національнаго единства всегда оказывалось самой могущественной политической силой в Германіи. Побѣдоносные союзники в состоянін будут расчленить Германію, но ни одна консервативная, либеральная или соціалистическая группа никогда не даст своего согласія на это. Если средн нѣмецких эмигрантов найдутся такія отдѣльныя лица, которыя согласятся служить режиму, навя-

занному Германіи извнѣ, то можно быть заранѣе увѣренным, что они будут пользоваться у нѣмецкаго народа не лучшей репутаціей, чѣм Лаваль у французов или Квизлинг у норвежцев. Они смогут держаться у власти только при помощи иностранных штыков. Без добровольнаго сотрудничества нѣмецкаго народа возстановленіе Европы невозможно. Это, однако, не значит, что нужно простить Германіи всѣ преступленія, совершенные ею в теченіе послѣдних десяти лѣт. «Нѣмецкій народ, — пишет Зольман, — должен взять на себя большую часть отвѣтственности за диктатуру Гитлера и за разрушеніе Европы. Это есть требованіе справедливости и одновременно является моральным базисом для начала замиренія Европы. Нѣмцы должны, еще до мирной конференціи, принять слѣдующія условія: наказать представителей нацистскаго режима, отвѣтственных за террор в самой Германіи, начиная с 1933 года. Всѣ члены нацистской партіи и активно им сочувствующіе должны быть лишены политических прав на долгій період, а часть из них на всю жизнь. Милліоны должны быть мобилизованы в рабочіе батальоны, задачей которых будет помогать возстановленію разрушенных нѣмцами стран и обратному переселенію к себѣ на родину семейств, согнанных из своих насиженных мѣст германской властью. Земля крупных земледѣльцев должна быть конфискована и использована для поселенія на ней крестьян и рабочих. Всѣ теперешніе руководители германской тяжелой индустріи должны быть замѣнены дѣятелями, которые преслѣдовались наци. Сама же индустрія должна быть поставлена под постоянный общественный контроль. Весь политическій строй и школьная система должны быть реорганизованы на демократических началах с помощью совѣщательных комиссій, составленных из заслуживающих полнѣйшаго довѣрія демократических экспертов самой Германіи, а также стран с долголѣтним демократическим опытом, как Соединенные Штаты, Швеція, Данія, Норвегія и Швейцарія. Армія и полиція должны быть сокращены до минимума, который сдѣлал бы невозможным в будущем со стороны Германіи какую-либо агрессію. Но Зольман, как и большинство нѣмецких с.-д., против разоруженія одних только побѣжденных стран,.

«Я думаю, — пишет он, — что через два-три года (он писал это в началѣ 1942 года. Д.Ш.) союзники будут в состояніи навязать Германіи мир «мести и наказанія». Такой мир сможет удовлетворить желаніе отомстить Германіи за всѣ ея насилія над справедливостью, но результаты такого мира были бы очень сомнительны, по крайней мѣрѣ, с точки зрѣнія дѣйствительнаго завоеванія умов нѣмецких народных масс для идей внутренней и международной демократіи. Агрессивный и вызывающій нѣмецкій націонализм

может быть осилен только новым національным строем в самой Германіи и новым соціальным строем в Европѣ, который исключал бы какое бы то ни было доминированіе Германіи, а также сдѣлал бы невозможным, чтобы какая либо другая держава или группа держав могли стать единственными вершителями судеб европейскаго континента.

Иначе подходят к рѣшенію германскаго вопроса Курт Гайер и Вальтер Лэб в их брошюрѣ «Голланц в странѣ нѣмецких чудес», вышедшей в Лондонѣ. Формально брошюра эта является отвѣтом на книгу извѣстнаго издателя, лѣваго соціалиста и большевизана Виктора Голланца: «Должны ли наши дѣти жить или умереть?» По существу же, она является полемикой против позиціи большинства вождей нѣмецкой соціал-домократіи в вопросах о войнѣ и мирѣ. Курт Гайер до недавняго времени видный член Форштанда (Ц. К.) германской с.-д. партіи и бывшій главный редактор ея центральнаго органа «Нейе Форвертс». выходившаго с 1933 г. до 1940 г., сначала в Прагѣ, а потом в Парижѣ. Вальтер Лэб также старый заслуженный дѣятель германской соціал-демократіи. Оба они рѣзко выступают против тѣх европейских и американских соціалистов и радикалов, которые считают что германская проблема будет разрѣшена, как только в Германіи произойдет революція, и что поэтому союзники должны сдѣлать все возможное, чтобы приблизить час этой революціи. На самом дѣлѣ, нѣмецкія народныя массы, по по природѣ своей, не революціонны. Соціалистическая пропаганда, правда, имѣла глубокое вліяніе на нѣмецких рабочих, но для них соціализм всегда был лишь идеалом будущаго, своего рода религіей, но не дѣлом практической политики. Гораздо болѣе сильное вліяніе на политическое мышленіе германских народных масс имѣл нѣмецкій націонализм, носителями коего были совсѣм не юнкеры, и не представители тяжелой индустріи, а нѣмецкая интеллигенція. В 1914 году весь нѣмецкій народ поддерживал агрессивную политику Вильгельма II. Вся Германія тогда была за войну. И тогда нѣмцы утверждали, что это «революціонная война против англо-американскаго капитализма». (Выраженіе адмирала фон-Тирпица). Германскій націонализм хорошо умѣл скрывать свое настоящее лицо под различными масками. Позиція нѣмецкой интеллигенціи в войнѣ 1914-1918 г.г. не может быть забыта. Почти вся она тогда была до мозга костей пропитана духом шовинизма. И даже германское рабочее движеніе в той войнѣ шло рука об руку с правительством Вильгельма II. Ни один другой народ не относится с таким презрѣніем к другим народам, как нѣмцы. Поляки для них — низшій народ; чехи и словаки «грязные существа»; русскіе — просто «свиньи», а югославы «банда конокрадов». Так смотрят на другіе

народы не только капиталисты и юнкеры, но и нѣмецкія народныя массы. Пока германскія арміи побѣждали в той войнѣ, нѣмецкія массы поддерживали свое правительство. Крушеніе военнаго могущества Германіи осенью 1918 года явилось полной неожиданностью для организованной оппозиціи в Германіи. Девять десятых членов рейхстага, избраннаго до войны на основѣ всеобщаго прямаго и тайнаго голосованія, до послѣдней минуты поддерживали политику Гинденбурга и Людендорфа, обѣщавших им «германскій мир». Революція 1918 года была почти насильно навязана нѣмецкому народу. Даже большинство соціал-демократов не хотѣло ея. Многіе нѣмецкіе рабочіе считали в то время, что демократія лишь средство в руках капиталистов для угнетенія рабочих, и стремились к «диктатурѣ пролетаріата». В не-соціалистическом лагерѣ лишь одна Демократическая партія была послѣдовательно демократической, но эта партія не пользовалась вліяніем. Лишь при выборах в Учредительное Собраніе, в Ноябрѣ 1919 года, она получила 18 процентов голосов. В 1932 году число голосов Демократической Партіи пало до о д н о г о процента. Демократичность остальных буржуазных партій была сомнительной. За все время существованія Веймарской республики, республиканскія партіи (соціал-демократы, демократы, католическій центр и Баварская Народная Партія) лишь один раз, при выборах в Учредительное Собраніе, получили вмѣстѣ 68% голосов. Но уже через год, при выборах в рейхстаг в 1920 г., они получили 48%, а в 1924 году 43, в 1928 году — 50, в іюнѣ 1932 года — 36, а в 1933 году — всего лишь 33 процента.

Авторы брошюры доказывают вздорность утвержденія нѣмецких націоналистов и многих европейских и американских радикалов и пацифистов, будто гитлеризм и новая міровая война явились результатом версальскаго договора. По мнѣнію авторов, Версальскій трактат был самым справедливым мирным договором, который возможен был при данных условіях. Неправда, что Версальскій договор экономически обезсилил Германію. Германія на самом дѣлѣ вскорѣ послѣ Версаля экономически расцвѣла. Невѣрно также и утвержденіе многих, будто гитлеризм побѣдил в Германіи вслѣдствіи отчаянія, охватившаго нѣмецкія народныя массы в годы міроваго экономическаго кризиса. Почему, спрашивают авторы, нѣмецкія массы в своем отчаяніи избрали своим Мессіей именно Гитлера? Германія меньше других стран пострадала от кризиса. Огромныя богатства, накопленныя Германіей до 1929 г., не исчезли и в годы кризиса. Лучшим доказательством этому служил тот факт, что Гитлер в теченіе двух лѣт в состояніи был создать самый могущественный в мірѣ воздушный флот, самую сильную армію, а также довольно значительный морской флот. Англичане гораздо

больше чѣм нѣмцы пострадали от мірового кризиса. В Англіи безработица пропорціонально была больше, чѣм в Германіи. Каким же образом Гитлер пришел к власти как вождь величайшаго народнаго движенія, в то время как в Англіи фашисты не пользовались никаким вліяніем? На это может быть только один ответ: гитлеровская система это Германія, а не только диктатура націи. Нѣмецкій народ со своими милитаристическими традиціями, со своей неутолимой жаждой господства находится теперь на вершинѣ своего могущества. На этот раз Германія не сдастся, пока ея военная мощь не будет сломлена. Ожидать, что побѣжденный народ послѣ пораженія совершит революцію, которая могла бы служить примѣром для новой соціальной организаціи Европы — безсмысленно. Побѣдители должны будут сами реорганизовать мир, и никто не может снять с них эту ответственность. Нѣмецкая армія в настоящее время включает болѣе десяти процентов населенія. Она дѣйствительно представляет собой вооруженный народ. Тѣ, которые говорят о войнѣ против гитлеризма, а не против Германіи, просто закрывают глаза на этот факт.

Гайер и Лэб убѣждены, что революціи в Германіи не будет, пока у нѣмцев сохранится хоть малѣйшая надежда выиграть войну. Какіе элементы могут совершить революцію? Будет ли эта революція направлена против абстрактнаго понятія «капитализм»? Будут ли вожди этой революціи утверждать, что народныя массы не отвѣтственны за войну, и что революція направлена против имущих классов — «истинных виновников войны»? В этом случаѣ, революція будет основана на лжи. Что же касается милліонов коммунистически настроенных рабочих, то они послѣ побѣды Гитлера массами перешли в ряды націи, и не за страх, но за совѣсть служат режиму.

Лѣвые соціалисты мечтают о революціи в Германіи на подобіе большевистской революціи в Россіи. «Мы не хотим такого рода революціи, — пишут Гайер и Лэб, — ибо мы жаждем с в о б о д ы».

Бывшій нацистскій лидер Отто Штрассер, до сих пор являющійся сторонником тоталитарнаго государства, теперь тоже выдвигает требованіе конфискаціи имущества крупных землевладѣльцев и магнатов промышленности, как и уничтоженія власти милитаристов. Націоналистическій и тоталитарный характер государства для него важнѣе его соціальнаго строенія. В 1919 году многіе нѣмецкіе генералы и часть высшаго офицерства также были готовы ввести «націонал-большевизм» в Германіи. В 1933 году лозунг «настоящей революціи» пользовался большой популярностью в кругах лѣвых націонал-соціалистов и можно быть увѣренным, что если Германія начнет терять войну, часть гитлеровцев, постарается взвалить вину

за пораженія на «буржуазію». Однако, наивно думать, что введеніе плановаго хозяйства автоматически приведет в нормальное состояніе нѣмецкую молодежь, насквозь пропитанную ядом шовинизма. Соціалисты должны прежде всего имѣть перед своими глазами либеральныя и гуманитарныя цѣли соціализма. Глубокій смысл соціализма, это его безкомпромиссное требованіе справедливости для всѣх и упаженіе к человѣческой личности. Союзники должны имѣть в виду, что процесс превращенія Германіи в настоящую демократію будет очень тяжелым и длительным. Полнѣйшее разоруженіе Германіи необходимо не только в интересах безопасности другіх стран, но и для перевоспитанія самаго нѣмецкаго народа. Побѣдоносные союзники должны на этот раз оставить за собой право контроля над Германіей и вмѣшательства в ея внутреннія дѣла каждый раз, когда интересы мира и безопасности Европы этого потребуют. Каждая будущая партія нѣмецкой демократіи, которая искренно будет стремиться к возвращенію Германіи в семью европейских народов, не только должна будет признать справедливость этого, но она сама вынуждена будет на этом настаивать. День побѣды союзных націй не будет днем побѣды для будущей демократической партіи в Германіи. Он будет только началом борьбы этой партіи за свое вліяніе на нѣмецкія народныя массы. Без сильной поддержки побѣдителей, без международнаго контроля, эта партія с самаго начала была бы осуждена на безсиліе. Самое возникновеніе такой партіи в Германіи невозможно, пока союзники не оккупируют Германію. Задачей этой партіи будет заново перевоспитать нѣмецкій народ. Но даже нѣмецкій соціализм сильно нуждается в перевоспитаніи.

Представители Ц. К. германской соціал-демократіи (Фогель, Оленгауэр и Гейне) в своей брошюрѣ «Германское рабочее движеніе и нѣмецкій націонализм». являющейся отвѣтом Гейэру и Лэбу, стараются главным образом оправдать политику с.-д. партіи в прошлом. Они рѣшительно возстают против тезиса о прирожденном, так сказать, агрессивном націонализмѣ всего германскаго народа. Сам Гейер в прошлом проводил рѣзкую грань между Гитлером и большинством нѣмецкаго народа и доказывал, что нельзя дѣлать отвѣтственным весь нѣмецкій народ за войну и за преступленія наци. Нѣмецкій націонализм дѣйствительно представляет собой могущественную и опасную силу для всей Европы. Но соціал-демократы всегда боролись против него. Только послѣ борьбы, длившейся цѣлых тринадцать лѣт, агрессивный націонализм побѣдил германскую демократію и рабочій класс. Германскіе соціалисты фактически были первыми жертвами нацизма. За все время существованія республики соціал-демократы неустанно боро-

лись за то, чтобы Германія честно и искренно выполняла обязательства, принятыя ею по Версальскому договору. На послѣдних свободных выборах в Рейхстаг, в мартѣ 1933 года больше семи милліонов мужчин и женщин подали свои голоса за их кандидатов. Они сдѣлали это несмотря на то, что всѣ с.-д. газеты были уже закрыты и не взирая на опасность, грозившую их свободѣ и жизни со стороны нацистских террористов. Гитлер потому и обрушился всей силой своей террористической машины в первую очередь на соціал-демкратов, что они были рѣшительными сторонниками мира и сотрудничества со всѣми другими странами. Гитлер никогда не опрашивал нѣмецкій народ, желает ли он нападенія на Польшу. Гдѣ же доказательства, что нѣмецкій народ одобрил нынѣшнюю кровавую бойню? Нѣмецкій народ, правда, пока молчит, но молчаніе оппозиціи в тоталитарных странах отнюдь не может служить доказательством, что она одобряет политику власти. Гитлер лучше всѣх знает настроенія нѣмецкаго народа и именно поэтому он с каждым днем все усиливает террор против самих нѣмцев. Германскіе соціалисты и анти-фашисты в теченіе десяти лѣт сотнями умирали в борьбѣ против Гитлера. Концентраціонные лагери и каторжныя тюрьмы переполнены десятками тысяч нѣмецких антифашистов. По словам авторов, многіе соціалисты до сих пор нелегально работают в Германіи. На многих германских военных заводах рабочіе сознательно замедляют темп работы и оказывают упорное нѣмое сопротивленіе режиму. Однако, честные и искренніе демократы всегда были в меньшинствѣ в Германіи.

В вопросѣ о разоруженіи они согласны с Гейером и Лэбом, а не с Зольманом. Они считают, что полное разоруженіе Германіи явится первым шагом к миру в Европѣ. «Большинство нѣмецких рабочих, — пишут авторы, — дѣйствительно не желают никаких большевистских экспериментов. Они были демократическими соціалистами, и послѣ трех лѣт войны они лишь жаждут мира и ничего кромѣ мира. Долой фашистов всѣх стран! Люди доброй воли в разрушенных странах Европы будут призваны к сотрудничеству для созданія строя, который обезпечит всѣм народам мир, свободу от страха, свободу от нужды и свободу мысли».

Внимательный читатель замѣтит, что члены Ц. К. соціал-демократической партіи не отвѣтили на самый главный вопрос: как добиться того, чтобы Германія стала настоящей демократіей, какими средствами можно преодолѣть агрессивный нѣмецкій націонализм и что должны сдѣлать союзники послѣ побѣды, чтобы предохранить мір от новой агрессіи со стороны Германіи в будущем?

Д. Шуб.

SOVIET RUSSIA'S FOREIGN POLICY 1939-1942, by **David J. Dallin.** Translated by Leon Dennen. Yale University Press, New Haven
DUEL FOR EUROPE, by **John Scott.** Houghton Mifflin Company, Boston

Книги Далина и Скотта написаны в сущности на одну и ту же тему и освѣщеніе, которое оба автора дают совѣтской внѣшней политикѣ послѣднихъ лѣт, во многом очень сходится. И в то же время трудно представить себѣ двѣ книги, болѣе различныя по своему характеру. Авторы как будто сговорились дать яркій образец двух различных типов литературы, посвященной проблемам современности.

Книга Далина явилась результатом чрезвычайно тщательной работы. Автор старался самым точным и исчерпывающим образом обслѣдить весь относящійся к его темѣ матеріал. И хотя в его книгѣ имѣются и нѣкоторыя опущенія и нѣкоторыя ошибки сужденія, его работу нельзя не признать превосходной по своей полнотѣ и по своей тщательности. Далин очень выпукло возстанавливает главную и запутанную цѣпь событій, разобраться в которой очень нелегко и отдѣльныя звенья которых неизбѣжно выпадали из памяти, и книга его не только является предметом для очень интереснаго чтенія, но останется незамѣнимым пособіем для всѣх, кто занимается изученіем совѣтской политики.

Скотт, наоборот, проявляет неряшество, которое необычно даже и для нерѣдко отличающейся изрядным легкомыслієм, модной теперь — и в цѣлом все же очень полезной — корреспондентской литературы. У Скотта мы находим грубѣйшія ошибки в датах. Нѣкоторыя из этих ошибок исправлены на небольшой, приложенной к книгѣ вставкѣ. Но автор так и не замѣчает, что день рожденія Гитлера не 1-ое, а 20-ое апрѣля, и что именно всѣдствіе этой своей ошибки он напутал и в нѣсколькихъ других датах. Он упорно называет Шуленбергом германскаго посла в Москвѣ Шуленбурга. В нѣкоторых случаях ошибки его, из которых я отмѣтил только двѣ для примѣра, являются мелочами, в которых большого вреда нѣт, в других случаях онѣ заставляют сомнѣваться в точности его памяти вообще. Нѣкоторыя его сужденія, как, напр., об англійской политикѣ в 1939 году, очень категоричны, но и совершенно голословны, а иногда и просто наивны. И несмотря на все это, книга его и очень интересна и очень цѣнна, как **источник.** Цѣнна она не разсужденіями автора и не как сводка имѣющагося уже в литературѣ матеріала, а как отчет отличнаго наблюдателя о том, что он видѣл и слышал в самой Россіи. А как наблюдателю совѣтской жизни, Скотту принадлежит совершенно исключительное мѣсто. Прежде чѣм стать корреспондентом, он много лѣт провел в Россіи, как рабочій. Он узнал современный русскій быт не извнѣ, а изнутри

его. Он в совершенствѣ знает языкъ, и онъ имѣлъ, благодаря свему прошлому совѣтскаго рабочаго, и неизмѣримо болѣе широкій и совсѣм иной кругъ знакомых и друзей, чѣм другіе корреспонденты. И он располагает прекрасными данными для наблюденія, острым взглядом и тѣм особым чутьем, благодаря которому хорошій наблюдатель дѣйствительно видит и находит, а не просто констатирует и регистрирует. Наконец — и это особенно важно — Скотт является наблюдателем **честным,** который хочет и умѣет видѣть правду.

В этом послѣднем отношеніи обѣ книги опять-таки сходятся. Работа Далина подкупает своей интеллектуальной честностью, упорным стремленіем автора быть максимально об'ективным. Дальше я укажу на то, что в нѣкоторых случаях его пониманіе об'ективности мнѣ представляется неправильным и приводящим к искаженію исторической перспективы в направленіи, для самаго автора нежелательном. Но сначала я хочу подчеркнуть, каким большим достоинством является то, что Далин не подбирает матеріал, подходящій к тому или иному тэзису, а дает изложеніе фактов, представляющееся ему наиболѣе вѣроятным на основаніи всего найденнаго им матеріала. За послѣднее время мы не были избалованы такой об'ективностью. О содержаніи книги Далина или нужно говорить очень долго или можно ограничиться констатаціей, что автор подробно и систематически излагает всѣ проявленія совѣтской внѣшней политики от весны 1939 года, т. е. от начала переговоров с Англіей и Франціей об образованіи общаго фронта против агрессивной политики Германіи, и до момента окончанія книги т. е. до осени 1942 года. Наиболѣе обширное мѣсто отведено періоду от заключенія совѣто-германскаго пакта до нападенія Германіи на Россію. Как и книга Скотта, книга Далина главным образом посвящена «предисторіи» русско-германской войны. Совѣтской же внѣшней политикѣ послѣ 22-го іюня 1941 года удѣлена примѣрно одна десятая всей книги. На это есть основанія, обусловленныя и характером событій и скудостью доступнаго матеріала. Автор сам оговаривает, что «исторія совѣтской внѣшней политики послѣ начала русско-германской войны по необходимости должна быть краткой и даже схематичной» (стр. 381). Первыя же главы книги, включая введеніе, представляют собою по отношенію к ея наиболѣе пространной и наиболѣе богатой деталями части как бы пролог, однако богато документированный и имѣющій очень существенное значеніе для всего изложенія.

Уже во введеніи Далин старается найти общую формулу для характеристики совѣтской внѣшней политики во всей ея совокупности. Задача очень нелегкая, и то рѣшеніе, которое дает ей

Далин, меня не удовлетворяет. Он характеризует внѣшнюю политику Совѣтской Россіи, как политику «сознательной и гордой изоляціи, избѣганія коалицій, союзов или блоков с «сильными странами міра», выражающей стремленіе оставаться в положеніи «третьей силы» по отношенію к существующим двум коалиціям» (ст. 15-16). Из контекста совершенно ясно, что автор относит эту характеристику ко **всей** внѣшней политикѣ Совѣтской или, как он один раз говорит, «новой» Россіи. А между тѣм исторію этой политики скорѣе можно написать, как исторію постоянных попыток выйти из состоянія изоляціи и при этом с совершенно отчетливой тенденціей к образованію огромнаго блока, включающаго в себя с одной стороны Германію, а с другой азіатскія государства. Послѣдняя концепція Ленина, изложенная им отрывочно в его послѣдней статьѣ «Лучше меньше, да лучше» (март 1923 г.), изображает путь к побѣдѣ соціализма, как ведущій через «военное столкновеніе между контрреволюціонным имперіалистическим Западом и революціонным націоналистическим Востоком»; исход предстоящей борьбы предрѣшен тѣм, что «Россія, Индія, Китай и т. д. составляют большинство населенія». При этом Германія не относится к «имперіалистическому Западу»: «Система международных отношеній сложилась теперь такая, что в Европѣ одно из государств порабощено государствами-побѣдительницами — это Германія... Германіи, странѣ дѣйствительно передового культурнаго капиталистическаго развитія, подняться теперь до послѣдней ступени трудно. Всѣ капиталистическія державы так называемаго Запада клюют ее и не дают ей подняться».

Эту ленинскую концепцію и сейчас надо помнить, так как она дает очень важную путеводную нить для изученія совѣтской внѣшней политики. Конечно, эта политика эволюціонировала. И развивалась она с зигзагами и колебаніями, отражая на себѣ и борьбу различных внутренних тенденцій. Но когда в Москвѣ чувствовали свою изоляцію, то чувство это было вовсе не гордое, а всегда было **связано с большой** тревогой. Особенно устойчива была «германская» оріентація этой политики и при этом оріентація на тѣ силы, которыя представляли в Германіи идею реванша. Фактически существовал, хотя и в причудливой формѣ, но подлинный союз — вплоть до сотрудничества Красной Арміи с Рейхсвером. Кризис же этой политики наступил тогда, когда в Германіи силы реванша в лицѣ Гитлера пришли к власти, но уже не с русской, а с противорусской оріентаціей, с идеей завоеванія «жизненнаго пространства» именно **в Россіи.** Тогда начинается новый період эволюціи совѣтской политики, на котором я понятно останавливаться не могу, но без изслѣдованія котораго невозможно удовлетворительное об'ясненіе ни

совѣто-германскаго пакта, ни совѣто-германской войны. Я думаю, поэтому, что в соотвѣтствующих мѣстах об'ясненія и сужденія Далина нуждаются в существенных поправках, и я указываю на это именно потому, что я горячо рекомендую его книгу вниманію читателя.

Как я уже упоминал, мнѣ представляется, что у Далина извѣстную роль играет не вполнѣ ясное представленіе об об'ективности, которую он иногда понимает скорѣе, как своего рода уравнительную справедливость. Он избѣгает крайностей и всегда ищет или средняго или вообще вне крайностей лежащаго рѣшенія. Во многих случаях это правильно. Но иногда именно крайности являются подлинными фактами. Одна сторона утверждает одно, другая другое, а на самом дѣлѣ... На самом дѣлѣ бывает часто иначе, а иногда все же именно так, как утверждает одна из сторон. Когда соглашеніе между Россіей и западными державами не состоялось, то одни упрекали Чемберлена и Боннэ за близорукость, другіе Сталина и Молотова за двойную игру, но корень трагедіи был, по Далину, не в личностях, а «в своего рода исторической неизбѣжности» (стр. 16). К этой «неизбѣжности» Далин апеллирует неоднократно. Я же, по совѣсти говоря, вообще не вижу смысла в ссылках на «историческую неизбѣжность». Задним числом все, что было, можно представить как исторически неизбѣжное — именно потому, что так было. Не вдаваясь в обсужденіе философской проблемы исторической необходимости, ограничусь поясняющим сравненіем. Смерть каждаго человѣка является естественной неизбѣжностью. Но есть глубокая разница между неизбѣжностью естественной смерти человѣка, и неизбѣжностью смерти человѣка, которому убійца размозжил черепъ. Я лично в теченіе нѣсколькихъ лѣт мучился опасеніем, что соглашеніе между Сталиным и Гитлером является неизбѣжным — но вовсе не потому, что думал о какой-либо «исторической неизбѣжности», а потому, что считал стремленіе к соглашенію с Германіей для опредѣленнаго періода «постоянной величиной» совѣтской политики и в тот період именно соглашеніе с цѣлью отвести удар Гитлера, направив его на запад («теорія громоотвода», как ее называли в посвященных коммунистических кругах уже в 1936 году); а с другой стороны я был убѣжден, что Гитлер сумѣет на время преодолѣть свою противосовѣтскую оріентацію, чтобы развязать себѣ руки для для борьбы против западных держав. Но Далин и сам считает, что «окончательное сужденіе о политикѣ Совѣтскаго Правительства за этот період может быть только отрицательным, в особенности с русской точки зрѣнія» (54). Но если произошло «исторически неизбѣжное», то нѣт мѣста ни для положительной, ни для отрица-

тельной оцѣнки данной политики. Однако, в данном случаѣ прав и дѣйствительно об'ективен именно Далин, **оцѣнивающій** совѣтскую политику.

Думаю, что Далин не удѣляет достаточно вниманія предположенію, что соглашеніе между Сталиным и Гитлером существовало уже с апрѣля, если не раньше. Между тѣм за такое предположеніе говорит много данных, хотя ни один варіант его еще не может считаться окончательно доказанным. Одним из варіантов является мнѣніе, что уже весной состоялось соглашеніе в принципѣ, но что дѣйствительно понадобилось еще нѣсколько мѣсяцев, чтобы сговориться об его конкретных формах. Скотт в своей книгѣ утверждает, что в февралѣ 1939 года совѣтскій военный атташэ в Берлинѣ сказал генералу Кайтелю, с которым он завтракал: «Если в ходѣ событій Польша рухнет, то нельзя ожидать, что мы останемся равнодушными к судьбѣ русских и украинцев в Польшѣ». Если это вѣрно, то это было явное предложеніе говорить о раздѣлѣ Польши. Но, к сожалѣнію, Скотт назвать источник своей информаціи не может. Со своей стороны я хочу воспользоваться случаем, чтобы сдѣлать сообщеніе, которое раньше не могло быть опубликовано. Несколько мѣсяцев тому назад в Парижѣ умер глава зарубежных казаков (не всѣми ими признанный), «казачій атаман» генерал фон Граббе, и смерть его позволяет разсказать, никого не подвергая опасности, слѣдующій эпизод: в апрѣлѣ 1939 года (нѣдѣли за четыре до отставки Литвинова) фон Граббе сообщил одному французскому учрежденію, что он получил абсолютно достовѣрныя свѣдѣнія о состоявшемся в принципѣ совѣто-германском соглашеніи, основой котораго является раздѣл Польши. Учрежденіе считало это настолько невѣроятным, что даже не хотѣло передать сообщеніе фон Граббе своему министру. Так как Граббе настаивал на абсолютной достовѣрности своего источника, то это учрежденіе запросило мнѣніе одного представителя лѣвой русской эмиграціи, который отвѣтил, что считает информацію вполнѣ правдоподобной, и совѣтует сообщить ее правительству. Граббе же добился свиданія с одним из министров. Но никто тогда таким предупрежденіям — а они были — не вѣрил.

Многих таких эпизодов, отчасти совсѣм не опубликованных, Далин вообще не мог знать, и я вовсе не упрекаю его за то, что он не привел и не использовал весь относящійся сюда матеріал. Меня интересует общій вопрос о выборѣ между различными возможными истолкованіями фактов. В исторіи бывают случаи, когда позднѣе установленный факт может разрушить цѣлую постройку, воздвигнутую на приблизительной оцѣнкѣ различных данных. Если напримѣр, так называемый «Докумеит Рюффена» окажется под-

ложным, то это заставит по крайней мѣрѣ еще раз критически пересмотрѣть разныя об'ясненія совѣтской политики за період пакта, так как этот документ передает такую оцѣнку Сталиным перспектив войны, с какой большинство авторов совершенно не считается. Наскольку я помню этот документ, согласно ему Сталин был убѣжден, что война закончится побѣдой западной коалиціи, и потому считал необходимым помогать Германіи, чтобы затянуть войну до полнаго истощенія обѣих сторон. Это было бы интересным об'ясненіем и для того, почему коммунисты в союзных странах не оставались нейтральными, а фактически — а во Франціи весьма существенно — помогали Германіи (Далин этой стороны совѣтской политики не касается).

Книга Далина вообще вызывает потребность подумать о рядѣ вопросов. В этом ея большое достоинство. О спорных же утвержденіях Скотта вообще можно не говорить, потому что для его книги они гораздо менѣе существенны. Об'ясненія Скотта часто слишком примитивны или совсѣм невѣрны, но наблюденія его в высшей степени интересны. Когда он разсказывает о том, как послѣ войны против Финляндіи в Россіи была усилена до максимума военная подготовка, то он дает дѣйствительно чувствовать, как страна жила в этой горячкѣ. Когда он описывает сцену прощанія Сталина с Матсуокой послѣ подписанія русско-японскаго договора, то вы видите эту сцену. И вы чувствуете вмѣстѣ с автором глубокій трагизм того эпизода, когда Сталин внезапно хлопает по спинѣ нѣмецкаго солдата, жмет ему руку и говорит: «Будем с вами друзьями» (стр. 237). Это был апрѣль 1941 года. «Сталин, замѣчает автор, очень хотѣл 'быть друзьями' с Германіей. Но он боялся, что тѣм не менѣе дѣло дойдет до войны».

По описанію Скотта, осенью 1939 года Красная Армія дѣйствительно была в таком состояніи, что война тогда «не многим отличалась бы от монотоннаго избіенія» (стр. 41). Но рѣшающим поворотным моментом все же была лишь война против Финляндіи, которую автор называет «трагедіей ошибок» (в заглавіи 4-ой части книги). Эта война и совершенно явственно обнаружила недочеты военной организаціи и создала угрозу глубокаго внутренняго кризиса. Она с самаго начала была непопулярна. Автор слышал, как многіе москвичи говорили с чувством стыда уже о раздѣлѣ Польши и возмущались кампаніей печати против Финляндіи (стр. 99). Когда было сообщено о пограничном инцидентѣ и выстрѣлах с финляндской стороны, многіе говорили: «Знаем мы эту артиллерійскую стрѣльбу» (100). А когда было провозглашено правительство Куусинена, то автор наблюдал единственный раз за почти десять лѣт своего пребыванія в Россіи, как «многіе рядовые совѣт-

скіе граждане смѣялись над сталинским правительство» (101). Война вызвала явленія хозяйственной разрухи. Стало наблюдаться паденіе производительности труда, бывшіе по мнѣнію автора, своеобразной русской формой недовольства. Стачек не было. Рабочіе приходили на работу, работали цѣлый день, а нормальных результатов не было. «Русскіе геніальны в этом методѣ выражать недовольство или негодованіе чѣм-либо» (109). Транспорт дезорганизовался. Возникли трудности с продовольствіем. В Москвѣ онѣ начались уже 9-го января и продолжались цѣлый мѣсяц. Цѣны стали подниматься. Чтобы дѣлать закупки, населеніе вынимало свои вклады из сберегательных касс.

Промежуток времени, между окончаніем финляндской и началом русско-германской войны Скотт изображает, как період всесторонней мобилизаціи всѣх рессурсов страны. Снова удовлетвореніе человѣческих потребностей было рѣзко ограничено, и максимум энергіи был посвящен производству на оборону и образованію запасов для веденія войны. В то же время велась чрезвычайно энергичная работа по улучшенію военной организаціи, по обученію и переучиванію арміи. Для поднятія дисциплины и усиленія авторитета командующих, послѣдним было даже предоставлено право физическаго воздѣйствія на солдат (216). Скотт дает интересную сводку маневров, имѣвших мѣсто в 1940 году. 15-го августа большіе маневры в волжском районѣ, гдѣ были сооружены искуственныя укрѣпленія, подвергшіяся аттакѣ. 25-го августа большіе маневры в Московском военном округѣ при личном участіи Тимошенки (смѣнившаго Ворошилова на посту наркома), который посѣтил одну часть за другой, «об'ясняя и убѣждая»; он старался внушить каждому сознаніе необходимости проводить маневры в условіях, как можно близких к условіям настоящих сраженій. 5-го сентября маневры в Одесском и Западном военных округах, при чем Кіев был подвергнут показной воздушной бомбардировкѣ. Днем позже маневры начались в Среднеазіатском военном округѣ, в серединѣ сентября маневры на Дальнем Востокѣ и Забайкальѣ; 25-го сентября маневры начались в Закавказском и снова в Московском округах. А в декабрѣ во многих округах имѣли мѣсто зимніе маневры (214-15). Весной 1941 года военная подготовка достигла величайшей интенсивности, но в то же время была принята программа «замиренія» и капитуляціи перед Гитлером по ряду пунктов. Населеніе узнавало об интенсивных военных приготовленіях, но ничего не знало о высылкѣ югославских дипломатов и других проявленіях политики «замиренія», и оно чуяло войну (250).

Но пора остановиться. Всего все равно не перескажешь. Мнѣ хотѣлось прежде всего дать нѣкоторое понятіе о том, как данныя

взятыя из газет или из разсказов, оживляются и осмысливаются у Скотта замѣчаніями, передающими его непосредственныя наблюденія. В этом отношеніи его книга прекрасно дополняет книгу Далина, и обѣ онѣ очень заслуживают быть прочитанными и продуманными.

Ю. Денике.

ЮБИЛЕЙ В. Н. ИПАТЬЕВА

14-го ноября 1942 года в Чикаго было отпраздновано 75-лѣтіе нашего знаменитаго ученаго Владиміра Николаевича Ипатьева, совпавшее по времени с его золотой свадьбой и с 50-лѣтіем со дня появленія его первой научной работы. Как извѣстно, В. Н. состоит профессором чикагскаго Норсвестернскаго университета и директором одной из первых лабораторій в мірѣ.

Чествованіе прошло с исключительной торжественностью. На большом обѣдѣ произносили рѣчи извѣстные американскіе химики, были оглашены привѣтствія, полученныя со всѣх концов Америки. Вниманіе устроителей сказалось и в деталях. Так, меню обѣда заключало в себѣ фотографіи юбиляра и его супруги, а также факсимиле первой страницы первой (разумѣется русской) работы «поручика Вл. Ипатьева» в «Артиллерійском Журналѣ» 1892 года.

Об огромных научных заслугах В. Н. Ипатьева, извѣстных всему міру, уже говорилось на страницах «Новаго Журнала». Достаточно сказать, что знаменитый нѣмецкій химик, Нобелевскій лауреат, Рихард Вильштеттер, бѣжавшій от Гитлера в Швейцарію и там недавно скончавшійся, сказал: «В исторіи химіи никогда не было человѣка болѣе крупнаго, чѣм Ипатьев». Другой извѣстный ученый Франк Уитмор считает В. Н. Ипатьева одним из трех величайших химиков, данных міру Россіей (другіе два: Ломоносов и Менделѣев). Достаточно сказать также, что по путям, проложенным «послом русской науки», как кто-то назвал в Соединенных Штатах В. Н-ча, создались способы изготовленія синтетическаго газолина (к несчастью, по меньшей мѣрѣ треть авіаціоннаго топлива, потребляемаго теперь в Германіи, производится на основѣ его открытій). Около ста заводов в С. Штатах изготовляют в настоящее время и 100-октанный авіаціонный газолин по методу В. Н. Ипатьева. В Россіи почти все огромное производство искусственнаго каучука основано на открытых им реакціях. Не говорим о других его многочисленных открытіях.

В. Н. Ипатьев уже напечатал в «Новом Журналѣ» главу из своих воспоминаній. В ближайших книгах нашего журнала появятся другія работы знаменитаго химика.

Z.

ТРИ МѢСЯЦА

За послѣдніе три мѣсяца произошли событія огромной исторической важности: высадка союзников в сѣв. Африкѣ и наступленіе русской арміи. Давно не было в нашей жизни столь отрадных событій.

В техническом отношеніи экспедиція ген. Эйзенгауера была настоящим шедевром. Военные историки в свое время считали изумительным дессантным предпріятіем высадку союзников в Крыму в пору войны 1853-5 г.г. Тогда 172 французских судна, 175 англійских и 9 турецких быстро и безпрепятственно прошли через Черное море и произвели дессант. Теперь суда англо-американской эскадры были вдвое многочисленнѣе и пройденное ими разстояніе неизмѣримо больше. Главное отличіе, однако, не в этом. В ту пору не было ни авіаціи, ни радіотелеграфа, ни подводных лодок. Тѣм не менѣе русское командованіе знало о предстоявшей высадкѣ дня за четыре до нея и приняло тѣ мѣры, которыя могло принять: мосты за Евпаторіей были взорваны, запасы и склады уничтожены и русская армія заняла позиціи в пятнадцати верстах от мѣста высадки. На этот раз нѣмцы не знали рѣшительно ничего! Никаких мѣр в Марокко, в Алжирѣ, в Тунисѣ они не приняли, германскій воздушный флот бездѣйствовал, союзники в теченіе 76 часов заняли огромную территорію, имѣющую колоссальное стратегическое, политическое и экономическое значеніе. Люди, и прежде считавшіе полумифическими разсказы о всемогуществѣ и всезнаніи разных развѣдок и контр-развѣдок, в частности германских, могли только укрѣпиться в своем мнѣніи послѣ этого событія.

К сожалѣнію, трудно признать п о л и т и ч е с к и м шедевром то, что произошло в Африкѣ п о с л ѣ ея занятія союзниками. Об этом, о соглашеніи с Дарланом, о судѣ над убійцей Дарлана, о «выборах» Жиро судить преждевременно, особенно иностранцам. Однако историк едва ли признает эту страницу в исторіи войны особенно удачной или отрадной.

Быть может, историк вообще с нѣкоторым недоумѣніем отмѣтит чрезмѣрно почтительное вниманіе, с которым публицисты нашего времени относились к всевозможным международным договорам и обязательствам. Казалось бы, наше поколѣніе получило наглядный политическій урок: из самых торжественных обязательств эпохи 1914-1942 года, по меньшей мѣрѣ, 90 процентов (если не 99) выполнены не были. Иные профессора международнаго права и теперь, вѣрно, с глубоким удовлетвореніем вспоминают, что войны строго-настрого запрещены договором Келлога. Автор этих

строк в 1928 году писал, что этот договор не стоит цѣной, должно быть веленевой, бумаги, на которой он написан. Можно, разумѣется, утѣшаться тѣм, что нарушили договор Келлога гитлеровскіе подонки человѣчества. К несчастью, было бы весьма смѣлым утвержденіе, что цивилизованныя правительства свои обязательства выполняли (хотя бы по Лигѣ Націи, которая стала полукомическим, полупровокаціонным учрежденіем, всѣм обѣщавшим защиту и никого рѣшительно не защитившим). И если теперь с необыкновенной почтительностью обсуждаются разныя новыя торжественныя обязательства, то остается лишь вспомнить, что в каталогѣ Нью-Іоркской Библіотеки значится **36** ученых трудов о пактѣ Келлога! Скажем больше: в критическія минуты о самых торжественных обязательствах т. н. отвѣтственные люди вообще даже не вспоминают. Так, когда лѣтом 1940 года было в старом замкѣ французским правительством с преступным легкомыслiем принято рѣшеніе о капитуляціи Франціи, — члены этого правительства спорили о чем угодно, но никто всерьез и не напоминал, что французское правительство подписало с англійским торжественное обязательство не заключать сепаратнаго мира.

Это «в порядкѣ вещей». Событія в Африкѣ только внесли дополнительную черточку. На свѣт Божій, в пору невиданных войн и революцій, была извлечена идея сомнительной преемственности от еще болѣе сомнительных норм. Дарлан об'явил себя законным преемником Петэна. Как оказалось, главным преимуществом адмирала, послѣдовательно измѣнившаго обѣим борющимся коалиціям, было то, что он якобы представлял маршала, пока измѣнившаго т о л ь к о антигерманской коалиціи.

6 октября 1873 года французским военным судом, состоявшим не из революціонеров, а из консервативных генералов под предсѣдательством герцога Омальскаго, маршал Базэн, имѣвшій в прошлом не меньшія, а большія военныя заслуги, чѣм Петэн, был приговорен к смертной казни на основаніи 209 статьи военнаго кодекса за то, что «капитулировал и сдал крѣпость Мец, не использовав всѣх бывших в его распоряженіи способов защиты и не выполнив всѣх предписаній долга и чести». То, что сдѣлал Петэн, было гораздо хуже. Говорят, что он «в душѣ» ненавидит нѣмцев. Это весьма вѣроятно. Однако извѣстно, что «в душѣ» ненавидѣл нѣмцев и Базэн. «В душѣ» ненавидѣли нѣмцев и русскіе политическіе дѣятели, заключившіе Брест-литовскій мир. Они, по крайней мѣрѣ, могут смѣло сказать, что послѣ заключенія мира не посылали добровольцев помогать нѣмцам против бывших союзников своей страны и никак вообще больше нѣмцам не помогали.

Дѣло о сдачѣ Меца (который кстати сказать больше дѣйстви-

тельно долго держаться не мог из за отсутствія продовольствія) всѣм извѣстно. На презрѣніи к Базэну семьдесят лѣт воспитывалось в с е французское офицерство. Поэтому искренность любви вишійских и алжирских офицеров к выжившему из ума маршалу вызывает нѣкоторое сомнѣніе. Но Базэн был неудачником, тогда как Петэн, особенно в началѣ, имѣл шансы на прочное пребываніе у власти. Как бы то ни было, реальные политики, пользуясь зачѣм-то фикціями, в дѣйствительности, конечно, исходили из фактов: «в сѣверной Африки всѣ преданы Петэну, а о де Голлѣ никто слышать не хочет». Можно высказать предположеніе, что этих «всѣх» никто не считал: разговаривали с высшими должностными лицами. В момент высадки, в ближайшія недѣли послѣ нея, высшія должностныя лица имѣли значеніе, и соглашеніе с ними было вполнѣ разумно и цѣлесообразно. Однако потом власть перешла к американцам и, быть может, они переоцѣнили идейность тѣх, кто «слышать не хотѣл» о де Голлѣ. Вѣдь эти самые люди очень усердно служили правительствам Эрріо. Пэнлевэ, Блюма, а в пору коронаціонной поѣздки в Африку Даладье даже всячески к нему прислуживались и воспѣвали добродѣтели III Республики. Быть может, при очень убѣдительном разговорѣ, они примирились бы и с де Голлем, несмотря на отсутствіе за ним «преемственности». Вдобавок, фикція была очень дешевая: Петэн от Дарлана публично отрекся («да, но в душѣ»!), а «Имперскій Совѣт» из четырех генерал-губернаторов есть учрежденіе. никакой, даже Вишійской, конституціей не предусмотрѣнное.

Вѣрны ли слухи, будто такой же почтительностью к фикціям отличаются и нѣкоторые французскіе демократы? Говорят о проектѣ созыва в Африкѣ совѣщанія из «вырвавшихся на свободу» членов послѣдняго французскаго парламента, генеральных и муниципальных совѣтников: оно составит правительство! На свободу вырвались такія украшенія французской политической жизни, как Шотан или Фланден, и без них трудно будет обойтись, уж если так почитать фикціи; да и все это совѣщаніе мало отличалось бы от «Имперскаго Совѣта», и связало бы оно новую власть не с парламентаризмом, а именно с послѣдним парламентом, подавляющее большинство котораго в Вишы показало себя достойной свитой Петэна.

Лучше было бы обойтись без преемственности и без фикцій вообще. Сейчас выбор возможен только между Жиро и де Голлем. Оба они очень честные, храбрые люди и прекрасные генералы. Оба вышли из реакціонных кругов, но второй отошел от них гораздо дальше. чѣм первый. Де Голль, человѣк блестящих дарованій, со всѣми ошибками, почти неизбѣжными в его положеніи,

стал символом — и прекрасным символ лом — в эпоху, которая очень, очень нуждается в символах. На наш взгляд, он имѣет всѣ права на поддержку общественнаго мнѣнія. Многое неясно в политикѣ обоих генералов (если у них есть твердо обдуманная политика), и пріѣзд Гренье к де Голлю, а Пейрутона к Жиро не увеличивает шансов на их соглашеніе. Однако, теперь, кромѣ соглашенія между ними, едва ли есть другой выход. И не надо закрывать глаз на то, что, будет ли сейчас первым де Голль, а вторым Жиро, или наоборот, все равно гражданская война во Франціи в будущем, к несчастью, почти неизбѣжна.

Надо, разумѣется, признать, что положеніе, в котором очутились союзники в сѣв. Африкѣ, было совершенно исключительным по трудности и в политическом, и в военном отношеніи. К тому же нам извѣстно о нем еще далеко не все.

На оккупацію Алжира и Марокко Гитлер отвѣтил захватом всей так назыв. свободной зоны Франціи. Новыя несчастья, новыя лишенія выпали на долю этой прекрасной, удивительной страны, которой всѣ мы обязаны столь многим. Геройскій конец французскаго флота в Тулонѣ лишній раз показал, что в громадном своем большинствѣ французскіе офицеры и солдаты слѣдуют никак не примѣру Базэна, а завѣтам совершенно иным, проходящим через всю военную исторію Франціи.

Как ни тяжел удар, нанесенный Гитлеру блестящей операціей захвата сѣв. Африки, удар, полученный им на русском фронтѣ, еще гораздо сильнѣе.

Русская армія сражается с величайшим мужеством и с величайшей стойкостью. Мы думаем, во всей Европѣ одни англичане могли бы продолжать так сражаться, еслиб непріятель захватил богатѣйшія провинціи их страны с третью или двумя пятыми всего ея населенія. Храбрость русских войск всѣм извѣстна, но теперь мы с великой радостью можем отмѣтить и несомнѣнное улучшеніе в работѣ совѣтскаго командованія. Если в началѣ войны могло казаться, что русское командованье проявляет безпомощность, то теперь от такого впечатлѣнія не осталось и слѣда: теперь как будто борются противники равнаго искусства. Защита Сталинграда — изумительная страница не только по сравненію с защитой линіи Мажино или Сингапура, но и по сравненію с какими угодно страницами военной исторіи. На Кавказѣ нѣмцы явно провалились. Повидимому, в Россіи появилось новое и блестящее поколѣніе военных людей. В этом для нас большая радость и большая надежда. Не пугают нас и недочеты в работѣ нынѣшняго русскаго военно-промышленнаго механизма. Такіе недочеты есть, конечно, в

любой странѣ, независимо от ея строя. Но очень нас страшат свѣдѣнія о голодѣ в Россіи, появившіяся в самое послѣднее время в «Таймсѣ», в «Чикаго Сэн», в «Лайфѣ» (статьи Вальтера Гребнера). Что, если к этому присоединится нефтяной голод?

Вѣроятно, править Россіей будут именно новые офицеры, выдвинутые этой войной. Однако, кто бы Россіей ни правил, мы, разумѣется, безоговорочно желаем ей полной побѣды.

Дѣла Германіи все ухудшаются. Теперь побѣдить она уже не может, ибо рѣшительную побѣду ей могло бы дать либо занятіе Лондона, либо захват Суэца. И то, и другое больше невозможно. Побѣда союзникам почти обезпечена. И трудно сказать, чему больше будет обязан мір этой побѣдой: колоссальному ли могуществу Америки, изумительной ли стойкости англійскаго народа, сказавшейся с особенной силой лѣтом 1940 года, или безпредѣльному мужеству и самоотверженію русской арміи и народов Россіи.

А.

ЗА ЖЕЛѢЗНЫМ ЗАНАВѢСОМ

Когда в театрѣ происходит пожар — то спускают желѣзный занавѣс, отдѣляющій сцену от зрительнаго зала.

Желѣзный занавѣс стал опускаться еще перед началом военнаго пожара. То, что происходило в странах диктатуры постепенно окутывалось в мрак и тайну. Так, прежде всего, было в Совѣтской Россіи. До нас доходили совѣтскія газеты и журналы. Но что такое пресса в странѣ диктатуры, как не своеобразная дымовая завѣса? Количество пріѣзжавших, одно время довольно значитепьное, в предвоенные годы упало до минимума: пріѣзжали только оффиціальныя лица. Была правда в шуткѣ, что на международныя выставки в Парижѣ и в Нью-Іоркѣ из Россіи вырвались только тѣ веселые юноши и дѣвушки, которые в гипсѣ украшали фронтон совѣтских павильонов. Мало того: почти совсѣм прекратилась корреспонденція с родными и близкими. Безчисленны случаи, когда близкіе — матери, сестры — получали краткія просьбы не писать им и не посылать посылок. Огромная страна отдѣлила себя от остального міра герметически.

Другая страна диктатуры — Германія оставалась как будто открытой. Ее посѣщали туристы, в нее давались визы. Но за дымовой завѣсой прессы там происходило что-то очень жестокое и страшное, о чем проскальзывали слухи и факты. Впрочем, до самаго послѣдняго времени туристы и корреспонденты наводняли и Совѣтскую страну. Вѣдь соціальный эксперимент, производив-

шійся там, был в центрѣ вниманія всего міра. Но книг, в которых чувствовалось бы большое и глубокое знаніе появилось немного. Почти всѣ онѣ были страстными и пристрастными. По слову Ф. Степуна, иностранцы смотрѣли на Россію не глазами, а сквозь мірово̀ззрѣнческія очки, темныя или розовыя. Да и вообще сомнительно, чтобы иностранец мог понять до конца чужую страну... Только интимное знаніе языка и народа, пріобрѣтенное с дѣтства может быть полноцѣнным и полновѣсным.

Но мы хотим знать, мы слишком страстно заинтересованы в том, что происходит, мы слишком напряженно вглядываемся в будущее, чтобы не ловить жадно слухи и факты — обрывки истины.

В пристальном и вдумчивом вглядываньи, имѣющем перед собой лишь немногіе факты, но за собой глубокую основу интимнаго знанія, облегчающую пониманіе этих фактов, интерес высказываній В. А. Александровой, Д. Далина и Г. Аронсона в настоящей книгѣ «Новаго Журнала». Вчитываясь в страницы русской печати, эти авторы стремятся возстановить картину того, что происходит на родинѣ. Задача иногда не менѣе трудная, чѣм работа ученых, разбирающих письмена какого-либо мертваго языка (кстати сказать, язык несвободной печати, это воистину мертвый язык). Многое остается непонятным, «неразобранным», несмотря на всѣ усилія. Чѣм об'ясняется отмѣна или переорганизація института политкомисаров в арміи? Как могла появиться на сценѣ пьеса, критикующая самого Сталина? Какова роль партіи в дѣлѣ оборони страны? Правильна ли гипотеза о двух совершенно различных періодах в настроеніи совѣтских масс и арміи? Каковы шансы будущей демократизаціи Россіи? Все это — вопросы, на которые пока нѣт и не может быть безспорнаго отвѣта. И все это вопросы слишком важные, чтобы мы могли отказаться от гипотез и предположеній.

За послѣдніе годы мы пережили не один раз, как с нѣмецкой оккупаціей «занавѣс» тайны и молчанія опускался над рядом стран. Это было больно видѣть и переживать. Бельгія, Голландія, Греція и Югославія, наконец, громадная часть Россіи. Но была страна, всегда бывшая в центрѣ мірового вниманія, страна, как бы освѣщенная солнцем, со столицей, которую любили, быть может, не без доли преувеличенія называть «городом-свѣточем». Часть этой страны была все же еще не в полном мракѣ: мы еще знали, что в ней происходит, знали о темных силах ею завладѣвших, но и о том свѣтлом, что сохранилось в ея народѣ, об его сопротивленіи. Теперь на наших глазах опустился «желѣзный занавѣс» и над всей Франціей. Міровая трагедія, как и трагедія Россіи, происходит во мракѣ и молчаніи.

Ц.

ВЫСТАВКИ В НЬЮ-ІОРКѢ

Осенній сезон в Нью-Іоркѣ ознаменовался исключительным обиліем выставок, открытіем еще одного новаго музея и особым вниманіем к французскому искусству. Послѣднее обстоятельство лишній раз подтверждает, что несмотря на всѣ стремленія «открыть» и «поддержать» в Америкѣ свою національную живопись, обойти французское наслѣдіе оказывается пока совершенно невозможным.

Особенно интересны были выставки двух крупных французских мастеров 19-го столѣтія. Один из них, удивительный пейзажист Ж. Б. Коро, как бы завершает собой классическое наслѣдіе Пуссена и Клода Лоррена. Другой — Сезанн, художник-революціонер, одна из блестящих звѣзд на современном небосклонѣ живописи.

Галлерея Вильденштейна собрала из разных мѣст Америки около ста полотен и рисунков Коро. Это художник с удивительно ясной и чистой душой; сам о себѣ он говорил, что рисует «столько же сердцем, сколько глазами». Коро был влюблен в тихіе уголки Франціи, в чуть слышно журчащіе ручейки, в нѣжно трепещущіе серебристые листья осины и в стройные тополя, в утреннія зори и небо, чуть окрашенное в розовый цвѣт восходящим солнцем. К особому пониманію прозрачности красок он был подготовлен своим пребываніем в Италіи и увлеченіем великим мастером закатов и вод. французом К. Лорреном. Есть еще критики, которые спорят о том, какой період в искусствѣ Коро лучше и интереснѣе — итальянскій или норманскій, портреты или «ню»? Это теперь излишнія пререканія: имя Коро вошло в исторію искусства, укрѣпилось окончательно и пережило всѣ безчисленныя теченія и школы, которыя возникли послѣ его смерти (в 1975 году).

Серіей прекрасных произведеній представлен в галлереѣ Розенберга Сезанн. Стремленіе к правдѣ в живописи, освобожденіе художника от заранѣе предписанных академических канонов были краеугольным камнем всей его художественной карьеры. В страстных поисках правды в красках и в формѣ передаваемаго предмета он часто доходит почти до абстрактности («Мальчик в красном жилетѣ», «Гора Св. Викторіи»). Неудивительно поэтому, что придя на художественную арену послѣ романтических и натуралистических школ этот художник-революціонер так долго оставался непонятым. На выставкѣ много чудесных натюрмортов и, пожалуй, лучшій из портретов его жены, написанный в 1901 г.. — «Госпожа Сезанн в оранжереѣ», принадлежавшій раньше Щукинской галлереѣ в Москвѣ.

Значительное мѣсто заняли в этом сезонѣ новѣйшія теченія во французском искусствѣ. Было много выставок; и впервые «лѣвому» искусству (сюрреализму, супрематизму, конструктивизму и пр.) посвящен постоянный музей, который, под названіем «Искусство нашего времени», открыла на 57-ой улицѣ Нью-Іорка небезызвѣстная коллекціонерша Пегги Гугенхейм. В музеѣ больше всего произведеній французской школы сюрреалистов — Макса Эрнста, Дали, Миро, Массона; не мало и русских имен: конструктивисты Габо, Эль-Лиссицкій и Певзнер (с его «стеклянным и металлическим рельефом»), супрематист Малевич, Кандинскій с его безпредметными картинами, и скульптура Лифшица и Архипенко. Собранныя в своеобразных залах упомянутаго музея, гдѣ страстный модернист-архитектор Крислер устранил всѣ условныя формы художественной галлереи, выбросил рамы и чуть ли не уничтожил стѣны, картины эти, подвѣшенныя к потолку и как бы плавающія в пространствѣ под странными уклонами, могут серьезно нарушить душевное спокойствіе иного зрителя...

Слѣдует отмѣтить в осеннем сезонѣ нѣсколько значительных выставок картин русских художников. Галлерея Пьер Матисса собрала серію новых произведеній Марка Шагала. Поразительно, до какой степени этот художник, много кочевавшій по разным странам и испытавшій не мало различных вліяній, сумѣл остаться самим собой и сохранить в себѣ одновременно еврея и русскаго. Как хороша его бѣдная еврейская «свадьба» (1940 г.) среди убогих домишек провинціальнаго города, и как трогательна «Голубая лошадь» (1942 г.), напоминающая родного конька-горбунка!

Несмотря на то, что Шагал всегда находится в мірѣ мистических неземных мечтаній, он глубоко чувствует и то, что происходит на яву, на землѣ! «Он немножко презирает здравый смысл, геометрію, так как он поэт», — сказал как то о Шагалѣ Поль Фиренц. Но не будь этого, он не мог бы создать проникновенный образ того «Зеленаго Еврея», того «Вѣчнаго Жида», который проходит через все его творчество, начиная с хорошо знакомой многим картины «В окрестностях Витебска» (1914 г.), вплоть до послѣдней показанной у Матисса картины «Революція», гдѣ среди ярко-красных знамен и бушующей толпы мы снова видим того же неизмѣннаго вѣчнаго странника с котомкой на плечах и палкой в рукѣ.

Фантазія и символика — это его стихія; на картинѣ «Деревня» (1940 г.) над крышами красных домов ѣдет повозка, ослы у него играют на скрипках, и влюбленные в экстазѣ летают по голубым небесам. Он рисует красными тонами и синим цвѣтом, присущими только ему одному, и нѣкоторыя картины его — это настоящій фейерверк пышных красок и оттѣнков. Из этой выставки

нельзя было не вынести увѣренности, что Шагал и на американской землѣ останется самобытным Шагалом.

На выставкѣ были собраны также нарисованные Шагалом в Мексикѣ прелестные эскизы к балету Алеко, поставленному русской балетной труппой в Нью-Іоркѣ.

Галлерея Вильденштейна устроила в октябрѣ обширную выставку произведеній другого русско-еврейскаго художника Манэ-Каца, картина котораго «Стѣна Плача» удостоилась в 1937 г. преміи на парижской интернаціональной выставкѣ. Почти все выставленныя здѣсь полотна были нарисованы в Америкѣ за послѣдніе полтора года. Размах кисти и значительное духовное содержаніе характеризует этого большого художника. Всѣ его картины не только глубоко прочувствованы, но и продуманы и подернуты нѣкоторой романтической мечтательностью, которая так подходит ко всѣм его старикам евреям в черных шапочках, со свитками торы; подходит ко всѣм этим задумчивым и тоскующим фигурам, в которых чувствуется бремя тысячелѣтій человѣческой скорби. «В школѣ», картинѣ прелестной по сочетанію коричневых тонов, задумались-замѣчтались еврейскіе мальчики над мудрым ученіем. Проникновенна и драматична картина, на которой «Задумавшіеся», облокотившіеся о стол мужчина и женщина, глядят на мір глазами, полными тоски по прошлом и ужаса перед будущим. Великолѣпен склонившійся в глубокой задумчивости над чтеніем «Мечтатель».

Правильнѣе всего было бы не причислять Манэ-Каца ни к каким школам, но ближе всего он к экспрессіонистам, поэтому ему меньше удаются вещи, требующія больше формы, чѣм содержанія, напримѣр лошади или немногочисленные «ню».

На противоположной сторонѣ эстетической и эмоціональной платформы находится русскій художник П. Ф. Челищев, тоже не мало скитавшійся по бѣлу свѣту и отразившій эти скитанія в своих многочисленных произведеніях. Картины его в этом сезонѣ были представлены нью-іоркским "Museum of Modern Art". Несмотря на все, что о нем пишут нѣкоторые критики, он кажется нам русским только по имени. Во Франціи он принадлежал к школѣ нео-романтиков, а потом занялся собственными изысканіями.

Талантом он обладает недюжиным, и это видно по его портретам, написанным с истинным мастерством. Техническія же его изысканія любопытны; таковы, напримѣр, «тройная перспектива», особенно ярко выраженная в картинѣ «Феномена»; с нѣкоторым недоумѣніем останавливаешься перед картинами нарисованными кофе, гуашью и песком. «Метаморфозы» тоже скорѣе причуды: среди узоров, гор, облаков, деревьев и листьев зритель должен, как на

загадочных картинках, отыскивать охотника, человѣческую голову, звѣря и т. п.

Очень интересная выставка декоративнаго искусства и керамики была устроена художником Лиссимом в одной из публичных библіотек Нью-Іорка. Рисовавшій для театров, для Севрской мануфактуры, получившій большую премію на парижской интернаціональной выставкѣ 1937 года, этот художник сумѣл остаться самим собою, не подлаживаясь ни под какія современныя теченія. Чисто русская тематика всегда интересовала его, и в этом его большая сила. Недавно появились в продажѣ его изящныя и тонкія по рисунку рождественскія карточки («Иван Царевич, стрѣляющій в Жар Птицу», «Снѣжинки» и пр.). Нѣсколько интересных карточек посвящены военным темам. —

Обширная и чрезвычайно интересная выставка «Портретов Нашего Вѣка» открылась в началѣ декабря в "Museum of Modern Art" Ретроспективная выставка портретнаго искусства таких размѣров является значительным событіем в художественном мірѣ. Директор выставки Монро Уилер собрал на ней 270 полотен, гуашей, акварелей, рисунков и скульптур нѣсколькіх десятков художников. Портреты очень удачно подобраны и дают прекрасное представленіе об эволюціи и исторіи портретов за послѣдніе 40 лѣт, хотя есть и пробѣлы. Нам кажется, напримѣр, непонятным отсутствіе на выставкѣ работ такого талантливаго и тонкаго портретиста, каким является С. Сорин; нѣт Григорьева, работы котораго также хорошо извѣстны в Америкѣ.

Начиная с извѣстнаго американскаго портретиста академика Икина и кончая отличными портретами Челищева, перед зрителем проходят всѣ теченія и школы двадцатаго столѣтія.

Вѣра Коварская.

КНИГА М. О. ЦЕТЛИНА

Принимается подписка на книгу М. О. Цетлина, выходящую в изданіи «Новаго Журнала», «Пятеро и другіе» (Могучая Кучка), посвященную жизни великих русских композиторов.

Цѣна книги по предварительной подпискѣ 1.75 дол. В отдѣльной продажѣ 2.25 дол. В книгѣ около 350 страниц.

50 экземпляров на особой бумагѣ, нумерованы и парафированы автором. Цѣна в переплетѣ 5 дол.

Деньги (чеком или моней ордер) просят направлять по адресу редакціи «Новаго Журнала»: Mrs. M. E. Zetlin. 267 W. 70th St., N. Y. C.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое изданіе, выходящее раз в три мѣсяца.

•

Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 долл. 50 сентов; цѣна трех книг — 4 доллара. В розничной продажѣ книга стоит 2 доллара.

•

Адрес редакціи:

Mr. M. Zetlin, 267 W. 70th St., N. Y. C.

Telephone ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка.